ISSN 0130 – 6545

2. 1990

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Божественная пара.

На 1-й и 4-й страницах обложки— Пир в лесу.
Кришна, заплетающий косы Радхе.

Цветные иллюстрации номера~ миниатюры Кангры (Индия).

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)
главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

февраль

2

1990

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы израильских писателей

БИНЬЯМИН ТАМУЗ, БАРБАРА ГУР, ИЦХАК БЕН-НЕР *(Перевод с иврита Н. Сергеевой)* 5

Из классики XX века

Т. С. ЭЛИОТ — Из книги «Старый Опоссум. Практическое котоведение» *(Перевод с английского и послесловие Андрея Сергеева)* 50

ЖОРЖИ АМАДУ — Исчезновение святой *(Роман. Окончание. Перевод с португальского А. Богдановского)* 58

Литературное наследие

К 100-летию со дня рождения

ХРИСТО ЯСЕНОВ — Стихи *(Вступление Владимира Соколова. Перевод с болгарского Владимира Соколова, Натальи Ванханен, Марианны Роговской)* 188

Критика

ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ — Образы Индии (Эллинский и германский) 194

Публицистика

ЖИЛЬ ПЕРРО — Красная капелла *(Документальный роман. Окончание. Перевод с французского В. Жуковой. Послесловие Александра Игнатова)* 203

Из зарубежной печати

УОЛТЕР ЛАКЁР — Монолог в Москве. Из книги «Долгий путь к свободе» *(Перевод с английского Ольги Варшавер)* 233

МИЦУЁСИ НУМАНО — Из книги «За одну остановку до вечности» *(Перевод с японского Г. Чхартишвили)* 238

«Ответственность перед Христом и перед совестью...»

Дискуссия на тему «Христианство и марксизм». Участвуют: Ф. Хитцер, А. Мень, К. Фюссель, Н. Анастасьев, Д. Зёлле, Ч. Айтматов 243

Почта «Ил» 250

Из книги анекдотов Клифтона Фейдимена *(Перевод с английского Т. Красавченко)* 253

К нашим иллюстрациям

Г. Киямова — Роса и радуга 254

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1990

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.**
Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 1.12.89. Подписано в печать 26.02.90. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 25,94. Цена 1 р. 80 к.

Тираж 390 000 экз. (1-й завод: 1 — 320 000 экз.). Зак. 4573.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
«Известий Советов народных депутатов СССР» имени
И. И. Скворцова-Степанова, 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

■

Перевод с иврита Н. СЕРГЕЕВОЙ

БИНЬЯМИН ТАМУЗ

Зумейра

Летом 1913 года Гриша сел на пароход, который должен был увезти его в Палестину. На дорогу братья и сестры собрали ему узелок с гостинцами. Там было шесть пирожков с капустой. Кроме капусты в пирожки было еще засунуто пять рублей золотом. От папы с мамой он получил талит и тфилин [1], а собственно Гришино имущество — несколько книг да флейта. Вот и весь скарб.

В Константинополе пассажирам предложили сойти с парохода и хорошенько вымыться горячей водой. А когда Гриша возвратился в каюту, то обнаружил, что флейта исчезла. Впрочем, ненадолго. В тот же вечер лихие рулады и трели заставили его подняться на палубу, где он и увидел матросика, выводившего на той пропавшей флейте украинские мелодии. И так это у него ладно получалось, что Гриша толком и возмутиться не успел — в душу хлынули родные напевы, знакомые ему с далекой младенческой поры. Вместе с остальными Гриша наслаждался музыкой, столь близкой его сердцу.

Два дня он томился в Яффе, в гостинице, пока наконец не приехал за ним родственник, чтобы отвести вновь прибывшего в тель-авивский Рабочий комитет. Целый год Гриша трудился на прокладке шоссейных дорог и на стройке, толкая перед собой тачку с песком. Была у него и комнатка, правда маленькая, в Нве-Цедек, и в те редкие дни, когда работы оказывалось не так много, он вгрызался в иврит, который начал учить еще там, в России. Окно комнатки смотрело во двор женской гимназии, и Гриша с умилением наблюдал, как со звонком из дверей выпархивает целый рой девчушек, как они потом рассыпаются по двору и вновь собираются в небольшие стайки, чтобы поиграть в мяч или попрыгать через скакалку, а то и просто посекретничать у забора. Несколько раз он даже выходил из дому и пытался заговорить с этими «ослепительными цветами»— так он их прозвал. Кончилось тем, что Гришина хозяйка в крайнем раздражении сообщила ему, что директор гимназии возмущен поведением ее квартиранта — он пристает к девочкам! А от себя добавила: если он не прекратит, пусть съезжает и ищет себе другое жилье. И еще: ежели мужчине нужна женщина, то мужчина должен жениться.

Гриша оставил все поползновения познакомиться с ученицами, зато начал писать стихи, посвящая их самому ослепительному цветку. В день, когда ему исполнилось восемнадцать, он купил себе в подарок

[1] Талит — покрывало, которым молящийся накрывает голову и плечи; тфилин — коробочки с написанными на пергаменте молитвами, их привязывают кожаными ремешками к запястьям и голове во время молитвы. *(Здесь и далее прим. перев.)*

новую флейту и в ту же ночь сочинил мелодию и стихи к ней в честь той девочки, дав и песне и девочке имя Рахель.

В середине тридцатых годов песня «Рахель» уже лилась из радиоприемников, ее пели буквально все. Не утратила она своей популярности и годы спустя. В памятное войной за независимость лето одному газетчику пришло на ум разгадать тайну, кто же она, эта Рахель, и что сталось с автором песни. В результате всех поисков в вечерней газете появился очерк с фотоснимками автора и женщины, которой посвящалась песня. Оказалось, что зовут ее Нехама Блайберг, а сочинитель — никакой не Аяль Тэилим [2], а Гриша Левин, и живет он в Тель-Авиве, и есть у него киоск подержанных книг на улице Бренер, рядом с кооперативной столовой.

Рада ли была госпожа Блайберг тому, что прославилась, или нет — нам не известно. Но абсолютно верно то, что Гриша отправился к брачной конторе, владелицей которой была Нехама Блайберг, и, спрятавшись между домами, стал ее поджидать. Под вечер она вышла, и Гриша, глядя на нее из своего укрытия, как некогда из окна маленькой комнатушки, тотчас признал в ней ту самую женщину, чей снимок он видел в газете. Он провожал ее глазами до тех пор, пока она не скрылась за поворотом, и только после этого вернулся домой.

Да, все это будет — в сорок восьмом...

В 1914 году вспыхнула первая мировая война. Как и большинство жителей Тель-Авива, Гриша ушел из города по приказу турок в район северных колоний. Так он очутился под Хадерой, в палаточном лагере среди молодых рабочих-беженцев. По вечерам он играл для них на флейте, и те, у кого был хороший слух и приятный голос, вторили кто басом, а кто сопрано, и души их раскрывались для песни, и те, у кого были припасы, делились с ближними соленым сыром, маринованными маслинами, даже ломтем соргового хлеба, что выпекался тайком, за пределами лагеря, и благодаря флейте перепадал голодной, но такой добросердечной компании. Довольно быстро товарищи заметили за флейтой эту ее полезную особенность — делать голодных сытыми,— и Гриша стал любимцем публики и душой общества.

Так бы оно и шло, не укради кто-то по глупости инструмент. Гриша впал в уныние, а друзья его в ярости потрясали кулаками, кляня неизвестного вора. Вор, однако, не нашелся, и тогда их неприязнь перекинулась на самого Гришу. Конечно, все это было нелепо и несправедливо, но в те времена люди шли на поводу у своих эмоций — очень нескоро научатся они оценивать различные человеческие проявления (например, природную склонность к воровству), сознательно симпатизировать и ненавидеть.

Итак, флейта пропала, но в Гришином мешке лежало еще несколько сборников рассказов и сказок — издательство «Тушия» и «Маленькая библиотека», что на улице Новолипки, 7, в Варшаве. Гриша с головой ушел в чтение, так как времени для безделья было предостаточно. Он охотно давал книжки друзьям, но как человек обжегшийся, педантично записывал в блокнот имена читателей и обходил палатки, чтобы получить книги обратно. От тех золотых, что были запечены в капустных пирожках, у Гриши осталось лишь несколько бишликов и меджидов, и его осенила удачная мысль: книги и брошюры, из которых и составилась его небольшая библиотека, он покупал у людей, между прочим, за деньги. Так пусть за книги, которые у него берут читать, люди дают ему продукты. Вот такая нижайшая, но настоятельнейшая просьба.

С той поры имя его стало в лагере синонимом позора, на него смотрели как на кровопийцу, хитрого мошенника, продажную шкуру.

---

[2] Звезда Псалмов.

Это же видно невооруженным глазом — паразит! Тщедушненький, плюгавенький, одним словом — гнида.

Да, в те времена люди, как говорится, не отличались здравым смыслом. Только чувства ими и управляли, теми, кто носил ермолки.

Гриша лез из кожи вон, лишь бы завоевать их расположение: ходил за больными, промывал раны, накладывал на лоб холодные компрессы, первым бежал кипятить воду и варил похлебку для стариков и одиноких.

Больные любили его, пока не выздоравливали. Здоровые же на всякий случай избегали говорить ему гадости в лицо: а вдруг их скрутит и понадобятся его услуги. Они не знали, что мера эта лишняя — Гриша был незлопамятен.

Однажды неподалеку от лагеря беженцев оказался пастух-бедуин. Он дул в духовой инструмент, состоящий из двух труб, прикрученных друг к другу толстой ниткой, извлекая из него хриплые, надрывные вопли. Гриша умолил бедуина, и тот в конце концов уступил ему эту штуковину.

— Зумéйра,— пояснил пастух.— Так она называется.

Ночью Гриша решил опробовать ее, но, кроме воя и скрежета, ему не удалось добиться ни единого из тех звуков, что так были дороги и милы его сердцу. Бедуинская дудка не вернула Грише ни былого благополучия, ни радости первых дней, когда он был душой общества. Жители лагеря не оценили воплей, которые производил этот гнусный инструмент, и потребовали от Гриши, чтобы он упражнялся на нем как можно дальше от лагеря. Гриша, разумеется, уважил их просьбу.

Мало-помалу он привык к звучанию зумейры и, имея в избытке свободное время, осваивал ее, наигрывая песни длинные, протяжные. Оттого, что душа Гришина пребывала в удручении, песни выходили гнетущими, переполненными жалобами и причитаниями, мольбами о милосердии. Приучив пальцы и губы к игре на этом двухтрубном инструменте, Гриша начал выводить мелодии, похожие на русские песни, которые он столь ловко и легко извлекал из обыкновенной флейты, когда был совсем мальчишкой. От этакого союза, порожденного обстоятельствами тех дней, и родились на свет беспородные песни-дитяти с украинской мелодикой и гармонией, и диким бедуинским голосом. Резкость звуков отражала внутреннее состояние, а шелест русских верб, которыми полнились напевы, ласково убаюкивал мятущуюся душу, в то время как мошкара палестинской пустыни бередила ее зыбкую умиротворенность. Тому, кто не слышал Гришиных песен, не понять прелести такой музыки. Ну а тот, кому посчастливилось услыхать их, эти песни конца тридцатых годов, названные Песнями Родины, мог воздать им должное. Песни Родины состояли в основном из смеси рыгания и икоты вперемежку с завываниями вроде «ой-ой-ой» и «ай-ай-ай». Песни Гриши Левина стали своеобразным костяком, фундаментом музыкальной культуры нашего времени. Он, так сказать, явился первым среди композиторов, сблизивших Запад с Востоком. Так по крайней мере написано во всех учебниках.

Происходило все это примерно за полгода до возвращения изгнанников в Тель-Авив. Жители палаточного лагеря, мягко говоря, гнушались Гришиной флейты. Однажды кто-то забрался в палатку сочинителя и умыкнул зумейру. Правда, на сей раз Грише не пришлось долго искать — обломки инструмента валялись тут же, возле палатки.

После войны Тель-Авив вновь принялся отстраиваться, и Гриша вернулся к своим известке и песку, основным строительным материалам, из которых и возводился город. Так он работал год за годом

сколько хватало сил, пока мир не сотрясся внезапно от жутких, захлебывающихся ударов надорванного сердца.

Врачи обследовали Гришу и запретили ему заниматься физическим трудом. С этим предписанием он и отправился в Гистадрут [3] для дальнейшего трудоустройства, где ему выдали анкетный лист.

В анкете Гриша указал, что владеет ивритом, идишем и русским, еще он написал, что знает нотную грамоту, играет на флейте и даже сочиняет музыку. Прямо из головы. И приписал, что был бы рад получить должность библиотекаря. Можно даже в женской гимназии. В Нве-Цедек, например.

Анкета кочевала по комиссиям, и через полгода его наконец пригласили в исполком, где он узнал, что может получить киоск с газированной водой. На улице Бренер, объяснили ему, есть точка, но если он не поторопится, место уплывет.

Гриша сказал, что не имеет ни малейшего желания торговать газировкой. На что чиновник возразил ему: это не только вода, это еще и шоколад, сигареты и марки.

Гриша стоял на своем: он хочет быть библиотекарем. Чиновник ему сказал: послушай, друг, я дам тебе совет, только не выдавай меня, понял? Принимай киоск — и получишь ссуду двадцать две лиры на покупку газового баллона, сифонов для соды, стаканов и товара на первое время. Соглашайся и бери деньги, а сам купи книг и будь библиотекарем. Только не проговорись, что это я тебя надоумил.

Поразмышляв, Гриша согласился.

Через три месяца чиновник повел его на улицу Бренер и показал новенький киоск между двумя домами. Киоск был сбит из деревянных досок, выкрашенных зеленой масляной краской.

— Вот тебе деньги,— сказал чиновник,— расписывайся и помалкивай.— После чего вручил ему ключ и оставил одного.

Битый час новоиспеченный владелец киоска топтался на тротуаре в нерешительности и смущении — входить или не входить. Внутренний голос твердил ему: что-то в его жизни свершилось или свершается именно теперь, в эту самую минуту, а вот что — необходимо понять, догадаться еще до того, как нога оторвется от земли и переступит порог этого странного сооружения.

Поскольку ничего путного в голову не приходило, Гриша решил покамест ничего и не понимать. Вставив ключ в замочную скважину, он отомкнул дверь и вошел внутрь. А войдя — понял, что же произошло в его жизни. На земле у него есть отныне свой собственный уголок, и если понадобится, он сможет здесь жить. И никакая квартирная хозяйка не посмеет выставить его отсюда, даже если он станет играть ночи напролет, даже если свет в его каморке будет гореть до самого утра.

Гриша вымерил шагами помещение и для пущей важности растянулся на полу. Он нашел, что, если расположиться по диагонали, тут вполне можно спать. Затем он осмотрел стены, прикинул ширину и высоту, подсчитал кое-что в уме и отправился на улицу Шейнкин за досками и гвоздями. Молоток и пила у него имелись — с тех времен, когда он работал на стройке.

За пару дней киоск оброс внутри полками от пола до потолка, после чего Гриша не мешкая перетащил свои книги и расставил их по местам. Он обзавелся записной книжкой с алфавитом и расписал в ней все книги по авторам. Целую неделю Гриша ходил из дома в дом в квартале Нве-Цедек, знакомом ему вдоль и поперек, и скупал подержанные книги, которые люди привезли с собой из Польши и из России. Его бывшая квартирная хозяйка и та уступила по дешевке все, что осталось от библиотеки ее покойного мужа. Вскоре полки в киоске запестрели книжными переплетами. У Гриши еще оставалась

[3] Всеобщая федерация труда, крупнейшее профсоюзное объединение Израиля.

довольно приличная сумма. Он купил фонарь «Люкс» и подвесил его на бечевке под потолком, а в довершение нарисовал на фасаде киоска, прямо над прилавком, белый квадрат и тщательнейшим образом вывел на нем надпись. Вот она:

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА.
ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НАПРОКАТ
И КУПИТЬ КНИГИ ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.
ПОКУПАЕМ ПОДЕРЖАННЫЕ КНИГИ.

В тот же день к киоску подбежали два мальчугана лет двенадцати и поинтересовались, можно ли прописаться в библиотеку. Гриша поправил их, объяснив, что следует говорить «записаться». Но имена в свою тетрадочку внес и вручил каждому по книжке. Одному достались «Соломон и Асмодей», другому — «Ящик историй» пера Егуды Штейнберга, издательство «Тушия».

— Спешу сообщить,— сказал Гриша,— что вы имеете право менять книги хоть каждый день, но при условии, что прочтете их. Я буду экзаменовать вас, и тот, кто не сумеет правильно ответить на мои вопросы, вернется домой дочитывать.

В Гришином кармане осталось теперь восемьдесят грошей. Он пошел на улицу Алленби и купил за тридцать грошей флейту.

Той ночью он преобразовывал в мечтах свой жизненный уклад, надеясь и на брачные узы с обладательницей души мягкой, отзывчивой. Если повезет, конечно.

Кроме небольших погромов, которые устраивали арабы в Яффе и Тель-Авиве, ничего особо впечатляющего в начале двадцатых годов не происходило, и поэтому Гриша мог спокойно трудиться на своем поприще без существенных отклонений от намеченной программы.

К двум юным первопроходцам, что проторили тропку к его библиотеке, добавилась еще дюжина вихрастых мальчишек. Да и среди людей взрослых и совсем уж почтенных старцев было немало Гришиных завсегдатаев.

За четыре года своей просветительской деятельности Гриша убедился, что одним прокатом сыт не будешь. А потому пополнил запас книг на продажу, в том числе и учебниками, но главным образом сборниками стихов на иврите, изданными за границей. Поклонников поэзии в Тель-Авиве была тьма-тьмущая, и возле его киоска всегда толпилось человек двадцать, и все по поводу стихов. Очень скоро выяснилось, что многие из них и сами пописывали, кто для себя, а кто и для других. Причем те, что относились ко второй категории, пользовались известностью, и если Гриша кого-то не узнавал в лицо, спешили представиться ему по имени-фамилии. С этими, последними, и говорить-то боязно — знаменитости! Зато с другими, непризнанными, которые шепотом, застенчиво опуская глаза, поверяли Грише свои литературные пристрастия, он очень быстро сдружился. В большинстве своем безработные, они торчали у киоска целыми днями, обсуждая литературные проблемы. Одному из них Гриша особенно симпатизировал, он рассказал ему, что и сам пишет стихи и музыку к ним.

— Откроюсь тебе, как открылся Иосиф братьям своим. Ведь все мы — братья-поэты.

Звали Гришиного друга Мешулам Агалили, в те времена он был не последним человеком в Палестине: прокладчик шоссейных дорог, один из руководителей социал-сионистов и видный мыслитель. Правда, когда Гриша с ним познакомился, Мешулам Агалили был безработным и проживал у портнихи с социалистическими убеждениями, которая уже тогда разглядела все его достоинства и благоговела перед ним до такой степени, что предоставила ему бесплатный пансион

чуть ли не на год. Спустя много лет Мешулам Агалили упомянет о ней в одной из своих книг, отметив, что, если бы не эта женщина, настоящая публикация никогда бы не увидела свет.

Мешулам и Гриша подолгу беседовали о том, как меняется еврейский народ, воспрянувший для возрождения. Новый друг убедил Гришу, что истинная революция совершается здесь, в Палестине, а не в России.

В заключение каждой такой беседы Мешулам уносил с собой несколько поэтических сборников, а к ним какое-нибудь «умственное» чтиво. Гриша не брал денег за прокат, и если Мешулам забывал вернуть книжонку-другую, Гриша даже не намекал ему об этом. Дружба для него была важнее. И еще он знал, что люди духовного склада рассеянны и страшно забывчивы.

Как-то раз, это было в конце двадцатых годов, произошло событие, коего Гриша не только не планировал, но ни о чем подобном не мог и мечтать.

Некто с голубыми глазами на улыбчивом круглом лице, с плешью, с черной тростью в руке, слегка отдуваясь, подошел к киоску.

— Я вижу книги,— произнес незнакомец,— а к книгам я иду.

Он пожелал узнать, что имеется в закромах сей торговой фирмы, и Гриша обстоятельно отвечал, описывая свой товар и перечисляя его достоинства.

— Что, к примеру, есть у господина из новой ивритской поэзии? — полюбопытствовал посетитель.

Гриша тотчас достал с полок и выложил на прилавок с десяток изданий. Человек осмотрел переплеты, полистал книги и даже понюхал страницы. Лицо его просияло. Он отобрал для себя две книги — «Перед вратами тьмы» Давида Фогеля и «Анакреон на полюсе скорби» Ури Цви Гринберга.

— Сколько стоит? — спросил он.

Гриша назвал цену, и человек прищелкнул языком, словно не ожидал, что она так высока.

— А известно ли господину, кто я? — улыбнулся он.

Гриша взглянул на незнакомца, щурясь от света. Невольный крик вырвался у него — он узнал гостя.

— Господи! — воскликнул он.— Да это же сам Хаим Нахман Бялик, национальный поэт! [4]

— Верно.— сказал Бялик.— Ну вот, теперь мы знакомы.

Гриша принялся извиняться, что не вынес своему знаменитому гостю стул. Он кинулся высвобождать табуретку из груды книг, которыми был завален пол, и через окошечко протянул ее Бялику. Национальный поэт показал рукой, что это, мол, совершенно излишне.

— Итак,— продолжил он,— сколько я должен?

— Я не знал,— мямлил Гриша,— как же это я не узнал?.. Я, право, так сожалею... А книги... эти книги от меня господину в подарок, пожалуйста...

Господин Бялик выразил Грише свою признательность и сунул книги под мышку. Опасаясь, что встреча может на этом и закончиться, Гриша торопливо заговорил:

— С позволения господина хочу представиться... Я уже открылся одному человеку, как открылся Иосиф братьям своим. Конечно, я человек маленький, но и я в пору вдохновения, так сказать... я стихи сочиняю. Вот.

Господин Бялик улыбнулся радушнейшим образом и осведомился, как зовут его коллегу.

— Вы, голубчик, зашли бы ко мне,— молвил он. Гриша даже ушам

---

[4] Хаим Нахман Бялик (1873 — 1934) — крупный поэт и общественный деятель. На склоне лет эмигрировал из России в Палестину, где занимался культурно-просветительской деятельностью. Основал Союз ивритоязычных писателей Палестины, впоследствии — Союз писателей Израиля.

своим не поверил. Уж не пригрезился ли ему сон наяву? — Милости прошу, но не раньше захода солнца.

— Ну что вы, я подожду.

И знаменитость ушла.

На следующий день Гриша запер киоск примерно за час до заката, отправился домой и хорошенько побрился. Он долго рылся в своих бумагах, выбрал наконец три стихотворения и, захватив с собой флейту, отправился к Бялику.

Поэт приветствовал его рукопожатием:

— Входите, друг мой, входите! — После чего они поднялись на второй этаж.

— Меня зовут Гриша Левин,— отрекомендовался Гриша и осмотрелся вокруг.

— Как же, как же, господин Левин, вчера мы уже представились друг другу,— мягко отозвался Бялик.— Присаживайтесь, дружище, присаживайтесь.

— Я вот,— Гриша сел и протянул ему флейту,— заодно и инструмент с собой прихватил... У меня и музыка, так сказать, к стихам имеется.

Бялик взял в руки флейту, с неподдельным изумлением осмотрел ее и положил на стол, подальше от себя.

— Это пока оставим,— сказал он.— Прежде всего прочтем то, что написано на бумаге. Ведь на этой штуке слов не сыграешь, а? Зато стихи могут обойтись без нее, господин Левин. Прошу, дорогой мой, показывайте, с чем пожаловали.

Гриша безмолвно протянул ему три листка и опустил глаза. Бялик разгладил их и погрузился в чтение. Он вчитывался в каждое слово, в каждую строчку, затем начал читать по второму, по третьему кругу. Сняв с носа очки, он в упор посмотрел на гостя и произнес сдавленным голосом (как показалось Грише):

— Встаньте, молодой человек!

Гриша, вконец обескураженный, решил, что его выставляют за дверь, и вскочил на ноги. В мозгу его сверкнула мысль, что если Бялик намерен спустить его с лестницы, то он должен хотя бы успеть спасти флейту.

Бялик же поднялся, энергичным шагом подошел к Грише и, крепко обняв его, расцеловал в обе щеки.

— Да встал на Израиле новый поэт! Отныне! — торжественно провозгласил он.— И скажи своим друзьям: Бялик признал его! Дорогой мой друг, блажен тот, кто родил тебя! Садитесь, садитесь, чай будем пить. Вот только Равницкий придет, и будем пить чай.

Тут Бялик вспомнил про флейту, сиротливо лежавшую на столе, и сказал:

— Ну, а теперь валяйте на флейте. Такому, как вы, можно.

Только сейчас он заметил, что Гриша сидит на стуле с безвольно опущенными руками и плачет.

— Чтоб я провалился! Что же я сделал-то с тобой! — воскликнул национальный поэт, явно испытывая удовольствие.— Ну ничего, ничего, это от радости. Плачь себе, милый, плачь, дичок непривитый. Не каждый день рождается настоящий поэт. Человек, появившись на свет, начинает свою жизнь с плача. Так заведено, и так должно быть... А теперь слушай, Левин мой, слушай. Стихи эти мы напечатаем, непременно напечатаем. Об этом позабочусь я. А сейчас поиграй уже.

Дрожащими руками Гриша взял инструмент. Бялик внимал, смежив веки. Время от времени он приоткрывал один глаз, и во взгляде его читалось тихое изумление. Ведь Гриша играл те самые напевы, что родились в его сердце из первобытных воплей зумейры и всхлипываний украинской плакучей ивы. Бялик никогда не жил в Одессе и к подобному не был готов совершенно. И все же давно отошедший от дел старик Бялик почувствовал, что слух его улавливает нечто но-

вое, не абсолютно новое, ведь основа-то — русские и украинские песни, но именно из этой почвы тянется смелый росток, чтобы расцвести невиданными цветами.

— Немузыкальный я,— признался Бялик Грише, когда тот кончил играть,— но скажу тебе, что наверно-таки я понял твою игру. И даже если мне не дано понять ее до конца, то все равно она прекрасна! Однако не будем входить в подробности... Что-то Равницкий запаздывает, прямо я не знаю. Давно бы должен быть здесь... хм... А теперь давайте попрощаемся. И будь уверен, и не сомневайся, что стихи твои увидят свет, да! И еще: приходи ко мне, голубчик. Приходи.

Бялик направился к книжному шкафу, достал оттуда сборник «Все стихи Бялика» и сделал дарственную надпись.

— Это вам. Вы мне подарили книги, теперь — мой черед.

Национальный поэт вложил подарок прямо в руку трепещущему Грише и проводил его вниз, к входной двери. На пороге Гриша вспомнил, что собирался сказать своему новому другу одну чрезвычайно важную вещь.

— Я хочу, господин Бялик... я хочу сдержать клятву, которую я дал... Если здесь, в Палестине, что-нибудь мое напечатают, пусть имя автора будет не Гриша Левин, а ивритское. Я уже выбрал: Аяль Тэилим. Всем существом я желаю этого.

Бялик задумчиво усмехнулся и отвечал, что Аяль Тэилим — это не только смешно, но даже отчасти напыщенно. Тэилим — слово ведь очень значительное, быть может, чересчур значительное для простого смертного. Но Гриша так умолял, что поэт пообещал выполнить его просьбу.

Когда прощались, Бялик еще раз чмокнул его в щеку, на счастье.

Гришины стихи опубликовали в газете «Апоэль ацаир», и он купил два экземпляра и отослал один своим родным в Россию. Несколькими часами позже счастливый автор взахлеб рассказывал Мешуламу Агалили, что за него хлопотал сам Бялик.

— Он раздает рекомендации направо и налево,— презрительно процедил Мешулам.— Любой, кто имел честь побывать у него в гостях, выходил оттуда титулованным гением.

Однако тот номер газеты Мешулам Агалили все же просмотрел и со стихами ознакомился.

— Нельзя утверждать категорически, что это бездарно,— высказался он,— но и от славы слишком одуревать тоже не следует. Во всяком случае, я тебя поздравляю. Приходи-ка вечером в «Снег Ливана», и отметим это дело.

В кафе «Снег Ливана» Гриша встретил почти всех завсегдатаев своего киоска и еще нескольких людей, которые таковыми не были, поскольку получали книги прямо из издательств. Это были маститые поэты, имена их знал любой ребенок. Гриша подсел за столик к Мешуламу, и тот заказал официанту две рюмки коньяку и номер «Апоэль ацаир».

— Господа! — произнес Мешулам с пафосом.— Господа, прошу минутку внимания и тишины. Я предлагаю поднять бокалы в честь нашего нового друга, который сегодня пополнил наши ряды... Гриша Левин, вот он сидит здесь, перед вами... С вашего позволения Гриша прочтет что-нибудь из своих стихов. И сыграет для вас на флейте, потому что он не только поэт, но и композитор... Просим, Гриша, просим.

— Позвольте,— раздалось за соседним столиком,— да я его знаю! Это тот, из книжного киоска, возле кооперативной столовой.

— Ну и что? — возразили сидящие за другим столиком.— В Израиле не счесть пророков.

— Друзья,— вмешался третий,— дайте же мне сказать... сейчас вы узнаете, с кем имеете дело...

Сам не свой от страха Гриша пролепетал Мешуламу на ухо, что сейчас он ну ни на что не способен. Быть может, Мешулам будет так добр и сам почитает Гришины стихи. Тот мгновенно согласился, развернул газету и принялся декламировать. Стихотворение «Рахель» было не слишком длинным, и общество прослушало его до конца. Но когда Мешулам собрался читать дальше, его перебили:

— Сначала пусть сыграет. Ты ведь говорил, что он еще и композитор.

Гриша достал из внутреннего кармана пиджака флейту и приложил к губам. Тишина упала на маленькое кафе, и когда последний звук растворился в воздухе, даже легкий вздох не нарушил ее. Мешулам первым отважился взломать лед безмолвия:

— А Бялик и музыку твою слышал, да? И что он о ней сказал?

Кафе сразу же наполнилось оживленными голосами:

— А-а, так он из Бяликовых подопечных? Я сразу догадалась...

— Еще один получил рекомендательное письмо. Вот только не припомню...

— Слушай, приятель, а Бялик не говорил тебе, что ты певец израилев?

— От нас секретов быть не может. Выкладывай, как ты к нему попал!

— Редактор «Апоэль ацаир», он тебе часом не дядюшка?

Мешулам Агалили поднялся со своего места и потребовал полной тишины, а когда суматоха улеглась, начал:

— Ну что вы, друзья мои! Как же можно, в самом деле, так накидываться на новорожденного поэта! Он делает свои первые шаги, но рекомендация Бялика — вовсе не подачка нищему. Я ведь не говорил, что перед нами — корифей еврейской поэзии, сказал только, что к нам присоединился новый голос и должно прислушаться к нему, ни в коем случае не пренебрегать им. Как знать, в один прекрасный день он оперится, встанет на крыло и осознает то, что ныне пока не в состоянии постичь. Итак, поднимем бокалы!

— Насчет бокалов — вот это вовремя,— заметил кто-то и поднял повыше рюмку с коньяком.— Можно выпить за здоровье Бялика. Как-то раз, помнится, с его пера сошли недурные стихи. Так за него!

— Здоровье Бялика! — подхватили все.

— За твое здоровье, Гриша, Звезда Киоскеров! — крикнул поэт с невероятно пышной шевелюрой, обрамляющей крошечное, с кулачок, личико.— Да познаешь ты успех и станешь великим издателем, и тогда мы придем к тебе предлагать свои бессмертные опусы!

— Твое здоровье! — пропел другой поэт, он уже был навеселе.— Что ж ты не привел к нам свою Рахель? Мы бы посмотрели, подходящий ли у нее бюст. И цена на нее о-ох как подскочила бы!

— За твое здоровье, Гриша Тэилим,— донеслось откуда-то из глубины кафе.— А Гриша-Псалтирь тебя не устраивает? Или Гриша-Екклесиаст? А почему бы не Гриша-Книга-Судей? А может, Гриша-Послание?

— Гриша-Плач-Иеремии! — предложил кто-то.

— Гриша-Разгадчик-Снов, Гриша-Ноев-Ковчег, Гриша-Лестница-Иакова, Аяль-По-Колено-Чермно-Море-Переходященский!

Мешулам Агалили попытался было угомонить разудалую стихию, но, видя всю тщетность своих усилий, обратился к Грише:

— По правде сказать, Аяль Тэилим — это действительно слишком.

Гриша затравленно молчал, глаза его были устремлены на дверь, но вот так встать и уйти не хватало смелости.

Тут к нему подошел молодой человек с копной вьющихся волос над выпуклым лбом, напоминающим четвертушку арбуза, и сказал:

— Знаешь, старина, не обижайся на болтовню наших. Здесь все так друг с другом, и ты тоже привыкнешь. А в следующий раз, когда придешь, присоединяйся к честной компании и всаживай шпильки в кого понравится. Что же касается твоих песен и стихов, то они просто замечательные. Браво! А смеяться скоро перестанут, поверь.

Он хлопнул Гришу по плечу, потрепал по щеке и вышел.

Никогда больше не переступил Гриша порога кафе «Снег Ливана». Долгое время ему даже не писалось по ночам. Он уходил из дома и бродил по улицам, держась подальше от побережья, где в «Снегу Ливана» служители муз правят свой бал.

Как-то раз, это было летом в канун субботы, он плелся по улице Монтефьори на угол Карла Нетера. Звуки фортепиано, что доносились из квартиры на первом этаже, заставили его очнуться. Заслушавшись, он прислонился к ограде дома. Неумелые руки вновь и вновь возвращались к первым тактам бетховенской «Элизы». Повторения не обескураживали исполнительницу, что терпеливо разучивала эту незатейливую мелодию. Скорее всего, подумалось Грише, девушка, играющая на фортепиано, добродушна, безмятежна, жизнерадостна, и есть в ней долготерпение, присущее людям жалостливым, мягким и добрым.

В соседнем доме открылась дверь, и в залитом светом проеме Гриша увидел, как хозяева провожают гостей. Они обменивались словами благодарности и целовались на прощание. Женщина взяла мужчину под руку; поравнявшись с Гришей, они молча посмотрели на него и пошли дальше, что-то нашептывая друг другу. Женщина сказала своему спутнику:

— Может быть, и да... Всегда...

На втором этаже зажгли свет, и женский силуэт возник в окне. Очевидно, Гришу заметили, потому что силуэт пропал, а спустя мгновение показались уже две тени — мужская и женская. Какое-то время двое, защищенные каменной стеной, разглядывали его, а потом задернули шторы. И ни на минуту корявые пальцы не переставали терзать клавиатуру с застрявшей в ней мелодией. С железнодорожной станции подавал голос паровоз — по-видимому, он перегонял вагоны с одного пути на другой и снова возвращался, пыхтя и отдуваясь. Гриша с тоскливым безразличием размышлял о девушке, упражняющейся на фортепиано, об ее ухоженных косах — она, конечно же, моет волосы горячей водой,— об ароматах субботней трапезы, не успевших выветриться в ее квартире, и думал, что, наверное, уже никогда не женится. Пыхтение паровоза и гомон на станции неподалеку напомнили ему город его детства там, в России, и на миг улица Карла Нетера представилась ему далеким переулком, где стоял их дом. В мозгу его забрезжила смутная догадка, что, оторвавшись от родительского дома, он приговорил себя к преждевременной смерти. Карéт — преждевременная смерть — библейское слово, страшная кара, положенная за тяжкие грехи. А отверженность — сродни ей. Гриша убеждал себя, что произошла ошибка, не настолько он грешен, и вместе с тем понимал, что должен покориться судьбе, ибо любые оправдания тщетны, да и выслушать их некому. Почему, недоумевал он, ну почему ни одно живое существо не откроет окно или дверь? Не удивится, отчего человек торчит на улице? Почему не задаст хоть какой-то вопрос? Он, Гриша, ответит, вежливо и охотно. Ведь можно же поинтересоваться, не желает ли он чашечку чая. Можно просто спросить, как его дела, не нужно ли чего — спичек, например,— проявить хоть капельку участия! Любая тема подойдет, а Гриша ответит. Глядишь, слово за слово — и разговорятся. Нет, не откроют эти люди ни окна, ни двери. Наоборот, запрутся поглуше. Есть в этом какая-то жестокость, притом совсем неоправданная.

Отделившись, наконец, от ограды, Гриша вдруг почувствовал, до чего он устал. Сердце его вновь стиснули разочарование и обида. Раз так, он немедленно вернется домой, к своему столу, к перу и бумаге — они заждались его! Звуки фортепиано проводили Гришу до угла, даже немножко дальше, но он упрямо повторял про себя суровые слова по адресу пианистки: нет, не про меня все это, ни ты, ни твоя игра. Возможно, они и задели ее самолюбие, но повинен в том не Гриша. Он всей душой желал этой дружбы и даже на большее был готов...

Дома он вновь открыл свою тетрадь и поднес к губам флейту. Песня «Карет» родилась именно в ту ночь.

Минуло несколько лет. Как обычно, Гриша открыл утром свой киоск. На улице Бренер показался пожилой человек, одетый в русскую рубашку, подпоясанную шнуром. Он подошел к киоску и сказал:

— Сдается мне, что десять лет тому назад тебя поставили здесь торговать газированной водой. Помнится, я был в той самой комиссии, утвердившей тебе ссуду. А это что? Неужто газировка?

Гриша что-то сбивчиво залепетал. Для человека в рубашке все это звучало крайне неубедительно, и он упорно твердил про какое-то доверие, которое якобы Грише было оказано. Человек напирал, и Гриша решительно запутался в ответах. Кончилось тем, что он проговорился: сам он писатель, в его жизни книги — это все, а от газированной воды у него изжога.

— А-а, ну так это же совсем другое дело,— потеплел старик.— Вы печатаетесь?

Гриша рассказал о стихах, опубликованных в «Апоэль ацаир», на что старик ответил, что сие требует проверки и комиссия займется этим вопросом.

Спустя несколько дней возле киоска появился обладатель кудрявой копны над выпуклым лбом — тот самый, что утешал Гришу в «Снегу Ливана» и пытался его ободрить.

— Так это вы? — радостно воскликнул он.— А я здесь с официальной миссией, от исполкома. Меня прислали как раз по поводу стихов. Вы бы мне дали что-нибудь из ваших сочинений, а я уж обстряпаю все как надо.

Гриша уверил ревизора, что через два дня представит «вещественные доказательства». А Гриша — человек обязательный. Вернувшись к себе, он переписал с десятка два стихов и даже приложил к ним нотный текст. В глубине души он был безмерно счастлив, что единственный праведник в этом содоме, в «Снегу Ливана», прочитает их и выскажет свое мнение.

В результате всех этих перипетий увидел свет сборник Гришиных стихов. Здесь сыграло роль не столько снисходительное отношение комиссии к автору, сколько ходатайство доброжелательного посредника перед издательством при «Совете трудящихся матерей». Итак, стихи были опубликованы, причем с нотным приложением. Орнамент на переплете принадлежал кисти Гершона Корнфельда, его же рукой была сделана инкрустация: шут, бьющий в огромный барабан, который висит у него на животе. Шуты и барабаны — это был конек Гершона Корнфельда, но Гриша не судил слишком строго. Впрочем, так ему и советовали.

Книга эта с пламенеющим на обложке названием «Карет» вышла тиражом в семьсот пятьдесят экземпляров, по два гроша за штуку. Семь экземпляров Гриша получил бесплатно, а еще пятьсот купил за полную стоимость, правда в рассрочку. Оставшиеся двести сорок три экземпляра распределились между несколькими магазинами, где и осели на полках и в подсобках, после чего следы их затерялись. Судьба же пятисот сложилась удачнее. Заняв свое место на полках Гришиного киоска, они постепенно находили своих покупателей.

Все восемнадцать лет, пока существовал киоск, Гриша бесперебойно торговал сборником стихов под названием «Карет».

Его охотно покупали молодые парни и девушки, любители поэзии, которые забегали поинтересоваться, что новенького на книжном фронте. Иногда у Гриши даже спрашивали, кто же такой Аяль Тэилим и вообще, человеческое ли это имя. Гриша пожимал плечами и молчал, чтобы не запутаться в собственном вранье. Временами, когда попадались особенно дотошные, он отвечал: да, этот человек существует, жив-здоров, и он, Гриша, с ним лично знаком. Позже он стал говорить, что ничего о нем не знает.

В день пятой годовщины смерти Бялика в газете «Давар» появилась статья, посвященная памяти поэта; ее автор воздавал должное киту национальной поэзии и за его поддержку и чуткое отношение к тем, кто делает первые шаги на этом нелегком поприще. В статье отдельно упоминалось имя Аяля Тэилима, которого Бялик не уставал хвалить: всем, кто приходил в его дом, он показывал тонкую тетрадь стихов «того самого господина Тэилима». В конце статьи автор писал: «Я тоже видел эту книгу, «Карет», и, клянусь, немногим образцам стихотворного жанра в нашей литературе присущи такая правдивость и одновременно возвышенность, коими обладают произведения Тэилима. И потому необходимо выяснить, отчего же умолк этот голос и живет ли его обладатель среди нас. Это достойные хлопоты, весьма достойные. Так начнем же поиски, и поскорее!»

Из своего кибуца Мешулам Агалили переслал статью по почте прямо Грише в киоск. Гриша выучил ее наизусть, после чего сложил вырезку вчетверо и засунул во внутренний карман пиджака. Теперь-то он найдет что сказать своим покупателям, если к нему начнут приставать с расспросами. Но никто его ни о чем не расспрашивал.

Вторая мировая война уже перевалила за середину.

Гриша сидел в кооперативной столовой, а из радиоприемника рвалась песня. Его песня — Гриша узнал ее.

Однажды, ближе к вечеру, к киоску подошли два молодых человека, оба в очках, и поинтересовались, правда ли, что они могут приобрести у него книгу под названием «Карет» Аяля Тэилима.

Гриша встал на табурет:

— Вам одну или две?

— А у вас что, их много? — восторженно вскричали покупатели.— Мы берем все!

— Больше двух не продам,— буркнул Гриша, сам не понимая, что побудило его так ответить.

— Две, так две,— согласился парень.— И как это она у вас завалялась? Мы уж больше года за ней гоняемся.

— А зачем она вам понадобилась? — осторожно спросил Гриша.

— Ее нигде нет,— объяснил тот,— а мы хотим размножить для семинара.

— Размножить,— задумчиво протянул Гриша. Но тут же встряхнулся: — Что ж, размножайте.

После войны жизнь потихоньку вернулась в свою колею. К тому времени у Гриши набралось уже с десяток статей, которые он аккуратно складывал в ящик стола. И в каждой — а все это были хвалебные отзывы на «Карет»— высказывалось предположение относительно источника вдохновения коему обязаны рождением своим эти странные стихи, которым нет аналога в «нашей новой поэзии». Одна статья утверждала, что под псевдонимом Аяль Тэилим пишет известный поэт, из упрямства не желающий открыться. В редакцию пришло письмо от видного общественного деятеля Мешулама Агалили, в котором он уверял, будто бы много лет назад знал Аяля Тэилима; он написал ему, пытаясь возобновить их дружбу, но ответа не получил.

В целом из этих сведений можно было почерпнуть, что человек этот эмигрировал из России незадолго до первой мировой войны и, возможно, здравствует по сей день, хотя и предпочитает оставаться инкогнито. Но это его право.

В один из вечеров, заперев киоск, Гриша собрался поужинать в кооперативной столовой. На входной двери красовалась записка, гласившая, что столовая закрыта по случаю банкета — чествования бригады военнослужащих, уволившихся из британской армии. Гриша пошел в столовую напротив. Он уже заканчивал свой ужин, когда услышал шум, доносящийся из распахнутых окон кооперативной столовой. Гриша побледнел. Несколько сотен человек горланили там его «Рахель». Он расплатился и торопливо вышел на улицу.

Прислонившись к стене, Гриша неподвижно стоял в темном подъезде и слушал. Долгие годы следил он за творческой карьерой Аяля Тэилима и почти свыкся с ощущением, что сочинитель всех этих стихов и мелодий был некогда близким ему человеком, можно сказать, плоть от плоти, кровь от крови его. Но все это в прошлом, и если он до сих пор не забыл об Аяле Тэилиме, то лишь потому, что они были настолько близки друг другу. И вот теперь он, Гриша, прячется в подъезде чужого дома, а Аяль Тэилим наваливается на него всей мощью людского песнопения, накрывает собой всю улицу, может даже весь город, и нет от него спасения! Гриша был повержен и раздавлен. Ему представилось, как гулким шагом он пересекает улицу, рвет на себя дверь и взывает к пирующим. Он говорит им: люди добрые, братья мои дорогие, вот я стою перед вами, кланяюсь вам, как когда-то в грезах кланялись мне снопы в полях. И я возвращаю вам вдвое против того, чем меня одарил Господь. Я возлюбил вас, молился за вас, подобно Иосифу, и свою музыку вложил я в ваши уста. И нет в сердце моем укора за украденную золотую чашу [5], ибо я сам положил ее в ваш мешок. Братья возлюбленные, Аяль — это я!

Гриша стоял в подъезде, опираясь о дверной косяк, и сердце его содрогалось от страшных ударов, тех самых, из-за которых он ушел со стройки. И грыжа наливалась болью — несмотря на пояс, что смастерили для него двадцать лет назад. Песню допели. Теперь кто-то произносил тост.

Гриша побрел домой. Из-за грыжи идти было трудно. Добравшись наконец до своей комнаты, он лег в постель, но сон не приходил — в лежачем положении мучило сердцебиение.

Наутро он пошел не в киоск, а к врачу, где его осматривали целый час и направили прямо в больницу. На следующий день его прооперировали. Придя в себя после наркоза, он увидел перед собой розовое женское личико — красивая женщина в белом сказала, что больше ему беспокоиться не о чем, грыжа уже не вылезет.

Гриша глядел на сестру милосердия и вдруг, неизвестно отчего и почему, заплакал. Женщина склонилась над ним, вытерла слезы и погладила его по щеке.

— Я автор «Карет»,— прошептал Гриша.

— Да-да,— кивнула сестра,— конечно-конечно. А теперь давайте-ка не будем плакать. Вы совершенно здоровы и через недельку-другую вернетесь к своей работе.

Прошли годы. В то лето, памятное войной за независимость, «Рахель» пели буквально все. Нашелся журналист, который не поленился и быстренько разыскал Аяля Тэилима. Им оказался не кто иной, как продавец подержанных книг в киоске рядом с кооперативной столовой на улице Бренер. Журналист прямо-таки обрушился на Гришу со своим фотоаппаратом и вопросами и за какой-то час выжал из него

[5] В Библии, в Первой книге Моисеевой,— серебряная чаша.

максимум информации. Относительно Рахель Гриша мог сказать только то, что она была очень красивой девушкой и училась в гимназии в Нве-Цедек, а было это в 1913 году. Предприимчивый газетчик добрался до архива женской гимназии, где откопал фотоснимок тех времен и принес его Грише. Киоскер без труда признал девушку. Под снимком значилось: Нехама Штейн. В душе Гриша был благодарен тому, что имя Рахель — плод его воображения. Ну а журналист продолжал расследование, пока не выяснил, что девушка эта давно вышла замуж и даже успела овдоветь и теперь она — владелица брачной конторы на улице Алленби, и нынешнее ее имя — Нехама Блайберг. Вскоре в одной из вечерних газет появился очерк с разгадкой тайны «Рахели» и фотографиями героев песни.

Грише не терпелось взглянуть на свою возлюбленную тридцатипятилетней давности. Он подсмотрел, как она выходит из своего заведения, а потом вернулся домой.

Вечерело. Несмотря на то что в желудке было пусто, голод не мучил Гришу. Но даже если бы он и проголодался, кусок бы не полез ему в горло. Одно, нет, целых два дела хотелось сделать Грише сейчас же, немедленно. Он достал из-под кровати сверток, где лежали талит и тфилин, которые он получил от родителей, покидая их дом. Все эти годы они валялись там забытые, и вот теперь настал их час.

Медленно брел он к старой синагоге, знакомой ему с того самого дня, как прибыл он в Палестину,— к зданию с широкими ступенями, расположенному совсем рядом с женской гимназией в квартале Нве-Цедек. Постояв у подножия лестницы, паломник окинул ее взглядом снизу вверх, и вспомнил медсестру, что гладила его по щеке в больнице, и спросил у нее: ну что, милосердная сестра, ведь ты уверяла меня, что я буду совершенно здоров. Где же оно, здоровье, и как я одолею эти ступени?

Он все-таки одолел их и возложил сверток на порог величественного храма. Более этого он не мог сделать для отца и матери.

Домой он вернулся поздно — дорогой останавливался и везде, где ему попадалась скамейка, садился. Разок даже присел на край тротуара. Войдя в комнату, он подумал, что неплохо было бы сварить чашечку кофе, но кофе не было. Он подошел к столу, взял бумагу и ручку и сел писать:

И открылся Иосиф братьям своим...
И открылся Иосиф братьям своим...
И открылся Иосиф братьям своим...
И открылся Иосиф братьям своим...
И открылся Иосиф братьям своим...

Две с половиной страницы были исписаны бисерным почерком, каким писали те, кто учил иврит в пору детства там, на родной чужбине, под крышей отчего дома. Строки эти — единственное, что осталось от наследия поэта.

БАРБАРА ГУР

Подсмотреть

У нее соблазнительный зад, отметил про себя Офер, вынимая из ящиков книги и расставляя их по деревянным стеллажам, опирающимся на красные кирпичи.

Эту комнату он нанял накануне. Ему понравилась мысль — обосноваться в этом дворе, который граничит с религиозным кварталом Иерусалима. Было что-то притягательное в здешних людях, спрятав-

шихся в свои одежды, как в кокон, и это что-то требовало объяснений. Ему удалось сторговаться на вполне разумной цене — принимая во внимание, что́ делалось последнее время на квартирном рынке. Тут будет мастерская, обитель неизбывного вдохновения, думал он, прислоняя к южной стене одну за другой рамы в парусиновых чехлах.

За окном напротив соседка взбивала перины. В пропорции с мощными бедрами талия ее казалась даже тонкой. Сколько ей может быть лет — при такой ораве мельтешащих детишек? То и дело появлялись все новые рожицы, обрамленные вьющимися каштановыми пейсами. А вон и девочка, нет, две — в черных длинных чулках и фланелевых платьицах, которые им чересчур велики. Ну и одежка для лета!

Из соседкиного жилища тянуло приятными запахами. Сегодня пятница, и он размышлял о том, что вкусной домашней пищи не ел, пожалуй, лет сто.

Один из малышей уцепился за желто-коричневое полосатое платье матери, бойко лепеча на идиш. Офер пожалел — и не в первый раз,— что в детстве невнимательно вслушивался в речь своей бабушки. С его родителями она разговаривала именно на этом языке. Теперь ему становилось все очевиднее, что от него ускользает что-то существенное. Хотелось понимать, о чем они говорят.

Тяжкая жара давила. За окном — замкнутое пространство двора. Офер отвернул кран, и в пиалу из сложенных ладоней лениво потекла тепловатая струйка. Напора нет, вздохнул он, невесело рисуя себе, как он будет мыться в своем новом жилище под единственным краном с насаженным на него огрызком резинового шланга.

Голод погнал его на улицу. Перепрыгнув сточную канаву, пересекающую тротуар,— потом три ступеньки вниз мимо арки, отделанной рустиками,— оставив позади улицу Меа Шеарим, он направился к небольшому торговому центру, где приютилось несколько бистро. Таксисты коротали время за пластмассовыми столиками в обществе двух стеклодувов — он их знает — и рабочих из типографии, о чьем ремесле можно сразу догадаться по запятнанным краской синим халатам.

Мухи сновали на бреющем полете над ватрушками и банками консервов, и он поспешил заказать фасолевый суп и хумус[1] с лепешкой и солениями.

Бинго, местный прихлебатель, мальчик на побегушках для всей округи, подошел стрельнуть сигаретку, не забыв при этом предложить свои услуги. Офер сказал: нет, единственную проблему — перетащить двуспальную тахту, кирпичи и доски для временных стеллажей — он уже решил самостоятельно, а если что-нибудь потребуется, он свистнет. «Временных, это как это?» — хихикнул Бинго и, не дожидаясь ответа, услужливо кинулся к посетителю, которому понадобилось купить газету в близлежащем киоске.

— Мой младший брат хочет стать учителем,— возвратившись, сообщил он Оферу и, положив в карман мелочь — вознаграждение за труд,— улыбнулся в два ряда испорченных зубов.

Офер сказал, что уверен, их мама весьма благожелательно отнесется к этому.

— Конечно, конечно, благожелательно,— согласился Бинго.— Я тоже одобряю. Чтоб не думали, что только ашкенази[2] всех учат. Мы тоже можем. А вообще-то у меня много друзей ашкенази...

— Ну не только ашкенази,— успокоил его Офер.— Кстати, президент не из ашкенази.

— Да, президент из наших,— поддержал его Бинго с явным удовольствием и тут же вспомнил, что должен бежать, у него есть кой-

[1] Блюдо из бобов с зеленью и пряностями.
[2] Евреи — выходцы из стран Европы и Северной Америки.

какая работенка. Он засунул еще одну сигарету за ухо — про запас — и исчез.

Офер неспешно окунул свежую лепешку в лужицу оливкового масла. В масло он добавил хумуса — получилась однородная кашица с вкраплениями паприки.

Когда он возвращался в мастерскую, квартал уже вовсю готовился встречать субботу. Душу его согрело приятное чувство: теперь раз в неделю — каждую неделю — будет праздник! Это — событие, особенно для человека, в жизни которого праздник — явление почти незнакомое, даже чуждое. Пожалуй, за исключением пасхи, да и та — с ноткой аскетически-светской сдержанности. Он вспомнил, как его дядья приходили к ним на пасхальный седер[3] и садились за стол. Дядя Гершон со своей второй женой — Офер так толком с ней и не познакомился — и дядя Ерахмиель в сопровождении вечно кислой супруги Беттины, с которой при родных он не перемолвился и словечком. Отец вяло бубнил агаду[4] — до первой рюмки, а уж потом все делали вид, будто забыли, что там дальше... Даже когда мама пыталась спеть — эта песня была воспоминанием о ее кибуцной жизни,— ни один не давал себе труда подтянуть или хотя бы послушать. Все с нетерпением ждали момента, когда наконец можно будет пересесть за карточный столик.

А здесь люди надевали чистые субботние одежды, бережно снимая их с плечиков, и аромат плетеных хал с кунжутом густо стлался по улице.

Поднявшись по деревянной лестнице, Офер медленно шел по тянущейся вдоль выстроенного покоем здания открытой террасе, куда выходило множество дверей. Разномастные двери почти все были распахнуты, за порогом поблескивали еще не высохшие мыльные дорожки — своего рода демаркационные линии: тут — одна квартира, там — другая, а между ними — нейтральная полоса, бесхозный метр пыли, набравшейся за будни,— то имущество общее.

Возле его комнаты две девочки в коричневых платьях с длинными рукавами и в толстых белых чулках прыгали через резинку, натянутую поперек террасы. Завидя Офера, обе разом впорхнули в одну из дверей. Ему и самому пришлось перескочить через резинку, чтобы попасть домой.

Он сразу же принялся за дело: складывал в углу стопкой угольные эскизы, передвигал парусинные рулоны, ставил кисти в пустые консервные банки.

Развешивать свои картины Офер не стал, он хотел дождаться прихода Эфрат. Но душу его снедало нетерпение. Время бежит, в таком месте, как это, гораздо острее чувствуется, что вот-вот наступит праздник субботы. А в субботу работать нельзя — придется повременить с картинами до воскресенья.

Разумеется, при найме комнаты ему и в голову не пришло представить Эфрат как «подружку». Жена, конечно. Надо знать, с кем имеешь дело. В действительности связь их длилась всего три месяца и притом носила весьма зыбкий характер. Собственно, это и побудило их поселиться вместе. Ни у него, ни у нее подходящего жилья не было, хотя можно ли назвать подходящим жильем ту комнатку, которую они в конце концов сняли? Но здесь уже стояли ее торшер и его холсты.

Открывающийся вид начинался и заканчивался кухонным окном соседки Хирш. Вон она стоит, с безжалостно отчекрыженными волосами, спутанными и сальными от брызжущей маслом сковородки — соседка явно запаздывает с обедом. Она проводит натруженными руками по лицу, на котором не отражается никаких желаний или хотя

---

[3] Совместная трапеза, чаще всего семейная, в честь пасхи

[4] Часть Талмуда, в которой содержатся легенды и притчи

бы надежд. Она не знает, что Офер подсматривает. В этом тоже что-то есть: она, разумеется, не позволила бы на себя пялиться. Потом она засовывает палец в нос и, прикрыв глаза, целиком сосредоточивается на этом глубинном зондировании — и вот уже вытирает «полученные данные» о фартук, и с того же пальца пробует фарш.

Интересно, о чем она сейчас думает? Офер разглядывал ее с некоторым изумлением: полосатый ком, а под ним — фрагмент голых крепких ног, схваченных выше коленей резиновыми подвязками. «Композиция в духе Тулуз-Лотрека»... «Композиция в духе Офера Купеля»... Тоже звучит. Он сфокусировал свою мысль на этом сюжете, воспроизводя фон за ее спиной: небольшая квадратная комнатка, три или даже четыре маленькие железные кроватки,— впрочем, детей с тем же успехом могло быть и шестеро,— и краешек лампы, свисающей с потолка.

С женщиной все более или менее ясно. А что тем временем происходит с ним, с ее мужем-аврехом[5] в неизменном, черном, блестящем на локтях лапсердаке? Где обретается Мотл до самой ночи, когда его размытый силуэт пересекает ограниченный оконным проемом двор, проскальзывает в дверь и исчезает из виду? Откуда является он и куда пропадает? Квартиры эти тесны. Комнатка да закуток для спанья с раковиной, где и посуду моют, и тело. Есть еще туалет, один на весь этаж, в конце коридора. (Или что-то в этом роде — если Офер и сгустил краски, то самую малость.)

Но вот муж вновь появляется в поле зрения и отворачивает кран своими белыми пальцами.

Оферу кажется, что тот не просто споласкивает, а «умывает руки». Обыденные действия отца семейства буквально завораживают его, словно все это происходит на киноэкране. Мужчина снимает черную жесткую шляпу, кладет ее на что-то,— волосы выбриты под корешок, тяжелые блестящие пейсы каштанового цвета туго вьются. В соседнем окне вспыхивает нездоровый желтый свет, выставляя напоказ «альков» с двумя кроватями, сдвинутыми буквой Т. Маленькие ночные столики пусты — ни книги, ни лампы. Офер дает себе слово, что в один прекрасный день найдет повод — попросит что-нибудь, да хоть стакан сахара,— и рассмотрит все поосновательнее.

Деньги у нее, у Леа Хирш, не водились, но каждый вечер можно было увидеть, как старшие ее дети высыпают из желтого мини-автобуса, который возит учеников хе́дера и ешивы́[6] на занятия и обратно. Одеты они были как и все местные ребятишки. Это свидетельствовало о том, что община худо-бедно заботилась о неимущих — на одежду и образование хватало. Но не более того. Это и заставило госпожу Хирш искать себе приработок — убрать да постирать. Понятно, тайком от своего благоверного, который, надо думать, не пришел бы от этого в восторг.

Неделю спустя, возвращаясь из академии, Офер обнаружил, что дверь его соседа Хаима Бен-Шломо открыта. Бен-Шломо был совладельцем дома, а потому зажиточнее остальных обитателей, и выделялся даже своим обликом: короткие пейсы, вместо лапсердака — серый пиджак. Он жил со своим умственно отсталым сыном лет двадцати пяти, неполноценность которого начинаешь замечать, лишь наслушавшись сплетен от здешних кумушек. На люди сыну позволялось выходить ненадолго; выглядел же он как многие: высокий рост, гладкие волосы, большая черная ермолка. «Йосель, что ты делаешь?» — бывало, вопрошал на весь двор Бен-Шломо, заслышав звон разбиваемой посуды или другие шумы подозрительного свойства.

В дверях стояла Леа с высоко подколотой сбоку юбкой и выжимала половую тряпку в ведро — недавно она нанялась мыть полы к

---

[5] Аврех — учащийся талмудической школы.

[6] Хедер — начальная религиозная школа; ешива — религиозное училище.

Хаиму Бен-Шломо. Наверное, она еще стирала и стряпала, поскольку женщин в этой семье не было. Благодаря тесному соседству работа ее не слишком обременяла.

В открытую дверь Офер увидел застеленный старой скатертью обеденный стол и полку с книгами, правда, с такого расстояния названия было прочесть невозможно. На комоде было расставлено как попало несколько черных шкатулок. Ему не удалось рассмотреть все как следует.

— Доброе утро,— поприветствовал он Леа, хотя было уже давно не утро.

Она чуть выпрямилась, лицо ее стало пунцовым. Он еще никогда не видел, чтобы человек так краснел.

Руки ее судорожно метнулись к булавке, отстегнуть подол, но булавка не поддавалась. Черные чулки сползли, обнажив белые ноги. Она не могла не заметить его пристального взгляда.

— Ничего, ничего, госпожа Хирш, все в порядке. Не буду вам мешать,— сказал он, углядев за ее спиной Йоселя, который самозабвенно раскладывал на столе спички.

Она застыла на месте, слегка сгорбившись, чтобы хоть немножко прикрыть юбкой голые колени, и стояла так до тех пор, пока Офер не исчез за дверью своей комнаты.

Это было маленькое, не привлекающее внимания газетное сообщение, где говорилось о религиозной женщине с улицы Меа Шеарим, которую раввинский суд лишил материнских прав. Еще там говорилось, что человек, проживающий в том же квартале, посредством шантажа вынудил ее заняться проституцией. Она не выдержала и призналась, и вся история выплыла на свет божий, что немедленно повлекло за собой иск о расторжении брака и лишение ее права воспитывать детей.

В квартале не нашлось никого, кто бы рассказал подробности. Обычно, когда случаются подобные несчастья, все как по команде замыкаются в глубоком молчании, чтобы не дать повода злым языкам судачить обо всей общине. Ясное дело, в галантерейных и бакалейных лавках шептались, но только между собой, на ушко, И надо было сшивать лоскутья слов и фраз, чтобы составилась более или менее полная картина, разумеется, в высшей степени субъективная — за отсутствием сведений о достоверности не могло быть и речи.

А может, все это — одни сплетни.

Как-то Офер обмолвился Эфрат, что застал Бен-Шломо на общей террасе, когда тот ковырял тоненькой отверткой черный футляр, извлекая оттуда крохотные винтики, которые с величайшей осторожностью складывал в чайное блюдце.

— Глядите-ка,— обратился к нему Бен-Шломо,— как мудрено сработано.

— Что это? — поинтересовался Офер. Похоже, сосед был не прочь побеседовать.

— Старый фотоаппарат,— ответил тот гордо.— Купил у старьевщика, просто так, чтоб разобрать и посмотреть, как он устроен. Здорово получается — поймать картинку, как в капкан, и перенести на бумагу, чтоб осталась. Я их много накупил, за бесценок,— чем не игрушка? Нажимаешь, оно делает «клик», железные створочки открываются-закрываются, щелкают себе, а стеклышко так и блестит, если, конечно, протирать его мягкой тряпочкой...

На том их разговор и иссяк.

Хирш-муж, знаток святого писания, целыми днями отсутствовал, и кто ведает, какие мысли бродили в это время в голове у его за-

конной супруги, то хлопотавшей у себя на кухне, то орудовавшей половой тряпкой в комнате Бен-Шломо. И постоянно отирался рядом соседский отпрыск, этот огромный болван, у которого только и забот что рассматривать блестящие серебряные ложечки и играть спичками или до бесконечности драить папашины башмаки. Когда же Йосель не был занят ни тем, ни другим, ни третьим, не следил мятежно-мутным взором за комарами, лениво повисшими на потолке, глаза его приклеивались к Леа, доброй соседке, что приходит к ним стряпать и убирать, потому что нет у них мамы, которая вела бы дом.

Люди побаивались Йоселя из-за непомерных его габаритов. Кое-кто поговаривал, что Господь, отняв у него разум, в последний момент компенсировал это обилием плоти. Леа же не боялась его, а жалела. И искренне радовалась, когда он время от времени принимался смешить ее: строил рожи, размахивал руками, подражая птице, ходил на четвереньках. И если вокруг не было никого, кто мог бы услышать, переливчато, по-детски, смеялась.

Для нее он не был мужчиной — просто принадлежность квартиры, как стол с посудой или, скажем, книги, вещь непонятная, но безопасная.

В тот год лето выдалось особенно жаркое. Леа перемыла посуду и стояла теперь у раскаленной плиты, сдвинув на затылок черный шавис[7]. Ее короткие волосы причудливо топорщились, верхние пуговицы на халате были спороты, что, впрочем, от жары ничуть не спасало.

— Хочешь попробовать супчику? — обратилась она к дурачку Йоселю.

Не двигаясь с места, тот пропускает ее вопрос через свой неповоротливый мозг. Потом встает и подсаживается к ней, разинув рот и закрыв глаза. Она дует на горячее варево и пригубливает с кончика ложки, прежде чем влить его в «клюв» могучему «птенцу», не забыв бросить туда фрикадельку.

Он открывает глаза. Они задерживаются на чем-то розовом, выглядывающем из расхристанного халата. Особенно его привлекают крючки и петельки.

— Что это? — мычит он и осторожно прикасается к лифчику.— Мягкое,— добавляет не сразу.

Колени ее слабеют, ее подхватывает сладостная волна, но, вспомнив о своих прямых обязанностях в этом доме, она легонько шлепает его по руке.

— Ну-ну-ну! Фу, какой плохой мальчик!

Однако он не отдергивает руку, только слегка передвигает. Надо бы пододвинуть стул, думает Леа: приятность ощущения столь велика, что не держат ноги.

— Мягкое,— повторяет он.

В окно, выходящее на улицу, скакнул яркий солнечный луч, и дурачок сощурился.

— Отсюда идет еда для ребеночка,— объясняет она после долгой паузы, во время которой собирается с силами, чтобы взять себя в руки.— Молочко там, ты же знаешь... Все мои дети кушали отсюда,— договаривает она уже шепотом, погружая взгляд в его блестящие глаза и ощущая на своей груди тяжесть его ладони.

Все в порядке, ничего не случилось, уверяет ее внутренний голос. Не надо шептать, ничего такого в этом нет. Вокруг — ни души, а Йосель — всего-навсего большое дитя. Уж таким сотворил его Господь для неведомых своих надобностей.

— Хочешь еще ложечку? — спрашивает она. И опять — шепотом. А нега все обволакивает и обволакивает ее... Она любила детей.

— Я тоже хочу молочко отсюда,— говорит он,— тоже хочу.— Ка-

[7] Чепец, который носят религиозные женщины (может быть любого цвета).

жется, еще немного, и Йосель расплачется. Он сползает с табуретки и, став перед нею на колени, приклоняет голову к ее груди.

— Но сейчас у меня ничего там нету, потому что нету маленького. Бедненький мой,— шепчет она, гладя его по голове,— сирота несчастная, ты даже ни разу не видел груди, потому что мамочки у тебя не было.— Пальцы ее уже расстегивают розовый лифчик.

Большие теплые выпуклости опускаются прямо ему на ладони, и он щурит близорукие глаза, чтобы получше рассмотреть золотисто-коричневые соски, а потом обхватывает один из них губами и утыкается носом в пухлую мякоть. Он громко чмокает, но она этого не слышит. Она тает от безумного наслаждения, а кругом — тишина и яркий солнечный свет, какой бывает в Иерусалиме, когда дует хамсин.

Сейчас она не думает ни о том, что Йосель видит ее, видит ее всю при свете дня, ни о том, что никто, ни один мужчина, даже муж, которому вроде бы положено, никогда не видел вот такой ее наготы. Эти нега и расслабленность ей внове, ведь предназначение ее в супружестве было совершенно иным.

Раз в месяц, когда она бывает «нечистой», она непременно отодвигает свою кровать от кровати мужа, и старается не прикасаться к его вещам и пище, и не поливает единственный цветок в горшке, потому что он может погибнуть — руки ее в период менструаций «нечисты». Она обследует себя снова и снова, до тех пор пока не приходит к выводу, что очистилась от скверны,— уже целых семь дней нет ни единого кровяного пятнышка на ватке, которую она подкладывала ежесуточно в соответствии с религиозным законом и по закону же разглядывала при солнечном свете.

Затем наступает черед миквы[8]. Из своих скромных средств кладет она в благотворительную кружку, что стоит на столе жены раввина, и направляется в одну из раздевалок, расположенных рядом с бассейном. Она покрывает тряпицей свои слегка отросшие волосы — истинно религиозная женщина должна гораздо тщательнее следить за тем, чтобы голова всегда была выбрита,— хорошенько протирает все складки своего тела и только после этого зовет жену раввина. Вместе они входят в залу с миквой; она осторожно спускается по пяти ступенькам, вода омывает сначала ее лодыжки, колени, могучие бедра и, наконец, грудь и плечи. Потом она приседает, вобрав голову, чтобы намокли даже покрытые тряпицей волосы и вода проникла во все извилистые закоулки ее плоти. Жена раввина зорко следит за соблюдением ритуала. Перед следующим погружением Леа делает глубокий вдох и произносит благодарственные слова.

Возвратясь домой, она придвигает свою кровать к мужниной, и по этому ее действию тот догадывается, что обряд очищения состоялся и от него требуется исполнение супружеских обязанностей.

Вязкая жара царит в комнате. Воздух застыл. Квартал погружен в тяжелую дремоту. Лишь тонкое пение комаров пронзает безмолвие. Леа очень устала. Она всегда устает настолько, что едва доносит голову до подушки. Ее белая сорочка с длинными рукавами накрахмалена, и от нее исходит свежий запах стирки. Но недолго ей оставаться свежей и благоухающей — сейчас войдет муж, вот только вымоет над раковиной руки и шею.

Квадратное пространство тонет во мраке — Леа тщательно задернула плотные шторы. Это от жгучей стыдливости, а может, оттого, что она не хочет ничего видеть. Она слышит, как он пробирается на ощупь к их кроватям. Словно слепой, он простирает вперед руки и осторожно шаркает войлочными тапочками по полу, боясь оторвать от него ногу. Он касается кровати и забирается на нее, тощий и легкий как пушинка, распространяя вокруг себя кисловатый запах пропотевшего в занятиях талмудиста. Он опускается на ее большой мягкий

[8] Бассейн для ритуальных омовений.

живот, и ее плоть впускает его в себя. Слышно его прерывистое дыхание. Иногда она прижимает его лицо к своей груди, а иногда он приподнимается на локтях и, задрав своими паучьими пальцами ее ночную рубашку, зарывается в нее с тихими завываниями.

Толкнувшись несколько раз, его птичья плоть вдруг ослабевает, и весь он, словно ком мокрого тряпья, обмякает на ее теле.

Сработали с божьей помощью, говорит про себя Леа и терпеливо ждет, покуда он не отправится в свою постель. Это не причиняет ей боли, как когда-то, впервые. После стольких детей, которых она родила ему, там теперь много места. Но пустота эта оставляет ее разбитой, и смутная тоска не дает заснуть...

А сейчас ясный день, и Йосель у ее груди, и она вот-вот расплачется.

Из соседних квартир доносится бренчание кухонной утвари, хлопки по одеялам, коврам. На плите Бен-Шломо что-то ворчит и пузырится — вокруг распространяется запах подгоревшей пищи.

— Подгорает ведь,— шепчет Леа, уткнувшись лицом в волосы Йоселя. Его ермолка валяется смятая между ножками стула. Леа пытается встать, но его руки вцепляются в нее словно клещи, да и сама она, ослабевшая, беззащитная, взмокшая, вовсе не хочет освободиться из плена.

Напряжение исказило крупные черты ее лица. Тишина на несколько секунд даже оглушила ее своей звонкостью. Глаза у Леа закрыты.

— Ну хорошо, хорошо.— Она старается говорить деловито.— Только сперва надо выключить газ.

Он встает и идет к плите, и все колдовство рассеивается. В сознание ее врывается многоголосье жилого дома.

Эфрат быстрым шагом шла по кварталу. В руках у нее была плетеная корзина, а в корзине — две сладкие халы и цветы. Длинный подол юбки подметал тротуар. Тонкая шаль с кистями небрежно съехала с плеч — жарко!— приоткрывая оранжевую майку, свободно висевшую на ее худощавом теле. Она подошла к фруктовому лотку и попросила килограмм яблок.

— Нету!— тявкнул продавец в фетровой шляпе, пряча глаза, ибо покупательница успела увидеть аккуратную пирамидку из красных яблок.

Эфрат торопливо поправила шаль под лютыми взглядами двух дамочек. Синтетический парик одной из них нуждался в скорой помощи утюга.

Она не сделала и десяти шагов, как к ней подскочил какой-то очкастый ешиботник [9] и сочно оплевал ее майку, сопроводив свое действие выкриками: «Шлюха! Шлюха!» Оглянувшись по сторонам и убедившись, что справедливого возмездия опасаться неоткуда, он неспешно удалился.

Улица Меа Шеарим была закупорена — частные автомобили, закончившие работу такси и автобусы вытянулись длинной цепочкой и оглашали ее злобным воем.

Эфрат попробовала проскочить между машинами, но тут что-то ударило ее по голове, и глаза заволокло красным маревом.

Обломок кирпича стукнул о капот такси и, отлетев на середину дороги, рассыпался на куски. Послышался дробный топот — фигуры в черном метнулись к аркам близлежащих домов и скрылись за услужливо распахнутыми дверями.

Кто-то взял ее за локоть и помог добраться до тротуара. Потом этот кто-то осмотрел ее рассеченный лоб и промокнул кровь бумажной салфеткой.

[9] Учащийся религиозного училища.

— Все в порядке, вас только царапнуло,— сказал ей плотник из местного торгового центра.— Но лучше, если вы не будете здесь маячить, а то досы [10] распоясшутся, станут швыряться камнями! А потом нагрянет полиция и заварится каша, словом, не советую. Ступайте-ка скоренько к муженьку или кто у вас там имеется. Вот, возьмите еще на дорожку, промокнете... Эй, шабат шалом [11], госпожа! — насмешливо крикнул он на прощание. Пронзительной трелью залился полицейский свисток, а вслед затем раздались крики и вопли.

Эфрат почувствовала, ее вот-вот стошнит, глаза защипало. Водители побросали свои машины, не успев выключить мотор, и с перекошенными лицами бросились врассыпную — подальше от капсулы со слезоточивым газом.

— Гниды полицейские!— орал один, закрывая руками лицо, по которому ручьями бежали слезы.— Нет чтобы передушить этой гадостью весь вонючий квартал, так они взялись за ни в чем не повинных водителей!

Вдалеке показались двое конных полицейских — в респираторах, с белыми дубинками в руках.

Эфрат свернула в ближайший переулок и принялась стирать со лба кровь. Уличный шум доносился приглушенно и тускло. Шабат шалом, госпожа, повторила она, улыбаясь сквозь слезы.

Офер развешивал по стенам картины — в два-три ряда. Пышное тело Гилы, постоянной академической натурщицы, было доминирующим элементом этой импровизированной экспозиции. Он разбросал несколько хмурых абстракций меж рисунков углем и портретов маслом — все та же Гила.

Великолепная репродукция триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» готовилась занять место напротив входной двери, а «Женитьба Арнульфино», микеланджеловские «Пьета» и «Моисей» робко приютились возле огромных холстов с фрагментами обнаженной натуры.

Стукнула дверь.

— Могла бы вернуться и пораньше,— буркнул Офер, не поворачивая головы.

— Да уж, нашел ты местечко для жилья,— процедила Эфрат, пустив воду. Потом сняла загаженную майку и принялась осторожно смывать со лба засохшую кровь.

— А я-то полагал, что угодил в первую очередь тебе, раз ты начала ходить в этот свой кружок для возвращенцев к религии и набираться там всяких тонкостей. Еще немного — и ты станешь держать молочное отдельно от мясного, а на десерт сообщишь, что мы больше не спим в одной постели, пока я не женюсь на тебе по законам раввината [12]. А тут рукой подать и до свечей в Эрев-шабат [13], субботних гоев [14], субботних блюд и оравы детишек, «сколько пошлет всевышний».

— Похоже, моего рвения надолго не хватит,— сказала она со слезинкой в голосе, разглядывая в осколке зеркала над раковиной свой рассеченный лоб.

Офер обернулся.

— Что с тобой?!— Он бросился к ней и осторожно обнял за хрупкие плечи. Потом чуть отстранил от себя и, внимательно рассмотрев ранку, снова мягко привлек к себе.

---

[10] Сленг: презрительная кличка иудейских религиозных фанатиков.

[11] Поздравление с наступлением религиозной субботы.

[12] Вопросами брачного права в Израиле ведают не государственные учреждения, а религиозные.

[13] Пятничный вечер, канун религиозной субботы.

[14] Нееврей, которого обычно нанимают по субботам исполнять все, что может считаться работой: поставить на плиту чайник, открыть-закрыть дверь и т. д.

— Это кирпичом,— уже умиротворенно пояснила она.— Я, видите ли, недостаточно скромна, и для пущей убедительности меня оплевали... А на рынке они развесили новые воззвания: «Дочь Израиля! Ты должна ходить только в скромных одеждах!» Что-то в этом роде. Отпечатано фосфоресцирующей краской на зеленой бумаге, чтоб бросалось в глаза, как рекламный щит на карнавале. Сейчас они воюют на Меа Шеарим с водителями и полицией... Да, когда кто-нибудь вроде меня попадается им под руку, для них это слаще меда!

Ближе к вечеру они открыли входную дверь, чтобы потянуло хоть подобием сквознячка — жара сгустилась почти до осязаемости,— но притока свежего воздуха не было. Дома здесь тесно лепились друг к другу — дверь в дверь, утыкаясь окнами в забор: ни кустика, ни клочка синего неба, ни божьего света — сплошное людское вместилище.

Мимо их окна прошел Бен-Шломо, его сопровождал мужчина в шляпе с узкими полями и с короткими пейсами.

Леа уже закончила работу у соседа и теперь хлопочет у себя, готовясь к субботе. Внезапно во дворе появляется Йосель, пробегает в направлении ее жилища и вскоре проделывает обратный путь, уже с ней вдвоем.

Офер различает укоризненный тон Бен-Шломо, потом слышен короткий хлопок — удар или пощечина, после чего Йосель снова оказывается во дворе. Дверь за ним закрывается; Леа остается в доме Бен-Шломо еще минут десять, ну, пятнадцать. Наконец она выходит и бредет к себе на кухню, лицо заплаканное.

Почти сразу же после ее ухода отбывает и неизвестный мужчина, и Йоселя наконец пускают в дом... Или, может, ему, Оферу, это только показалось? Может, в его воспаленном воображении соткались события, которых на самом деле и не было? Хотя, если верить тому злосчастному сообщению в газете, все очень даже логично.

«Когда это началось?— размышлял он.— Вероятно, в один из тех знойных дней...»

Леа стоит и месит дрожжевое тесто для пирога, руки ее по локоть в муке. Бен-Шломо возвращается раньше обычного и отсылает Йоселя с поручением на другой конец квартала, словом, как можно дальше. Ох, до чего же тому неохота идти! Леа оборачивается и кивает головой — раз папа сказал, значит, надо. И Йосель тащится, нога за ногу. Итак, сын удален, и папаша начинает действовать. Он подкрадывается к Леа сзади и всем телом прижимается к ней.

От неожиданности она, скорее всего, вскрикнула. Или, оцепенев, еле выговорила:

— Господин Бен-Шломо, что это вы? Пожалуйста, отпустите меня, мне работать надо.

— Я хочу того же, что ты даром дала Йоселю. Я это сделаю куда лучше. Может быть, ты с этого еще и поимеешь пару фунтов. Если будешь умницей.

Она изо всех сил старается высвободиться из его объятий. Умоляет. Грозит. Говорит, что, если сию же секунду он не отстанет от нее, она пойдет и подаст жалобу раввину. И действительно он оставляет ее. Но для того лишь, чтобы вытащить из кармана пиджака пачку фотографий и распустить веером перед самым ее носом. Снимки мутноватые, но на них можно различить ее, Леа, со сдвинутым набок шависом и сидящего перед ней Йоселя. А вот и еще: халат расстегнут, и рука дурачка покоится на ее груди. Но и это не все — она обнимает его голову, как бы привлекая к себе. Одним словом, голая баба!

Глаза ее наполняются слезами. Чугунная жара. Огромный зеленый слепень садится ей на руку, она с омерзением стряхивает его.

— Я не знаю, что это,— плача, говорит она.— Зачем вы мне это показываете?

— Все ты прекрасно знаешь,— бубнит он, обхватывая ее большое тело. Он натужно дышит, лихорадочно шарит по ней руками.— А еще ты знаешь, что, если будешь сопротивляться или хоть раз пикнешь, картинки эти окажутся в раввинате, и раввинат приговорит тебя к разводу и навсегда отнимет у тебя детей. Потому что раввины решат, что ты из тех, кто не достоин растить сынов Израиля. Запомни это хорошенько.

Он убирает одну руку — стереть пот с блестящего лба. Язык его елозит по спекшимся губам.

— Но мы вполне можем избежать всего этого,— шипит он ей прямо в ухо.— Наоборот, мы никогда этого не допустим. Если будешь умницей... Ты, такая здоровая, с таким хлипким мужем — неудивительно, что тебе захотелось с Йоселем. У него в штанах... да ты такого в жизни не видела. Но я лучше Йоселя и знаю мужчин, которые тоже лучше Йоселя.— В глазах у него сверкает пламень, из горла вырывается надсадный хрип, словно вот-вот начнется приступ астмы, его бьет как в лихорадке. Но он продолжает свою страстную речь:— Ты послушная девочка и будешь стоять смирно, вот так... нет-нет, не поворачивайся, кому охота любоваться на твою зареванную физиономию. Мы быстро управимся, и больно тебе не будет, ты ведь у нас ядреная, куда ни сунься, хи-хи-и...

А несколько дней спустя он к ней кое-кого привел. А потом этот кое-кто приходил еще, а после него и другие — второй, третий, четвертый. Иногда в ладонь ей падало несколько монет, «чтобы она побаловала себя в честь субботы».

Она переменилась. Не разрешала больше Йоселю быть с ней в одной комнате, не хотела, чтобы он смотрел, как она работает. Каждый раз он умолял ее не прогонять его. Но она прогоняла. Тогда он выходил из дому, садился на приступочек и, привалившись к косяку, играл спичками. Или, захватив с собой полдюжины серебряных ложечек, завороженно глядел, как они переливаются на солнце.

— Ну ты и напридумал,— сказала Эфрат, терпеливо выслушав все эти красочные описания, и посмотрела в окно. Молодая особа в парике и в шелковом платье, ладно и со вкусом сшитом, пересекала узкое пространство, ведя за руку двух чистеньких малышей в голубых брючках. Длинные волосы мальчиков собраны в «конские хвосты», по-видимому, в ожидании Лаг Баомер[15], на голове — вышитые ермолки.

Сара-Кошмар, соседка Леа справа, выбежала навстречу своим внукам, чтобы заключить их в объятия и крепко расцеловать. Позже Эфрат увидела, как мать и дочь собирают на стол — достают парадную посуду, расставляют кушанья. Потом Сара-Кошмар позвала малышей, должно быть мыть руки.

Все семейство рассаживается вокруг стола, хозяйка зажигает свечи, прикрывает глаза, и губы ее шепчут молитву.

— Какая прелесть!— вырвалось у Эфрат. Она оперлась локтями о подоконник, приготовившись и дальше созерцать действо.

— Похоже, моего рвения надолго не хватит,— не без издевки напомнил ей Офер. Поползновения Эфрат вернуться на религиозные круги своя — а они угадывались даже в этом невольном возгласе восхищения — вызывали у Офера чувство брезгливости и одновременно еще больше упрочивали его социалистические и антирелигиозные убеждения.

Ну, а что касается самих верующих — пусть делают что хотят.

[15] Весенний детский религиозный праздник, когда малышам в возрасте от полугода до двух лет впервые стригут волосы.

Отчего бы и нет? В конце концов это он изъявил желание перебраться сюда — за вдохновением, если угодно, за пряностью экзотики, к которой так и тянет пририсовать целую шеренгу вопросительных знаков. А самому играть в эти игры — увольте.

В последующие дни каждый был занят своими делами. Соседи всецело предались молитвам и прочим религиозным занятиям, куда входили и заботы по дому — они буквально вылизывали каждый сантиметр своих жилищ.

За пределами двора, в тесных, душных проулках, как обычно, бойко шла торговля.

В лавке по продаже культовых товаров (культтоваров!) Офер долго рылся, прежде чем купил большую новую мезузу [16]. Прибив ее к притолоке, он как бы сделал попытку сблизиться с окружающим его миром, хотя и не видел в нем особой прелести.

После той полицейско-досовской потасовки улицу Меа Шеарим щедро усеяло битое стекло. Кое-где хозяева забили пустые глазницы окон картонными листами, и без того мрачный квартал стал еще угрюмее.

Как-то вечером у Офера собралась компания. Гости полулежали на широком матрасе и двух персидских коврах, подоткнувшись подушечками. Из магнитофона тихонько лился блюз, они старались не шуметь.

— Странное, прямо скажем, место для жилья,— заметила одна из девушек, принимая от соседа сигарету. Затянулась и передала ее дальше.

— Зато дешево,— возразил Офер, пытаясь поймать серого ночного мотылька, молотившего крыльями под металлическим колпаком низко висящей лампы.

— Дело не только в этом,— присоединилась к разговору Эфрат.— Оферу хотелось понаблюдать, подсмотреть, а окунуться в эту атмосферу пришлось мне. В иные дни я думала, что так, очевидно, и следует жить. Подняться утром с постели и перестать относиться к жизни как к чему-то само собой разумеющемуся. Почувствовать ответственность за все, что делаешь. Соблюдать кошерность, очищаться, молиться...

— И что тебя заставило изменить свое мнение?— Вопрос был не без подвоха.

— Наверное, нужно просто верить, а это так сразу не дается. Жизнь научила меня верить в то, что я вижу своими глазами, любить мамочку с папочкой да родной кибуц. Нет, тут все непросто. Можно, конечно, автоматически исполнять приказы, но без соответствующего воспитания рано или поздно это начнет обременять тебя. А еще может получиться так, что в один прекрасный день тебя закидают камнями или что-нибудь в этом духе.

— Недели две назад,— начала Рахель, подружка Эфрат по академии,— мы с приятельницей ехали по Элени Амалька. Дело было в пятницу, поздно вечером. Мы спешили к ней на ужин, нас там уже ждали друзья. Возле «Кол Исраэль»[17] — там надо притормозить, сворачивая в переулок,— подбегает к нам пейсатый юнец. У меня прямо сердце екнуло. Сейчас, думаю, он размозжит мне голову чем-нибудь тяжелым — в карманах досовских лапсердаков может быть все что угодно! А у этого — руки в карманах по самые локти. Вдвинул он свою физиономию в окошечко — я все прыщи успела пересчитать, бр-р! Я отстранилась, но он все-таки смазал своими пейсами меня по плечу и спрашивает: можно, я с вами? Каково?! Куда, говорю, ведь сегодня суббота. Не важно, говорит, лишь бы с вами!— а рожей так на

[16] Пергаментный свиток с отрывком из Пятикнижия, прибивается к притолоке для охраны от злых духов.

[17] Радиостанция «Голос Израиля».

меня и напирает. Сдай назад, говорю, мы тут посоветуемся с подружкой и решим, как быть. И на всякий случай улыбаюсь. А мысленно уже представляю себе такую картину: мы ему обещаем лихую оргию, при условии, конечно, что предварительно как следует отдраим его в ванне, а то вонища от него — жуткая! Естественно, он на это клюет, мы сажаем его в машину и привозим домой. То-то у наших ребят челюсти отвалятся. Но едва я заикнулась об этом своей приятельнице, она ка-а-к рванет с места! Чуть машина не развалилась!

Эта история немало всех позабавила. Эфрат в очередной раз обнесла гостей кофе.

— Вы, женщины, для них всего-навсего «дырки»,— объяснил кто-то.— Объект, о который можно «почесать» свои пороки. А порочность — естественное их состояние. Ты что же, хотела, чтобы он отличал святой день от всех прочих, когда представился такой замечательный случай?

— А ты за него не беспокойся. Пока он со мной разговаривал, он почесывал свои пороки. Через карманы.— Рахель усмехнулась.

— Я тут вспомнил одну историйку,— подключился Хилик. Год назад он вылетел из академии и теперь процветал на ниве импорта типографских станков.— Не так давно я был во Франкфурте, на совещании представителей торговых и деловых кругов. В одном отеле со мной остановились еще несколько моих приятелей, между прочим, из религиозных кварталов. Это своего рода пансион для «кошéрных»[18], а прельстил он меня своей комфортабельностью.

Как-то вечером решили мы, я и владелец одной из здешних переплетных мастерских, прошвырнуться по городу. Он вызвался быть моим гидом, я ведь там в первый раз, а он все время ездит и знает город как свои пять пальцев.

Ну что, ходим, смотрим. Вдруг на задах какого-то кирпичного дома он застыл как вкопанный. «Сюда-то нам и надо,— говорит,— пойдем разомнемся малость».— «А что тут?»— спрашиваю наивно. «Девоч-ки! — подмигивает он.— Прицес![19]» Меня как кипятком умыли. Он же правовернейший: лапсердак, ермолка, пейсы — все при нем, да еще жена, да четверо дочек, с каким благоговением он сам мне обо всем этом рассказывал! И — на тебе! «Нет уж,— говорю,— спасибо. То же самое я имею дома совершенно бесплатно».— «Но здесь же совсем другое дело — профессионалки! — Этим аргументом, видно, он думал уложить меня на обе лопатки.— Неужели непонятно?»— «Как не понять»,— говорю, а что дальше сказать, не знаю. А он скоренько так вытаскивает свой паспорт и портмоне, выслюнивает несколько бумажек, перекладывает их в карман, а все остальное сует мне в руку: «Подождешь меня чуток, ладно?» И юркнул в дверь. А я таращусь на нее как последний идиот и жду, раз велено. Что верно, то верно, обслужили его на редкость быстро.

Хилик умолк. Взгляд Эфрат остановился на дрожащем пламени свечи. Почему это вспомнилось ей именно теперь? Иерусалимский вечер тих, целые века пролегли между ним и ее прежней кибуцной жизнью.

Всего неделю назад она навещала своих в кибуце. Они поужинали с матерью в общей столовой, то и дело улыбаясь друг другу, а потом пошли в «семейную» комнату. Недопив кофе, мать разрыдалась.

Эфрат равнодушно глядела на нее, она ничего не могла с собой поделать — они стали совершенно чужими людьми. Мать всегда, даже в мелочах, стояла на страже своих, и только своих, интересов; это привело к тому, что дочь, не разделяя ее интересов, отдалилась от нее. Теперь мать сидела и задыхалась от плача — безобразное зрелище. Впрочем, Эфрат на это не реагировала.

---

[18] Кошерный — пригодный для употребления по законам иудаизма (о еде и одежде). Здесь — презрительно: верующий еврей.

[19] Так на идиш грубо называют проституток.

— Что с тобой?— сдержанно спросила она.— Я могу тебе чем-то помочь?

Источником бурных слез была Нира, сестра Эфрат, миниатюрная веснушчатая особа, которой неизменно прощались самые дерзкие выходки. Помнится, в десятом классе, в середине года, она бросила учебу, заявив, что она ей наскучила, и запретила родным обсуждать этот вопрос. Одного этого было достаточно, чтобы вдребезги разбить материнское сердце, вдобавок кибуц определил одаренное дитя посудомойкой на кухню и уборщицей — на подхвате — в детские корпуса.

— Но то, что происходит в последнее время...— жаловалась мать Эфрат,— ее видели несколько раз на тремпиаде[20] с солдатами! Говорят, вся компания скрылась в кустах или на пардесе[21], один черт! Не ровен час, Ниру прирежут! Подумать только, воспитанница кибуца, ей через два месяца в армию!

Кассета кончилась, внезапная тишина разлучила Эфрат с родными местами. Кто-то пустил по кругу коробочку с бисквитами. Казалось, собравшимся больше нечего сказать друг другу, и в наступившем молчании мысли Эфрат гулким эхом бились о стены комнаты на улице Меа Шеарим.

— Ты бы посмотрела, как она сидела на чемоданах. Прямо на улице,— говорил Офер Эфрат в среду после полудня.

— Кто?— рассеянно спросила она, поглощенная совсем другими мыслями. Сощурившись, она прикидывала длину стены.— Убогое место, жалкое место,— бубнила она себе под нос.— Ты что-то сказал?

— Я сказал, что наша досит, Леа Хирш, все утро сидела на двух чемоданах и плакала. В общем, я не удержался и вышел к ней. Спросил, не нужна ли ей помощь.

— Наверняка она тут же подумала о клиентах Бен-Шломо, если исходить из твоей сентиментальной версии.— Эфрат усмехнулась, что взбесило Офера.

— Мне это вовсе не кажется таким смешным,— огрызнулся он. В воображении его возник образ несчастной матери: она бестолково мечется между плитой и спальным закутком, а детей уже нет, их забрали, по ее словам, несколько дней назад, и одежду их забрали, и кроватки, и вещи Мотла тоже. Ей же дали билет на автобус в Цфат и сказали, что в среду утром приедет такси, довезет ее до автовокзала, и чтоб духу ее в квартале не было, и чтоб без вопросов. А что она будет делать там, в Цфате, у каких-то родственников, которых она и в глаза не видела...

Леа все говорила и говорила, и он дивился этому потоку слов и внимательно слушал — на его памяти она никогда вот так вот ни с кем не делилась. Все, что Леа умела, это работать. Молча.

Ее взгляд бессмысленно блуждал по тесному мирку, в котором она жила.

Сейчас лето, много пыли, а Леа хозяйка, она должна была раньше убраться, до того, как дадут билет, заберут детей... Мысли ее все больше и больше путались, речь стала бессвязной, неизменным осталось лишь одно — смирение.

Леа умолкла. Казалось, она излила ему все, что у нее накопилось. Офер спросил:

— Зачем все это? Почему?

Она не ответила или просто не услышала вопроса, а может быть, не хотела ничего понимать. Так надежнее.

Он слегка наклонился, чтобы она видела его шевелящиеся губы, и повторил вопрос. Но Леа и теперь смотрела на свои красные от бесконечной, грубой работы пальцы.

[20] Обочина шоссе, где «голосуют».
[21] Цитрусовая плантация.

В ближайшем окне отдернули узкую занавеску и тут же задернули. Во двор вышла Сара-Кошмар. Надетый второпях парик съехал набекрень, что придавало ее отечному лицу несколько комичный вид.

— Господин Купель,— проговорила она начальственным тоном, глядя чуть поверх Офера.— Я попросила бы не мешать госпоже Хирш. Она ждет такси.

От гнева Офер даже покраснел.

— Я мешаю?— сказал он.— Наоборот, я хотел помочь ей.

Откуда-то сверху на раскаленную землю выплеснули корыто воды, забрызгав его сандалии.

— Ей уже помогли!— слова-плевки били его по лицу, Сара-Кошмар словно бы оплевывала все мужское племя, повинное во всяческих беззакониях и злодействах.

Офер вернулся к себе запереть дверь и отправился в торговый центр за кока-колой. Бинго что-то поспешно спрятал за спину, но, признав в посетителе Офера, выпростал руку. Деловито повертел в пальцах лист папиросной бумаги и провел языком по его ребру.

— А я подумал на тебя— полиция,— сказал он.

— На меня?— усмехнулся Офер.— С чего это вдруг?

— Много их сейчас ошивается, без формы, сразу и не заметишь. Так им сподручнее людей-то шпокать. На такого и не подумаешь, что полицейский, смотришь — сандалии, майка. Но меня не проведешь, я их издали чую. Дашь огоньку?— попросил он Офера. Тот чиркнул спичкой. Бинго глубоко затянулся и задержал дым. Глаза его сузились, он блаженствовал.— Возьми «травку».— Он услужливо подал Оферу сигарету.

— Нет,— Офер мягко отстранил его,— сейчас меня как-то не тянет, но за предложение спасибо.

— Слабо, что ли?— Бинго сильно растягивал слова.

— Нет, просто не то настроение,— ответил Офер, откупоривая кока-колу. Он в один присест опорожнил бутылку и спросил как бы невзначай:— Может, ты в курсе, где дети Хиршей с нашей улицы?

— А-а, бляди этой!— Бинго оживился.— Тут волноваться не о чем. Для таких есть заведения, хедеры-интернаты, к примеру. Жалко, ой жалко, что ее отсюдова сплавили! Я бы тоже кой-чего вогнал в эту дырку. А то все ашкенази да ашкенази...

— Почему с ней так, Бинго? — спросил Офер, пытаясь направить его скачущие мысли в другое русло. Парня охватило характерное возбуждение с безуминкой, словно бы от «травки» внутри у него соскочила со шпенька некая пружинка. Офер протянул ему пачку сигарет:

— Возьми, возьми парочку про запас. Так почему все-таки ее выдворили?

— А она раскололась ихнему раввину, чем занималась с ашкенази в доме Бен-Шломо. Уй-уй, прямо сердце останавливается — до чего охота ее трахнуть...

Офер представил себе эту грузную женщину, согнувшуюся под грузом забот и работы, к которым добавился еще и страх, что однажды придет некто и отнимет единственную в жизни радость — укладывать вечером детишек, мыть их мордашки, ручонки, усаживать за стол и смотреть, как они едят, как шалят и щебечут, пока она одевает их в ночные пижамки, заботливо накрывает одеялом, нежно треплет по щеке, крепко целует перед сном... Бен-Шломо грозил этой карой изо дня в день: как только она откажется повиноваться ему, детей ей не видать. Каково это слышать женщине, матери! Что ей оставалось делать? Лишь одно — зажмуриться и перетерпеть сколько-то там минут. Потом можно подмыться — из гигиенических соображений. В конце концов, что тут такого? Она ведь обожает своих детей, разве нет? Она не расстанется с ними...

Но она не выдерживает. Страх, омерзение, брезгливость перевешивают. И вот она идет к господину раввину и рассказывает его суп-

руге, как Бен-Шломо принудил ее, как угрожал отобрать у нее малютоk, если она посмеет не согласиться. Она клянется, что не отвечала ему в этом паскудстве ни малейшим движением — просто стояла и ждала, пока все кончится. Нет, она никогда бы не согласилась лечь к Бен-Шломо в постель. К тому же, сын его Йосель, полудитя-полумужчина, подсматривал снаружи в замочную скважину. Он ведь и убить может, этот малоумный!

Вероятно, жена раввина предложила ей стакан воды и велела подождать на кухне, покуда она не переговорит с мужем.

А обернулось это вот чем... Скоро дело делается, приговор выносится. И сидит госпожа Леа Хирш на чемоданах, а вся улица ждет, когда она уже уберется отсюда.

Бен-Шломо живет как ни в чем не бывало,— ему-то что?— и другая женщина стирает и стряпает в его доме. На этот раз — старуха. Говорят, она не выносит возни Йоселя с ложечками, и теперь он целыми днями занят спичками: выкладывает их длинными рядами и расшвыривает, возводит хлипкие пирамидки и расшвыривает, собирает в квадратики и расшвыривает...

Сара-Кошмар сказала Бен-Шломо, хорошо, если бы он перестал приводить к себе одного мужчину — из тех, кто бывал в его доме, самого жирного. Леа Хирш уже нет здесь, но она своими ушами слышала, как Йосель поклялся возле этого самого дерева: мол, пусть только этот дядя придет — Йосель схватит его руками за горло и сожмет так, что дядя уже никогда не сможет обижать Леа! А то она всегда из-за него плакала...

Эфрат предпочла занятиям в академии трехдневное общество Ниры, приехавшей в Иерусалим делать аборт в частной клинике. Нира затруднялась в отношении «авторства» плода любви, да это ее и не заботило. Нет, не будет у нее никаких «душевных шрамов», уверяла она сестру со знакомой усталостью с голосе. Что касается пилюль, то это не для нее, от них она отекает и еще больше впадает в меланхолию.

Она понятия не имеет, почему всегда готова раздвинуть ноги. Может, потому, что после она задает себе один и тот же вопрос: как, и это все? Будто в этом — какая-то незавершенность. Лучше она объяснить не может, да и лень. Все прочее ее интересует еще меньше. Учиться — дураков нет, служба в армии ее тоже не привлекает. Но, судя по всему, ее вообще не захотят призывать, с таким прошлым. Словом, говенная жизнь! Неудивительно, что она не чувствует к ней вкуса. Эта жизнь медленно убивает ее, и все. Прилагать к чему-то усилия — зачем? Нет, она предпочитает только сидеть и глядеть, как утекает время.

Эфрат припомнила, что и ребенком сестрица была не такая, как другие дети. Десятилетней девочкой, да и постарше, она все еще писалась по ночам, и сохнущие в общей душевой простыни не вызывали у нее ни малейшего смущения.

Раз в неделю Ривка, классная руководительница, возила ее к психотерапевту в Тель-Авив, тот разрешал Нире рвать бумажки, дубасить в стену и даже выкурить полсигареты (всякий раз!). В те времена этот метод считался весьма прогрессивным — дать ребенку раскрепоститься. По мнению Эфрат, он едва ли принес пользу: чего-чего, а раскрепощенности Нире было не занимать.

Теперь Нира лежала на матрасе, несколько притихшая после пустячной, но все же операции, и курила, то и дело затягиваясь.

Наконец она уехала обратно в кибуц. Эфрат получила от родителей короткое письмо, где сообщалось, что сестру в армию не берут.

Офер работал днями и ночами, чтобы успеть завершить и подготовить свои работы к выставке, намеченной на конец года. Холсты и парусинные рулоны заполонили почти всю комнату, а в углу он приспособил верстак — ладить нехитрые багеты для своих полотен. Своего рода обрамление определенного творческого этапа.

В тот залитый солнцем полдень, похожий на все остальные, Офер отшвырнул плетеную скамеечку, и ноги сами понесли его в город, в центр, к «Пассажу», фасад которого был мозаично заплеван объедками и жевательной резинкой. Он прошел в зал — дневной сеанс уже с час как начался. При входе никто не проверил его карманы — обстоятельство само по себе неприятное: те, кто прожил долгие годы в атмосфере постоянной напряженности, окруженные холодком, в стане «божьих людей», убеждались, что подобная мера далеко не лишняя.

Сеанс оказался дрянным со всех точек зрения. Его сомнительная ценность заключалась лишь в лузгании семечек и сплевывании шелухи в кулек, свернутый из обрывка газеты. Кто-то из зрителей встал и покинул зал. Ничего необычного в этом не было, и все же в горле у Офера пересохло. Он каждую секунду ждал характерного звука, что производит та зловещая вещица, которую ушедший вполне мог оставить под сиденьем. Офер представил, как бросается к этому креслу и выносит взрывное устройство из зала. Но несчастья не произошло, и колючая нервозность мало-помалу притупилась.

На обратном пути он увидел две пожарные машины. Они застряли посреди узкой Меа Шеарим и неистово сигналили, будто этим ускоришь дело. Любопытная детвора роем мотыльков уже слеталась к грозно помигивающим лампам. Эти малыши с каштановыми пейсами — пока еще малыши — наверняка мечтают стать бравыми пожарниками, которые ловко взмывают вверх по пожарной лестнице и бесстрашно идут прямо на пламя с огромными брандспойтами, тянущимися от такой вот Машины-Что-Надо.

У бакалейной лавки с открытой настежь дверью стоял Йосель и торопливо поедал карамельки из большого ящика с шестью отделениями. Продавца за прилавком не было, и этот детина хоть и малоумный, а сообразил, как воспользоваться случаем и соблюсти свой интерес. Вон он, прикрывает ящик со сладостями ладонью и весь дрожит!

— Огонь! Огонь!— заорал он вдруг, и неопределенно махнул рукой.— Там огонь!

— Я знаю,— успокоил его Офер.— Я видел пожарные машины. Но давай не будем совать нос в чужие дела. Пожар — вещь опасная. Вот попадет тебе в глаз искра, тогда что?

Бедняга продолжал что-то с жаром доказывать, совершенно упустив из виду, что рот его набит сладкими трофеями. Он был крайне возбужден, а то, может, и спохватился бы. Но вскоре он поостыл и, оставив все попытки что-либо втолковать Оферу, равнодушно отвернулся от ящика и поплелся следом за ним.

Первое, что увидел Офер, войдя во двор,— огромный костер у своей двери. Сквозь языки пламени, охватившего уже и соседние двери, он разглядел мечущиеся зады и торсы. Рядом валялся рулон парусины, вспоротый кухонным ножом.

Первым порывом его было попытаться спасти хоть что-нибудь. Но он тут же понял, что спасать в общем-то уже нечего.

Из рамы, хрустко всхлипнув, выскочило стекло. Скляночки со скипидаром взорвались игрушечным фейерверком.

Позже Офер вошел в свою выгоревшую комнату. Со стены на него смотрела неряшливая надпись, сделанная масляной краской: «Убирайтесь отсюда! Здесь место только для правоверных!»

Офер пошарил в кармане и вытащил пачку сигарет. Он курил, подперев плечом горячую стену, и думал о том, что слишком уж ве-

лики и громоздки эти красивые пожарные машины по сравнению с размерами катастрофы.

ИЦХАК БЕН-НЕР

Кино

Раз в неделю в деревне крутили кино. В тот вторник шел тяжелый фильм и очень страшный. Папа с мамой уехали к родственникам, и нам с сестрой после сеанса надо было возвращаться в пустой дом. Мы бежали по слякоти в кромешной тьме, сцепив руки с такой силой, что ногти вонзались в ладони. Мы заперли дверь и опустили жалюзи, дабы не дать нацистам ворваться внутрь. Час был поздний, но сон все не приходил. Сестра читала нескончаемые главы из «Маленькой Фадетты» Жорж Санд — в моем представлении полную бессмыслицу,— чтобы как-то отвлечь меня. Я вглядывался в вязкий кисель потемок за окном и ждал, что вот-вот появится немецкий офицер с крысиной физиономией, в сверкающих сапогах, с ремнем, перекинутым через плечо и пристегнутым к поясу.

Я сидел в кровати, рассеянно слушая дрожащий и срывающийся от страха голос моей сестры, которая продолжала читать из чувства долга и ответственности за младшего, а мысли мои вновь и вновь возвращались к истории с этим офицером и сержантом-дезертиром, которому так и не удалось спастись. На дворе сама с собой шушукалась зима, и мои веки с каждой минутой наливались тяжестью.

Воспаленными после пережитого глазами медленно скольжу я по картинкам в «Агальгаль». От этой газеты с ее отретушированными английскими снимками так и разит войной, и вот уже в нашем деревенском бараке, где ночуют трактора, сошлись для обсуждения судеб мира три кита — Сталин, Рузвельт и Черчилль. На Сталине синий комбинезон, совсем как у тракториста, а еще у него мотоцикл. Наконец историческая встреча завершилась, и Сталин сажает меня на свой мотоцикл, и мы едем с ним кататься. Я обхватываю его сзади, и зимний ветер колет мне щеки, грязные брызги бомбардируют мои тренировочные штаны... А сестра трясет меня за плечи, силясь разбудить, потому что враг, он, в отличие от меня, не дремлет.

Еще и не думало светать, когда они все-таки явились. Кинонацисты были жестокие, ехидно-благовоспитанные и донельзя всамделишные. Разговаривали между собой по-английски с немецким акцентом. Они принялись расхаживать в своих сапожищах по комнатам, как у себя дома, а мы забились под кровать и боялись шелохнуться. Востроносый рейхсгенерал с щелью вместо рта нервно похлопывал перчатками по своим галифе. Они прочесывали квадрат за квадратом, но никак не могли найти дезертира, все это продолжалось довольно долго, до самого утра, пока приходящий дояр не вызволил нас из подполья, вернее, из подкроватья. Забираясь под теплые одеяла, мы испытывали только одно чувство — глубокое раскаяние — и поклялись никогда больше не ходить на фильмы «детям до 16-ти».

Звали дезертира Дейн Кларк. Телом он был куц и тощ, зато обладал пронзительным взглядом. В конце фильма, помнится, он переоделся в женское платье, оброс мышиной щетиной и во всем, решительно во всем изверился. Даже в свои восемь лет я понял это.

Немецкий офицер с пистолетом в руке улыбчиво ждал, когда истекут отпущенные герою шестьдесят секунд. Динамик, вынесенный сюда, в упаковочный цех, секунда за секундой отщелкивал послед-

ние мгновения жизни. Казалось, внутри у него бьется большое сердце. Дейн Кларк натянул между пальцев резинку и послал золотую булавку, любовную памятку, прямо в грудь негодяю, приняв взамен стандартную по весу свинцовую смерть.

Этот эпизод был таким сильным, что механик, отвечающий за субтитры, совсем позабыл про свои обязанности. На узенькой полоске продолжало мерцать зловещее предупреждение: «Я даю тебе одну минуту, сержант. Одну!»— в то время как во все полотно уже всполыхнуло «the end»[1] и побежали цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зажгли свет, люди молча повставали со своих мест, зябко поеживаясь, запахивая пальто, и пустились в обратный путь, домой. Австралийским солдатам в толстых шинелях и грубых ботинках предстояло возвращаться в свой лагерь на краю деревни. Сегодня мы с сестрой оказались среди тех, кому довелось подвергнуть свои души серьезному испытанию.

С тех пор канул в лету Дейн Кларк, да и не до него было.

За окном — дождливая безысходность, я сижу в типографии, в своем углу, стараясь не попадаться на глаза этой недружелюбно настроенной неразлучной троице, а память моя блуждает среди пожелтевших газетных страниц и полузабытых кинокадров. Теперь-то я ищу его. И не нахожу. Очаровательные девицы в купальниках, в мини, актеры в «обвисших» брюках и фетровых шляпах, степенно-элегантные дамы, осиянные светом, необъятные «форды» и «паккарды»— предмет вожделения пижонов тех дней,— все они чинно глядят на меня со страниц газет, которые аккуратнейшим образом собрал и заботливо уложил стопочками мой дядюшка. Лишь изредка в щемящий покой воспоминаний вторгаются ядовитые смешки моих недругов — двое в годах, один помоложе — вперемежку с невнятным бормотанием дряхлого типографского станка.

Что ни вторник, в нашей деревне свершалось чудо. В зимние дни — в упаковочном цехе, летом — на школьной спортплощадке. Около полудня «киношники» начинали устанавливать аппаратуру, а мы, отпихивая друг друга портфелями, брали их в тесное кольцо, чтобы получше рассмотреть, как же они это делают, что получается кино.

Магов было двое — отец и сын. Всю неделю они ходили из деревни в деревню, показывая свои зрелища, а в субботу ближе к вечеру отправлялись в городок неподалеку от нас. Поговаривали, будто вечерами, на досуге, они запирались в своем доме, где женским духом и не пахло, и под стрекот проекционного аппарата, в темноте, наслаждались своими сокровищами.

Ремесло их чтили. Руки их проворно и умело сгружали с пикапа ящики, извлекали оттуда детали тяжелого черного киноаппарата и крепили одну к другой, перетаскивали и перекатывали коробки с катушками, подсоединяли к генератору кабель, навинчивали лампочки, устанавливали динамики, огораживали проволокой площадку и навешивали на глухую стену школьного здания с десяток простыней, чтоб получился один большой экран. С рвением, в коем нас невозможно было заподозрить на уроках, мы бросались им помогать, и самые старательные получали в награду целлулоидный хвостик, который приклеивают к пленке.

Вечером школьный двор заполнялся деревянными скамейками и соломенными тюфяками. Эфраим-старший — мы знали только, как зовут сына, и потому удобства ради отец тоже превратился в Эфраима — становился у кассы, а младший тем временем приводил в полную боевую готовность черный аппарат и еще один — с субтитрами. Но вот рыльца обоих проекторов выплевывают световые стрелы, и

[1] Конец *(англ.)*.

на простынном экране нам открывается колдовской мир. Безутешно рыдает Маргарет О'Брайен, а конопатый малыш Дженкинс корчит невообразимые, потешные рожи. Вот Лэд Даль, он словно бы врос в палубу, окруженный матросами-бунтарями. А Харт Хартфилд придирчивым оком изучает шедевр — портрет своей собственной персоны, писанный маслом.

Игрушечными кометами кромсали тьму летние светляки, сонные малыши все ниже оползали под мышками своих родителей, а Эпштейн, ну тот, из мандатной комиссии, в ответ на реплики актеров взрывался хохотом раньше всех в зале, даже раньше переводных титров. Иногда Эфраим-старший давал маху и запускал катушки не в той последовательности. И тогда партизаны снимали с эшафота поруганные тела Зои и ее героических товарищей, и лишь спустя полчаса нацисты возводили ее на этот самый эшафот. Но зрители были сама снисходительность, ибо кино не жизнь, кино по природе своей до некоторой степени условно, и так даже интереснее. Да, вторник для нашей деревни был особенным днем.

Через пару дней друг мой Ури нагрянул ко мне с трофеем. Но каким! Он выменял его у Эфраима-сына на полмешка астраханских яблок. Им оказалась катушка, тридцать метров черно-белого целлулоида с Джоэлем Макариа на коне и целой компанией взбудораженных индейцев — несметное богатство. Как истые гурманы мы с другом Ури неспешно вкушали кадр за кадром, и воинственные клички краснокожих неслись к нам с крошечных квадратиков вместе с цокотом копыт и пальбой. Кино! Создатель, ты видишь? Это же кино!

И вдруг в очередной вторник Эфраимы не появились. Прошел слух, что, переезжая, как всегда, с места на место, они взялись подвезти девушку и так здорово «прокатили», что из пикапа она вышла уже без всяких «иллюзий». Парни из ее деревни живо об этом прознали и устроили насильникам засаду. Самих крепко избили, а аппараты порушили и порвали пленки, как будто кино виновато. Как бы там ни было, а наши деревенские купили Эфраимам в складчину новый проектор, и вновь закрутилось чудесное действо. И так — каждый вторник. Но радость уже — нет, не та.

Подростком в летние каникулы я ездил в Тель-Авив навещать дядю. Мы кружили с ним по маленькой типографии, расположенной близ центрального автовокзала, между наборной и печатной машинами — позднее она перешла ко мне. Ни с теткой, ни с двоюродным братом я знаком не был. Они покинули Израиль, когда я был еще месячным. Дядя же рассказывал мне пространно и с откровенностью, пожалуй, неожиданной даже для него самого, как тетушка со слезами, чуть ли не на коленях просила у него развода. В дядином доме на улице Гальперин висело много картин, среди них был и ее портрет: красивая женщина со строгим лицом смотрела куда-то сквозь меня.

— Курва твоя тетка,— сообщил мне однажды Франческо, старший из трех рабочих-недругов, и обмазал черной типографской краской накатный валик.

— Потише, приятель, не так громко,— сказал Пинхас, тот, что помоложе, и прыснул.— А то хозяин услышит.

— И пусть услышит!— взорвался Франческо.— Зачем он дал ей уйти с этим английским пилотом?! Что, мы, евреи, уже хуже английских курв?

Никогда не мог понять, отчего они сперва невзлюбили дядю, а потом возненавидели меня.

Дома я передал дядюшке этот разговор. Он слабо улыбнулся, и взор его заволокло туманом воспоминаний. Он всегда был скуп на слова, но стоило ему заговорить, и он сразу становился похож на то-

го или другого героя из увиденного недавно американского фильма.

— Полагаю,— сказал дядюшка,— Франческо и сам до некоторой степени был к ней неравнодушен. Посмотрел бы ты на него, когда она пришла сюда, на предприятие.— «Предприятие» — так он величал свою задрипанную печатню. В теткину бытность — одна наборная касса и один пресс.— И она совсем не такая, как он назвал ее,— продолжал дядя.

— А ребенок?— вопрошал меня Франческо, гневно играя желваками и следя вполглаза, как выкладываются газетные листы.— Где это слыхано, чтобы хорошего еврейского мальчика отправить к гоям в Англию?! Хорошего еврейского мальчика!

— Мальчик,— устало объяснил мне вечером дядя, пока мы приводили себя в порядок перед кино,— мальчик ее, не мой. Что я мог поделать?— Он кончил мыть инструменты, вытер руки о фартук своей экс-жены — ни одна капля не упала на пол — и продолжал задумчиво:— Я знаю, она обязательно вернется, вместе с мальчиком. Я жду ее.— Взгляд его исполнился благородства и мудрости.— То есть, этот джентльмен ведь оказался женат. Все они, скажу я тебе, до известной степени смахивают на Кингсли. Когда она приехала к нему с ребенком в Англию — в Шеффилд, по-моему,— все обернулось поиному. Для нее это было чудовищным потрясением.

Дядюшка снял фартук и сел к столу.

— Дело в том, что она полюбила его всем сердцем. Вообрази, он предложил купить для нее и мальчика квартиру, взять ее на содержание! Но она не такая, словом, у нее есть гордость, я знаю. Итак, она оставила его. Пошла работать официанткой в столовую. Она вернется, я уверен. То есть, я хочу сказать, если она пересилит свою гордость, в положительном смысле, ну ты понимаешь меня. Ведь тут речь и о ребенке. Она хорошая мать, а этот Артур Кингсли тяготится им. Ах, малыш так любил меня — как родного отца!— Дядя умолк, а через минуту сказал встревоженно:— Но смотри не проговорись *им*, что знаешь обо всем. Пусть это будет нашей с тобой тайной.

С того дня, как жена покинула его, минуло уже одиннадцать лет. За все эти годы он не получил от нее ни одного письма. Ни строчки. И вот я, в свои двенадцать, сделался дядюшкиным поверенным.

Больше всего на свете дядя обожал кино. В три часа Франческо занимал его место за письменным столом, а мы отправлялись на дневной сеанс. Все шло по раз и навсегда начертанному кругу. Основательно зарядившись полученными эмоциями, мы возвращались автобусом на автовокзал, запирали типографию и спешили домой на улицу Гальперин. На скорую руку стряпали нехитрую еду, мылись и погружались в дядины газеты и журналы, читая только про кинематограф. Вечером, в урочный час, мы отправлялись на вечерний сеанс — снова смотреть диво дивное — и с ощущением уже полного хаоса в голове и ошеломленности в душе отходили ко сну.

Таким я его и запомнил, моего дядюшку,— неотрывно глядящим на экран в неверном, рябящем полумраке, с распахнутыми глазами и открытым ртом. Дитя с лицом изнуренного отшельника. Безмолвный, застывший, готический. Это был мир с одним-единственным жителем.

Я быстро усвоил, что для дяди давать пояснения по ходу фильма — нож острый. Да и после он редко пускался в рассуждения об увиденном. Дядя вообще не любил много говорить о кино. И хотя он поверял мне самое сокровенное, кино хоронилось в его душе глубже всех тайн. Когда же мне все-таки удавалось вызвать его на разговор, на его монашески бледном челе проступал румянец. Он отвечал сбивчиво, коротко, неохотно.

Несколько лет подряд в дядюшкиной типографии печаталась киногазета. Моя сестра выписывала эти тощие, в желтых и зеленых обложках брошюрки. По причине моего малолетства она тщательно

следила, чтобы они не попали мне в руки. Зато в ее отсутствие я прилагал все усилия, чтобы они попали-таки ко мне в руки и, забившись в какое-нибудь укромное местечко, открывал желто-зеленые обложки и самым прилежным образом прочитывал любовные истории, изучал нотные строчки романсов, а главное — рассматривал картинки. Не в пример сестре дядя поощрял мою тягу к искусству, предоставив в мое распоряжение все издания, собранные им из любви к кинематографу, какие только печатались в этом огромном мире.

Киногазета принадлежала удручающе бедной семье, но несмотря на то, что хозяин частенько оказывался дядиным должником, мой родственник не ставил их в безвыходное положение. Более того, он взял на себя, причем безвозмездно, все заботы по руководству газетой. Часами, торжественно-недвижим, просиживал он, склонившись над огромными листами. Спустя какое-то время в типографии появилось новое лицо — молодая девушка, которая и сменила дядюшку на боевом посту, чтобы исправить его ошибки — дядя умудрился наделать их во множестве — и не допускать такого впредь. Этот переворот нисколько не задел дядюшкино самолюбие — уже на другое лето я нашел его и новую помощницу самыми добрыми друзьями. Молодая особа оказалась молчуньей, имела обыкновение краснеть щекой, работала много, получала мало. Нетрудно было заметить, с какой почтительностью относится к ней мой дядя. Ведь ее работа непосредственно связана с кино, к тому же она дама.

— Вот он,— сообщил ей однажды дядюшка, ударяя меня по плечу, отчего получился сырой шлепок,— будет пробовать себя в эпистолярном жанре. Его сочинения — лучшие в классе.— Он горделиво замолчал, а она усмехнулась, обратя взгляд на свои пальцы, все в чернильных пятнах.— Может, он еще и в вашу газету напишет,— продолжал дядя.— Он кино любит.

— А зачем? — отвечала со смехом девушка, чем повергла его в крайнее изумление.— Раз ваш племянничек любит кино, лучше пусть его смотрит.

— А что в этом, я вас спрашиваю, плохого? То есть, я имею в виду, если он напишет в вашу газету? — вздернул брови дядюшка.

— Да глупости все это,— сказала она,— кино, фильмы, фотоаппараты, прожектора. Вы отлично понимаете, о чем я. А по-вашему, занятие это в почете! — Она брезгливо оттолкнула оттиски с физиономиями актеров и убежденно добавила: — Чепуха на постном масле!

Расположившись поодаль, Франческо с Перецом ели глазами ее весьма убедительный бюст и шептали друг другу сальности.

На следующий день дядя за приличные по тем временам деньги приобрел для меня небольшую кинокамеру и катушку пленки 9,5 мм, с перфорацией.

Первым же субботним утром мы держим путь на побережье, туда, где палатка с тиром — снимать кино. И вот уже пружина заведена до упора, мой палец на рычажке, а дядя все еще придирчиво выбирает сюжет для съемки, а я таращюсь на него одним глазом в окуляр, еле поспевая за его передвижениями.

— Ну давай уже, снимай! — изнывала от нетерпения толпа зевак, возникшая невесть откуда в считанные секунды. Нас с дядей буквально затопило всеобщее уважение и благоговение.— Они из «синема», как пить дать! — авторитетно перешептывались друг с другом знатоки.

Домой возвращались уставшие, с песком в волосах и с девственно-нетронутой пленкой в кинокамере: все время, пока мы снимали, колпачок на объективе исправно нес свою службу. Наутро я рассказал о нашей неудаче типографской девушке. Она от души рассмеялась.

— Так, ну и что же в этом страшного? Тем более смешного?! То есть, я хочу сказать, это была проба пера! — восклицал дядя.— В следующий раз непременно получится! — Слова его пронизывало полное

отсутствие уверенности. Девушка опять прыснула, подмигнула мне и зарделась. Вернувшись к своим бумагам, она навалилась на стол всей грудью. Поверх наборной машины Пинхас бросил Перецу:

— Бог свидетель, засадил бы я ей как я умею!

Перец нехорошо засмеялся и толканул приятеля плечом.

В дядином кабинете, в выдвижном ящике письменного стола и по сей день хранится кинокамера, внутри которой покоится наше кино, так и не увидевшее — в буквальном смысле — света. Сколько раз, когда становилось туго с деньгами, я порывался продать ее. Но тяжелые времена проходят, а камера, которую завещал мне, как заповедь, дядюшка, и сейчас со мною.

Недавно случай вновь привел меня на берег моря. Палатки с тиром и бильярдом уже стерлись с лица побережья, и на том самом месте, где Гордон[2] некогда вышел к морю, суетились несколько человек в джинсах и майках, целясь объективом тяжелой черной кинокамеры и серебристыми софитами в красотку, на которой был оранжевый купальник. Я остановился и стал наблюдать, как они работают. Красотка то поднималась по ступеням, то спускалась, а молодой мужчина без конца подходил к ней и говорил — я даже помню что:

— Нет, это безнадежно. Марку нужно другое, а это...

Красавица подносила руку к губам, словно боялась закричать, и отвечала:

— Допустим. В таком случае что ты предлагаешь?

И опять объектив брал девушку на прицел, и вновь серебристые софиты пронизывали ее своими жаркими лучами, и все повторялось сначала. Компания зевак вроде меня уже заскучала и стала рассасываться, а я все стоял. Моя настырность обеспокоила красотку: показывая рукой в мою сторону, она шепнула что-то одному из молодых людей. Я повернулся и зашагал прочь, настолько одуревший от киносъемки, что даже не запомнил цвета ее волос.

В доме напротив жила девушка. Дядина веранда смотрела прямо на окно ее комнаты. Как-то вечером, перед походом в кино, когда дядя приводил в порядок свои инструменты, я вышел на темную веранду и увидел ее. Она раздевалась перед открытым окном. Ей было тогда, наверное, лет двадцать пять, а мне четырнадцать, и ее тело, белоебелое в тревожно-желтом электрическом освещении, обнаженное, налитое, опалило, ослепило меня. Девушка почувствовала на себе мой взгляд и дерзко развернулась в мою сторону, пылая наготой и гневом. Я отвел глаза и услышал ее смех. Переборов смущение, я вновь посмотрел на нее, и она приветливо мне помахала, ввергнув меня в еще большее замешательство. В этот момент в комнате появился мужчина. Свирепо оглядевшись, он вмиг оценил ситуацию, влепил девушке здоровенную пощечину и отшвырнул ее от окна. Я слышал, как она расплакалась. Мужчина с лязгом рванул жалюзи вниз, и все исчезло — и видение, и голос.

Дни сменяли дни. Так было и после войны за независимость, когда во дворах еще не затянулись раны — шахты бомбоубежищ.

Время близилось к полудню. Дядюшка сидел в своей типографии, а я праздно шатался по окрестным улочкам. И тут мне повстречалась та самая девушка. На ней был легкий, в линялых цветах халатик. Она стояла у шахты в чужом дворике, с пустым мусорным ведром в руках, и смеялась.

— Иди сюда! — приказала она.

Я подошел к воротам. Вблизи кожа ее не поражала белизной, лицо было усеяно прыщами, да и весь облик уже не казался таким маняще-прелестным, как тем вечером.

---

[2] А. Д. Гордон — основатель «толстовских коммун» в Палестине.

— Тебе сколько лет? — спросила девушка.

Я ответил.

— Ты здешний? — поинтересовалась она.

— Нет,— сказал я.

— А хочешь, спустимся в шахту? — Она поставила ведро на землю.

— А зачем? — удивился я.

— Словим вместе кайф,— объяснила девушка. Верхние пуговицы на халатике отсутствовали, и из глубокой прорези вздымалась завораживающе-тугая грудь. А вокруг — ни единой души.

Она вцепилась мне в руку и повлекла в шахту.

— Мы спустимся глубоко-глубоко,— зашептала она придушенно, уводя меня вниз по утрамбованным земляным ступенькам. Когда мы очутились в темноте, она внезапно остановилась и с силой прижала меня своим телом к стене.

— Потрись об меня, и оно придет,— быстро проговорила она надтреснутым басом и засопела так, словно она тонула, а я ее спасал. В серых сумерках шахты я даже разглядел дырочки в мочках ее ушей. Она все сильнее прижималась ко мне, и халатик, весь отсыревший от пота, вдруг неприятно, угрожающе облепил меня. С трудом высвободившись из ее железных объятий, я ринулся вверх — ее молящий крик несся за мной по пятам. Я бежал из этого дворика, не разбирая дороги, пока не оказался на незнакомой улице.

Ближе к вечеру, когда мы с дядей возвращались с дневного сеанса — впервые в тот день кино не пошло мне впрок,— пылкая девица стояла у своих ворот, и вид у нее был выжидающий. Завидев меня, она принялась швырять в нас камни, сопровождая свои действия громкой бранью. Дядюшку все это привело в неописуемый ужас, и он быстро потащил меня к дому. Мы заперлись изнутри; я заметил, что дядя мой чрезвычайно бледен. Он даже не спросил, что же произошло. Я проскользнул на веранду — с нее хорошо просматривался наш двор. Внизу уже столпились соседи по улице и глазели на разбушевавшуюся фурию, которая еще продолжала что-то кричать. Потом появился тот самый мужчина и грубо, пинками затолкал ее в дом.

Возвратившись в нашу маленькую кухню, я застал дядюшку за приготовлением салата из огурцов — это выглядело как специальное упражнение против дрожи в руках. И вновь на моих глазах произошло знаменитое дядюшкино киноперевоплощение. Он заговорил так:

— Эта бедняжка — несчастнейшая из девушек. То есть, я хочу сказать, весь мир ожесточился против нее.

И поведал мне печальную историю ее жизни. Жених этой девушки, оказывается, погиб в боях под Аламейном, и было ей в ту пору семнадцать лет. И вот она пошла замуж за этого дурного человека, а он старше ее на целую вечность. Я и по сей день даюсь диву, откуда дядя взял все это, ведь он затруднялся назвать по именам даже ближайших своих соседей.

Наутро бакалейщица, упаковывая мой товар, рассказала, как обстоит дело в действительности:

— Она чокнутая. Ее отцу тысячу раз было говорено, чтобы определил ее в дом для умалишенных. С семи лет она даже в школу не ходит, а папаша считает, что тумаками да побоями отучит ее от помешательства. Кой-кому из тупых невдомек, что сумасшествие — это болезнь.

После того случая я долго не видел ее. Поговаривали, что после этой скандальной выходки отец решил содержать дочь под домашним арестом. Не раз, затаившись на дядиной веранде, я до рези в глазах вглядывался в спущенные жалюзи напротив, вспоминая ее дерзкие далекие прелести.

Но около года назад — мое отрочество с его дурью давно уже миновало — мне случилось наблюдать, как она выходила из дома, по-дет-

ски держа за руку своего угрюмого отца. Обликом не девочка, но и не женщина. Одета в мятые, не по росту огромные брюки цвета хаки и высокие ботинки. На голове — панама, натянутая до ушей. Лицо сморщенное, как у новорожденной, а тело — обрюзгшее, старушечье. Отец поместил ее все-таки в заведение для хроников, и только по праздникам, дважды в год, привозил несчастную домой побаловать лакомствами.

Но все это присказка, хоть и не в меру затянувшаяся. Однажды — истекали последние мои каникулярные денечки — типографская девушка сама себя пригласила на наш дневной культпоход в кино. И опять дядюшкино лицо слегка побледнело от волнения. Она поднялась из-за стола и надела синий вельветовый пиджак, потому что лето близилось к концу и вечерами уже заметно свежело.

Нетрудно догадаться, что после сеанса домой мы вернулись втроем. Дядя заспешил на кухню готовить салат и яичницу с острым сыром, а я тем временем занимал гостью газетами. После ужина выяснилось, что наша знакомая никуда не торопится, и мы начали было разговаривать. Однако беседа не клеилась и расползалась, зияя многочисленными дырами молчания. Четырнадцать лет — достаточный возраст, чтобы понимать элементарные вещи, поэтому я вежливо откланялся и поднялся к себе. Не прошло и минуты, как за мной явился сконфуженный дядя и шепотом стал заклинать меня, чтобы я спустился и посидел с ними. Потом мы проводили ее до дома. Обратно возвращались пешком. Первую половину пути мы шли молча, но на сей раз молчание тяготило дядюшку. Достигнув угла Заменхоф и Кинг-Джорджа, он остановился и осведомился, видел ли я фильм «Касабланка». Я отрицательно мотнул головой.

— С Хамфри Богартом? — подсказал мне дядя.

Вечером, перестилая мою постель, дядя спросил вдруг, не поднимая на меня глаз, какого мнения я о нашей сегодняшней гостье.

— По-моему, она милая,— ответил я, несколько смутившись.

Он заботливо подоткнул простыню, выпрямился и задумчиво уставился в окно.

— Хочу надеяться, что это будет не последний ее визит,— протянул он.— То есть, как говорится, неплохой получился вечерок.

Ночью в шортах и сандалиях сидели мы на песчаном холме в обществе Хамфри Богарта. Богарт, поигрывая камешком, на отменном иврите доверительно излагал дядюшке свою точку зрения: вступление Соединенных Штатов в первую мировую войну надо рассматривать как политический промах. Дядя же отвечал, что уволил блистательнейших голливудских звезд Лору и Эриха фон Штрогейм за воплощение в кино образов нацистских офицеров, что было дьявольски разумно с его стороны. Я дремал на песке. В море показалась «Альталена»[3] по самую корму осевшая в воду.

Дядины надежды, похоже, оправдывались — наша типографская девушка охотно составляла нам компанию, и в последующие дни мы возвращались домой втроем и вместе проводили время. Правда, разговаривали мы мало. Я неизменно был с ними как пришитый, и во взгляде ее неизменно читалось недоумение. Вскоре она прекратила свои визиты. В тот последний день, в три часа, когда дядя осведомился, не желает ли она посмотреть с нами «Плату за страх», она молча взглянула на него и слабо улыбнулась, спрашивая глазами: «А какой смысл?»

Мы отправились в кино без нее, и дядя был явно удручен. Больше она у нас в доме не бывала.

[3] Грузо-пассажирское судно, потопленное в 1948 году при подходе к побережью по приказу премьер-министра Израиля Д. Бен-Гуриона: на его борту было оружие для террористической организации «Иргун Цеваи Леуми».

Накануне моего отъезда в деревню мы с дядей отправились как обычно на дневной сеанс, а после — в нашу маленькую типографию, запереть двери. Взбираясь на второй этаж, мы неожиданно наткнулись на нее, хотя рабочий день давно кончился. Она сидела на ступеньках, в неверном сумеречном свете, и при нашем появлении резко вскочила на ноги, загораживая собой незнакомого нам мужчину. Он неторопливо, с ленцой поднялся. Одежда ее была в беспорядке, волосы распущены. Дядюшка остановился как громом пораженный.

— Птичка,— сказал мужчина,— дай людям пройти.— И рукой отстранил ее к стене. Больше никто из нас четверых не проронил ни слова.

У ветхой входной двери дядюшка очень долго возился с замками, а я смотрел на его дрожащие руки, на его словно бы обескровленные пальцы. Позже мы спустились вниз, на освещенную улицу. Девушки на лестнице уже не было. И мужчины, сидевшего рядом, тоже.

Мы пробирались сквозь темную толпу — озабоченные делами люди наводнили всю площадь перед автовокзалом. Погруженный в свои мысли, дядя невольно заговорил вслух:

— Опасная вещь — этот нитроглицерин. Одно неосторожное движение — и готово дело.

Я угрюмо молчал.

— Ты что-то сказал? — спросил он и взглянул на меня.

Плотно сжав губы, я прилежно изучал переплетения на своих сандалиях.

— А ведь ты видел этот фильм,— заметил дядя.

Я только сильнее стиснул зубы.

— Я думаю сходить на него еще раз,— продолжал он как ни в чем не бывало.— Жаль, что ты завтра уезжаешь.— Выражение его лица стало размягченным, приветливым. Именно таким рисуют в кино старого доброго дядюшку.— Может, останешься? То есть, я хочу сказать, еще на день или что-то в этом роде?

И тут меня прорвало:

— Шлюха она последняя! — Ярость подпирала к горлу, лавой выплескиваясь наружу.— Курва! — Словечко Франческо пришлось как нельзя кстати.— Пусть только придет завтра в типографию, я ее из окна выкину! Помяни мое слово, выкину! — На меня недоуменно начали оборачиваться прохожие.

— Что с тобой? — дядя возвысил голос.— Как ты разговариваешь, голубчик? — Столь нравоучительный тон удивил меня.

Мы сели на «четверку» и до самой нашей остановки на углу Арлозоров и Бен-Ехуда ехали молча. Я стоял в автобусе, и мысли мои метались: от соседской дурочки в шахте бомбоубежища — к милому дядюшке.

Пока мы шли по опустевшей улице, дядя, выбирая слова мягкие, раздумчивые, взывал к моему благоразумию. Он понимал, почему я разошелся, но дело в том, что я не все знаю. Так и быть, он расскажет мне. Эта женщина неизлечимо больна. Да-да, Франческо как-то проговорился ему об этом. И жить ей осталось от силы недели две. Уличные фонари отбрасывали на его лицо таинственный, мерцающий свет.

На пороге он вдруг приостановился:

— Кроме того, ты же знаешь, что твоя тетя собирается вернуться. С мальчиком. Как говорится, кто бы мог подумать! Завтра-послезавтра, наверное, придет письмо, а там месяц-другой... Такое заранее предугадать невозможно, но подходить к этому надо разумно.

Когда я наутро проснулся, дядя уже ушел. На столе, как всегда, меня ожидал завтрак. Сложив чемодан, я поехал в типографию проститься с дядей. Наша знакомая сидела за своим столом, склонив голову набок, отчего ее мягкие каштановые волосы падали на плечо. Когда я проходил мимо, она посмотрела на меня и улыбнулась. Дядя с Перецом и Пинхасом суетились вокруг занемогшей наборной маши-

ны — раз в день она обязательно ломалась. В бачке загустевал свинец, и дядя, не имевший представления, что в таких случаях делают, становился совершенно беспомощным.

Я подошел к Франческо, мрачно возившемуся с газетными листами возле печатной машины, и без обиняков задал ему вопрос насчет обреченной.

— Что значит больна?! — рявкнул он и вперился в меня, точно перед ним стоял провокатор.— Чтобы я так сказал? Ты псих или как?! Откуда мне, черт побери, знать, здорова она или не очень?!

Я клял себя на чем свет стоит. Франческо люто ненавидел дядю и теперь — благо нашелся повод — рад был на него обрушиться. Он схватил меня за плечо и поволок к наборной машине,— пятна от краски, так нейдущие к дядиным белым худым пальцам, с каждым шагом становились все ближе и крупнее.

— Господин Бах! — заговорил Франческо громовым голосом. От злости желваки его отплясывали дикий танец.— Господин Бах, скажите мне, зачем вы припутываете меня к своим бредням? — Дядюшка выпрямился и беззвучно воззрился на него.— Приходит, понимаешь ли, этот щенок: мол, что это я сказал! Какое мне дело, больна эта фифа или нет! Ты чего ему пудришь мозги со своей импотенцией!

Девушка подняла испуганные глаза, а приятели, Пинхас с Перецом, громко заржали. Дядюшка, как всегда в таких ситуациях, побледнел, на скулах натянулась кожа. Он оставался нем.

— Дерьмовая контора! — Франческо сплюнул на дощатый пол.— Просиживай тут целыми днями без работы, впустую! Где выгодные заказы, я вас спрашиваю? Одни свадебные открытки да киношная газета. Дерьмо! А теперь еще вдвоем со своим щенком полощет мне мозги. Что же это, черт побери, такое?!

Дядюшкин взгляд был кроток, словно перед глазами у него проплывали совсем иные картины. Но девушка, решительно встав из-за стола, сама перешла в наступление.

— Как тебе не стыдно! — закричала она на Франческо.— Что, жалованье тебе не платят вовремя? Ты что разорался? — И оборотясь к дяде: — На вашем месте я бы его уволила. Другого найдете, лучше. И не сомневайтесь. Ведь он только тем и занят, что распускает свой поганый язык и говорит про вас гадости.

Франческо отпустил мое плечо и весь напружинился, точно перед прыжком.

— Гляди-ка, благородную из себя корчит! Курва ты, самая настоящая курва. Вообще-то я с бабами вежливый, но ты со своей задницей ко мне не лезь, слышишь?!

Он нарочито небрежно вытер руки листом, выдернутым из пачки дорогой фотобумаги.

— Ты что же думаешь, на желторотого напала, да? — сказал он и перевел взгляд на приятелей. У тех расцвела под усами мерзкая улыбочка.— А Гистадрут на что, а? А Союз типографских рабочих? — Он скомкал и отправил в окно замаранную бумагу. Подцепил пальцем рубашку, висевшую на гвозде, и надел ее. Все это он проделал не спеша, а после окинул присутствующих взглядом, который говорил сам за себя: «Сейчас я во гневе, господин Бах, и не намерен работать из-за твоего дерьмового ко мне отношения, господин Бах. Хочешь, беги докладывай про все это товарищу Фридману из Гистадрута. А заодно и про то, что я на всех кладу. С прибором».

Девушка, изо всех сил сдерживая слезы, собирала бумаги. Вся троица чинно и демонстративно прошествовала в сторону лестницы. Дядя натужно перевел дыхание и, как бы обращаясь к самому себе заговорил:

— Полагаю, форму они уже отпечатали. Восемь столбцов у нас имеется, не правда ли? — Помощница ничего на это не ответила, и дядюшка продолжал: — Может, успеем слетать на какой-нибудь фильм

в «Тамар»? То есть, до того как ты уедешь? — Он задорно покосился на меня.

Я не возражал. Тогда дядя с не присущей ему смелостью осведомился, не присоединится ли к нам молодая особа. Особа мотнула головой. Кстати, ее звали Алия.

Я перевел взгляд на окно. Словно в квадратике целлулоидной пленки, трое рабочих пересекали улицу, держа путь в столовую.

Следующие мои тель-авивские каникулы состоялись лишь через два года. Я нашел своего дядюшку сильно постаревшим и больным. Разговаривая, он внезапно хватался за грудь, как бы преграждая путь боли. Временами левая нога его распухала и по нескольку дней причиняла немалые страдания.

Киногазета больше не выпускалась, и девушка Алия не сидела за стареньким столом. Правда, рабочие были те же, наборной машиной заправлял Перец. Исчезли завсегдатаи; в типографию теперь забредали случайные прохожие, чтобы заказать поздравительные открытки или пригласительные билеты. Но, как и в старые добрые времена, дядя был с каждым в высшей степени обходителен и давал исчерпывающие пояснения относительно сортов бумаги, шрифтов и иных премудростей печатного дела. По-прежнему он ежедневно ходил в кино, хотя долгое сидение в деревянном кресле доставляло ему одни муки. Но муки по кино были много сильнее.

Однажды в типографии появился молодой бородач в клетчатых штанах. Это был режиссер, он пришел заказать оттиски для своего рекламного ролика. Дядюшка смотрел на него как на помазанника, и во взгляде, обращенном ко мне, читалось то, чего он не произнес вслух: «Ты только представь себе, этот человек делает кино!»

Пока бородач ожидал выполнения заказа, они беседовали с дядей о судьбах кинематографа. Дядюшка принялся обсуждать фильм, о котором тогда говорили буквально все,— «Огни рампы». Но гость кривил рот и отмахивался, останавливая поток дядиного пламенного красноречия.

— Позвольте, позвольте,— говорил он,— что, кроме авторской жалости, в нем есть? Какая глубокая мысль? Что за откровение нашли вы в нем?

Дядюшка опешил. И спросил, причем без тени иронии или насмешки:

— А какая глубокая мысль кроется в других вещах? То есть, например, в сапожном ремесле?

Гость оказался скор на ответ:

— Позвольте, по-вашему, выходит, что сапожник и человек искусства — одно и то же?

— Так ведь и тот и другой, оба в известном смысле творцы,— пояснил дядя.

— И вы это серьезно? — спросил режиссер. Дядя кивнул.— Уму непостижимо! — Наверное, именно тогда он впервые дал себе труд слегка задуматься. Но вывод из размышлений сделал странный:— Значит, вы не очень-то любите кино, или я не прав?

Дядюшка вежливо улыбнулся. Тут я позволил себе вмешаться:

— В среднем он смотрит восемь картин в неделю.

— Минуточку, минуточку,— встрепенулся гость,— это еще не показатель любви к кино. Лично я просматриваю не больше одного фильма в неделю, улавливаете? По-настоящему любить кино — это...— Он щелкнул пальцами, подыскивая точную формулировку.— Это преданность раба на всю жизнь. Это самоотречение, вы поняли? Это порывание всех связей с действительностью во имя одной цели, одного идеала — кино!

Он вдохновенно нес эту чушь, а я должен был терпеть. И этот человек в клеточку, с дистрофическим рационом четыре фильма в месяц и жалким полуминутным роликом, который он снял, взялся поучать — кого!!! — моего дядюшку насчет любви к кино. И еще смеет спрашивать: «Вы поняли?» Дядя же воспринял его разглагольствования как непреложную истину и в дальнейшие споры не вступал. Пинхас принес оттиски: рекламировалось название какого-то мыла, тут же — самодовольная рожа этого типа. Наверняка он его расхваливает. Мне стало невмоготу, и, улучив момент, я отправился в столовую — исцелять свои душевные раны.

Когда я вернулся, режиссера в типографии уже не было, зато дядю я нашел необычайно взволнованным.

— Это же надо! — восклицал он.— Это же надо! Как говорится, здесь твоя судьба, мой мальчик. Теперь ты просто обязан сесть и писать!

В ответ на мой недоуменный вопрос он сообщил мне, что все-таки набрался смелости и поведал режиссеру о моих литературных задатках. Тот благосклонно выслушал и под конец сказал, что, вероятно, я смогу быть ему полезен. Кое в чем. Возможно, из этого что-то и выйдет, так он сказал.

С полминуты дядя глядел на меня торжествующе, лицо его озарял свет, льющийся из квадратика окна. Потом он выспренне, в лучшем «киностиле», провозгласил:

— Это ваш звездный час, юноша. Не упустите его!

С того дня дядюшка мой превратился в сущего тирана. Он запретил мне приходить в типографию. Каждое утро будил меня ни свет ни заря и стоял над душой до тех пор, пока я не садился за письменный стол. Каникулы мои обернулись кошмаром.

Он уходил на работу, а я силился выдавить из себя что-нибудь путное, но после нескольких вступительных фраз перо вываливалось из моей руки. Мне не оставалось ничего другого, как листать старые газеты или слоняться по улицам. Придя домой, дядя живо интересовался моими достижениями, а я принимался складно врать, отчего на лице у него расцветали торжество и радость — такое выражение я наблюдал редко. Так продолжалось не одну неделю, и я лишь уповал на то, что избавление когда-нибудь да наступит.

Оно наступило. В последнюю неделю моих каникул вернулись в родные края тетушка и ее сын и тут же заявились к дяде. Это спустя шестнадцать-то лет.

Был утренний час, я уныло сидел за столом и слушал по радио обзор новостей. «...Газета «Ацофе»,— бубнил диктор,— считает, что подобный подход президента Эйзенхауэра к данному вопросу может привести к созданию плацдарма на...» Тут раздался звонок. В дверях стояли изысканно одетая маленькая белокурая женщина и молодой человек в темном костюме. Я не признал в них своих бывших родственников. Даже когда дама на ломаном иврите осведомилась, не сын ли я господина Баха. Но уже в следующую минуту в мозгу у меня словно молния вспыхнула догадка.

— Нет, я племянник,— ответил я на иврите. Они прошли в гостиную и с любопытством начали озираться.

— Я помню тебя еще бэби, вот такусеньким,— сказала дама. Она опустилась в кресло, будто никогда отсюда и не уезжала. Сын снял пиджак и раскурил сигарету.

— Ты знаешь, кто я? — спросила тетя. Я кивнул. Она перебросилась с молодым человеком несколькими короткими фразами по-английски. Поглядывая в мою сторону, оба засмеялись.

Я надел рубашку и сказал им, что схожу за дядей. Тетя с сыном продолжали о чем-то беседовать, а я спустился в бакалейную лавку, откуда можно было позвонить в столовую напротив дядюшкиной ти-

пографии. Прошло, наверное, не меньше пяти минут, прежде чем в трубке послышался его мягкий нерешительный голос.

— Дядя, это я.

— Ах, то есть, неужели ты закончил? — радостно встрепенулся он.

— Нет,— буркнул я,— тут другое. Слушай...— Я медлил, соображая, как бы подготовить его к известию. Но я был неискушен в подобных делах и против своей воли стал вдруг выговаривать совсем не те слова, что хотелось: — Слушай! Твоя прошлая жена с сынком пожаловали из-за границы. Они сидят дома и ждут тебя.

Эта сухая информация не произвела на него ни малейшего впечатления.

— О чем это ты? — безразлично сказал дядя. Я повторил все слово в слово. Наступила на удивление долгая пауза, настолько долгая, что в голове у меня заворочалась нелепейшая мысль... Телефон снова ожил, но дядин голос изменился почти до неузнаваемости: — Чепуха! То есть, это, конечно, не они.

— Они,— процедил я,— я разговаривал с ними.

Дядя не ответил.

— Ну так ты идешь? — Я закусил губу.

— Что это они так... вдруг?..— В дядином голосе образовалась трещинка.

— Но ведь ты ждал их приезда,— напомнил я. Бакалейщица, изнемогая от любопытства, бросала на меня короткие взгляды, стараясь ухватить суть разговора.— Сам же говорил.

В трубке молчали.

— Так ты придешь или нет? — Я начинал терять терпение.

— Послушай,— дядин голос донесся с расстояния в световой год,— ведь прошло столько лет, и я, как говорится, уже не молод...— Он помолчал и вдруг с необычайной нежностью спросил: — А как она выглядит?

Признаться, дядин вопрос застал меня врасплох: что он рассчитывал от меня услышать?

— Женщина как женщина, я знаю? Так ты придешь или нет?

— А ребенок? — На его голос наслаивался шум из столовой. На мелкой ряби людского гомона всплеснулся чей-то хохот. Уж не Франческо ли?

— Ничего себе ребеночек! Да он почти пожилой, на все двадцать три тянет, если не больше!

— Да, ему двадцать три,— подтвердил дядя и снова замолк.

— Да ну тебя! — Моему терпению пришел конец.— Говори, когда придешь!

Его растерянность я ощущал почти физически. Слабым голосом он ответил, что сию минуту идет домой.

Гости уже вполне освоились в дядином жилище. Они с любопытством оглядывали обстановку, предмет за предметом — сами по себе вещицы не имели большой ценности, но вкупе создавали неповторимую атмосферу, отличавшую дядюшкин дом от всех прочих. Я прошел в кухню, чтобы поставить на огонь кофейник. Я слышал, как они смеялись, и мне стало нестерпимо горько — воспоминания о прошлом эти люди превратили в балаган!

Пока закипала вода, я застелил кровати. Потом они пили кофе, а я сидел как незваный гость. Маленькая женщина с сыном беседовали между собой по-английски и много смеялись. Понимая их болтовню с пятого на десятое, я сообразил, что они судачат о дяде.

Прошел час, другой. Тетя сняла туфли и прилегла на софу в гостиной, а молодой человек развязал галстук. Они явно не спешили. Я опять спустился в лавку и набрал номер столовой. Трубку брякнули о стол, и я услышал звук удалявшихся шагов. Через несколько долгих минут мне сообщили, что дядя уже с час как ушел.

Я вернулся домой. Не бог весть на каком английском я сказал им:

— Все в порядке. Дядя скоро будет.

Тетя ответила «о'кей», а «ребенок» подошел к письменному столу, где лежали мои листки с литературными потугами. Взяв один, он стал расспрашивать мать, что это за «странные буковки и слова». И опять они засмеялись. Я решил дожидаться дядюшку на веранде. Как всегда угрюмый, с вечерней газетой под мышкой и двумя бутылками простокваши в руке возвращался домой отец сумасшедшей. Со стенда на меня пялилась нагло раскрашенная афиша нового фильма. Я понял, что не напишу о кино более ни строчки, даже если это разобьет дядюшкино сердце.

Вот и еще шестнадцать лет пролетело. Вру, больше. Я сижу в той же типографии, теперь уже моей собственной,— она хоть и поскрипывает, но кормит меня и дядю, который уже много лет находится в лечебнице. Сейчас обеденный перерыв (трое неразлучных друзей высиживают его в столовой от звонка до звонка), передо мной на столе чистый лист бумаги. Я силюсь что-нибудь написать. Не важно что. Но перо не слушается меня. Я гляжу на улицу — в квадрате окна пересекает дорогу сварливая троица: обеденный перерыв кончился. Теперь уж я точно ничего не напишу. Я позволяю воспоминаниям захлестнуть меня.

Я возвратился в гостиную. Был полдень. Тетка в розовой нижней юбке с кружевами покоилась на софе, сын ее снял рубашку и дремал в кресле. А дядя все не шел.

В три тетушка пробудилась и немедленно отчалила на кухню. Внимательно изучив содержимое холодильника, она извлекла оттуда курицу и помидоры. Сын нарезал хлеб, и они уселись за стол.

— Может, съешь что-нибудь? — не поворачивая головы, спросила она на скудном иврите, бывшем некогда ее родным языком.

— Нет,— ответил я и опять пошел на веранду высматривать худую прихрамывающую фигуру. Постояв там немного, я решительно направился в кухню. С аппетитом уплетая курицу, родственники обменивались смешками.

— Я прошу вас уйти,— начал я на иврите.

Они даже не взглянули в мою сторону. Я повторил громче.

— Что он сказал? — спросил по-английски сын.

— Я сказал, чтобы вы сейчас же встали и покинули этот дом.

— Как это? — Улыбка быстренько сошла с теткиного лица.— И где же господин Бах?

— Не знаю,— отрезал я,— вставайте и... Я вас больше не задерживаю.

— Что, что он говорит? — допытывался молодой человек у матери. Они перебросились несколькими словами. Сын нервозно передернул плечами, прекратил питаться и, обтерев руки полотенцем, надел рубашку. Пока он все это проделывал, моя тетка составила в раковину грязную посуду. Я надзирал.

В этот момент в дверь позвонили. Дядя?! Нет. Вошел высокий худой мужчина с зачесанными назад волосами, в роговых очках. Судя по одежде — турист. Он вежливо осведомился у меня о чем-то, но прежде, чем я перевел для себя его вопрос, моя белокурая тетка уже повисла у него на шее со словами: «Артур, dear! [4]»

— Хэлло, вы тут? — сказал человек по-английски совсем как наш учитель, когда читает «Ридинг фор бегинерс» [5]. Он чмокнул тетю в щеку.

---

[4] Дорогой *(англ.)*.

[5] Чтение для начинающих.

— Итак, вы с ним встретились?

Мой кузен застегнул рубашку:

— Нет, dad [6]. Но презабавно провели время.

Они ушли. А дядя так и не появился, и я отправился искать его. Побывав в типографии, я решил обследовать все кинотеатры в городе. Трижды я покупал билеты, чтобы попасть внутрь. Я обнаружил его в «Тамар». Он сидел в довольно жидко заполненном зале и, казалось, целиком был погружен в происходящее на экране. «Счастье», если не ошибаюсь. Шарль Буайе обнимал своего сына Бобби Дрисколла, наставляя его в вопросах мужской зрелости.

Я сел рядом.

— Они уже ушли? — спросил он, не отрывая глаз от экрана, столь естественно, будто мы условились о встрече.

Я кивнул. Темнота не помешала мне почувствовать, как дядино тело вдруг с облегчением обмякло в кресле. Он осторожно перевел дыхание.

— Не мог я,— сказал он,— то есть, это все проклятая нога. Какая адская боль! Мне ничего не оставалось, как сделать здесь привал.

Мы молча досмотрели картину до последних титров, а когда зажегся свет, дядя, лукаво сощурившись, шепнул мне:

— Послушай, если мы поторопимся, то как раз успеем к началу сеанса в «Офир».

■

[6] Отец *(англ.)*.

Т. С. ЭЛИОТ

Из книги «Старый Опоссум. Практическое котоведение»

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Кошка гамби

Из кошек гамби наугад возьмем хоть Пусси-Пестрый-Нос;
Пушист, богат ее наряд, львинопятнист, тигрополос.
Весь день на коврике она, в дверях иль на ступеньке — ведь
На то и гамби, чтобы так сидеть, сидеть, сидеть, сидеть!

Когда же дневная сошла суета,
У гамби работа едва начата.
Лишь только последний в семье задремал,
Она ускользает неслышно в подвал.
Ей грустно, что дурно воспитаны мыши,
Которым вести бы себя бы потише.
Она говорит им слова назиданья
И учит их музыке и вышиванью.

Из кошек гамби наугад мы взяли Пусси-Пестрый-Нос;
Кто-кто на свете больше рад в тиши угреться — вот вопрос.
Весь день она у очага, на солнце иль на шапке — ведь
На то и гамби, чтобы так сидеть, сидеть, сидеть, сидеть!

Когда же дневная сошла суета,
У гамби работа едва начата.
Она все мышиные плутни на свете
Приписывает нездоровой диете.
И, веря, что все еще можно исправить,
Она принимается жарить и парить.
И мыши питаются хлебным бульоном
И жареным сыром со сладким беконом.

Из кошек гамби наугад мы брали Пусси-Пестрый-Нос;
За шнур от штор, как за канат, она потянет, как матрос,
И вмиг на подоконник прыг и целый день в окошке — ведь
На то и гамби, чтобы так сидеть, сидеть, сидеть, сидеть!

Когда же дневная сошла суета,
У гамби работа едва начата.
Она полагает, что все тараканство
Вот-вот очумеет от лени и пьянства.
Она из разболтанных тараканят
Бойскаутский организует отряд
И к добрым деяньям ведет тараканов
Под тихо шуршащую дробь барабанов.

Всем гамби хвалу троекратно споем:
Без них невозможен порядочный дом!

Рам-Там-Таггер

Рам-Там-Таггер это кот наоборот:
Дай ему крылышко — потребует ножку.
Пусти его к окошку — в подвал скользнет,
Пусти его в подвал — он скользнет к окошку.
Нацель его на мошку — он за мышкой скакнет,
Нацель его на мышку — он прыгнет на мошку.
Да, Рам-Там-Таггер это кот наоборот —
Мне давно об этом рассуждать надоело,
Ибо он делает
То, что он делает,
И что поделать, если в этом все дело!

Рам-Там-Таггер всех зануд нудней:
В дом его впусти — запросится из дому;
Вечно он не с той стороны дверей,
С места своего его тянет к чужому.
Или в ящике стола заляжет, злодей,—
И не выскочит, не прибегнув к разгрому!
Да, Рам-Там-Таггер это кот наоборот —
Мне давно об этом размышлять надоело,
Ибо он делает
То, что он делает,
И что поделать, если в этом все дело!

На Рам-Там-Таггера управы нет,
Он всем недоволен, на все огрызается.
Дай ему рыбы — потребует котлет,
Но если нет рыбы, он не станет есть зайца.
Дай миску сливок — он фыркнет над ней,
Но ты ведь понял его уловки:
Сливками он вымажется аж до ушей,
Если ты их на ночь оставишь в кладовке.
Он на коленях высидит минуту с трудом,
Он против нежностей и прочей дребедени.
Но ежели ты за вязаньем иль шитьем,
Он непременно плюхнется тебе на колени.
Да, Рам-Там-Таггер это кот наоборот —
Мне давно об этом объявлять надоело,
Ибо он делает
То, что он делает,
И что поделать, если в этом все дело!

Последний бой Тигриного-Рыка

Тигриный-Рык — убийца, вор — повсюду сеет страх,
От Грейвзенда до Оксфорда кочуя на баржах.
Его холодный, злобный взгляд скребет шершавей пемзы;
Он даже счастлив, что его зовут Проклятьем Темзы.

Грубей, наглей, скверней, гнусней на свете нет шпаны:
Мешками над коленями повыбиты штаны,
На шкуре драной, вытертой сомнительные пятна,
И ухо — видите — одно (другое где, понятно).

У ротерхайтских фермеров заметна дрожь колен,
А в Патни по курятникам идет проверка стен,
А в Хаммерсмите глупых птиц с утра на ключ замкнули —
По берегам пронесся слух: ТИГРИНЫЙ-РЫК В ЗАГУЛЕ!

Эй, чиж, не вздумай упорхнуть, ты в клетке поцелей;
Эй, бандикут [1], не удирай с заморских кораблей!
Пекинка, дома посиди — погибнешь в буйстве диком,
Как те коты, кого судьба столкнет с Тигриным-Рыком!

Всех ненавистней ему кот ненашенских пород —
Кот-иностранец, кот-чужак, иноплеменный кот.
С персидскими, сиамскими — сейчас же заваруха
(Из-за сиамца в отрочестве он лишился уха).

Однажды летом, когда ночь заполнила луна
И в Молси ласково баржу баюкала волна,
Нежданно умягченный романтическим моментом,
Тигриный-Рык выказывал нечуждость сентиментам.

На берег улизнул его помощник Шкурогром,
Чтоб в «Колоколе» хемптонском заправиться пивком;
И боцман Тыкобрутус внял душевному порыву
И ныне во дворе за «Львом» выискивал поживу.

В каюте на носу Тигриный-Рык был увлечен
Беседой с обольстительною леди Грызотон.
Внизу по койкам моряки валялись, как чурбаны,—
В тот миг сиамцы погрузились в джонки и сампаны.

Тигриный-Рык натруживал свой зычный баритон
И видел, слышал лишь себя и леди Грызотон,—
Да кто б подумал в этот миг про мерзких иностранцев?
Меж тем луна сверкала в голубых глазах сиамцев.

Ни шороха, ни скрипа, ни плесканья, а уже
Их джонки и сампаны приближаются к барже.
На ней влюбленные поют, поглощены собою,
Не зная, что окружены китайскою ордою.

И тут была ракета как призыв на абордаж.
Монгольцы вмиг задраили храпящий экипаж;
Внизу остались моряки, враги же в шуме, в гаме
Рванулись вверх с трещотками, с крюками и ножами.

[1] Австралийский сумчатый барсук. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Ну кто бы леди Грызотон решился осудить
За то, что с воем унеслась во всю кошачью прыть
И, пролетевши над водой, слилась с туманной далью?
Зато Тигриный-Рык был окружен смертельной сталью.

Заклятый враг упрямо шел вперед за рядом ряд;
Тигриный-Рык был изумлен, что шагу нет назад.
Он в жизни стольких утопил со зла иль для порядка,
Да самому теперь пришлось: на дно, буль-буль и гладко.

До полдня Уоппинг пил и пел от новости такой,
Весь Мейденхед и Хенли танцевали над рекой,
Громадных крыс на вертелах пекли в Виктория-Доке,
И даже нерабочий день объявлен был в Бангкоке.

Мистер Нефисто

Вот прославленный мистер Нефисто,
Мастер оригинального жанра,
Вся программа — творенье артиста,
Труд жонглера, иллюзиониста —
Несравненная абракадабра —
Исполняется четко и чисто
По причудливым замыслам автора.
Он владелец во всей метрополии
Узаконенной монополии
На ловкость рук
И на волшебство —
Не старайся, друг,
Раскусить его:
Величайшие фокусники за границей
Отыскали б, чему у него поучиться.
Эгей!
Живей!
Чудодей!
Это да!
Хоть куда!
Никогда
Никто не сравнится с Нефисто!

В костюме из черного шелку
Худощавый подтянутый кот
Проберется в любую щелку,
По тончайшей рейке пройдет
И покажет, как мало толку
В тайнах карт и игральных костей:
Он их разоблачает и притом замечает,
Что приятней ловить мышей.
Он попляшет с пробкой немножко,
Под столом покатает нож;
Неожиданно вилка и ложка
Так исчезнут, что не найдешь.
Через месяц ты сталкиваешься с искомым:
Оно мирно ночует в траве перед домом.
Чудодей!
Это да!
Хоть куда!
Никогда
Никто не сравнится с Нефисто!

Он ведет себя сонно и чинно,
Нет его отчужденней и тише;
Иногда он лежит у камина,
А мяуканье слышится с крыши.
Иногда он гуляет по крыше,
А мяуканье — у камина.
Ты же собственным ухом
Слышал: некто мяукал,
И не веская ль это причина
Признать и почтить чародейство?
Я помню в саду, в тумане
Выкликало его семейство,
А он дремал на диване!

Да, он феноменален, но я буду краток:
Он из шляпы извлек семерых котяток —
Чудодей!
Это да!
Хоть куда!
Никогда
Никто не сравнится с Нефисто!

Никто́вити, преступный кот

Никтовити — преступный кот по кличке Тайный Коготь.
Беда несчастному, кого тот коготь мог потрогать.
В смятенье опергруппа, весь Скотланд-Ярд в смятенье:
НИКТОВИТИ ОТСУТСТВУЕТ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНЬЯ!

Никтовити, Никтовити, злокозненный Никтовити,
Сетями правосудия его вы не изловите.
Людское общежитье, земное тяготенье
Презрел он, *не бывающий на месте преступленья!*
Ищите его под носом, ищите в отдаленье —
Там нет его, как *нет его на месте преступленья!*

Никтовити высок и рыж, усы его обвисли,
Его крутой бугристый лоб избороздили мысли.
В худом поношенном пальто он грязи не страшится
И не проходит среди нас, а словно бы змеится.
И если к теплому на миг прижмется уголку,
Не думайте, что он размяк: он вечно начеку.

Никтовити, Никтовити, злокозненный Никтовити,
Он дьявол в образе кота, его не остановите.
Он встретится вам в городе, он встретится в селенье —
Но *никому и никогда на месте преступленья!*

Где правда, где неправда, вам не понять вовеки,
И отпечатков лап его не видеть в картотеке.
Когда ж из вашей кладовой вдруг выкрадено сало,
Придушен у соседей пек [1], похищены кораллы,
Теплица вдрызг разнесена, растерзаны растенья.—

[1] Пеками у Элиота называются собачки-пекинки.

Никтовити... *Его же нет на месте преступленья!*

И если в Министерстве иностранных дел пропажи,
И раз в Адмиралтействе говорят о шпионаже,
Поскольку исчезают карты, планы, соглашенья
При том, что *быть никто не мог на месте преступленья,*—
Приходит Контрразведка и бормочет обреченно:
— Никтовити! Увы, он чист перед лицом закона.
Он греется на солнышке, по данным наблюденья,
И повторяет школьные примеры на деленье.

Никтовити, Никтовити, злокозненный Никтовити,
На лености и глупости его вы не пóдловите.
Всегда он алиби иль два предъявит обвиненью:
— Ну, что у вас там? *Не был я на месте преступленья!*
Есть слух, что кошки и коты, известные разбоем,
На злодеянья движимы невидимым героем
(К примеру, Уходжерри и леди Грызотон);
Они его солдаты, он их Наполеон!

Гус, театральный кот

Гус — записной театральный кот.
Следует только сказать наперед,
Что полностью он Аспарагус. Боюсь,
На этом сломаешь язык. Он — Гус.
Он тощ как скелет, и мех клочковат,
И лапы от старости малость дрожат.
Нет, он не гроза для мышей и крыс.
А в юности был он — только держись!
Да, он не герой, каковым он был,
Как он утверждает, в расцвете сил.
Теперь он сидит в пивной за углом,
Где он, почитай, со всеми знаком.
Если друг угостит, он друзей развлечет
И выдаст из жизни своей анекдот.
Хотя и молчат о нем словари,
Он был знаменит, как Ирвинг и Три [1],
И, было дело, что весь мюзик-холл
Он семь раз до кошачьего визга довел.
И он лучшую роль свою назовет:
Оборотень-Огнедышащий Лед.

Он вспоминает: — Я все превозмог,
Монологов семьдесят знал назубок,
Был я характерный или премьер,
Мой голос звучал, как музыка сфер;
Я сымпровизировал кучу острот,
Да и в пантомиме достиг высот;
Час репетиций — и все нипочем,
Хребтом работаешь или хвостом.
Я сидел у постели бедняжки Нелл,
Я на колокольной веревке висел
И звонил во всю прыть, я разок потом
Был Дика Уиттингтона котом.
Но лучшую роль мою помнит народ:
Оборотень-Огнедышащий Лед.

[1] Знаменитые английские актеры XIX в.

Он вспомнит, усы окуная в джин,
Как трижды украсил собой «Ист-Линн» [1];
Был тигром, которого, мрачен и строг,
Индийский полковник загнал в водосток;
И раз на пожаре явил свой класс:
По прово́дке прошел и ребеночка спас;
Ну, Шекспира играл, когда неспроста
Актеру приспичило гладить кота;
Он уверен, что мог бы аж по сей день
Предварять завываньем великую Тень.
— Еще бы, викторианский закал!
А нынешних хоть бы кто натаскал —
Ни капли стыда у сопливых котят,
Сквозь обруч прыгнут и возомнят...
Он лапой в затылке слегка поскребет:
— Я новшества рад похвалить наперед,
И все-таки нынче театр не тот.
То ли бывало в забыл какой год.
Когда населению
Давал представления
Оборотень-Огнедышащий Лед.

Толстофер Джон, денди

Толстофер Джон — ужасный пижон,
Весь вид его говорит,
Что он держит путь не куда-нибудь,
Но только на Сент-Джеймс-стрит![2]
Его черный фрак — непроглядный мрак,
Фасон шик-модерн, а штаны —
Простой мышелов не носит штанов
Столь изысканной белизны.
Если встретится он, мы отвесим поклон,
А он нам слегка кивнет:
Кто так знаменит на Сент-Джеймс-стрит,
Как Толстофер, клубный кот!

Он заглянет по-светски в «Университетский»,
А не в «Пиршество профессоров»:
Нельзя котам состоять здесь и там,
Ибо клубный устав суров.
В силу той же причины, когда время дичины,
Его место «Фазан», а не «Кит».
Но он гость непременный «Поклонника сцены»,
Что устрицами знаменит.
И он славит щедроты «Безумной охоты» —
Желе из костей кабана;
Самый солнечный полдень он считает неполным
Без рюмки у «Хвастуна».
Если весел он, ясно, что заморские яства
Сулит «Сиамский сюрприз»;
Если не веселится, это значит, в «Гробнице»
Давали капусту и рис.

---

[1] «Ист-Линн» — популярная мелодрама.
[2] Улица клубов в Лондоне.

Так по сто раз на дню он заглянет в меню
И украсит собой тротуар;
И вам все видней, что он все жирней
И стал походить на шар.
Он должен весить кило этак десять.
— Ах, все, что ни есть, мое,—
Скажет он,— для здоровья нет важнее условья,
Чем размеренное житье.—
И присказку вкатит: — На мой век меня хватит.—
И у нас расцветает душа,
Когда вертопрах в белоснежных штанах
Вышагивает не спеша!

От переводчика

Всю жизнь Т. С. Элиот себя перерабатывал, переиначивал, пересоздавал: из американца сделался англичанином, из республиканца — монархистом, из протестанта — католиком, из богемы — аскетом. И своему поэтическому вдохновению он не давал воли, а подчинил его идее правильности, высоты, благородства.

Много лет работая над стихами Элиота, я, переводчик, не могу не признаться, что в его знаменитых поэмах, в значительной мере определивших поэтическое лицо его времени, мне недостает прямоты высказывания, некой простой человеческой непосредственности. И когда в текстах Элиота я набредаю на спонтанную лирическую вспышку, она кажется мне глотком кислорода. Может быть, только в драматических отрывках «Суини-агонист» и в лукавой книжечке «Старый Опоссум. Практическое котоведение» (1939) поэт позволил себе писать, как Бог на душу положит, как душе угодно. От этого он не стал поэтом простым, незамысловатым — Элиот везде Элиот. Но эти проявления поэтической свободы представляются мне драгоценными.

Старый Опоссум — прозвище Т. С. Элиота.

«Старый Опоссум» — название книги, которое, по идее автора, должно стать таким же нарицательным, как «Вебстер» («Ной Вебстер. Толковый словарь английского языка»), как «Стэнли Гиббонс» («Стэнли Гиббонс. Каталог почтовых марок всего мира»), как «Джейн» («Джейн. Определитель военно-морских судов»). Элиот иронически использует принцип наименования справочников, руководств и самоучителей, которых так много на западном книжном рынке. Поэт предлагает «научное» введение в тайны котов и кошек и дает «научную» их классификацию. Элиотовский «трактат» продолжает традицию «лепых нелепиц» Эдварда Лира и баллад из киплинговской «Книги джунглей» — хотя, разумеется, это стихи нашего века, к тому же очень элиотовские стихи. Волшебные картины — сочетание сказки, английской парадоксальности, пародийного сюрреализма и приземленной детали — все это обращено к интеллигентному ребенку и, может быть, в еще большей мере,— к его искушенным родителям. Стоит ли повторять, что художественной литературы о кошках не может быть, ибо, исследуя кошек, поэт непременно проникает в тайны людей.

«Старый Опоссум» имел широчайший успех в Англии и Америке. По чему сделан всемирно известный мюзикл «Кошки».

■

ЖОРЖИ АМАДУ

Исчезновение святой

РОМАН

Перевод с португальского А. БОГДАНОВСКОГО

ПАТРИСИЯ ЗА ГРИМИРОВАЛЬНЫМ СТОЛОМ — Да, падре Абелардо знал о Патрисии только то, что у нее хрустальный смех, томный взгляд и загадочная улыбка, но, клянусь вам, не она в этом виновата: причина вовсе не в ее неприступности, излишней застенчивости или безразличии. Ах, если бы дело было в ней, зависело от нее одной! Видит бог, она прилагала все усилия: голос ее прерывался на полуслове, взгляд становился потерянным, улыбка звала и манила.

Патрисия никогда и ни для кого не была легкой добычей, за ней надо было долго ухаживать, ее надо было обольщать и покорять, с кем попало она в постель не ложилась, доступность была не в ее правилах. Такую истинную, пожирающую страсть, не дающую ни рассуждать, ни размышлять, испытала она до этого только однажды, когда влюбилась в премьера труппы, и длилось это безумие целый сезон. Но премьер, хоть и писаный красавец, оказался полным ничтожеством. Падре Абелардо же, хоть и писаный красавец, был замечательным человеком и не шел ни с кем ни в какое сравнение. Благородный, чистый сердцем, умный, упорно и бесстрашно боровшийся за права своих неимущих прихожан. А какой голос — звучный, мужественный, прямо в душу идущий! А эти кудри? Как ей хотелось запустить пальцы в эту русую волнистую шевелюру! Но Абелардо, самой природой созданный для любви, держался отчужденно и не замечал пламени, снедавшего Патрисию.

Отношения между падре и Патрисией, зародившись из сочувствия к чудовищной жизни арендаторов и безземельных крестьян, подкрепленные нескончаемыми разговорами о политике и литературе, о музыке, театре и кино, о том, что происходит в мире, и о тяготах бразильского народа, о пытках, тюрьмах, о сопротивлении, о проповеди архиепископа Ресифе и Олинды, о «герилье», отношения эти стали хорошими. Можно даже сказать — близкие отношения. Родственные души, как говорил падре Абелардо. Только не то родство это было.

Бывали мгновения, когда во взгляде падре, в его внезапно дрожавшем голосе, в неожиданном молчании Патрисии мерещились искорки желания, вспышки страсти. Продолжения это не имело — вспыхнет, и тотчас погаснет, и снова становится любящим братом. Словно и не замечал падре, как порывисто вздымается грудь Патрисии, и самой этой груди в низко вырезанной блузе тоже не видел, и не замечал случайного прикосновения колена, и внимания не обращал

Окончание. Начало см. в № 1.

на учащенное дыхание. Не замечал или не хотел замечать? Был ли он равнодушен и нечувствителен к ее чарам или робок, застенчив, скован запретами?

Патрисии и в голову не могло прийти, что есть на свете священник, верный обету целомудрия, да еще священник вполне современного толка и вида, в джинсах и цветастой рубашке, священник левых взглядов, с головой ушедший в социальные проблемы, возглавивший яростную волну сопротивления латифундистам и буржуа. Целибат? Это что-то из далекого прошлого, траченный молью предрассудок вроде того, что девушкам до свадьбы надлежит хранить невинность.

Она сидела у себя в артистической уборной, перебирая юбки, блузки, брюки, белый баиянский наряд — костюмы, которые предстояло носить во время пятидневных съемок французского телефильма,— у Патрисии от одной мысли об этом начинало сосать под ложечкой. В четверг утром, в тот самый час, когда падре Абелардо вел богословский диспут с епископом Клюком, она поделилась своей бедой с Силвией Эсмеральдой, однокурсницей, подругой и наперсницей.

Силвия Эсмеральда — такой псевдоним или, если угодно, кличку выбрала себе эта душа и украшение общества, зараженного вирусом театра,— с сочувственным любопытством следила за тем, как набирает силу безответная страсть Патрисии, а та ни о чем другом не могла ни думать, ни говорить, словно падре Абелардо был единственным мужчиной во вселенной. Между тем в ее распоряжении была французская съемочная группа в полном составе, а возглавлял эту группу всемирная знаменитость, звезда первой величины, неотразимый супермен. За одно только имя можно было ему отдаться, связь с такой личностью обессмертила бы любую актрису.

— По моим расчетам,— сообщила подруге Патрисия,— он уже в Баии. Обещал меня найти. Может быть, здесь удастся...

— Что удастся?

— Слушай, Силвия: он будет мой, даже если придется его изнасиловать! Большего чудака я в жизни не видывала.

Силвия вытянула руку к свету, оглядела ногти, окрашенные в темно-красный цвет.

— Это не чудачество, моя милая. Это догматизм, верность обету. От нее никуда не денешься. Бьюсь об заклад, он вообще не знает женщин.

— Девственник?

Это невероятно. Да ведь ему скоро тридцать. Такой мужчина... А впрочем, почему невероятно? Невероятное случается, когда меньше всего ждешь. Патрисия закусила губу, в глазах появилось отсутствующее выражение.

— Девственник? Бедненький...— Голос ее дрогнул.— Ну, так вот: ему недолго осталось хранить целомудрие! Клянусь спасением души!

Она сложила пальцы крестом, прикоснулась к ним губами.

— Господь меня не оставит.

— Не богохульствуй, Патрисия,— сказала Силвия, чтобы что-нибудь сказать. Мысли ее были заняты французом.

LA CHANSON DE BAHIA [1] — Звали же этого француза Жак Шансель, и он, как непреложная реальность, как существо из плоти и крови, готовил съемку, которая должна была состояться все в тот же четверг — вечером. Фильм продолжительностью два часа пятнадцать минут будет посвящен Баии и покажет все, что есть в ней примечательного — кандомбле, капоэйру, круговую самбу, афоше и карнавальные группы, море, людей и музыку,— и называться «La chanson de Bahia», как сообщил журналистам Шансель сразу по прилете.

Три года тому назад, побывав в Бразилии вместе с группой звезд

[1] «Песнь Баии» *(франц.)*.

французской телекомпании для вручения Мольеровских премий, Шансель на два дня задержался в Баии, чтобы взять интервью у Винисиуса де Мораэса, жившего в то время в Итапуане. Там, в доме поэта, он повстречался с Доривалом Каймми, послушал его морские песни и ополоумел от восторга.

Узнав, что Доривал — патриарх многочисленного рода баиянских композиторов, Шансель попросил Нилду Спенсер, к которой у него было рекомендательное письмо и в чьем доме ему предстояло отведать блюда баиянской кухни, как-нибудь познакомить его с этой музыкой — он так о ней наслышан. Нилда выполнила его просьбу, созвала десяток гостей, и вот до и после ватапы, каруру и эфо француз наслаждался искусством Марии Бетании, Гала Косты, Марии Креузы и других, не менее именитых.

Остальным гостям, приглашенным почесать языки со знаменитостью, пришлось удовольствоваться извинением: в тот же день Шансель улетел в Рио, а оттуда — в Париж, велев объявить, что Баия пленила его своей старинной красотой, своей волшебной атмосферой, жизненной силой своего народа. Это было пылкое объяснение в любви. Затем он сообщил, что намерен показать Баию и баиянцев французской публике, чему и посвятит очередной выпуск своей программы, побившей все рекорды зрительского интереса.

Это намерение, нет, решение непоколебимо: немедля по прибытии в Париж он принимает все необходимые меры и вскоре возвращается в Баию для съемок. Нилда Спенсер в восторге захлопала в ладоши, а француз тут же дал ей уйму поручений. Прежде всего необходимо, чтобы Винисиус де Мораэс в самом спешном порядке сочинил сценарий. После этого говорливый француз со всеми перецеловался и отбыл: À bientôt! [1]

Когда на следующий день Нилда изложила Винисиусу просьбу Шанселя и сказала, что это не терпит отлагательства, он от души расхохотался над ее наивностью. «Милая Нилда, забудь об этом как можно скорее, не бери на себя никаких обязательств, не трать попусту время, не роняй свой престиж: ничего из этой затеи не выйдет, и нечего тебе в нее ввязываться»,— сказал поэт и поцеловал ей ручку, а потом продолжил свою речь.

Неужели она не знает, каково иметь дело с этими гринго? Они прилетают в Бразилию, приходят в восторг, являются в Баию, теряют голову, сулят золотые горы и горы готовы свернуть, обещают мюзиклы, телепрограммы, кинофильмы и вполне при этом искренни: и восторг неподдельный, и намерения наилучшие. Но стоит им только вернуться в свой Париж или Нью-Йорк, как всё — они пропадают бесследно, и нет о них ни слуху ни духу. Этому Шанселю, разумеется, очень понравилась Баия, и он, без сомнения, хотел бы снять о ней фильм, использовав нашу музыку и музыкантов. Все так. Но сейчас он уже в Париже и давно забыл о вчерашнем разговоре. Да и захочет вспомнить — времени выкроить не сможет: у него миллион дел. Так-то, дорогая моя Нилда.

Тогда Нилда напомнила Винисиусу о собственной его пьесе «Орфей», из которой Марсель Камю смастерил фильм. «Исключение только подтверждает правило; такое не повторяется,— отвечал он,— ну-ну, не печалься, моя негритяночка, послушай-ка лучше, какую мы с Токиньо сочинили песню об Итапуане». Поэт отхлебнул виски и взялся за гитару.

Делать было нечего, актриса последовала доброму совету, хотя и с тяжелым сердцем: замысел передачи о Баии родился у нее дома, за ее столом, она относилась к нему как к своему детищу, и ей до смерти хотелось его осуществить, тем более что взяться за передачу должна была популярнейшая программа французского телевидения.

---

[1] До скорого! *(франц.)*

Но Винисиус был человек опытный, предсказание его сбывалось. Нилда готова была признать, что он прав на все сто: француз не подавал признаков жизни.

И вот, когда она, пережив горькое разочарование, и думать забыла об этом деле, и со дня памятного обеда минуло полных три года, пришла телеграмма за подписью Жака Шанселя. Он сообщал, что в Баию через четыре дня прилетает некто Ги Блан, ответственный за выпуск программы, а он, Шансель, появится через неделю вместе со всей своей командой. В пространной телеграмме говорилось о передаче так, словно речь об этом шла вчера, а не три года назад. Шансель просил позвонить Винисиусу и забрать у него сценарий. Нилда была сама не своя от радости, недаром она любила повторять, что жизнь — это творение сюрреалиста. Одно было плохо: Винисиус уехал в Аргентину и Уругвай, на него рассчитывать не приходилось.

Французский режиссер оказался человеком понимающим и расторопным, времени даром он не терял: едва приземлившись в Баии, он развил бешеную деятельность, колеся по городу на такси Миро, которого наняли на весь срок съемок. Вот где пригодились бесчисленные связи популярной и всеми любимой Нилды Спенсер: губернатор, префект, кардинал и «матери святых» готовы были исполнить любую ее просьбу, все артисты и композиторы были ее закадычными друзьями. Она могла все и еще чуточку сверх того. Ги Блан сразу же принял два ее предложения: поручить сценарий Нелсону Араужо и пригласить переводчицей Патрисию да Силва Ваальсерберг.

Жак Шансель одобрил все начинания, но судьбой Патрисии распорядился по-своему. Увидев эту смуглую голубоглазую красавицу, в которой индейская кровь перемешалась с голландской, услышав ее безупречный французский язык с неискоренимым бразильским акцентом, он произвел ее в ранг своей партнерши. Оценив ее чувственную экзотическую прелесть, Шансель объявил, что никто лучше Патрисии не сможет вместе с ним вести программу: «Tout le monde será envoûté» [1].

ДОСТОИНСТВА ОЛИМПИИ — Жоазиньо Коста, владелец фазенды «Санта Элиодора» и еще очень значительного недвижимого имущества, перечислять которое мы здесь не будем, ибо он то ли по врожденной скромности, то ли по вполне понятному желанию уклониться от уплаты налогов не любит, когда распространяются о его состоянии, был человек простодушный, бесхитростный и прямой.

Именно таковым считал сеньора Косту его зять и советник доктор Астерио де Кастро, процветающий подрядчик и счастливый супруг старшей дочери Косты — Олимпии, дамы атлетического телосложения и веселого нрава. Когда на многолюдном коктейле в новой штаб-квартире фирмы «Кастро — Недвижимость и Строительные работы» с нею познакомился журналист Аугусто Девос, более известный как Гугу Навоз, он, потеряв лицо и осторожность, возопил: «Да это же пикирующий бомбардировщик!» Гугу занимался тем, что сочинял по заказу Кастро панегирики правительству, которые тот подписывал и печатал в газетах. Доктор рассчитывал, что две волшебные отмычки — эти статьи и самоотверженность Олимпии — откроют ему вожделенные сундуки государственной казны.

Ну, раз уж реактивная Олимпия приземлилась в нашей истории, давайте потолкуем о ней не откладывая, а подробности беседы тестя с зятем, хоть они, подробности эти, имеют самое непосредственное отношение к развитию сюжета, вы узнаете чуть позже. Олимпию следует пропустить вперед: во-первых, она дама, во-вторых, дама весьма напористая и умеет за себя постоять. В проповеди по случаю конфирмации ее сестры Марлен дон Рудольф не говорил о достоинствах каж-

[1] «Все будут околдованы» *(франц.)*.

дого члена семьи, и потому благосклонный читатель еще не знает о том, как щедро наделена была Олимпия альтруизмом, какой огонь самопожертвования пылал в ее душе, как безгранично была она предана своему мужу.

Да, она была во всех смыслах великая женщина: выделялась и ростом — в отца пошла, и габаритами фюзеляжа, простите, фигуры, и броской внешностью, и бесстрашным нравом, и вокруг нее всегда вилась эскадрилья претендентов — нет, не на руку и сердце, какая там рука и сердце, если Олимпия четвертый год замужем?! — а на место в ее постели. Было известно, что она не оставалась глуха к этим домогательствам, а вот муж затыкал уши, закрывал глаза и жил совершенно спокойно. Олимпия же могла выбирать из большого числа юных и пылких ходоков — и выбирала. Свидетели единодушно удивляются тщательности отбора: она отвергала красавцев и атлетов, неизменно находя возлюбленных в высших эшелонах власти, и в пространном списке сияли звезды первой величины — был там и губернатор штата, и министр, и генерал — не отставной, разумеется, а действующий и командующий чем-то крупным.

Пусть никому не придет в голову морализировать по поводу изысканности ее отбора: Олимпия несла себя на алтарь семейного благополучия, жертвуя собой ради выгоднейших правительственных заказов, которые давали завистникам и клеветникам такую обильную пищу для толков и пересудов. А что, спрошу я, это ли не жертва — спать — и только ли спать?! — с этими омерзительными господами, при одном виде которых начинает тошнить? Олимпию не тошнило: с вестибулярным аппаратом и с характером у нее все было в порядке, это доказано многократно. Выходя замуж за Астерио де Кастро, она отлично знала, что делает. Да, его никак нельзя было счесть красивым, но зато он тщеславился сильно развитым чувством этики, то есть был способен безропотно принять и проглотить все, что послужило бы на пользу дела.

Чтобы возместить себе свои бесчисленные жертвы, Олимпия питала пристрастие к подросткам, чуть было не сказал — к гимназистам в форменных мундирчиках, но вовремя спохватился: теперь гимназисты мундиров не носят! — к неоперившимся юнцам. У нее было несомненное дарование наставницы, и в этом деле она разбиралась досконально. Таковы вкратце достоинства Олимпии — пикирующего бомбардировщика.

ДЕЛИКАТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ — Устремив на своего простодушного, бесхитростного и прямого тестя пристальный взгляд по-жабьи выпученных глаз, доктор Астерио сказал:

— Отзовите «пистолейро», заплатите ему за молчание и пусть катится.

Компетентность зятя завораживала Косту: вылезающие из орбит глаза и насмешливая интонация лишали его дара речи — он восхищался молча, как и подобает человеку прямому и бесхитростному. Астерио всегда старался, чтобы фазендейро поступал осмотрительно, чтобы не бросался очертя голову в авантюры и применял крайние меры лишь в крайних случаях. Уважение доктора Кастро к необузданному тестю умерялось легким презрением — их разделяла целая эпоха: Жоаозиньо жил в средневековье, в полуфеодальной Бразилии, где все решалось силой и волей. Астерио представлял Бразилию нынешнюю, индустриальную и современную, стремительно развивающуюся: теперь надо больше полагаться на голову, а не на кулак.

— На это можно пойти только в самый последний момент, да и то... Вы сделаете из него мученика, а нам нужно сорвать с этого лицемера личину, разоблачить негодяя.— Он попыхтел кубинской сигарой — явная и баснословно дорогая контрабанда, доступная лишь богачам и людям из высших правительственных сфер.— Не вы ли сами

говорили мне, что этот падре крутит роман с какой-то актриской? Помните, я по вашей просьбе велел Гуго упомянуть ее имя рядом с этим проходимцем? Пусть наш падре побесится. Я даже посмотрел ее на сцене — ну и ну, доложу вам!.. Она несет похабщину с ангельским выражением лица. Хороша штучка... Все при ней. По роли она появляется полуголой — есть на что посмотреть...— Он причмокнул, прищелкнул языком, завел жабьи глаза, отчего лицо его сделалось совершенно непотребным.— Верните своего «пистолейро», местре, и предоставьте это дело мне.

Когда Жоаозиньо Коста после беседы с епископом Клюком убедился, что Галвана не уберут из Пиасавы, он понял, что полагаться можно только на наемного убийцу. И такой благоприятный момент: падре уехал в столицу штата — там бы его и прихлопнуть, поди-ка докажи, что Коста имеет к убийству какое-либо отношение: ведь не на его землях, не в сертанах оно произошло. В своих проповедях «красные священники» возлагали на него ответственность за смерть троих бандитов, не пожелавших подобру-поздорову убраться из пределов фазенды. Тогда он выписал из штата Пернамбуко своего давнего знакомца, Зе Ландыша — человека в высшей степени исполнительного и надежного, с безупречным послужным списком, ни разу еще не провалившего порученного ему дела.

— Вы только представьте себе физиономию епископа, когда ему на стол положат фотографию: падре Галван и его девица — оба в чем мать родила — в постели, в мотеле?! И кардиналу приятно будет взглянуть: этот слюнтяй горой стоит за своих крамольников.— Он выпустил клуб дыма и засмеялся, вообразив себе припертого к стенке кардинала.— Ему ничего не останется как только услать мерзавца в какой-нибудь дальний монастырь. Если надо будет, мы этот снимочек и в газетке напечатаем. Анфас, чтобы все было на виду.— Губы его разъехались от удовольствия, в тягучем голосе появилась мерзкая, предвкушающая интонация.

— Да кто же их будет снимать? И зачем они пойдут в мотель — что они, сумасшедшие?

— Вам, милый мой друг и тесть, не хватает воображения. Положитесь на меня и ни о чем не заботьтесь. Для этого святого дела у меня найдутся ловкие ребята, которым подобные номера не в новинку.

Жоаозиньо Коста предпочел не задавать больше вопросов — лучше и вправду ничего не знать. Он опасался затрагивать некоторые сферы деятельности своего зятя — дело темное и опасное: ходили упорные слухи, что подрядчик тесно связан с политической полицией. На каких он ролях в этой секретной и никому не подвластной организации? Рядовой осведомитель или фигура более весомая? Жоаозиньо предпочитал и этого не знать.

«Мафиозо и стукач» — вот как озаглавил свою статью о нем Ариовалдо Матос, поместив ее на первой странице своего еженедельника, и заметьте, что в кавычки эти жирно набранные слова взяты не были. Читателю был представлен весь его путь: от растоптанных и преданных коммунистических идеалов юности к участию в военном перевороте, одним из вдохновителей и организаторов которого был в Баии доктор Астерио. Нашлось место и его процветающей фирме, и общественной деятельности. Подкуп, взятки, мафия в строительстве — всему отыскались доказательства, и такие, что волосы дыбом встанут. Прямых указаний на связи со Службой национальной информации не было — Ариовалдо, конечно, человек отчаянный, но не до такой степени,— однако всякому становилось ясно, кому служит доносчик, на кого работает осведомитель. Не было в статье и упоминаний об Олимпии — ни прямых, ни завуалированных,— коммунист ли Ариовалдо Матос или просто безумец, но он прежде всего джентльмен.

Прочитав этот пасквиль, Жоаозиньо вознегодовал и предложил зятю: «Хочешь, подошлю к этому щелкоперу толковых ребят — они

ему нос на затылок свернут?» Астерио поблагодарил и отказался, произнеся слова, снова прозвучавшие в сегодняшней беседе: «Предоставьте это дело мне». Ответный удар не заставил себя ждать, и выход еженедельника был приостановлен на неопределенный срок, что, впрочем, никого не удивило: помните, дона Норма Мартинс в разговоре с Адалжизой давно уж предсказывала это? А вот того, что Матоса привлекут к суду и посадят в тюрьму, она предвидеть не могла. Истинная причина всех этих крутых мер — сенсационная статья — осталась в тени, о ней никто и не упоминал, Матосу предъявили другие обвинения: участие в нелегальном студенческом конгрессе, подстрекательство баиянских транспортников к забастовке — это уж прямой подрыв основ. Жоаозиньо понял, откуда ветер дует: и в закрытии газетки, и в аресте редактора чувствовалась рука зятя — не рука, а когтистая лапа.

И вот теперь Астерио снова сдерживает его порыв, снова не дает действовать; правда, теперь речь уже идет не о том, чтоб кого-то там отлупить, приговор другой: наказание падре Абелардо должно быть соразмерно его преступлению... Помещик соглашается, хоть и не уверен, что это правильный путь. Действительно, забавно будет взглянуть на этого постника-кардинала, когда он увидит снимок. «Не забудь и мне прислать карточку — я покажу ее этим пентюхам из Пиасавы, а то они уже собрались поместить своего падре на место Святого Иосифа».

ПОТАЕННАЯ ДУМА — И все-таки Жоаозиньо Коста не отказался от услуг Ландыша, а велел ему немного повременить: посмотрим, чем кончится эта затея с фотографиями. Получив приказ ждать новых указаний, Ландыш сообщил помещику, что неожиданную отсрочку приговора использует, чтобы получше изучить лицо приговоренного. У него был единственный профессиональный недостаток — скверная память на лица. Воспоминание о происшествии в Каруару заставляло убийцу быть особенно предусмотрительным и внимательным.

Надо сказать, что чувства, испытываемые фазендейро к своему зятю, тоже были довольно противоречивы. Он отдавал ему должное, ценил за многосторонние дарования, расхваливал на всех углах, хотя об иных талантах Астерио лучше было бы помолчать. Однако на взгляд прямодушного и простого Жоаозиньо, Астерио был слишком мягкотел и бесхребетен — тряпка, подкаблучник, каплун. Но самую свою главную мысль насчет Астерио он таил в глубине души — не только никогда ее не выказывал, но и от себя гнал подальше. В самом начале этой хроники нравов и обычаев я обещал ничего не скрывать и все-таки не без колебания открываю вам истину, умоляя не проболтаться. Дело было в том, что грозный фазендейро терпеть не мог — ну, просто на дух не переносил — обманутых мужей-рогоносцев, притерпевшихся к этому украшению, излюбленной мишени всех остроумцев. Олимпию он не винил — она унаследовала от него и стать, и необузданный нрав,— беда коренится в ее увальне, неспособном, во-первых, удовлетворить женщину, а во-вторых, держать ее в руках.

В своей статье Ариовалдо Матос использовал сильные выражения: в одном месте называл Астерио плюгавым, а в другом — зловещим. Это чистая правда: сеньор Кастро внешностью был подобен жабе, а характером — вампиру. Когда же обозреватель одной газеты попросил Олимпию в немногих словах охарактеризовать мужа, верная супруга ответила: «Это человек чести, это странствующий рыцарь!» Сам же он находил, что сильней прочих у него развито чувство этики. Вот и разберитесь в таком персонаже!

ШТОРА — А в пустом зале архиепископского дворца дон Рудольф вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Глянул в окно: негритянка была на прежнем месте. Скалила зубы, издевалась над ним. Епископ

задернул штору, задрожал всем телом, на лбу у него выступила испарина. Ужасное выдалось утро, чего только не валилось ему сегодня на голову: в приходе Пиасавы — беспорядки, статуя пропала, в газетах — шумиха, полиция подозревает, падре Галван возмущается, а в перспективе — беседа с полковником Раулем Антонио. Вертишься, как уж под вилами. Дон Рудольф был обуян беспокойством. Как далеко зайдет Галван в своей ереси? Как глубоко увяз он в марксистской трясине? Как долго сможет он одолевать соблазн лжеучения? Священны ли еще для него господни заповеди? Падре Галван исповедует веру эхлократии, но надо признать, что он не таит своих взглядов, не скрывает действий, он отстаивает свою позицию. И не лжет.

Его преосвященство приказал вызвать дона Максимилиана — в конце концов это он во всем виноват. Если бы не его настырность, Святая Варвара стояла бы себе тихо и мирно в своей нише в церкви Санто-Амаро-де-Пурификасан... Епископ осторожно и боязливо отодвинул штору, взглянул на площадь: негритянка показывала ему язык. Изыди, сатана!

КОРТЕЖ — Абелардо Галван, выходя из резиденции кардинала-архиепископа, столкнулся в дверях с падре Элизеу Мадейрой — тот, улыбаясь, спешил во дворец. Священники раскланялись, хоть и не были знакомы. Несколько человек, топтавшихся в отдалении, встрепенулись при виде пастыря из Пиасавы. Семинарист Элой, несший в тот день караул у входа, воспользовался возникшей в дверях заминкой, выглянул на площадь: «Ох, какая негритянка, вот это да! Хотя пономарь Бене говорил, что мулатки горячей...» Паренек побежал посмотреть поближе.

Абелардо, еще не остывший после беседы с епископом, решил сначала переодеться, а потом уже идти на поиски Патрисии — «в театральном училище вам сразу скажут, где меня найти». Он зашагал по улице Мизерикордия, не замечая, что следом, по пятам, за ним идет целая процессия.

Впереди двигался комиссар Паррейринья, орудовавший зубочисткой, чтобы прикрыть выпиравший из-под мышки револьвер.

Двое агентов, один другого здоровей, шли на расстоянии друг от друга, чтобы не привлекать внимания, поддерживая связь при помощи мудреных японских «walkie-talkie» — последнего достижения полицейского снаряжения,— их внезапное жужжание дивило прохожих. Замыкал шествие некий субъект в непромокаемом плаще и широкополой шляпе. На носу у него, как и положено классическому убийце, сидели темные очки. Это был, как вы уже поняли, Зе Ландыш, который хотел накрепко запомнить лицо жертвы, чтобы не оплошать, когда придет приказ.

А негритянка шла то перед Абелардо, перегоняя его, то отставала и двигалась рядом с агентами, и в «ходилках-говорилках» тогда начинало что-то свиристеть и потрескивать, а потом она вырвалась вперед, чуть не сбив с ног комиссара. Судя по всему, она забавлялась от души. Когда падре поравнялся со зданием Законодательного Собрания, она была уже далеко впереди, у Подъемника Ласерды — сидела в кафе, откуда открывался вид на залив, и потягивала шербет из питанги.

Пока Абелардо восхищался дворцом — какое грандиозное сооружение! — сопровождающие его лица ждали: агенты стояли «смирно», убийца — «вольно», а комиссар переминался с ноги на ногу. Падре Галван был взят в проследку, чтобы выяснить ряд обстоятельств — в какой гостинице остановился, куда направляется, с кем встречается. Перед арестом нужно было собрать новые данные. Для этого шли за ним полицейские. Убийца же — для того, чтобы в нужный момент выделить его из толпы и не промахнуться.

И вдруг негритянка оказалась на перилах балюстрады, раскинула руки над морем, над городом. Ослепительное, сияющее утро вдруг прорезала зарница. Грянул гром, небо заволокли тяжелые, плотные тучи, и оно налилось лиловым цветом — точь-в-точь как каменья в браслетах и ожерельях богини Ойи. Во тьме растворилась негритянка. Тут над крышами дворцов грохнуло так, что весь мир на мгновение оглох. Сразу за спиной у падре Абелардо Галвана опустилась непроницаемая завеса тьмы, а сам он шагнул в свет, исчез в нем.

Перв(ая)ые брачн(ая)ые ноч(ъ)и

ПРИГЛАШЕНИЕ — Что ж, покуда на Муниципальной площади царит смятение, покуда комиссар Паррейринья во внезапно наступившей тьме сшибает прохожих, покуда его агенты пытаются зажечь карманные электрофонарики, подарок коллег из ЦРУ,— а фонарики не горят, потому что оказались без батареек,— покуда наемный убийца Зе Ландыш жаркой молитвой отгоняет нечистую силу, мы с вами, любезный читатель, воспользуемся этой заминкой, непроглядной ночью, сменившей солнечный день, и перенесемся на девятнадцать лет назад, к нашим новобрачным. Взявшись за руки, они в сильном волнении стоят на причале Валенсы, ожидая катер. Ночь темная, безлунная, и наступила она, слава богу, в положенный час.

Наверняка кто-нибудь из моих благосклонных читателей ждет не дождется эту главу, повествующую о том, как распрощалась Адалжиза с девичеством. Я не стану вас более томить, поведаю со всеми подробностями, как было дело. Кому-то эта глава покажется чересчур откровенной и длинной и не понравится, а кто-то по той же самой причине придет от нее в восторг. Думаю, последних будет больше: не все ж толковать о священниках да епископах да украшать мою безыскусную хронику богословскими изысками. Не написано еще хорошей книжки, где обиняками или в лоб не говорилось бы о сексе, дарящем радость и причиняющем муки, о любви — животворящем источнике. Даже Библия — и та не избегла общей участи, скорее наоборот.

Я ведь предупреждал, что дело затянулось, а с ним и моя история. Но вина лежит на Адалжизе — она не захотела, на Данило — он не настоял, и на них обоих: почему не озаботились свершить это таинство вовремя? Лучше всего, конечно, до свадьбы: для помолвленных открывается столько блистательных возможностей. Однако я уже говорил и не хочу повторяться: ложно понятая мораль возобладала над здравым смыслом. Ладно. Сейчас они, слава богу, муж и жена: на пальце — обручальное кольцо, в кармане — брачное свидетельство. Можно приступать к вожделенной процедуре. Всех желающих приглашаю при сем присутствовать. Ну, а нежелающие пусть перелистнут эти страницы не читая.

РОНДО КАТЕРА — Когда рейсовый катер доставил молодоженов из Валенсы на маленькую пристань Морро-до-Сан-Пауло, непроглядная тьма уже обрушилась на море.

Ночь выдалась темная, новорожденный месяц еле-еле освещал лица припозднившихся пассажиров — это был последний субботний рейс. Все они привыкли проводить уик-энд на тонком, белом, отшлифованном прибоем песке многокилометровых пляжей — рай земной! — все давно друг друга знали, оживленно переговаривались, строили планы на воскресенье. Данило с Адалжизой уединились на корме. Какая-то женщина толкнула соседку локтем, шепнула ей: «Гляди, молодые»,— и обе засмеялись.

Под майским ветерком, посвежевшим к вечеру, Адалжиза продрогла и прижалась к широкой и сильной груди жениха — да не же-

ниха, а законного супруга с обручальным кольцом на безымянном пальце, с брачным свидетельством в кармане! — притулилась к мускулистой груди своего мужа, владыки, господина, повелителя, прося у него тепла, ласки и защиты, склонила на его плечо голову, закрыла глаза, постаралась унять дрожь. Как не признаешь новобрачную?!

Притянув ее к себе, прикрыв подрагивающие плечи новым пиджаком — к свадьбе придворный портной семейства Сампайо, Густаво Рейс, дерущий с многочисленных своих клиентов огромные деньги, сшил ему тройку из голубого «тропикаля», за которую заплатил посаженый отец, доктор Артур Сампайо,— Данило, воспользовавшись таким удобным случаем, опустил ладонь на круглящуюся под шелком блузки грудь: перед отъездом Адалжиза переоделась, и подвенечное платье лежало сейчас на ее девической кровати. Она вздрогнула так, словно ее ударило током. Интересно бы знать, от холода или от страха? Стиснула его пальцы.

Хитроумный молодожен повел ее руку к своему бедру, а потом передвинул к застежке брюк — туда, где рвалась на свободу, грозя оборвать пуговицы, истомившаяся и вполне готовая к бою плоть. Адалжиза не сразу взяла в толк, что затевает муж, а просто обрадовалась теплу, но потом поняла подвох и с негодующим восклицанием руку отдернула, впрочем, скорее от неожиданности, чем от отвращения. Но неисправимый Данило и это обратил себе на пользу, прикоснулся кончиком языка к ее уху: впервые он позволил себе такую неслыханную вольность. Адалжиза вздрогнула всем телом, и даже голос ее задрожал:

— Перестань! Люди кругом!..

— Да брось ты, никого тут нет.

Однако она смотрела так умоляюще, что Данило пришлось обуздать свои порывы, так что в течение нескольких минут ничего, заслуживающего внимания не происходило. Данило ограничился пылкими и искренними речами, большая часть которых была позаимствована из радиоспектаклей, шаблонные фразы вроде «ты — солнце моих дней, ты — полярная звезда моих ночей» произносились в убаюкивающем, завораживающем слушательницу ритме и принимались благодарно и благосклонно.

Когда катер причалил, взволнованная Адалжиза снова спрятала лицо на груди мужа, обвила его шею руками. Данило начал с поцелуев в щеку, медленно, не переставая целовать жену, переехал к уху, провел вдоль него языком, прикусил зубами мочку. Дада не противилась и не отталкивала его.

Пассажиры поднялись, пошли по сходням на берег. Плохо соображая, Адалжиза помотала головой, приходя в себя. Данило подал ей руку, помогая спрыгнуть на мол. Она смущенно улыбнулась: время в пути пролетело незаметно.

РАЗНОГЛАСИЯ — Да, время пролетело незаметно, ибо было до отказа заполнено вольностями и потачками, трудным постижением того, что входит в обязанности жены, и Адалжиза, ступив на причал, вздохнула.

А для Данило эти дурацкие сорок минут в море были мукой мученической. Он едва сдерживался, чтобы не оборвать поводья, не закусить удила, он убивал время в любовных клятвах. Хотелось же ему немедленно вступить в права собственности на прелестную стыдливую Дада, приобщить ее к любви, сделать из нее женщину — свою женщину, жену. Разумеется, на катере этим не займешься.

Но вот когда они останутся в спальне с глазу на глаз, когда уже не будет ни посторонних, ни ограничений, ни протестов, ни жалобных взглядов, все, что завоевано им на катере, покажется сущей безделкой — разжигающим аппетит аперитивом, легкой закуской. Тогда он займется блюдом более существенным — Адалжизиной невинностью.

Нет, Данило отдавал должное всякого рода утонченностям, изыскам и причудам и вовсе не собирался от них отказываться, наоборот, он их высоко ценил, широко практиковал, но у них с Дада впереди целая жизнь, дойдет и до этого черед.

Обуздывая себя в угоду ее целомудрию и стыдливости и даже уважая ее за это, Данило, жуя хлебушек, который сам сатана замесил, целый год ждал минуты, когда он, выражаясь поэтически, «сорвет в саду красоты и невинности цветок непорочности», а попросту говоря, будет обладать самой хорошенькой и порядочной девицей в Баии. Обладание это, не говоря уж о тяготах жениховства, стоило ему свободы. Он поступил на службу, остепенился, осознал лежащую на нем ответственность и распрощался с вольготным и беспутным холостяцким житьем. Теперь у него было право, а вот терпения не было вовсе.

«А что же произойдет, когда они окажутся наедине, когда взойдут на этот эшафот, когда пробьет «час истины»?» — спрашивала себя Адалжиза. Крестная, донья Эсперанса, кое-что ей объяснила — Данило тогда устроился на службу, состоялось оглашение и был назначен день свадьбы. А пришлось отложить — как раз потому, что крестная умерла, скоропостижно, бедненькая, скончалась. Нет слов, чтоб выразить, что это была за потеря.

Крестная советовала Адалжизе терпеть и покоряться, стойко сносить боль: «Приготовься к страданию, hijita» [1] — в продолжение этого искуса, во время которого женщина отказывается от того, что в глазах господа имеет самую большую ценность — от чистоты и непорочности. С мужем спать не смертный грех, таинство брака освящает это непотребство, хоть непотребством оно быть не перестает.

«Будь настороже и не допускай, чтобы нарушались запреты и преступались границы, предначертанные святой нашей матерью церковью в рассуждении того, что можно и чего нельзя позволять в супружестве, ибо ты подвергаешь себя опасности поддаться искушению и тогда будешь навеки проклята. Есть такие мужчины — и их la mayoría, hija [2],— которые пользуются неиспорченностью своих бедных жен и выводят их на стезю порока, приучают к любострастным забавам, которых постыдились бы и гулящие девицы. Гибельная это дорога, позорная. Постоянно, Адалжиза, помни про своего ангела-хранителя: он всегда рядом и видит все, что ты делаешь». Донья Эсперанса не пояснила, что разуметь под границами и запретами, а сама Адалжиза спросить постеснялась.

Конечно, кое-какие сведения у нее были. Об этом позаботилась ее подруга, Марилу, девица передовых взглядов, разбитная и говорливая, она уже предлагала ей «травки», давно пыталась приобщить ее к миру щедрых и великодушных мужчин, которые не пожалеют денег за невинные развлечения, никак не повредящие ее целомудрию, а также делилась своими теоретическими познаниями и практическим опытом. Ну, по части теории дело ограничивалось сокращенным изданием «Камасутры», несколькими страницами романа Генри Миллера «Сексус» да некстати упоминаемым Фрейдом. А вот практика у Марилу была богатейшая.

Но Адалжиза отказалась от «травки» и не предоставила себя для невинных шалостей. Наркотик она, правда, однажды попробовала — не понравилось, не приглянулся ей и ни один из тех, кого сватала ей Марилу, тем более что она от нее же знала, что они из себя представляют. Из уст подруги слышала Адалжиза порицание и насмешки по адресу супругов, из всего волшебного разнообразия сексуальных забав выбирающих одну только примитивную и убогую позицию «папа-мама», высмеянную видными сексологами в специальных радиопрограммах, собиравших немыслимую аудиторию,— позицию класси-

[1] Доченька *(исп.)*.
[2] Большинство, дитя *(исп.)*.

ческую и к тому же дозволенную канонами церкви, которая разрешает и благословляет соитие — «ну, можно, значит, перепихнуться»,— переводила всеведущая Марилу — лишь в том случае, если оно ставит своей единственной и исключительной целью воспроизводство рода человеческого. Все прочее есть грех и стыд. По мнению все той же Марилу, наилучшее место для такой любви — гроб, а время — смертный час.

«Друг для друга созданы»,— говорили про Данило с Адалжизой, ибо жених с невестой и думали, и чувствовали одинаково, и во вкусах сходились. Полнейшая была бы гармония, если б не отношение к сексу. У каждого было свое понимание жизни и любви — и спор этот насчитывал уже которое тысячелетие.

Нет, Адалжиза не была ни лицемеркой, ни притворой, но воспитала ее донья Эсперанса в лучших традициях кастильского аскетизма. Да и Данило, с младых ногтей усвоивший, как должно вести себя настоящему мужчине, был вполне искренен. То, что для Адалжизы было исполнением тягостного долга, для него составляло высшее счастье супружества. Для Адалжизы — боль и срам, вина и грех. Для Данило — чистота и здоровье, наслаждение и честь. Для нее — ад, для него — рай.

Когда же молодые прибыли в Морро-до-Сан-Пауло, взаимное непонимание стало углубляться, идиллия сменилась распрей. Брачная ночь, которая на темной палубе катера рисовалась упоительной и полной наслаждений, началась не с обольщения, а с насилия. Робкая улыбка обернулась безутешными рыданиями. Данило рассвирепел; Адалжиза впала в отчаяние.

ПОПУТЧИЦА — Показать дорогу к дому сеньора Фернандо Алмейды вызвалась некая блондинка с улыбкой до ушей и блудливыми глазками — та самая, что плыла вместе с Данило и Адалжизой на катере и тотчас признала в них молодоженов.

— Да-да, сеньор Фернандо всегда сдает дом для медового месяца. Говорят, и ребеночек рождается ровно через девять месяцев, день в день.— При слабом свете фонаря она смерила Данило взглядом с ног до головы, узнала его и поздравила Адалжизу.— Ну, как же! Это он обыграл трех защитников и вколотил решающий гол. Рада за вас.

Она пошла вперед, а остальные пассажиры с любопытством наблюдали. Слышалось ворчание моря; волны накатывали на бескрайний пляж. Блондинка показала на двухэтажный особнячок, потом замедлила шаги и сказала:

— Жалко, что ночь такая темная. Я все тут в округе знаю, подыскала бы вам квартирку получше. Наш Морро-до-Сан-Пауло — райское местечко для того, кто приехал сюда со своей женой.— И добавила, чуть помолчав: — А особенно — с чужой. Покойной ночи вам желать не стану; желаю, чтоб она запомнилась вам, красавица моя, навсегда. И тебе тоже, счастливчик,— последнее относилось к Данило.

Блондинка засмеялась и ушла. Смех ее слился с рокотом прибоя.

УЖИН — Коренастая мулатка с сильной проседью в курчавых волосах встречала их у дверей — само радушие и внимание.

— Меня зовут Мариалва, я покажу вам квартиру. А пока будете умываться с дороги, и ужин поспеет.

— Ужин? — забеспокоился Данило.— Мы вообще-то...

— Легкая закуска. На пустой желудок в постель нехорошо ложиться.

Интересно, какой потаенный смысл заключали в себе ее последние слова? Данило с подозрением воззрился на нее, но лицо мулатки излучало только доброжелательство и сердечность — никакого лукавства. Мариалва провела их на второй этаж, положила на скамеечку чемодан, показала, куда повесить одежду, открыла ящики комода,

чтоб разложить вещи, проверила, идет ли вода, одну керосиновую лампу поставила на столик рядом с букетом цветов в кувшине, другую отнесла в ванную. В последний раз окинула комнату взглядом, вышла, притворив за собой дверь, и шаги ее простучали по ступенькам. Данило схватил Адалжизу в объятия и стал целовать. Потом, на мгновенье прервав это увлекательное занятие, заметил:

— Не буду я ужинать. Даже думать о еде не могу.

Но Адалжиза возразила: неловко, мол, Мариалва старалась, готовила, накрывала на стол, надо хотя бы спуститься вниз и для приличия оценить ее старания.

— К тому же у меня от морского воздуха разыгрался аппетит, я просто умираю от голода.

Голод Данило был другого рода, но спорить он не стал, признал правоту Адалжизы: действительно, зачем же казаться людьми невоспитанными, подавать повод к пересудам?

— Ну, пойдем. Только не долго, слышишь?

Он потыкал кулаком в матрас, проверяя, насколько он упруг и мягок. Матрас оказался высшего класса: послужит верой и правдой. Взявшись за руки, они спустились вниз, где уже поджидала гостей, глядя на них с материнской заботой, Мариалва.

На столе, покрытом полотняной с кружевами скатертью — вещь непривычная в домике у моря, даже если принадлежит этот домик богатому промышленнику,— стояли разнообразные мокеки, приправленные пальмовым маслом и кокосовым молоком, маниоковая каша, горький перец, тушенный с луком, лимоном и кориандром, а в никелированном ведерке охлаждалось молодое португальское вино. Это не знающее границ гостеприимство свидетельствовало в вытаращенных от изумления глазах Данило, что друзья ценят Франсиско Ромеро Перес-и-Переса по-прежнему высоко, даже если судьба обходится с ним так немилостиво.

Адалжиза, хоть и заявила, что голодна, ела мало — во-первых, боялась растолстеть, а во-вторых, с пальмовым маслом, да еще на ночь надо быть осторожной. А Данило, который вообще ужинать не собирался, увидев такое великолепие, дрогнул и набросился на щедро наперченную мокеку из крабов, прикончил ее всю, осушил бутылку вина — Адалжиза только пригубила,— а когда улыбающаяся Мариалва внесла на фарфоровом блюде кокосовый мусс в шоколадном сиропе, даже захлопал в ладоши, увидев свой любимый десерт, незаметно ослабил ремень на брюках. Вот это вещь!

ПОЯС — Данило кружил по комнате, пытаясь схватить и раздеть Адалжизу: он был первым актером в этой комической пантомиме, но вот партнерша уклонялась, выскальзывала у него из рук, передвигаясь с чемоданом от шкафа к комоду, от комода в ванную, развешивая, раскладывая и расставляя их багаж. Оба смеялись и со стороны выглядели, наверно, потешно.

Данило, заглушая шутками досаду, перемежая уговоры бранью, чередуя угрозы мольбами, растопыривая руки, старался поймать жену, чтобы затащить ее в постель и начать пиршество. Адалжизе, возбужденной, слегка напуганной и весьма позабавленной этим преследованием, пока удавалось ускользать — не без потерь: блузка уже была снята, а верней сказать, сдернута, причем одна пуговка оторвалась и закатилась под комод.

Вырвавшись в очередной критический момент из рук Данило, ухватившего ее за юбку, она показала ему язык, дразня его и наслаждаясь победой. Эта игра в жмурки пришлась ей по вкусу — хотя в глубине души она умирала от страха при мысли о том, что произойдет, когда муж наконец поймает ее, разденет и положит на пахнущие лавандой простыни. Пока они ужинали, Мариалва сняла с кровати покрывало, взбила подушки — приготовила ложе. Отступать некуда.

Был и третий участник этих игрищ, который, правда, не обнаруживал своего присутствия, но Адалжиза знала: он тут. Это был ее ангел-хранитель, отвечавший за непорочность тела и за спасение души, внимательно следивший за тем, каким беспрестанным атакам подвергается в эту брачную, в эту роковую ночь целомудрие его питомицы. Ангел самоотверженно делал свое дело, оберегая честь и чистоту Адалжизы: это по его воле Данило то и дело спотыкался, шатался, как пьяный, не мог рассчитать свои действия и постоянно упускал жену. Когда поражение казалось неминуемым, Адалжиза, чувствуя, что силы ее на исходе, выхода нет, взывала к ангелу-хранителю. Ангел выручал, Адалжиза оставалась целой и невредимой. Вот именно.

Одолевая бесконечные препятствия, борясь с проворством жены и с собственной невесть откуда взявшейся неповоротливостью — ноги у него точно свинцом налились,— Данило все-таки снял с нее юбку — истинное произведение искусства, плод кропотливого труда. Сломленная угрозами — «сейчас разорву ее к чертовой матери!» — Адалжиза сдалась, подняла руки вверх, позволяя стянуть через голову узкую юбку. Теперь Данило предстояло справиться с рубашкой — трусики, лифчик, чулки труда не составят. Однако вместо ликующего клика из груди его вырвалась звучная отрыжка, омрачившая миг торжества. Адалжиза сделала вид, что ничего не слышала, но сам Данило на миг оторопел.

Но очень скоро он пришел в себя, твердо взявшись за рубашку, и, поскольку угрозы не принудили Адалжизу к сотрудничеству, в негодовании решился привести их в исполнение. Новехонькая комбинация, изящная часть приданого, разодранная сверху донизу, упала к ногам своей владелицы, оголив ее, обнажив просвечивающие сквозь кружева груди, гладкий, смуглый, округлый живот и темную тайну пупка. Но зад, увы, не открылся! Нет, не открылся!

Оказалось, что под рубашкой, от талии до самых колен, стягивая и смиряя оба полушария, став неодолимой преградой алчущему взору Данило,— как мечтал он наконец-то порадовать глаз! — находится нечто чудовищное — резиновый пояс. Настоящий «пояс целомудрия»! В последние дни своего жениховства Данило уже приходилось ощущать его под руками, и всякий раз эти прикосновения вселяли в него ужас и отвращение. Это было сильнодействующее и необоримое средство против вожделения — всякая охота тут же пропадала.

Адалжиза же носила это страшное изобретение потому, что считала — пояс ее стройнит и в нем бедра кажутся не такими крутыми. Один журнал из Сан-Паулo отдал под его рекламу целую страницу: дамы из высшего света, самые элегантные женщины страны, отзывались о нем единодушно и очень лестно. Рекомендация заезжей француженки мадам Надро оказалась последней каплей: Дада устремилась в лавку Мигела Нажара и приобрела резиновый пояс — целых две пары — и уж с тех пор снимала его только на ночь.

Столь же скорбное, сколь и мерзкое зрелище, открывшееся глазам Данило, сразило его, боевой порыв его улетучился, дух упал, а сам он весь как-то поник, понуро свесил голову, уронил руки, сел на кровать. Адалжиза, воспользовавшись этим, скрылась в ванной, прихватив с собой ночную рубашку. Не какую попало, а ту особую, предназначенную для особых же случаев — для первой брачной ночи. Истинное чудо из крепдешина — белую и пышную, как пена морская, невесомую, воздушную, прозрачную, обшитую по вороту и подолу кружевами, доходящую только до колен, глубоко открытую спереди и сзади, выписанную из фешенебельной «boutique» [1] Лауры Алвес, что в квартале Ипанема, в Рио-де-Жанейро. Хозяйка, посылая ее, просила извинения за то, что не сможет присутствовать при бракосочетании — едет в Таиланд вместе с мужем.

---

[1] Магазинчик *(франц.)*.

Данило скинул лакированные туфли, вздохнул с облегчением, растер занемевшие пальцы. Потом разделся, аккуратно сложил всю одежду и улегся в постель, поджидая, когда из ванной появится жена. Голова его склонилась на подушку, гранитная твердость слегка поколебалась. Данило прикрыл глаза, чтобы лучше представить себе заповедный предмет своих вожделений. И уснул.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ — Ах, как жестоко обманывается и какого маху даст тот, кто поспешит посмеяться над Данило и отпустит по его адресу шуточку дурного тона, решив, что молодожен проспал до утра сном младенца, потеряв время и возможность. Отчасти тут и я виноват надо было сказать: «Данило погрузился в легкую дремоту», тогда бы мы с вами избежали неосновательных суждений и скороспелых выводов.

Данило спал не крепко и не глубоко, и мысль его была по-прежнему устремлена к известному нам предмету. Время от времени он поднимал веки, убеждался, что дверь в ванную закрыта, и вновь задремывал. Так повторялось несколько раз, ибо Адалжиза, наводя красоту, провела в ванной добрых полчаса и когда наконец появилась в комнате — «выбежала на зеленое поле стадиона», как говорили футбольные комментаторы, приветствуя появление на спортивной арене принца Данило,— была просто ослепительна. Принцесса из сказки или из княжества Монако — выберите сравнение по вкусу.

Да, она привела себя в порядок. Смыла макияж, сделанный перед венчанием, приняла душ, освежила лицо лавандовой водой, а тело — кёльнским одеколоном, простите за тавтологию, но флакончик тот, подаренный доной Евой Адлер, женой консула и клиенткой доньи Эсперансы, и вправду был из города Кёльна, что стоит на Рейне, уложила волосы вокруг шеи крупными кольцами — как на картинах средневековых мастеров, освободилась от знаменитого пояса, от лифчика, дав наконец волю груди и бедрам, с надлежащей тщательностью свершила омовение, воспользовавшись, по совету Долорес, специальным дезодорантом: «Нет его лучше, сестрица, послушай меня, чисто, душисто, гладко и сладко». Долорес-распутница понимала толк в таких делах.

О, святая простота! — изготовиться — это как раз противоположное тому, что было перечислено выше. Изготовиться — это значит умело и искусно накраситься: покрыть веки лиловыми тенями, ресницы — тушью, щеки — румянами, губы — помадой, подрисовать брови. Изготовиться — это значит остричься и причесаться у великого Севериано или «coiffeur des dames»[1] такого же ранга; надушиться с вдохновением и пониманием, умастив французскими благовониями, заморскими ароматами самые сокровенные части тела. О, святая простота! Посыпаю главу пеплом, смиренно принимаю упрек от людей сведущих, расписываюсь в полной безграмотности и смиренно прошу прощения. Но при этом заявляю, что Адалжиза, должным ли образом была она изготовлена или всего лишь почистила перышки, не прибегая ни к каким ухищрениям, стала по выходе из ванной комнаты еще краше и желанней. Никакая принцесса — ни из сказки, ни из княжества Монако — в подметки ей не годилась.

Некоторое время она сомневалась, надевать ли ночную сорочку — короткую, легкую и прозрачную, с разрезами до середины бедра. Однако выбирать не приходилось: другая рубашка, сшитая доньей Эсперансой,— атласная, капитальная, с прошивками из английских кружев, с высоким, до подбородка, воротом, с широким кушаком, длиной до пят — в комплекте с халатом и панталонами лежала в ящике комода. Творение доны Глории было единственное, чем располагала сейчас молодая.

[1] Дамский парикмахер *(франц.)*.

Когда в свое время Адалжиза приняла из рук крестной пакет, содержавший в себе три вышеперечисленных предмета, с согласия доньи Эсперансы развернула его, надела это сооружение прямо поверх комбинации и взглянула на себя в зеркало, она осталась очень довольна. Панталоны примерять не стала — и так видно, что в самый раз: донья Эсперанса за швейной машинкой не знала себе равных. Но крестная пресекла поток благодарностей и хвалебных слов, произнеся некую формулу, точный смысл которой до Адалжизы не дошел, ибо когда крестная начинала сквозь зубы говорить на определенные темы, испанский ее акцент усиливался. Скорей всего в виду имелось вот что: ночная сорочка — это последний бастион крепости целомудрия, штурм которой в первую ночь должен осуществляться путем применения множества хитроумных маневров, уловок и хитростей, имеющих целью не поражение осажденного гарнизона, но его победу. Донья Эсперанса была чересчур стыдлива, выражалась слишком туманно, и ее крестница так и не взяла в толк, какие это маневры и что имеется в виду под поражением и победой. Об этом задумалась она только теперь, надевая невесомый подарок столичной богачки.

Данило проснулся от щелканья дверной задвижки, и в неярком свете керосиновой лампы очам его предстало райское видение. Он подумал было, что еще спит, протер глаза и с каким-то рычанием слетел с кровати, вмиг обретя боевую форму и первоначальный пыл, принявшие столь вызывающие размеры, что ангел-хранитель Адалжизы взмахнул крылами и скрылся навсегда, ибо не питал ни малейших иллюзий насчет дальнейшего хода событий. Да, ангел вылетел в окно, откуда проникал в комнату, игриво приподнимая подол Адалжизиной сорочки, ветерок с моря.

ВЕТЕРОК — Он расшалился не в меру: взметнул подол ночной сорочки, обнажив узкую полоску бедра, а потом, неожиданным своим порывом открыл взору Данило разделяющую ягодицы ложбинку. Керосиновая лампа, как уже было сказано, светила тускло, но Данило все равно испытал потрясение и, нимало не заботясь о последствиях, издал боевой клич, звучный, как сигнал полковой трубы.

Молодая попыталась справиться с ветерком, прихлопнуть трепещущую под его напором рубашку, потупилась, боязливо улыбнулась, не зная, что сказать, как поступить. Она никогда еще не видела Данило во всей наготе: на пляже он, естественно, носил купальные трусы или — в соответствии с последней и бесстыжей модой — плавки; иногда она поглаживала его мускулистую грудь и руки — газеты восхищались атлетической фигурой центра «Ипиранги», и она была горда, что у нее такой жених. Но сейчас ни о каких плавках и речи не было, Данило стоял перед нею в чем мать родила. «Смилуйся, Пречистая Дева!» — воззвала Адалжиза, но тут же поняла, что не годится перед лицом такого срама впутывать в свои дела Приснодеву Непорочно Зачавшую, и растерялась еще больше. Что там говорила донья Эсперанса, вручая ей свой подарок — настоящую ночную рубашку, а не эту фитюльку, которая не столько прикрывает, сколько выставляет напоказ? Тут ветерок скользнул по ногам, пощекотал между ляжек, и Адалжиза, вздрогнув всем телом, не смогла признать, что щекотка эта ей неприятна.

А бесстрашному воителю Данило, приготовившемуся перейти от слов к делу и ринуться на штурм, опять пришлось подавить отрыжку. Что за черт! Не в прок ему пошла мокека на пальмовом масле.

Да, ему было явно не по себе, но неужели легкое недомогание ослабит его желание, угасит жар, одолеет порыв? Он выпрямился, исполнившись решимости: так, бывало, рвался он к воротам против-

ника, и удержать его было невозможно. Теперь или никогда! Данило не ждал, что на пути будут трудности, что испытает сопротивление или противодействие. А препятствие?.. Препятствие — это его вожделенная цель, это его драгоценный трофей. Препятствие одно — непорочность Адалжизы.

РЕНОМЕ — Имелся у Данило кое-какой опыт в таких делах: на его счету были две девицы. Медальный профиль героя-любовника часто мелькал в газетах, центрального нападающего взахлеб хвалили по радио, в гомерических тонах превознося его спортивные подвиги, имя его было у всех на слуху, и подобных побед могло быть гораздо больше, если бы Данило не опасался связываться с девчонками — того и гляди, влипнешь в историю, попадешь в газеты, и совсем в ином качестве: «Звезда «Ипиранги», кумир болельщиков, под дулом пистолета женится в «полиции нравов». Какой-нибудь остроумец вроде Армандо Оливейры, которого читают и почитают тысячи, только и ждет подобного сюжета — забавней темы не сыщешь. Сама роль, играемая Данило в команде,— центральный нападающий, «острие копья», по выражению всех комментаторов,— подталкивала к двусмысленным шуточкам, к рискованным каламбурам, а Армандо Оливейра был на них большой мастер. Нет уж, спасибо! В подобные дела лучше не соваться! Данило старался не рисковать: если становилось ясно, что опрометчивого шага не избежать, он под любым предлогом порывал с возлюбленной и исчезал в неизвестном направлении, давал, так сказать, тягу.

Однако обе его эскапады с девицами сошли на редкость гладко. От Албертины он, впрочем, такого не ждал: двадцать второй год, государственная служащая с приличным жалованьем, сама себе хозяйка, липнет к мужчинам. Чего она дожидалась? Бог ее знает. Роман их развивался стремительно, и очень скоро Данило с Албертиной оказались в доме свиданий, содержала который некая Ауринья Гречанка. Изумление Данило было безмерно. Испытав непривычные ощущения, он было застопорился:

— Не может быть...

— Может. Ты у меня первый. Клянусь,— отвечала Албертина смущенно и гордо.

Можно было и не клясться — доказательства были налицо. Знаменательный день, день, которому суждено войти в анналы: щедрый летний дождь смыл с баиянских улиц пыль, а в «доме свиданий» Албертина Карвальяэнс, до сей поры никому не ведомая сотрудница одного из бесчисленных ведомств, сделала первый шаг на том пути, где ей суждено будет обрести громкую славу и всеобщее признание. Да, этот путь начался в объятиях Принца Данило, которого она в тот вечер считала прекрасней самого Кларка Гейбла и нежно благодарила. Албертина Карвальяэнс! Она была некрасива, но обладала скульптурной монументальностью форм.

Случай с Бензиньей был не таким идиллическим, а чистота ее была уже довольно сильно выпачкана. Особенно тщеславиться победой Данило не приходилось: Бензинья сама себя предлагала, сама готова была броситься ему на шею, что однажды и произошло в местечке Педра-де-Сал, где находилась дача американской культуратташе мисс Свит, у которой Бензинья служила в горничных. Данило всерьез опасался последствий, ибо его возлюбленная была обручена с Исайасом Муравьем, знаменитым вратарем, собиравшимся в ту пору уходить из большого футбола: Исайас был ревнив, как сатана, силен, как бык, и крайне несдержан в словах и поступках. Он проявлял неусыпную бдительность по отношению к невесте, ибо имел веские основания сомневаться в добропорядочности Бензиньи — репутация ее была всем известна.

И вот однажды, когда полуплатонические свидания уже приелись, когда томление плоти сделалось невыносимым, а Исайас уехал на сборы, поскольку предстояла ответственная игра, влюбленные отыскали укромное место на пляже, совсем неподалеку от летней резиденции кардинала-примаса, место, идеально подходящее для прелюбодеяния. Бензинья, как писали в романах, предалась Данило безусловно: повалилась на спину, задрала юбку, под которой больше ничего не было, и сообщила, что не хочет, чтобы ее девичья честь послужила усладой грубого Исайаса, а потому пусть с ней покончит он, Принц Данило. Так все и вышло, но к удовольствию Данило примешалось легкое разочарование: с девичьей честью у Бензиньи дело обстояло из рук вон скверно — дорожка была протоптана очень многими, а если никто не решился пойти до конца, то лишь благодаря ужасу, который наводил на всех свирепый гигант Исайас. Неподалеку от уголка, облюбованного парочкой, резвились на пляже монашки; под их безмятежный смех и плеск морской волны Данило расправился с выпавшими на его долю остатками целомудрия.

Несколько недель после этого он прожил в страхе: боялся, что Исайас, гроза судей и соперников, обнаружит после свадьбы изъян и потребует виновника к ответу. Да было б за что отвечать! Решительно не за что. Бензинья! Рита Бента де Лима! Дерзкий смех, смуглое лицо, бедра ходят, как корабль на волне.

ПОСПЕШНОСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕ «ВНЕ ИГРЫ» — Итак, Данило схватил Адалжизу в объятия, одновременно вздернув подол легкомысленного ночного одеяния до самых плеч, приник к ней всем телом, прижался как нельзя тесней, плотно обхватил ладонями груди. Потом резким движением бросил ее на кровать, навалился сверху. Оторвав ладони от ее груди, схватился за бедра Адалжизы, простотаки мертвой хваткой вцепился в них, стараясь разомкнуть их и получить доступ к вожделенной цели.

Адалжиза застонала, но Данило заглушил этот бессловесный протест, впился в ее губы нескончаемым поцелуем, точно собираясь съесть заживо. Адалжиза почувствовала, что сейчас задохнется, попыталась высвободиться, и Данило пришлось схватить ее за руки, для чего, ясное дело, пришлось оставить в покое бедра. Чуть только это произошло, Адалжиза мгновенно сомкнула колени, наглухо перекрыла пути. Защита оказалась на высоте, и прославленный форвард остался ни с чем. Сколько раз Франса Тейшейра сокрушался в микрофон, сетуя, к неописанной радости тех, кто болел за команду соперников, на излишнюю поспешность звезды «Ипиранги»: ах, зачем же Принц Данило рванулся вперед, не дождавшись паса, влетел в штрафную площадку без мяча! Судья засвистел, зафиксировав офсайд.

СОМНЕНИЯ — Как началась, так и продолжалась эта ночь — в жестокой, беспощадной борьбе: насилие натолкнулось на отпор. Эта борьба, эта война сделала бы честь лютым врагам, но никак не пристала любящим супругам и совсем не походила на любовную игру. Данило пытался удержать Адалжизу, заставить ее лежать неподвижно и покорно, а та сопротивлялась и отбивалась. Да, шла война на уничтожение, смертельная схватка: с каждой минутой усиливался грубый напор, но возрастал и страх, истощалось терпение, изменяло хладнокровие, взамен нежных слов стали звучать приказы, мольба сменялась командой, досада вытесняла ласку, сила прогоняла обольщение.

Измученная, готовая вот-вот расплакаться, Адалжиза спрашивала себя: «Да в самом ли деле он меня любит? Может, ему одно только от меня и нужно? Зачем же насильно? Разве он не может

набраться терпения и чуточку подождать?» Губы у нее были искусаны, от беспрерывных атак все тело было точно избито и изломано: отчаянное сопротивление только разжигало ярость нападающей стороны. Она устала, она была напугана, она вся одеревенела. Силы ее были на исходе.

Возможно ли, чтобы гражданин Бразилии, обвенчанный священником, зарегистрированный судьей на скромной, но пристойной церемонии бракосочетания, которой предшествовали полтора года знакомства и ухаживания, полтора ничем не омраченных года полного благорастворения и взаимной приязни, возможно ли, спрашиваю я, чтобы этот гражданин мог понять, почему его законная жена в первую брачную ночь отказывает ему в его супружеском праве, отбивается, сопротивляется и наконец принимается плакать?! От помолвки до оглашения Данило смирялся со всеми запретами и ограничениями — в таком уж суровом духе воспитала его невесту чересчур набожная донья Эсперанса,— и не только смирялся, но даже гордился неуступчивостью своей невесты — лучшим доказательством высокой порядочности и строгих правил. Но всему же есть граница! теперь они — муж и жена, ни о каком бесчестии или там распутстве и речи быть не может, эти понятия к ним отныне неприменимы! «Неужели я в ней обманывался? Неужели она меня не любит и приняла мое предложение из чистого тщеславия — чтобы пройтись по улице под ручку со знаменитостью, с идолом болельщиков, с кумиром стадионов?»

И словно бы для того, чтобы доконать Данило, чтобы отравить ему эту ночь окончательно и унизить до предела, желудок его расстроился: что-то там бурчало, клокотало, жгло, во рту появился горький привкус, мучили отрыжка и икота, от которых порыв его слабел, а сопротивление Адалжизы становилось все успешней. Данило, мокрый от пота, взбешенный, опечаленный, готов был потерять над собой власть и прибить жену.

МИГРЕНЬ — Только поздно ночью, после тягостного выяснения отношений, подписано было краткое перемирие: Адалжиза сделалась чуть-чуть уступчивей, позволила снять с себя рубашку: «Только, ради всего святого, осторожно!» Всем святым поклялся ей Данило.

Однако сильней ее самопожертвенной готовности исполнить супружеский долг оказался страх перед тем непомерно громадным, что ей предстояло принять в свое узкое, маленькое, недоступное лоно. Это совершенно невозможно! Это только искалечит ее на вечные времена! Но для Данило, который, тычась вслепую, пытался проторить путь во вселенную наслаждений, к океану восторгов, сами эти малость, узость, недоступность и были желанны и притягательны. Собрав последние силы, предпринял он новую отчаянную попытку. «Ай!» — вскрикнула Адалжиза.

Она была измучена, испугана, силы ее были на исходе. Потрясение оказалось столь велико, боль так остра, что она сумела как-то вывернуться, выскользнуть из-под Данило, соскочить с кровати. Боль обожгла ее вовсе не там, где вы думаете, ибо Данило промахнулся и остался с носом. Заболела у Адалжизы голова — начался один из тех приступов мигрени, которым была она подвержена с отрочества и которые преследовали ее, делая жизнь невыносимой: казалось, голову стягивает огненный обруч, от боли она на стену готова была лезть. Началось это в четырнадцать лет, когда она из девочки стала девушкой, и с тех пор повторялось регулярно, и ни один врач облегчить ее страдания не мог, и ни одна знахарка исцелить ее не сумела. «Выйдете замуж — само пройдет»,— предрек ей их домашний доктор Элзимар Коутиньо. Ну, вот и вышла, а все стало только хуже.

Дада влетела в ванную, заперлась и зарыдала в голос, на всю квартиру. Данило перестал барабанить в дверь и вопить: «Открой, открой немедленно! Не выводи меня из себя!» Руки у него опустились, и стоял он перед ванной голый, дурак дураком. То, что приводило Адалжизу в такой трепет, стало совершеннейшим пустяком, вялым и безвредным.

ДВЕРЬ В ВАННУЮ — Через запертую дверь состоялось примирение, был заключен мир, супруги поклялись друг другу в вечной любви, но это все потом, а сначала — срывающиеся голоса, слезы, обида, тоска и ужасное взаимное недовольство. Постепенно взяли верх сострадание и жалость. Они-то — сострадание и жалость — и предрасположили Данило и Адалжизу к прощению и к надежде. Смолкли громовые удары в дверь, стихли рыдания, прекратился обмен колкостями, угрозы превратились в жалобы, требования стали мольбами.

— Я больше не выдержу, голова прямо раскалывается. Если ты меня любишь, не трогай меня до завтра.

— Ты еще спрашиваешь, люблю ли я тебя?! Как ты можешь в этом сомневаться, глупенькая?

— Тогда не смей меня принуждать. Зверь! Будь терпелив со мной.— И снова повторила: — Зверь!

Голос жены звучал так жалобно, и к тому же Данило знал, какие муки причиняет ей мигрень. Но «зверя» так просто проглотить он не собирался:

— Это ты меня не любишь. Я в тебе обманулся...

— Что за ерунда? Не любила бы, так и замуж бы не вышла. Ну, пожалуйста...

— А завтра? Завтра можно? Или все будет как сегодня?

— Завтра — можно. Клянусь! Завтра все будет как ты захочешь.— Но сильней, чем клятвы, подействовал на Данило ее умоляющий голос.— Прошу тебя, пожалей меня, милый...

Милый подвел итог переговорам:

— Ладно, Дада, оставим на завтра. Выходи.

— А ты не будешь меня хватать?

— Ну, я же сказал — оставим на завтра. Но тогда уж смотри!

Адалжиза потребовала последних гарантий:

— Поклянись спасением души твоей матери.

— Клянусь спасением души моей матери.

Но и после этого Адалжиза вышла не сразу — опять пришлось барабанить в дверь и умолять:

— Ну, выходи же! Скорей! Скорей!

Адалжиза медлила, явно опасаясь, как бы муж не стал клятвопреступником.

— А почему ты так торопишься?

— Потому, что ты заняла туалет. Ну, скорей же!

Он еле успел склониться над унитазом в неодолимом приступе рвоты. Прощайте, мокека из крабов и кокосовый мусс в шоколадном сиропе, тушеные перцы и португальское вино! Когда он вышел из ванной, Адалжиза, съежившись под простыней, затаив дыхание, уже лежала в кровати как мертвая. Данило отворил окно, жадно вдохнул воздух — неприкаянный молодожен в одиночестве брачной ночи.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ НОЧЬ — А ведь она могла бы стать лучшей в его жизни — волшебной, божественной, счастливой. Было бы что вспомнить и чем гордиться — и даже больше, чем тогда, на чемпионате страны, когда он, Данило, по общему мнению, принес «Ипиранге» лавры победительницы. Ночь могла бы стать незабываемой. А теперь одна забота — поскорей бы забыть ее, эту черную, эту проклятую, горькую, унизительную, растоптавшую его мужское достоинство ночь. Нет, она и вправду незабываемая!

Опершись о подоконник, Данило долго смотрел, как над туманным горизонтом пробивается рассвет, а потом наконец улегся, сомкнул воспаленные веки, словно облитый стыдом и разочарованием, весь облитый с ног до головы. С ног до головы закутанная простыней, отодвинувшись на самый краешек кровати, лежала Адалжиза, не выставив наружу ни кончика пальца, ни завитка волос — живой кокон страха. Спала она или притворялась, думая, что он пожалеет ее будить и оставит в покое? Ей-то хорошо: у нее хоть страх есть. А он совершенно опустошен и вконец выпотрошен. Как тряпичная кукла, валялся он на кровати, как жалкий паяц в шутовском колпаке. Да какой там колпак — и колпака-то не было: голый и прикрыться нечем — всякий волен смеяться и издеваться над ним. И не спасет то, что свидетелей его ночного позора не было: у него все будет на лбу написано.

ГОЛУБКИ — Данило открыл глаза, и ему показалось, что проспал он всего минут десять — пятнадцать: во рту по-прежнему был омерзительный вкус, а на душе все так же скребли кошки. Комнату заливал солнечный свет, рядом никого не было: где же Дада? Взглянул на часы: двадцать пять десятого. Подхватился, побежал в ванную. Умылся, побрился и, надевая штаны, увидел в окно, что на пляж уже потянулись вереницы людей. Ох, хорошо бы выкупаться, это восстановило бы его душевные и физические силы, но как после вчерашнего сунешься к Адалжизе с этим предложением и как ей покажешься на глаза? И куда она, кстати, запропастилась?

На лестнице Мариалва влажной тряпкой протирала перила. Она поздоровалась, а на тревожный вопрос ответила, что сеньорита, «простите, сеньора» — поправилась она с улыбкой — ждет его внизу. Она встала рано, выпила кофе с молоком, поела кукурузного кускуза и сейчас сидит на веранде. Погода нынче как по заказу: сегодня только и купаться. Данило, перепрыгивая через ступеньки, помчался вниз.

Да, она была на веранде, сидела в шезлонге. Какая красивая, господи боже, какая красивая! Босые ступни, нога закинута на ногу, бедра распирают цветастую ткань, пышная грудь угадывается под купальником, голова повязана косынкой, на носу — темные очки. Увидев мужа, она сняла их, улыбнулась: веки покраснели, губы припухшие. Данило с бьющимся сердцем приблизился, осторожно поцеловал ее, заметив на нижней губе след зубов. Нежно прикоснулся к щеке Адалжизы. Спросил, оставляя решение вопроса ей:

— Купаться пойдем?

Она согласно кивнула. Притянула склонившегося над ней Данило к себе, подставила ему губы для нового поцелуя, сама его поцеловала крепко и неторопливо. Так, словно хотела что-то выразить этим и не обращая внимания на распухшие, кровоточащие губы. «Доказательство любви»,— понял Данило и не стал злоупотреблять этим, хотя желание и пронзило его, когда язычок Дада коснулся его зубов. Он протянул руку, помог ей подняться:

— Пойдем.

— Выпей кофе.

Данило, не садясь, залпом выпил полчашки кофе, съел ломтик кренделя, а к кускузу — до сей поры любимому своему кушанью — даже не прикоснулся.

По обе стороны тянулся необозримый пляж с белым чистым песком. Они вышли, взявшись за руки. Адалжиза казалась веселой, беззаботной и оживленной.

— Как твоя голова?

— Прошла, слава богу.

Данило не удивился. Такая уж это ужасная штука — мигрень: налетит, измучит, а потом ни с того ни с сего отпустит. Все на них

глазели, улыбались, перешептывались, пока они шли по пляжу. Тут их догнала Мариалва с полотенцами и соломенной циновкой. Многие еще помнили Данило, хоть он и бросил футбол полтора года назад, и теперь узнавали звезду «Ипиранги»; привлекали к себе внимание и пышные формы Адалжизы, обрисовывавшиеся в давно немодном купальном костюме. «Зачем же прятать такие сокровища?»— искренне сокрушались зеваки.

Идти пришлось довольно долго, но вот отыскалось место, где народу было поменьше. Расстелили циновку подальше от любопытных взглядов, от нескромного внимания, от пляжного шума и говора. Полежали на солнце, а потом пошли в море. Данило, отличный пловец, поплыл к покачивающимся на якорях катерам и баркасам. Адалжиза барахталась на мелководье.

Прекрасное было утро — тихое, спокойное, с милыми разговорами и умеренными ласками. Целовались. «Губы у меня стали как у негритянки»,— сказала Адалжиза, но улыбаясь, а не жалуясь. Потом, оглянувшись по сторонам, оттянула ворот глухого купальника и показала мужу лиловый засос на груди. «Видишь, чудовище, что ты со мной сделал?» — спросила она томно и даже кокетливо.

Размякнув от солнца и нежности, Адалжиза огорченно заговорила о том, что произошло прошлой ночью, и — главное — о том, чего не произошло, просила прощения, просила терпения. Данило не уступал ей в благородстве: он признался, что был слишком поспешен и груб, тоже просил прощения. «Прощать тебя не за что, это я во всем виновата, я — трусиха и дурочка, я не смогла сделать то, к чему готовила меня моя крестная». Но если Данило поверит ей и поймет ее, она станет ему настоящей женой, а дом, который они с божьей помощью создадут, будет счастливым домом. «Так и будет»,— заверил Данило.

— Поклянись, что ты меня любишь,— разнеженно проворковала Адалжиза.

Но Данило поклясться не успел: рядом с ними оказалась симпатичная чета, заговорившая с молодоженами. Лаура и Дарио Кейрозы жили в Валенсе, но большую часть года проводили в Морро-до-Сан-Пауло, где у них был дом. Дарио, ярый поклонник футбола, хоть и болел за «Витторию», прекрасно знал Принца. Он и начал разговор: почему же Данило так рано повесил бутсы на гвоздик, ему бы еще играть да играть? Он пустился было в воспоминания о незабываемых проходах и решающих голах, но дона Лаура увела его:

— Пойдем. Голубкам хочется побыть наедине.

ОЖИДАНИЕ — Ужин Данило просил подать самый легкий: свежа еще была память о роскошном обеде — лангуст, уха, жаркое из креветок, восхитительные крабы. Все это орошалось пивом и соком гуарана. Придя с пляжа, проголодавшиеся молодожены отдали дань всему угощению.

Данило сделал попытку увлечь жену в комнату, но Адалжиза улеглась на диван и проспала до вечера.

— Не беспокойтесь, я приготовлю что-нибудь легкое,— заверила Мариалва: улыбка не сходила с ее приветливого лица.

Выяснилось, что у нее весьма своеобразное представление о том, что такое «легкий ужин». «Подам кофе с молоком»,— сказала она. И подала. Но сопровождали этот кофе с молоком пирожки из сладкого маниока, пирожки со сладким бататом, пирожки из кукурузной муки, кускуз из тапиоки в кокосовом молоке. А предшествовал этому жареный цыпленок с рисом. Куда уж легче! Адалжиза, томимая предчувствиями, чуть поклевала. Данило, помня о вчерашнем конфузе, благоразумно сдерживал аппетит.

С той минуты, как она проснулась на закате, беспокойство Адалжизы шло по нарастающей. Протерла глаза — и увидела перед собой

Данило, караулившего миг ее пробуждения. Дальше потянулись нескончаемые паузы, атмосфера ожидания сгустилась. Адалжиза, еще вялая после пляжа и сиесты, поднялась наконец с дивана. Данило встрепенулся.

— Я скоро вернусь,— сказала она и стала подниматься по лестнице.

Вернулась она не очень скоро — свежая, в простом домашнем платьице. Душ прогнал ее истому, но нимало не умерил тревогу. На Морро-до-Сан-Пауло опускалась ночь, от пристани отвалил переполненный катер. Мариалва спросила, не пора ли накрывать на стол.

— Пора,— ответил Данило, не сумев скрыть досаду: вот дура-то, тварь безмозглая.

Его бы воля — они бы поднялись в спальню, чуть только окончился ужин. Но Адалжиза предложила пройтись вокруг дома — полезно для пищеварения. Чего там варить, они ведь почти не притронулись к еде — хотел было взорваться Данило, но при Мариалве спорить не стал, сдержал нетерпение, подал жене руку, и они обошли дом.

— Я вам постелю...— прозвучал ласковый голос горничной.— Когда вернетесь, только щеколдочку отодвиньте, здесь воров нет.

Народу на улице было мало: редкие прохожие да несколько супружеских пар, совершавших моцион,— все провожали голубков любопытными и благожелательными взглядами. Ветер взвихривал песок, из открытых окон слышалась музыка. «Танцуют и в карты играют»,— пояснила всезнающая и вездесущая Мариалва. Под звездами носились по водной глади мощные катера, принадлежавшие людям богатым; в воздухе чувствовался запах виски, аромат гаванских сигар.

Тишину нарушало только чье-то вежливое «добрый вечер» да рев пролетавших катеров. «Вот это жизнь!» — позавидовал их хозяевам Данило, пытаясь завести разговор. Окаменевшая Адалжиза молчала, стиснув зубы. Прошли к пристани, вернулись назад — Данило все пытался прибавить шагу, а Адалжиза двигалась еле-еле. Когда увидели наконец освещенное окно виллы — Мариалва оставила в гостиной керосиновую лампу,— Данило сказал, не просительно, а властно:

— Идем.

Адалжиза потупилась, вспомнив наставления крестной: «Когда настанет час испытания, будь мужественна и покорна»,— и прошептала:

— Идем.

Из темноты вынырнул Дарио Кейроз, весьма расположенный обсудить голы, забитые сегодня Пеле. Воспользовавшись замешательством мужа, попытавшегося отделаться от разговорчивого болельщика, Адалжиза проскользнула в спальню. Когда явился запыхавшийся Данило, она уже лежала в постели, под простыней. На ней была рубашка, сшитая доньей Эсперансой для предстоящего жертвоприношения.

НАКОНЕЦ-ТО!— Данило прикрутил фитиль лампы, в комнате, где было тихо, стало еще и темно. Адалжиза закрыла глаза. Покуда она спала после обеда, ангел-хранитель прикрывал ее своими крылами, оберегал ее. В этой роли, если вдуматься, выступал сам Данило — кому же как не мужу защищать семейный очаг, охранять жену? Чего только не примерещится со сна!

В спальне же началось такое, о чем она и думать боялась: огненный ангел, распаленный демон сорвал с нее простыню, зашвырнул подальше, стал тянуть кверху ночную сорочку. Он потребовал, чтобы Адалжиза приподнялась — иначе было никак не снять рубашку. Данило говорил тоном, не терпящим возражений, решительно и властно.

Дада приподнялась и подняла руки: малейшее промедление грозило превратить эту властность в ярость. Решив во всем следовать советам крестной, она повиновалась, и рубашка отправилась следом за

простыней. Как и вчера, Адалжиза встречала час испытаний голой. Она стиснула зубы.

Данило, разомкнув ее колени, навалился на нее всей тяжестью, целуя пылко, но оберегая по мере сил пострадавшую во вчерашней баталии губу. Адалжиза предоставила ему полную свободу действий, и он постучал в заветные ворота острием копья — а уж каково было оно — огненное, горделиво воздетое, блистательное, ярое, великолепное,— я предоставляю судить благосклонным моим читательницам, ибо выбирать определения подобает тем, кто умеет различать, оценивать и отдавать должное. Вслед за тем со всей решимостью и силой Данило приступил.

Адалжиза с замиранием сердца ожидала этого приступа, готовая все вынести, все стерпеть, проявить самоотречение и стоическую выдержку, не издав ни единого стона и ни на что не жалуясь. Но когда боль сделалась нестерпимой, мудрое это решение позабылось: Адалжиза вскрикнула, дернулась, вцепилась ногтями в спину Данило и даже попыталась укусить его.

Но, не в пример вчерашнему, сегодня ей вырваться не удалось: Данило держал ее крепко и прижимал к кровати. Последовала новая, еще более яростная атака: Данило вовсе потерял власть над собой. Адалжиза, захлебываясь рыданиями, заходясь в крике, умоляла: «Довольно, ради бога, отпусти меня! Я не выдержу больше, я умру, я умираю!» Данило усилил свирепый натиск и наконец овладел ею.

Только безумец, услышав ее крики, подумал бы, что она испытывает наслаждение: разорванная, истерзанная Адалжиза кричала от боли, ничего, кроме боли, она не чувствовала. Она беспрестанно стонала, покуда Данило торопливо и напористо осваивался в новых владениях, входил в свои законные права. И у него вырвался стон, но уж это был стон наслаждения, к которому не примешивалось ничего больше. Стон сменился победным воем. Теперь и он вскричал, что сейчас умрет, но не умер, а обмяк, опустошенный, и поцеловал Адалжизу. Потом гордо вскинул голову и объявил: «Ты — моя!» Объявил ей и миру.

Воитель покинул наконец-то павшую твердыню. Адалжиза стонала в голос. Данило вытерся простыней: если эта притвора Мариалва, убирая вчера в спальне, удивлялась незапятнанности белья, то уж завтра утром у нее не будет никаких резонов сомневаться и недоумевать: испытание кровью состоялось. Таинство свершилось. Наконец-то! Слава тебе, господи! Уф! Нелегко оно ему далось.

ПОСТСКРИПТУМ — Для того чтобы лучше понять смысл события, о последствиях которого будет вам рассказано в надлежащее время и в нужном месте, прошу учесть два обстоятельства, хоть они на первый взгляд кажутся совершенно незначительными и значения не имеющими.

Сообщу вам, во-первых, воздержавшись от всяких комментариев, что Данило, не удовлетворившись первым, единственным и трудным — а для Адалжизы просто мучительным — обладанием, предпринял, невзирая на мольбы и стоны своей жертвы, вторую попытку, на этот раз продлив себе удовольствие, а потом и третью...

Тут он остановился, но вовсе не потому, что исчерпал все ресурсы или насытился — никто не смеет бросить ему такой упрек! — а чтобы Адалжиза передохнула. Торопиться некуда: впереди целая неделя здесь, в Морро-до-Сан-Пауло,— пляж и постель.

А во-вторых, хочу, чтобы вы знали: распростертая на кровати, обессиленная и неспособная более к сопротивлению Адалжиза продолжала стонать, но стоны ее теперь обрели какое-то иное звучание. Данило прислушался: Адалжиза, закрыв глаза, сложив на груди руки, шевелила губами. Да она молится! Данило улыбнулся: она возносит хвалу господу за свое превращение в женщину, истинную и

подлинную, в супругу и возлюбленную. О чем еще она может молиться?

Эх, Данило! Адалжиза еще могла молить Всевышнего принять ее сегодняшнюю жертву во искупление грехов, свершенных за год от помолвки до свадьбы. Больше она не поддастся искушению. Этим разночтением кончается мой «постскриптум».

АЛТАРЬ И ЛОЖЕ — Минуло девятнадцать лет, как пишут в романах, с того незабываемого медового месяца на Морро-до-Сан-Пауло, и как обстоят дела сейчас, читателю известно: Данило шляется по борделям, чтобы возместить ущерб, причиняемый холодностью жены. Да, минуло девятнадцать лет с той памятной ночи, незабываемой для обоих супругов, а бывший кумир стадионов продолжал сидеть на строгой диете, а верней сказать — на голодном пайке. Разнообразие исключалось. Раз в неделю допускала его Адалжиза до себя, и разве могло удовлетворить Данило это убогое, скудное и строгое расписание, эта классическая позиция, подвергавшаяся в свое время ядовитой критике со стороны просвещенной Марилу, ныне ставшей почтенной и добродетельной сеньорой Либерато Ковас Албуфейра, всецело посвятившей себя благотворительности и другим богоугодным делам. Ну, что ж, пришла пора подвести кое-какие итоги и извлечь из поведанной нами истории мораль. Мораль — первое дело, без морали нечего было и огород городить.

Девятнадцать лет назад, ступив с палубы катера на причал Морро, молодожен Данило пренебрег всеми разжигающими аппетит закусками во имя главного блюда, каковое и сожрал с дикарской грубостью и голодной яростью. И до сих пор не понял, что совершил ошибку, не признался себе в этом, не установил зависимости между курицей и яйцом.

Те острые, пряные, экзотические, непривычные и доставляющие такую усладу кушанья, от которых он отказался в первую свою ночь, не вошли и не могли войти в обиход его супружеской жизни. И, несмотря на все его усилия, все старания, на сладкие слова и яростные требования, на все попытки улестить, увлечь, приказать, ни разу не удалось ему сделать так, чтобы Адалжиза приняла участие в этом пиршестве, чтобы она попотчевала его, фигурально выражаясь, какими-нибудь изысками вроде: «Caviar ou camembert bien fait, merci, cher professeur[1] Батиста». Она была неумолима: и его не потчевала, и сама не ела, и ничего, кроме скудной обыденщины, уже не приправленной острым соусом новизны — неким sauce au poivre[2] — еще раз мерси, дорогой профессор,— Данило не получал. Смиряться с этим ему было нелегко, особенно в первые месяцы брака.

Их нежно-любовные отношения постепенно портились: начались выяснения отношений, взаимные упреки и жалобы, а за ними — ссоры, и, как следствие, возобновились приступы мигрени. Пресловутая гармония супружеской жизни пошла псу под хвост, а с нею вместе туда же чуть было не отправилось и само супружество. Еще там, в Морро-до-Сан-Пауло, после очередного, особенно ожесточенного столкновения Адалжиза, рыдая, заявила:

— Ты меня больше не любишь. Лучше я уеду, вернусь к папе.

Данило опомнился, принялся извиняться, клясться в любви. Сколько раз, на пляже или в постели, ссорились они и мирились, и дело кончалось горячими поцелуями? Сколько раз Данило, путая мягкость с податливостью, принимался просить и сколько раз выслушивал один и тот же ответ:

— Даже думать об этом забудь. Это не любовь.

Распри начались еще в Морро, продолжались и по возвращении, и только самой чуточки не хватало для непоправимого шага. Клят-

[1] «Икра или выдержанный камамбер—спасибо, дорогой профессор» *(франц.)*.

[2] Наперченный соус *(франц.)*.

вы и заклинания, мигрень и ревность, которая, как известно, хуже всякой мигрени. Кончилось победой Адалжизы, хоть Данило и отказался окончательно смириться с поражением. Однако жене удавалось держать его в рамках, завещанных доньей Эсперансой и предписанных ее духовником. Надежды на то, что когда-нибудь рамки эти расширятся, не оставалось. Крестная давно уже предупредила Адалжизу, что довольно одного шага, чтобы покатиться в пропасть: «Primer paso, mi hija, es fatal» [1]. Падре Хосе Антонио в тиши исповедальни постоянно призывал ее быть начеку и пресекать любые действия, не имеющие непосредственной целью продолжение рода. Когда священник затрагивал эту деликатную тему, его звучный голос делался низким, хрипловатым, слабел и пресекался — по всей видимости, от стыдливости.

КУКОЛКА — Адалжиза была законопослушна и не отказывалась от исполнения своего супружеского долга. В продолжение медового месяца, неукоснительно, каждую ночь — а иногда и днем, чтобы избежать очередной ссоры: Данило так легко впадал в ярость — принимала она его. Постепенно процедура эта перестала быть такой мучительной, меньше напоминала изнасилование, но и боль исчезла только месяц спустя.

Данило, не удовлетворившись одним оргазмом, приступал ко второй, а иногда и к третьей попытке. Слово «оргазм» Адалжиза узнала, разумеется, от Марилу — от кого же еще? Но одноклассница, дока в сексуальных вопросах, забыла сообщить ей, что испытывать наслаждение способны и женщины.

Исполняя свой долг, Адалжиза отдавалась мужу если не с удовольствием, то, по крайней мере, без сопротивления и с проблесками надежды — нет, не потому, что мало-помалу входила во вкус: сама мысль об этом казалась ей дикой,— а потому, что мечтала забеременеть. Если можно, то сразу. Та блондинка, их попутчица, рассказала ведь, что ребеночек после медового месяца в доме доктора Алмейды рождается ровнешенько через девять месяцев, день в день.

Ни о чем так не мечтала, как о ребенке — лучше девочку. Затем и замуж вышла. Покуда беспутная Марилу крутила романы и перепархивала из одной гарсоньерки в другую, Адалжиза играла в куклы. Этих огромных, говорящих и двигающихся испанских кукол привозил ей из-за границы Пако Перес во времена своего преуспеяния — он был любящий и заботливый отец. И покуда Данило млел и исходил, Адалжиза, покоряясь неизбежности, мечтала о белокурой, розовой, хорошенькой куколке-дочери, и мечта эта умеряла ее страдания во время того, что церковь называла соитием, а бесстыжая Марилу, которая если и лезла в карман за словом, то извлекала оттуда нечто непотребное,— словцом непечатным.

Однако, к вящему разочарованию Адалжизы, в последний день их житья в Морро-до-Сан-Пауло она убедилась, что надежды ее не сбылись. Плохой пророчицей оказалась блондинка с катера, все наврала.

ФАНАТИЧКА — Адалжиза твердо знала одно: для того чтобы забеременеть, вполне достаточно искуса, которому она ежедневно подвергалась, все прочее — от лукавого. После помолвки и даже на катере, мчавшем ее из Валенсы в Морро, она была готова вот-вот уступить соблазну, свершить грех, свернуть на стезю порока. Но жертва, принесенная в эту ужасную ночь,— не в эту, а в ту: ведь пытка длилась две ночи подряд! — искупила грех. Господь, давший ей сил и мужества исполнить обязанность супруги, не оставит Адалжизу, будет поддерживать ее и впредь, дабы не было ущерба для ревностной и богобоязненной католички.

[1] «Первый шаг, дитя мое,— роковой» *(исп.)*.

В медовый месяц Данило приходилось довольствоваться тем, что мы назвали «дежурным блюдом», а больше — ни-ни. Так пошло и по возвращении в город, и даже хуже стало. Покуда у Адалжизы еще теплилась надежда забеременеть, ее еще не надо было ни о чем умолять, но когда доктор Элзимир Коутиньо получил результаты анализов, сделанных доктором Бренья Шавесом, и объявил разрыдавшейся Адалжизе о полном и неизлечимом бесплодии Данило — сам он объяснял его последствиями травмы, Коутиньо квалифицировал как врожденное, — она свела постельные, с позволения сказать, забавы к полному минимуму: отныне они стали не только однообразно-примитивными, но и крайне редкими.

В подобных неблагоприятных обстоятельствах, а встречаются они куда чаще, чем принято думать, на первое место выходит религиозный фанатизм. Впрочем, не обязательно религиозный — может быть и политический: важно, чтобы появились жесткие рамки, неумолимые каноны, не признающие исключений. Они обуздывают, искажают, извращают, унижают, оскопляют. Это и есть мораль моей истории? — спросит читатель. Да, но не вся. Прошу вас, потерпите еще немного, мы приближаемся к концу этих занудных рассуждений.

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА — Я вовсе не хочу приуменьшить значение религиозных догматов в жизни моих героев, но в пылком желании поскорее услышать мораль не стоит даже и спрашивать, не виноват ли в своем несчастье и Данило — образцовый бразильский мужчина?

Адалжиза помнила, каков он был, когда ухаживал за ней, и даже представить себе не могла, каким разочарованием и охлаждением обернется для нее медовый месяц, какие вслед за этим грянут в Баии ссоры, свары, распри, сколько будет пролито слез, выкрикнуто угроз и упреков, не думала она и не гадала, что под угрозой окажется и сам их брак. После одной особенно тягостной сцены, окончательно убедившись, что муж ее не любит, гордо вскинув голову и строго воздев палец, Адалжиза заговорила очень серьезно, намереваясь раз и навсегда положить конец нетерпимому отношению к себе:

— О чем ты думаешь? Как ты осмеливаешься склонять меня к подобным мерзостям? Ты, может быть, считаешь меня уличной женщиной? Проституткой? Уважающая себя женщина никогда не пойдет на такое! Между нами все кончено! Больше я терпеть не намерена! Собирай свои вещи и уходи! — Тогда они еще жили на улице Граса вместе с Пако Пересом.

Сама того не зная, Адалжиза спасла их союз. Данило задумался, глаза у него стали растерянные:

— Я никогда об этом не думал...

Они не разошлись. Данило пообещал держать себя в рамках, поклялся страшной клятвой, что, как известно, труда не составляет. В тот вечер они пошли в кино, на один из тех слезливых фильмов, которые так любила Адалжиза.

Ну, ладно, ограничения были наложены церковью, а холодность, точно броней сковавшая плоть Адалжизы, проистекала, по всем приметам, от того, с какой зверской, палаческой жестокостью обошелся с нею в первую ночь Данило. «Палаческое» — очень сильное выражение, я заимствовал его из известной монографии Грасиэлы де ла Конча Карриль, аргентинской специалистки по психоанализу: как хорошо призвать на подмогу научный авторитет, не правда ли? Вот что пишет это светило сексологии: «Невежество, неуместная и неоправданная властность, деспотизм самца и повелителя, которому не терпится вступить в обладание девственностью, купленной браком,— вот кто виновен в том, что очень и очень многие женщины проживают жизнь, так и не узнав, какой радостью и наслаждением может одарить их секс» (доктор Грасиэла де ла Конча Карриль. «Фригидность

женщины — преступление мужчины», перевод на португальский Фанни Речульской, Сан-Пауло).

Нельзя не признать правоту сеньоры Карриль — несть числа бразильянкам, для которых любовные забавы — это всего лишь постылая обязанность. Они никогда не испытывают удовольствия, им не дано достичь пика наслаждения. Они становятся вялыми, грустными, раздражительными, злобными. Бедные женщины, источник наслаждения, жертвы косных догматов и насилия мужа.

Помните, на катере Адалжиза чувствовала, что искушение овладевает ею, что готова поддаться соблазну? Как знать, будь Данило мягок, ласков и терпелив, ему удалось бы одолеть ханжеское воспитание жены. Бывали такие случаи.

Итак, я высветил обе стороны трагической реальности, и урок, извлеченный из этой истории, может пригодиться кому-нибудь и в наши дни, когда, благодаря противозачаточным таблеткам и движению хиппи, очень немногие невесты сохраняют целомудрие до свадьбы. Молодым мужьям нет нужды взламывать замки, но довольствоваться им приходится разогретым обедом. Но это неважно. Прислушайтесь к моим словам: овладевать девицей надобно мягко, ласково, с величайшим тактом и великодушием. На том я и намереваюсь закончить эту главу о супружестве, которое представлялось столь радостным и счастливым, полным ласк и любовных стонов, а оказалось... Сами видите, чем оно оказалось.

ОБЪЯСНЕНИЕ ОЧЕВИДНОГО — Ну, надо ли еще что-нибудь объяснять? Что именно? Ах, вас интересует, как Адалжиза спасла их супружеский союз? Но ведь это ясней ясного, это совершенно очевидно и лежит на поверхности. Все еще не поняли?

Она в пылу своих логических построений сказала: «Заниматься этими мерзостями могут только уличные девки». Сказала? Сказала. И вот, сама того не желая, указала мужу надежную пристань, куда он мог бы направить свой едва не затонувший корабль.

И на следующий же день, после четырехмесячного отсутствия, Принц Данило постучался в столь памятные ему двери заведения Фадиньи, помещавшегося на Ладейре-де-Сан-Франсиско: в перерывах между безумствами и забавами парочки сквозь полурастворенные окна верхнего этажа любили глядеть, как вступают под своды раззолоченной церкви Святого Франциска ревностные прихожане и любопытные туристы.

— Явился, пропащая душа! — встретила гостя Аструд и упала к нему в объятия.

В четверг днем

ОБИТЕЛЬ КАЮЩИХСЯ — Записка была перехвачена. Не успела минутная стрелка башенных часов на Ларго-де-Сан-Педро в шестой раз обойти циферблат, как Манела оказалась в монастыре Лапа, в обители кающихся.

Стены этого аббатства овеяны были недоброй славой: в стародавние времена да еще и сравнительно недавно девицу, свершившую опрометчивый шаг, запятнавшую свою репутацию и честь семьи, заключали туда пожизненно. Считалось, что девица для света умерла и похоронена, к ней не пускали даже рыдающую мать; вытравливалась самая память о преступнице — имя ее не поминалось вслух, портреты уничтожались, облик забывался, словно несчастная никогда и не появлялась на этом свете.

Как ни странно это звучит, но вечное заключение в монастыре было явной уступкой всеобщему смягчению нравов, ибо раньше (в го-

роде — часто, а в сертанах — всегда) такая вина каралась смертью. Смыть позорное пятно с фамильной чести, вернуть ей достоинство и прежний блеск могло только известие о смертной казни, свершенной над навеки проклятой дщерью и негодяем, обольстившим ее неопытность. Самые непреклонные из отцов в жажде правосудия заходили так далеко, что обольститель, перед тем как расстаться с жизнью, терял и мужское свое естество.

Случается такое и в наши дни, хотя не в пример большее распространение получает другой обычай: отец учтиво принимает у себя мимолетного дочкиного ухажера, кормит его, и поит, и провожает к ложу, не беспокоя лишний раз ни судью, ни священника. Времена меняются, прежняя суровость теперь не в ходу, но бывают и исключения: в угоду последним твердокаменным ревнителям нравственности и не закрыт покуда монастырь Лапа. Что же касается Манелы, то с ней ничего непоправимого не произошло, и поместили ее в обитель временно, а не навсегда. «Как только выбросит из головы свои бредни, как позабудет этого шелудивого пса, эту макаку Миро, так и вернется домой»,— сказала ее тетушка игуменье.

Когда же двери монастыря затворились, на реснице Адалжизы повисла слеза, но она поспешно утерла ее, пока падре Хосе Антонио не заметил проявления такой непростительной слабости.

РАЗОРВАННАЯ ЗАПИСКА — Никакой случайности тут не было: сам господь вел и направлял Адалжизу, когда в туалете, за унитазом, она увидела клочок бумаги, обрывок любовного письма — можно было разобрать слова. Наверняка Манела выронила его в ту минуту, когда, разорвав и скомкав записку, бросала ее в унитаз и спускала воду, чтобы навеки уничтожить свидетельство преступного замысла.

— Боже милостивый!

Адалжиза узнала почерк негодяя Миро. Комната племянницы регулярно подвергалась тщательному обыску, была обследована пядь за пядью, и в результате отыскались письма и записки проклятой макаки — только так называла Адалжиза Мироэла да Нативидаде, который для всех на свете был просто Миро, а письма к Манеле подписывал: «Твой будущий и любящий муж Мириньо». Уверившись в том, что влюбленные замыслили побег при поддержке Дамианы и других соседей, с ведома и благословения тетушки Жилдеты — список соучастников был бесконечен,— Адалжиза всецело посвятила себя поиску следов, улик и доказательств, решившись любой ценой, во что бы то ни стало и чего бы ни стоило, добром или силой помешать исполнению дьявольского плана.

Добром не выходило. Ни к чему не привели беседы, советы, предупреждения, нотации и даже просьбы — вот до чего ее довели. Манела замыкалась во враждебном молчании, не удостаивала тетку даже словом в ответ. Только когда Адалжиза, вспылив, назвала Миро шелудивым псом и макакой, не повысив голос, ответила: «Я люблю эту макаку, я выйду замуж за этого шелудивого пса, нравится вам это или нет». Ну, конечно, Адалжиза, измученная очередным приступом мигрени, не сдержалась, вскипела. Племяннице стало ее жаль, она обняла страдалицу: «Что угодно, тетя, только не это, я люблю его».

Меры устрашения и принуждения тоже не помогли, тем более что нельзя было пустить в ход испытанное средство — плетку. После праздника Спасителя Бонфинского, после того четверга, открывшего Адалжизе глаза, она попыталась было применить плеть, чтобы все расставить по своим местам, и не смогла. Словно бы разучилась она искусству порки и взбучки, словно силы ее вконец покинули, но рука как свинцом налилась, пальцы разжимались сами собой. Ну, а без плетки мало что удавалось сделать: она запирала Манелу в комнате, запрещала ей видеться с одноклассницами и подружками, сама провожала или отправляла Данило провожать до самых дверей Летнего

института, и у тех же дверей встречала, и ни на минуту не забывала, что отвечает за непорочность племянницы перед господом богом и судьей по делам несовершеннолетних. Покуда Манела под ее защитой, она не даст ей погибнуть и пропасть, а другими словами — спознаться с этой макакой, с чернокожим самого дурного пошиба и последнего разбора, с таксистом. Выйти замуж без позволения своих опекунов Манела не могла.

Миро был владельцем автомобиля, подержанного «ДКВ»,— ну и что из этого? Все равно он проходимец и плебей. Адалжиза хотела бы выдать Манелу за человека положительного и основательного и хорошо бы — образованного, добившегося в жизни успеха или хоть делающего карьеру — такого, словом, чтобы вознес семью на новую высоту. Для того она ее и воспитывала в строгости и послушании — и так далее, вы это все знаете. И в ожидании подходящего претендента на руку и сердце Манелы, она, Адалжиза, самоотверженно оберегала ее от всякой пагубы, не давала стать такой, как все эти выродки, которые распустились до самой последней степени и по части распутства могут поспорить с проститутками, причем еще и победят в этом споре, ибо отдаются бесплатно. Тетушка переворачивала все ящики и шкафы, отыскивая противозачаточные пилюли.

Сжимая в трепещущей руке обрывок записки, Адалжиза спросила себя, не поздно ли спохватилась, не произошло ли уже непоправимое? Может быть, еще успеет предотвратить катастрофу, если будет действовать быстро и споро. Слава богу, успела: клочок бумаги, господним промыслом найденный в сортире, содержал сведения о предстоящем побеге — день и час. Макака будет ждать с машиной сегодня в семь часов вечера. Шелудивый пес не любил, как видно, околичностей и иносказаний: «Сегодня, любовь моя, ты познаешь высшее счастье, и у нас будет чудесная ночь. Больше нельзя покоряться этой...» Кому «этой»? Нетрудно было угадать: Миро называл жизнь Манелы рабством, а ее, тетушку и опекуншу,— кровопийцей и палачихой.

Никто как бог не мог помочь Адалжизе при таком стечении обстоятельств. Разве не он дал ей увидеть обрывок бумаги? Личным, доверенным и полномочным представителем господа бога в городе Баия Адалжиза считала своего духовного отца и исповедника падре Хосе Антонио Эрнандеса, а потому торопливо оделась и побежала к нему. Так спешила, что даже не выпила отвар шиповника, помогавшего от мигрени, которая между тем разыгрывалась не на шутку.

Адалжиза вынашивала две мечты. Одна была давняя — иметь собственный дом. Во исполнение ее она ежемесячно делала в «Банко Экономико» взнос на некую сумму, которую доставляло ей ее искусство модистки. Вторая мечта родилась в январе: увидеть макаку и шелудивого пса Миро за решеткой. Во исполнение этой мечты она каждый вечер читала по две молитвы — раз «Богородице», раз «Отче наш». Адалжиза свято верила в проценты годовых и в неизреченную милость господню.

СУДЬЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ — В тот же четверг, ближе к вечеру, Адалжизу, сопровождаемую падре Хосе Антонио, принял и рассудил по справедливости доктор Либерато Мендес Прадо д'Авилла, судья по делам несовершеннолетних.

Перед этим в пышно убранной ризнице недавно отреставрированной церкви Святой Анны — «какое чудо!»— восхищались святоши; «что за мерзость!» — поражались художники — Адалжиза поделилась со священником своими опасениями, попросила дать совет, как пресечь зло в зародыше и оказать помощь. На карту поставлены честь питомицы и доброе имя опекунши.

Падре Хосе Антонио выслушал ее молча, опустив голову, закрыв глаза: грехи любострастия задевали его за живое до такой степени,

что он переставал владеть своим лицом и голосом. Потом задал несколько вопросов: из чего заключает тетушка, что племянница ее еще не пала; как далеко успела пройти она по стезе порока? «Не пала,— отвечала Адалжиза,— и даже не особенно нагрешила, потому что я держу ее на коротком поводке». Что делать? Предупредить побег, назначенный на сегодняшний вечер, нетрудно: достаточно запереть Манелу у нее в комнате, не выпустить из дому, как вся интрига рухнет. Но дальше-то что?

Адалжиза готова даже забрать ее из коллежа, но ведь и эта крайняя мера ни к чему не приведет, да и нельзя же круглые сутки держать ее под домашним арестом. Что скажут соседи? Пойдут толки, прознает тетушка Жилдета, поднимет крик, устроит скандал. Где спрятать Манелу на срок, достаточный для того, чтобы она избавилась от соблазна, сделалась нечувствительной к уловкам, сама решилась покончить с этой глупой влюбленностью, прогнать своего таксиста, забыть черномазого? Манела избавится от нависшей над нею опасности, а Адалжиза — от непосильного бремени ответственности, ибо в последнее время у нее не жизнь, а пытка: еще немного — и ее свезут в психушку.

Получив ответы, долженствовавшие облегчить ему решение, миссионер с едва заметным разочарованием поднял голову, открыл глаза, и голос его, приводящий святош в восторженный трепет, зазвучал проникновенно, торжественно и утешительно. Господь наш вседержитель со своего небесного престола взирает на тяготы усерднейшей овечки в стаде своем, готовой на любые жертвы во имя неуклонного соблюдения предписаний святой нашей матери церкви. Но пусть она не отчаивается, ибо он, падре Хосе Антонио, исполняя господню волю,— здесь, рядом с нею, и вместе они порушат замыслы врага, одолеют его, спасут если не все целомудрие Манелы, то хоть бóльшую его часть — «боюсь, что уже нечего спасать»,— подумал он, но говорить этого не стал, незачем. Итак, руководить трагикомической операцией по срочному прекращению любви Манелы к Миро вызвался во имя господа нашего падре Хосе Антонио. Этот охранитель добродетели теориями не ограничивался.

— Quèdate tranquila, mi hija, el honor de Manela está en las manos de Dios [1],— он говорил с Адалжизой по-испански: если бы не сарацинская пышность форм, она сошла бы за чистокровную валенсианку.

Господь сию минуту подсказал ему верное решение. В монастыре Лапа Манела будет в полной безопасности от каких бы то ни было посягательств и соблазнов. Там, в тиши обители, в непосредственной близости к Всевышнему, рядом со святыми сестрами, она, новая невеста Христова, сможет все обдумать спокойно и понять, до какой степени порочит ее это увлечение. Очень скоро Манела с негодованием отвергнет проходимца и возблагодарит тетушку, вернется домой просветленная и очищенная. Больше с нею хлопот не будет.

— В «обитель кающихся»?

— Sí, mi hija, es locâl própio para la penitencia y el convencimiento [2].

Он сам переговорит, не откладывая, с матерью игуменьей. Поскольку речь идет о несовершеннолетней, надо будет получить разрешение судьи, но доктор д'Авила несомненно поймет опекуншу и поддержит ее — он истинный спартанец, столп морали.

Спартанец, столп морали, спаситель сбившегося с пути юношества, неустанно бичующий порок, доктор д'Авила не тратил времени на то, чтобы гладить детишек по головке, ибо не покладая рук подписывал приказы о направлении малолетних злоумышленников в колонии и исправительные дома, поставляя этим образцовым школам преступности и вандализма новых и новых учеников. Его коллега и

---

[1] Успокойся, дочь моя, честь Манелы—в руках господних *(исп.)*.

[2] Да, дочь моя, только там сможет она покаяться и укрепиться в вере *(исп.)*.

во многом полная противоположность, доктор Агналдо Баия Монтейро отзывался о нем крайне неодобрительно: «ретроград, реакционер, фашист». Его жена, дона Диана Телес Мендес Прадо д'Авила, уже появлявшаяся в нашем повествовании под именем Силвии Эсмеральды, неприлежной вольнослушательницы курса истории театра и актрисы-любительницы, сообщала задушевным подругам, что кроме старинной аристократической фамилии муж ее обладал двумя главными добродетелями — ослиной тупостью и страстью к порядку. Все прочие его особенности, как то: злобный нрав, лицемерие, заискиванье перед высшими и грубость по отношению к низшим, пустопорожнее красноречие, хвастовство и ветвистые рога — были лишь следствием.

Падре Хосе Антонио представил ему Адалжизу как женщину благочестивую, набожную и добродетельную, лучшую овечку в господнем стаде, несущую тяжкий крест — воспитывающую взбалмошную племянницу-сироту. Судья попросил опекуншу изложить дело, выслушал ее с видом строгим и значительным и отнесся с полным пониманием и сочувствием. Распоряжение было отдано. Манела пробудет в монастыре столько времени, сколько сочтет нужным ее тетушка и воспитательница, и никто из прочих ее родственников, а тем паче знакомых или соседей не вправе оспаривать это решение и опротестовывать его.

Что же касается распутника-таксиста, судья с большим удовольствием засадил бы его в тюрьму, если бы удалось доказать факт растления. Но фактов, к сожалению, нет. Тем не менее его вызовут и предупредят, какой опасности он себя подвергает. Дадут ему острастку, вправят мозги.

ФАЛАНГИСТ — Сам бог послал Адалжизе падре Хосе Антонио незадолго до кончины доньи Эсперансы, и миссионер почел своим долгом довершить труды, начатые ею,— воспитать дочку Франсиско Перес-и-Переса непримиримой и ревностной католичкой, сделать из нее истинную испанку, всегда готовую противостать неверию и идолопоклонству.

Падре было чуть за тридцать, когда Ватикан послал его вместе с другими священнослужителями в Латинскую Америку, где устои веры расшатались, а доктрина подверглась порче и ущербу, где языческие ритуалы стали одолевать таинства христианства. Хосе Антонио был ярым фалангистом, несшим непогрешимые истины, изрекаемые римским папой своим новым землякам, а баиянцам испанского происхождения — вдобавок непререкаемые распоряжения генералиссимуса Франко. После окончания войны, после мученической и героической гибели Гитлера и Муссолини доверие к испанцам, родившимся в Бразилии или переехавшим туда, поколебалось: их верность святому делу стала ослабевать, поток пожертвований — мелеть; снова подняла голову республиканская сволочь. Падре привез с собою лозунги, некогда звучавшие на улицах Валенсии: «¡Viva el Cristo Rei! ¡Arriba España!» [1]

Были в его баиянской жизни и впечатляющие победы, и поражения, которые, однако, не смущали его закаленную гражданской войной душу. Среди затеянных им кампаний и битв с могущественными противниками две заслуживают упоминания на этих страницах, упоминания и комментария. Так мы убьем двух зайцев: сообщим вам кое-что о герое, а заодно предоставим новые сведения о городе Баия, ибо все, что происходит в нем, представляет интерес для всего человечества.

Строительство новой церкви Святой Анны в квартале Рио-Вермельо! Настоящая эпопея! Блистательная победа! Рядом с убогой ча-

[1] «Слава Господу Христу! Да здравствует Испания!» *(исп.)*

совенкой, до той поры служившей для мерзопакостных радений кандомбле и уличных празднеств, воздвигся величественный храм в честь матери Приснодевы. Блистательная победа, увенчавшая шесть лет беспрерывных хлопот и усилий! Блистательная, но неполная, ибо падре мечтал выстроить храм на обломках часовни, стоявшей посреди Ларго-де-Сант'Ана.

Не удалось. Кардинал не оказал необходимого содействия, не позволил снести часовню. Орава безответственных интеллигентов, действующих по указке Москвы, подняла в газетах протестующий вой: Педро Моасир Майа сочинил подкрепленную документами статью об истории Ларго и часовни, поэт Валли Саломон напечатал бранную оду. Им удалось отстоять церковку, милую сердцу горожан, запечатленную на полотнах Жозе де Доме, Виллиса, Кардозо-и-Силвы, Лисидио Лопеса. Что из того, что она не представляет исторической ценности — это достояние народа Баии, такого же бедного, такого же безыскусного, как и она. Курия заколебалась, кардинал умыл руки, и часовенка по сию пору стоит на Ларго во всей своей простодушной прелести, служа и добрым католикам на празднике Святой Анны, и тем, кто пришел почтить царицу вод Йеманжу.

Делать было нечего. Новая церковь, грандиозная и помпезная, вознеслась чуть поодаль, на углу Ларго-де-Сант'Ана и Ларго-де-Марикита. Место тоже было самое подходящее, монументальное здание храма — так полагал падре Хосе Антонио — должно было сокрушить находящееся у него под боком святилище Йеманжи. Народ нес к ее алтарю дары, оттуда отплывали челны Царицы Вод, когда наступило 2 февраля, день Жанаины, Инаэ, Сирены Мукунан, Дадалунды, Марабо, Принцессы Айоки — много имен и титулов у Йеманжи, невесты и жены рыбаков и мореходов.

Падре Хосе освятил свою церковь: торжественный молебен отслужил сам кардинал, присутствовали командующий округом, адмирал — командир военно-морской базы, бригадный генерал — начальник авиабазы, губернатор штата и префект, «вся Баия» и, разумеется, вся испанская колония. Церемония была достойна Испании генералиссимуса. Адалжиза в черной мантилье, опираясь на руку Данило, ликовала. Ей достались перламутровые четки — приз тому, кто собрал больше всего пожертвований на постройку храма. Конкурс придумал, разумеется, сам падре, а его прихожанки устраивали благотворительные базары, лотереи-аллегри, ярмарки.

А через неделю окрестное простонародье и весь чернокожий сброд во главе с Флавиано явился, чтобы под звуки барабанов и песнопения на языке йоруба торжественно отпраздновать открытие статуи Царицы Вод, изваянной Мануэлем де Бонфин, чья мастерская — неслыханное поношение, вопиющее святотатство! — вплотную примыкала к церкви. В воскресной проповеди падре Хосе Антонио с гневом обрушился на осквернителя святынь.

Адалжиза воззвала к его помощи в то самое время, когда ревнитель благочестия вел затяжные и кровопролитные бои на других рубежах. Падре задался целью уничтожить языческое капище, террейро Энженьо-Вельо, самое старое и почитаемое — иные ученые ведут его летосчисление с 1830 года, но кое-кто полагает, что существует оно уже лет триста, а то и больше. Точно никто не знает. Падре решил задеть струны алчности и спеси в душе тех, кто владел в Баии землей и недвижимостью: на вершине холма — «Белый Дом», а внизу, к авениде Васко да Гама, причаливает челн Ошуна с волшебным грузом. Сколько места пропадает зря — ведь там свободно можно выстроить полдесятка небоскребов.

И тотчас, как по волшебству, выросла там бензоколонка, скрыв от глаз прохожих челн Ошуна, и пошли толки, что вся земля тут будет поделена на участки и распродана, а террейро уничтожено вместе с домами «посвященных» — жрецов Ошала и Эшу. Но опять

всполошились проклятые интеллигенты — слуги сатаны, агенты Кремля,— опять забили тревогу в газетах, и мало того что сумели отвести нависшую над капищем опасность, но еще и предложили Историческому фонду взять его под свою защиту — это, мол, священная земля, историческая реликвия, символ борьбы негров против рабства. «Видана ли такая наглость? — поражался падре Хосе Антонио.— Ставят на одну доску африканские радения и церковь Святого Франциска, монастырь Кармо и кафедральный собор Спасителя Бонфинского?!» Протестуя против такого поношения, падре писал письма в газеты, взывал к помощи гражданских и военных властей, больше уповая, конечно, на военных, произносил громовые проповеди, пытаясь поднять в Баии, в краю миражей и чудес, порядком полинялые стяги Фаланги.

В этой двусмысленной стране, невзирая на все его старания, все меньше становилось твердокаменных и непримиримых фанатиков. Ужасные пришли времена — времена нигилизма и вседозволенности: священнослужители вместо сутаны напялили джинсы, заменили латынь португальским, взяли себе в союзники не богатых, а бедных, восстали против обета безбрачия, якшаются с коммунистами. Но падре Хосе Антонио Эрнандес оставался верен фашизму и догме. Он свято хранил свою чистоту, что давалось ему, видит бог, нелегко. Во сне приходили к нему Далила, Саломея, Мария Магдалина, жена Лота, царица Савская, и последствия подобных сновидений пятнали его холостяцкие простыни. Снилась падре Эрнандесу и Адалжиза.

ОБЕТ — Перед самым замужеством постигли Адалжизу две невосполнимые утраты: одна за другой переселились в лучший мир родная мать и крестная — донья Эсперанса. На оглашении монсеньор Садок помянул покойниц, земля им пухом. Двойная сирота затянутой в белую перчатку рукой утерла слезу, горько сожалея о потере. Впрочем, смерть крестной она пережила острее, чем кончину Андрезы.

Из этого вовсе не следует, что она была дурной дочерью, что не оплакивала мать. У гроба Андрезы билась она в истерических рыданиях, словно чувствовала себя виноватой неведомо в чем, пена выступила у нее на губах. Странная она была, на себя не похожая.

Совсем не так вела она себя после скоропостижной кончины крестной, по-другому скорбела и горевала. Опустившись на колени в изголовье гроба, Адалжиза молилась, перебирая четки, время от времени отдергивая покров, вглядывалась в лицо усопшей, не вытирая слез, струившихся по щекам. С того дня как донья Эсперанса отнесла ее к купели, она не оставляла крестницу своими заботами: научила ее складывать пальцы для крестного знамения, читать «Отче наш». Научила и тому, как мастерить шляпы, украшать их аппликациями, и кружевами, и искусственными цветами. Но самая главная ее заслуга состояла в том, что она указала Адалжизе верный путь в жизни, воспитала ее, сделала из нее порядочную женщину. Даже в бедности, даже на авениде Аве Мария Адалжиза оставалась сеньорой. Она глядела в зеркало доньи Эсперансы, она сверяла по ней каждый свой шаг, ибо крестная завещала ей не опускаться до черни, сторониться ее, даже если придется добывать пропитание в поте лица своего. «Я всем ей обязана!» — часто повторяла крестница, вспоминая крестную. Она была благодарна родной матери за то, что та подарила ей жизнь. Не знала она, однако, что произошло это дважды, что она родилась и воскресла.

Андреза и Адалжиза никогда не были особенно близки, а с годами отчуждение это усилилось. Зато младшая дочь, Долорес, постоянно держалась за материну юбку, помогала ей по хозяйству, всегда ходила с ней в гости к бесчисленным родственникам и друзьям, выполняя сложный ритуал семейных праздников, дней рождения и

именин. Не расставалась она с Андрезой и когда та выполняла свои обязанности в день Шанго, на пиршестве в честь святых Косьмы и Дамиана, на кандомбле — всюду была она ее неизменной спутницей, верной подружкой, любимой дочерью. Вместе с тем Андреза относилась к Адалжизе как-то по-особенному, с неким почтением и уважением, словно по таинственной причине старшая дочь заслуживала ревностного попечения и неусыпной заботы.

Большую часть времени проводила Адалжиза в маленькой квартирке крестной — там же помещалась и ее мастерская,— расположенной в одном из домов, выстроенных на склоне холма: четыре этажа над улицей, четыре — под. К донье Эсперансе солнце заглядывало только рано утром, но зато вокруг бурлил самый аристократический квартал Баии — Граса.

Андреза и Пако Перес сыграли свадьбу скромно — не было ни объявления в газетах, ни приглашенных по списку. К этому времени они прожили вместе уже лет десять, подрастали две дочери, и вдруг коммерсант, чудом избежавший гибели в автокатастрофе, решил освятить таинством брака свою незаконную связь, чтобы в случае его смерти возлюбленная и дочки не остались без средств и без прав на наследство. По этому случаю и созвали человек пять ближайших друзей. Но чудесное спасение было только предлогом: Пако без памяти любил свою Андрезу еще с той поры, когда она была ослепительной пастушкой в карнавальном представлении «цветок одиночества». Пако пленился ею сразу — и навсегда. Он распутничал направо и налево, не зная ни меры, ни отказа, ни удержу, налетал на свою жертву как коршун и разжимал когти не прежде, чем пресышался. Однако в случае с Андрезой все вышло наоборот: ему пришлось приложить немало усилий, чтобы обольстить эту негритяночку, явившуюся ему в карнавальном одеянии из шелковой бумаги, с фонариком в руке на празднике волхвов. А Андреза, увидав случайно, что Пако загляделся на Эсмеральдину, разбушевавшуюся в круговой самбе, чуть было не послала его к черту — с этим прожженным волокитой такого еще не случалось.

Связь с человеком белым и богатым не заставила Андрезу позабыть о людях черных и бедных: она продолжала ходить на кандомбле, выполнять свои обязанности по отношению к богам и людям. В тот самый день, когда Пако познал ее, Андреза окончательно сговорилась с матушкой Аниньей, что выбреет себе голову, примет богиню Иансан, станет ее жрицей. Так она и сделала, оставив Пако в дураках и считая дни, оставшиеся до ее посвящения. Одного только не учла Андреза: под сердцем у нее уже зародилась новая жизнь — плод любви к испанцу, который соблазнил ее и снял ей квартирку. Да, Андреза уже носила Адалжизу, а когда поняла, что к чему, было уже поздно: голова выбрита, тело расписано, ритуальные омовения свершены. Отныне Андреза принадлежала грозной Иансан. И ее еще не рожденное детя — тоже. В праздник Иансан, на радении в ее честь, два раза подпрыгнула Андреза, два имени выкрикнула — свое и дочкино. Так свершилось посвящение Адалжизы.

Когда она была еще маленькой девочкой и ей исполнилось семь лет, Андреза в подробностях рассказала ей обо всех обстоятельствах, предшествовавших ее рождению, и объяснила, что такое «посвященная». Через несколько лет она вернулась к этому разговору, особо подчеркнув, что «посвященная» душой и телом принадлежит божеству, которому дали обет, а потому, если хочет выжить, должна платить некий выкуп — выполнять определенные обязанности. Адалжиза и слушать не захотела, пропустила мимо ушей и грозящую ей опасность, и все тонкости «посвящения». Первое, а за ним и второе семилетия миновали благополучно, но одна только Андреза знала, каких жертв ей это благополучие стоило! Когда Адалжизе стукнуло четырнадцать, мать снова попыталась объяснить ей, какому риску она

подвергается, и снова Адалжиза отмахнулась: другим богам она поклонялась, другие обязанности выполняла, другая была у нее вера. Мать не решилась открыть ей главную тайну: третье семилетие может кончиться смертью. Адалжиза чувствовала себя испанкой с головы до ног, реликвиями были для нее лишь распятие да терновый венец, а фетиши и суеверия она глубоко презирала.

Так никогда она и не узнала о том, что в канун рокового дня — Адалжизе исполнялся двадцать один год — Андреза, желая отвести удар от дочери, предложила беспощадной богине Иансан свою голову взамен Адалжизиной. В день своего совершеннолетия Адалжиза обнаружила мать мертвой. Подоплека ее гибели ей не открылась, и слово «посвященная» ничего ей не говорило.

И все-таки бывали в ее жизни минуты, когда она ощущала чье-то бесплотное присутствие, словно чья-то тоскующая тень кружила над ней. В тот четверг, когда она повела Манелу в монастырь Лапа, где их уже ждал падре Хосе Антонио,— Манела ничего не подозревала, ибо тетушка имела обыкновение, отправляясь к заказчицам, брать ее с собой, чтобы показать, как живут и что носят богатые люди,— ей все казалось: кто-то идет рядом, берет ее за руку, не дает шагать легко и свободно. Почему это вдруг пришла ей на ум покойница Андреза? А кому ж как не ей, Адалжиза? Уж не мачехе ли твоей, не донье ли Эсперансе, предстать перед тобой со словами: «Дурную траву с поля вон, ты правильно поступаешь, доченька».

Надобно заметить, что хоть Андреза выкупила своей головой голову дочери и Адалжиза осталась жить, но, как и всякая «посвященная», полной воли не ведала, и свобода ее действий была весьма ограниченна. Если «посвященный» ревностно и исправно свершает, что предписано во славу божества, то он человек как человек со всеми человеческими радостями и удовольствиями. Ну, а если отказывается признать свое положение, если не соблюдает заповедей и правил, если вкушает запретную пищу, ему вовек не знать мира и душевного покоя, не ведать радости, мучиться до гроба от разнообразнейших хворей и недомоганий, и прислушиваться только ко всякой пакости, и возиться только со всякой гадостью. Мужчину еще в самом цвете лет постигнет злое бессилие, и проку от мужских его достоинств не будет никакого, и сами эти достоинства сделаются самого жалкого и неприглядного вида. Женщине никогда не почувствовать влаги вожделения, вечно пребудет лоно ее сухо. «Посвященный», отрекшийся от своего божества, бродит по белу свету как все равно слепой и глухой, словно и не человек вовсе — чудовище, зомби, робот, а вместо сердца лежит у него в груди камень.

ФЛИРТ — Падре Абелардо не успел переступить порог Театрального училища: Патрисия как раз выходила из дверей. Она бросилась ему на шею, расцеловала в обе щеки да еще и погладила ладонью. А потом, обращаясь к своей спутнице, сказала:

— Что я тебе говорила, Силвия? Вот он и пришел!

Она не выпускала его из объятий: груди ее под батистовой блузой прижались к груди священника, уже успевшего снять положенные его сану целлулоидный воротничок и нагрудник. Был падре Абелардо в джинсах и расстегнутой рубахе. Из автомобиля нетерпеливо махала им Нилда Спенсер: скорей, опаздываем, обед в час, все уж, наверно, давно собрались. Патрисия потянула Абелардо за собой:

— Поедем с нами. Влезай.

Миро, сидевший за рулем «ДКВ», не глушил мотор. Рядом с водителем сидели Нелсон Араужо, державший в руках стопку отпечатанных на машинке листков, и еще какая-то пышноволосая и растрепанная дамочка самого хиппового вида в узком и коротком индийском сари, задранном много выше колен. На заднем сиденье находилась вышеупомянутая Нилда, а подле нее развалилась Силвия.

— Влезай,— повторила Патрисия.— В тесноте да не в обиде, да и ехать недалеко. Подвинься, Силвия, пусти нас...

Кое-как разместились все четверо — Патрисия бочком,— Миро, нажав на клаксон, сыгравший «Кукарачу», подал сигнал к отправлению. Развернулся, помахал кому-то на прощанье и рванул с места. При въезде на Кампо-Гранде резко вильнул в сторону, объезжая выбоину, и Патрисия от толчка повалилась прямо на падре Абелардо.

Начались представления:

— Познакомьтесь: падре Абелардо Галван — наш сертанский Робин Гуд. А это Нилда Спенсер, в рекомендациях не нуждается...

— Благословите, отче,— пошутила Нилда, протягивая священнику руку.

— Рядом с тобой — Силвия Эсмеральда, моя подруга по театральной школе. Впереди — наш директор Нелсон Араужо, мой второй отец, и Арлета Соарес, она живет в Париже. Водитель — небезызвестный Миро.

— Ну, падре, как ваши партизанские бои? Много еще имений захватили?— Нелсон счел обязанностью воспитанного человека завести разговор, продолжая в то же время листать свою машинопись. Тут ему в голову пришла новая мысль, и он сменил тему и собеседника: — Нилда, а что, если нам чередовать интервью наших знаменитостей с музыкальными номерами, а?..

— Пусть Жак решает. Ему видней.

Арлета Соарес, запустив пальцы в свою всклокоченную гриву так, словно хотела растрепать ее еще больше, уставилась на Абелардо разинув рот:

— Скажите, вы не родственник ли такого падре Герберта из Мюнхена? Герберт Хейель. Вы так на него похожи, так похожи... Ну, вылитый... Я с ним в Париже познакомилась,— пояснила она остальным,— вот такой парень! Он стажировался в Сорбонне. Знаете, о чем он пишет? «Театр Брехта»! Умора, ей-богу! Когда приезжает в Париж, останавливается всегда в Сите...

— Не в твоей ли квартирке он останавливается? — По ярко намазанному лицу Силвии скользнула простодушная улыбка.— Он ведь твой petit ami [1], разве нет?

— Ну, а если и так, что с того?

— Нет, во мне нет ни германской крови, ни испанской,— сказал Абелардо,— я родился на самой уругвайской границе. Я кое-что слышал о «рабочих-падре», кое-что знаю о них. Толковые ребята.

— Расскажи-ка нам, Арлета, о своем возлюбленном,— никак не успокаивалась Силвия.

Миро, не снижая скорости, круто свернул, и Патрисия, которой не за что было держаться, снова соскользнула с сиденья, а потом совершенно естественно и непринужденно уселась к Абелардо на колени. Никто не обратил на это никакого внимания, кроме него самого,— господь подвергает его новому жестокому искусу. Полноте, падре Абелардо: уж так ли жесток этот искус?!

Машина мчалась; Патрисия уселась поудобнее, прижалась к Абелардо, стиснула его руку, ее длинные распущенные волосы щекотали ему щеку. Силвия и Арлета оживленно щебетали. Нелсон Араужо погрузился в чтение. Миро рулил по Ладейра-до-Конторно. Падре замер и онемел. Для того чтобы описать его жар и холод, смятение и разброд, ощущение разверзшейся под ногами бездны, выражения «жестокий искус» мало. Ей-богу мало.

УТРЕННИЙ РАЗГОВОР — Олимпия позвонила в неурочное время, прямо в школу, и хорошо, что в преподавательской никого не оказалось: беседа Силвии Эсмеральды и Олимпии де Кастро, двух локомо-

---

[1] Дружок *(франц.)*.

тивов «high society», закадычных подруг, наперсниц и сообщниц, никак не предназначалась для посторонних ушей. Силвия родилась на свет божий, чтобы выслушивать и хранить чужие любовные тайны, быть поверенной всех подробностей — встречи первой, встречи прощальной, упоения, страдания и охлаждения.

Каждое утро, перед тем как приняться за дневные дела, подруги подолгу разговаривали по телефону: перетряхивали грязное белье, перемывали кости знакомым, злословили насчет скандальных историй, уже ставших достоянием гласности или пока еще державшихся в секрете — недостающие факты с лихвой возмещало воображение,— судачили, выдвигая гипотезы и приводя неоспоримые доказательства своей правоты. Жизнь высшего общества представала как на ладони. Со смехом, со вздохом, с невнятным восклицаньем делились чувствительные и распутные соратницы известиями о собственных приключениях — об интрижках Олимпии, о романах Силвии. За откровенность платили откровенностью; затрагивались сюжеты рискованные, темы волнующие; сообщали друг другу об особенностях, дарованиях, сноровке и оснастке своих кавалеров, об их моральных качествах и физических данных — и обо всем самом сокровенном говорилось, как принято ныне у наших дам, без недомолвок, ясно и точно. Помирали обе со смеху. Давали добрые советы: «Не пропусти, милочка, случая. Телесфоро недаром называют колибри, у него божественный язык, такие сосуны рождаются раз в сто лет». Или: «Знаешь ли, дорогая, когда Гилбертино разоблачился, я даже испугалась: думала, не поместится. Не мужчина, а натуральный конь.— Поместилось? — Еще как!» В таких вот увлекательных и поучительных беседах, пересыпанных терминами, которые мы здесь приводить остережемся, протекало обыкновенно их утро.

На одном конце провода — пикирующий бомбардировщик Олимпия, на другом — Силвия, «чертово колесо», как метафорически выразился один из первых ее любовников, поэт Жока Тейшейра Гомес: он тогда еще учился в гимназии, а она только-только вышла замуж. Сравнение смелое и не лишено потаенного смысла: поэтический образ — штука темная и загадочная, как каббалистика. Другой поэт, Паулo Жил, назвал ее «группой ударных». Вот вам еще два имени из не собранной пока «Антологии баиянской поэзии», и, судя по стонам и вздохам Силвии Эсмералды, круто взмывавшей в их объятиях к пику блаженства, оба — поэты большого дарования.

МАЛЬЧИКИ — Кому же как не Силвии, жене судьи по делам несовершеннолетних, ознакомить было Олимпию с таким изысканным лакомством, как подростки?! Подруга очень скоро превзошла свою наставницу, сделалась самой крупной специалисткой в этом вопросе, посвящала жизнь тому, чтобы знания употреблять и углублять. Именно! В самом звучании этих слов сокрыта истина.

Мальчики были полны единственного в своем роде очарования, но зато во многом скованы, а многим ограничены: ограничены временем и скованы отсутствием денег, ибо целиком зависели от расписания уроков и от того, что им давали на мороженое. Что ж, вывернуться наизнанку, чтобы устроить в самом неподходящем месте самую неожиданную встречу,— беда небольшая. А незаметно сунуть в кармашек пятисотенную даже приятно. Хуже было с их еще не устоявшимися характерами. Вот это мука мученическая! Никакого сладу с ними: все — ужасные собственники, ни с чем не желают считаться, грубят, дерзят, своевольничают, и настроение меняется ежеминутно. Что с них возьмешь — дети! Если кто-либо из мальчишек, начиная считать себя незаменимым, делался совершенно невыносимым. Силвия передавала его Олимпии, и наоборот: обмен любезностями и любовниками был у них в ходу.

Вот, например, изголодавшийся семинарист Элой, чей отроческий аппетит разжигали зрелые прелести Олимпии, проводившей с ним свободное время, вовсе от рук отбился, с каждым днем становился все требовательней и безрассудней. Ясно ведь было ему сказано, что назначенное на четверг свидание состояться никак не может — прилетает из столицы сенатор, готовый подписать заказ: долг супруги прежде всего! — так нет, мальчишка все-таки позвонил из архиепископского дворца и тихой скороговоркой, боясь, очевидно, как бы не застукали, сообщил, что будет ждать на условленном месте и что он ее любит. «На каком еще условленном месте, о чем ты?» — «Я буду там и в тот час, как ты написала»,— сказал он и тотчас бросил трубку, оставив Олимпию в растерянности и смущении. Она не писала записки, не назначала место и время, все это его мальчишеские хитрости для того, чтобы заставить ее прийти. Сказал где и когда и бросил трубку, не дав Олимпии возразить. Что ты будешь делать!

Всерьез рассерженная Олимпия решила: пусть негодный семинарист изжарится на солнце, дожидаясь ее,— это послужит ему уроком, будет знать, как лгать! Но потом остыла, и ей сделалось жаль его. Бедный мальчик! В семинарии жизнь не сахар, день-деньской взаперти, в четырех стенах, как же упустить представившуюся возможность? Олимпия подумала, что карать Элоя не за что, и моментально нашла выход: позвонила Силвии, попросила явиться вместо себя на свидание и утолить голод семинариста. Долг платежом красен: пару месяцев назад Олимпия по просьбе Силвии, умученной нестерпимой требовательностью юного любовника, приняла участие в рыженьком Жонге, служившем юнгой на яхте симпатичного миллионера Тоуриньо Дантаса.

Однако Силвия дала согласие не сразу, поломалась для порядка, изображая птицу международного полета: «Не могу, я должна сопровождать французов из «Антенн-2». Но искушение попробовать семинарской свежатинки не поборола. «Чего для тебя не сделаешь?» В конце разговора в голосе Олимпии появились нотки горечи: «Скажи, что я не сумела вырваться, прислала свою лучшую подругу. Прекрасный вечер тебя ждет. Счастливица! А я в это время буду расшевеливать эту дохлятину сенатора. Тьфу!»

— Ну, а малыш-то хоть стоящий?

— Ты еще спрашиваешь! Таких поискать...— простонала Олимпия. Пикирующий бомбардировщик сорвался в штопор.

РОЗЫГРЫШ — Внимание присутствующих было всецело поглощено круговой самбой: Силвия потихоньку встала из-за стола и удалилась по-английски. Еще четверть часа — и она опоздала бы на свидание. За обедом ее посадили между двумя знаменитостями — эссеистом Ордепом Серрой и новеллистом Элио Полворой, и Силвия кивками и междометиями участвовала в ученом споре о литературоведении и художественном творчестве. Беседа воспаряла в немыслимые выси, но была довольно скучна и никак не заслуживала того, чтобы из-за нее упустить семинариста. Она ведь отметилась, появилась на званом обеде, была снята общим, средним и крупным планом — чего ж вам еще? Может быть, запись покажут и в Париже, ну, а кадры будут перепечатаны в баиянских газетах в разделе светской хроники. Вечером она присоединится к съемочной группе в театре «Кастро Алвес»: там будут записывать Каэтано, Жила, Бетанию и Гал. Она уже внесла свой вклад в культуру — остаток дня можно посвятить добрым делам: выручить любимую подругу, отдав себя семинаристу на съедение, омыть душу и освятить тело в его постели. Это истинное благодеяние, подлинное милосердие. Если уж речь зашла об этом, надо признать, что этот падре с уругвайской границы очень хорош. Настоящий гаучо.

Для первого выпуска «Большой шахматной доски», передачи, которая должна была прославить Баию в бессмертной Франции, Нилда Спенсер, посоветовавшись с Шанселем, решила собрать на рынке Модело, в ресторанчике Марии де Сан-Педро — мир праху твоему, гранд-дама баиянской кулинарии, имя твое освящает и облагораживает мою незатейливую хронику! — весь цвет интеллигенции, народных композиторов, мастеров беримбау и атабаке, и школу круговой самбы, руководимую Зилой Азеведо, всех ее смуглых танцовщиц.

Атмосфера народного празднества, неслыханные ритмы, соло на беримбау, гул атабаке очаровали француза, а круговая самба привела в восторг: «Avec ça ils vont craquer, les gars! [1]» Интеллигенты послужат рамкой этой дивной картине: вероятно, что-нибудь из их высказываний пригодится в передаче, а впрочем, можно будет ограничиться и речью Пьера Верже, говорившего о неповторимости Баии, о том, как в ее культуре сплавляются воедино многие и многие элементы.

Патрисия вела диалоги со знаменитостями, записывая профессора Жермано Табакоф, поэта Элио Симоэнса, обозревателя Раймундо Рейса, писательницу Сонии Коутиньо — оператор сделал «крупешник» ее красивого лица,— академика Итазила Бенисио дос Сантоса, профессора Жоана Батисты, изъяснявшегося по-французски с безукоризненной правильностью и певучим выговором уроженца штата Сержипе. Португалец Ассиз Пашеко, кося остекленевшим глазом на мулаток, танцевавших самбу, зашелся в лирическом экстазе.

Взяв интервью, Патрисия с микрофоном в руке придвинула стул и уселась рядом с падре Абелардо, боясь, что его очарует кто-нибудь из присутствующих здесь дам, которые вполне его оценили, а бесстыжая Силвия даже не дала себе труда скрыть своих чувств. Патрисия выпустила когти: если кто-нибудь сунется к нему, горько поплатится. Падре нервно смеялся, умирал от смущения и чувствовал себя совершенно не в своей тарелке.

После этого Патрисия рассказала ему следующее: незадолго до обеда кто-то пытался разыграть ее по телефону. Позвонил, выдал себя за него, падре Абелардо, и назначил свидание — на сегодняшний же вечер. Но Патрисия мигом смекнула, что это чья-то дурная шутка. Ей ли не узнать неподражаемый голос падре-гаучо? И кроме того, он никогда не называл ее «милой», не говорил «любовь моя» и уж подавно — «гурия». А где была назначена встреча? Она уже не помнит, вроде бы на Итапуане.

Под ритмические рукоплескания зрителей баиянки Зилы Азеведо — белые блузы, разноцветные широченные юбки с оборками — выделывали замысловатые па самбы. Одного за другим вытаскивали они из-за стола почтенных профессоров и академиков, втягивали их в круг, заставляли плясать. Доктор Талес де Азеведо удостоился громких аплодисментов — ни годы, ни ученые степени не охладили его пыл. У судьи Карлоса Кокейжо Косты, мастерски игравшего на гитаре, ритмы самбы были, как видно, в крови. Рядом с чисто лузитанским усердием, но без видимого успеха вращал бедрами Фернандо Ассиз Пашеко. Несомненное дарование приметно было у Жака Шанселя. Но всех затмил, разумеется, таксист Миро, не знавший себе равных в искусстве самбы.

Жужжали видеокамеры: через месяц все это появится на французских телеэкранах. Праздник Баии удался: Нилда Спенсер была так счастлива, что в груди стало горячо, в горле стоял ком, на глаза навернулись слезы.

ОТСУТСТВУЮЩИЙ — Нилда жалела, что на обеде не было дона Максимилиана фон Грудена. Не говоря уж о том, что это всемирно известный ученый, он еще на редкость телегеничен и импозантен: бе-

[1] «Да наши от этого ополоумеют!» *(франц.)*

лоснежная сутана, сдержанная элегантность манер, актерская повадка. Нилда обшарила весь город, но нигде монаха не обнаружила.

Нигде не обнаружили его ни полицейские, ни журналисты, рыскавшие по Баии в поисках дона Максимилиана. Когда же наконец удалось установить маршрут, которым двигался автомобиль Льва Смарчевского, директор Музея давно уже удрал из резиденции архиепископа, исчез бесследно, как Святая Варвара.

Викарный епископ дон Рудольф ознакомил его с версией начальника полиции: полковник Раул Антонио убежден в причастности к этому делу пастыря Пиасавы; ясна ему и цель кражи — финансовое обеспечение подрывной деятельности. Драгоценные произведения искусства, проданные за границу, оплаченные твердой валютой, заткнут дыры в бюджете общины, а заодно помогут городской «герилье». Дон Максимилиан не удивился, выслушав все это, не удивился, потому что утром у него состоялся пренеприятный, в повышенных тонах разговор с полковником:

— Не хватает только обвинить меня в преступном попустительстве. Шеф службы безопасности тоже уверен, что похитил статую падре Гальван. По предварительному сговору с падре Теофило... Можете себе представить?

Дон Рудольф, рассеянно перелистывавший роскошное издание книги о Святой Варваре Громоносице, поднял глаза, взглянул на собеседника:

— Могу вас заверить, что обвинение совершенно беспочвенно. В этом преступлении падре Гальван не повинен, за ним вины другие. К пропаже статуи он непричастен: по случайности он приплыл в Баию на одном баркасе с нею.

— Как я рад, что вы подтверждаете мое глубокое убеждение! А откуда вам это стало известно?

— Он мне исповедался.

— А-а!

— Ну, а вам, господин директор, вам-то что удалось узнать? Ведь ответственность ложится на вас! Какие новости вы мне принесли? Слушаю.

Вместо ответа дон Максимилиан только бессильно раскинул руки, показывая этим, сколь безмерно его отчаяние. Смятение директора, его готовность признать себя побежденным и даже просить о снисхождении бальзамом пролились в то утро на душу викарного епископа. Внутренне ликуя, он сменил тон и тему и сказал:

— Мне еще предстоит прочесть ваш труд со всей внимательностью, но уже сейчас я вот тут заметил... Вы считаете автором Святой Варвары этого Алейжадиньо. Боюсь, это рискованное утверждение. Есть ли у вас аргументы в защиту такой шаткой гипотезы?

— Да, вывод смелый, спорить не стану. Но, ваше преосвященство, я отдал этому труду пять лет жизни, пять лет кропотливейших исследований. Я просмотрел горы документов, я провел настоящее следствие, и следы привели меня в Оуро-Прето, к Антонио Франсиско Лисбоа, к гениальному Алейжадиньо. Все сошлось.— Заговорив о том, что было ему близко и дорого, дон Максимилиан воодушевился, воспрял, позабыл про все неприятности, обвинения и угрозы.— Окончательно же я уверился в том, что Святая Громоносица принадлежит его резцу, по другой причине...

— По какой?

— Алейжадиньо был мулат. Изваять такую статую мог только человек со смешанной кровью — метис, мулат, потомок белых и черных.

Строгая морщина пересекла арийское чело епископа.

— Я позвонил доктору Одорико и выразил удивление по поводу той свистопляски, которую устроили репортеры «Диарио де Нотисиас». Добиться мне удалось немногого — редактор готов предоставить

нам слово на страницах своей газеты. Он спросил, не хотите ли вы дать интервью.

Он взглянул в окно, выходящее на площадь, и тотчас вспомнил утреннее происшествие с негритянкой. Проклятая страна! Окаянный край!

— Ну, вот что: или это священное изображение объявится, или я не знаю, что только стрясется в нашей благословенной епархии,— в его тевтонских устах некоторые слова — «священное», «благословенная» — звучали площадной бранью.— Кончится тем, что нас всех посадят в тюрьму как воров и коммунистов. У вас еще что-нибудь ко мне?

— Да, ваше преосвященство.

Дон Максимилиан имел сообщить епископу следующее. Если до открытия выставки статую не найдут, он, директор Музея, покорнейше просит об отставке и тотчас покидает Баию. Уговаривать его бесполезно. Он надеется, что генерал их ордена переведет его в какую-либо обитель в Рио-де-Жанейро, где он в тиши, всеми забытый, сможет продолжить свои изнурительные ученые бдения,— источник краткой радости и бесконечных горестей.

Епископ Клюк горячо и поспешно поддержал его: это единственное возможное решение, отвечающее интересам и университета, и церкви, и самого дона Максимилиана. И горячность и поспешность вонзились в истерзанную душу полуотставного директора Музея Священного Искусства.

КРОКОДИЛ НА ОТМЕЛИ — Падре Соарес почивал после обеда, когда журналисты с микрофонами и камерами наперевес взяли архиепископский дворец штурмом. Семинариста Элоя, чье дежурство близилось к концу, засыпали вопросами, а ошеломленного падре-секретаря запечатлели на пленке с разинутым ртом.

И Элой и Соарес поклялись спасением души, что викарный епископ уже покинул резиденцию и теперь появится только к вечеру, а дон Максимилиан ушел еще раньше. Беззастенчивая брехня входит в секретарские обязанности. И жаль, что нельзя рассказать журналистам, как дон Максимилиан, потеряв весь свой лоск и всю спесь, понурый, унылый, совсем не похожий на того веселого горделиво-победительного и самоуверенно-снисходительного щеголя, который изредка удостаивал дворец своим посещением и заставлял падре Соареса бормотать сквозь зубы: «Погоди, погоди, крокодил, не ровен час, пересохнет твоя отмель, посмотрим, как ты повертишься тогда!» — покорно прошел вслед за епископом Клюком по внутренней лестнице в гараж, там они сели в машину его преосвященства и отбыли, причем директор явно старался быть как можно незаметней.

Пересохла отмель. Завертелся, крокодил!

РОНДО ТАЙНЫХ АГЕНТОВ — По улицам Баии в поисках следов и улик, посредников и перекупщиков, тайников и воровских притонов, а также конспиративных квартир подрывных организаций бродили филеры службы безопасности, агенты федеральной полиции.

Они торчали на перекрестках, брали под наблюдение священников, допрашивали антикваров и коллекционеров. Мирабо Сампайо, скульптор, известный вспыльчивостью нрава, увидев, как детектив снимает с полки жемчужину его коллекции, деревянную скульптуру работы великого Агостиньо да Пьедаде, выставил полицейского за дверь: «Убирайся, олух царя небесного, пока я тебя не застрелил!» Зловредная выдумка дона Максимилиана насчет похищения Святой Варвары переходит всякие границы! Мирабо, которого трижды отрывали от работы, не успел к сроку окончить изображение Мадонны, заказанное банкиром Жорже Линсом Фрейре ко дню рождения жены Люси, и поносил дона Максимилиана последними словами.

Комиссар Паррейринья, упустив пастыря Пиасавы, занимался тем, что сличал выставленные в витринах изображения святых с фотографией барочной скульптуры Святой Варвары из португальского города Гимараэнса, неведомо как оказавшейся в полицейской картотеке. Другой комиссар, Рипулето, славившийся безошибочным чутьем — чуть только где намечается застолье, он тут как тут, и вилка в руке,— был отправлен в Санто-Амаро с приказом допросить викария, чету Велозо, дону Кано и сеу Жозе, а также всякого, кто сможет пролить свет на исчезновение святой. «Не забудь потрясти как следует экономку»,— напутствовало его начальство. Доктор Калишто Пассос укрепился в своих подозрениях: падре Теофило разработал план, падре Абелардо его осуществил. Торговлю древностями осуществляли люди в сутанах — служители господа, священники и викарии.

Прилетела из столицы команда из СНИ — эта зловещая аббревиатура означает тайную политическую полицию,— которую никто не видел и не ведал. Операция «Челюсти краба» проводилась в обстановке сугубой секретности, с гримом и переодеваниями. Мадам Лиа, владелица мотеля, нисколько не возражала против того, что в ее заведении оборудовали фотолабораторию,— наоборот, была очень польщена. Тайные агенты были все как на подбор специалисты высшего класса, поднаторевшие в своем деле, прошедшие выучку в ЦРУ и в португальской охранке ПИДЕ, совершавшие подвиги, которым позавидовал бы и сам Джеймс Бонд. Возглавлял группу светило политического сыска, проходивший под кодовой кличкой «Агент Семь-Семь-Ноль», а от коллег удостоившийся прозвища «Ослиное копыто», что говорит само за себя.

ДНЕВНОЙ СЕАНС — Такси еще не успело остановиться, а Силвия Эсмеральда уже увидела добычу: паренек в сутане стоял на солнцепеке и пускал дым колечками. Силвия сочла его вполне миловидным и симпатичным. Предвкушая неслыханные наслаждения, она довольно сильно шлепнула шофера по руке. Шофер был истинный рыцарь: «Развлекайтесь, милая сеньора, жизнь наша так коротка». Выждав, пока он отъедет, Силвия направилась к семинаристу:

— Элой? Здравствуйте, Элой. Знаете, Олимпия не смогла прийти и вот, не зная, как вас предупредить, попросила меня...— Тут она улыбнулась, блудливо заиграла глазами, провела кончиком языка по губам. Но договорить не успела.

Из огромного черного автомобиля выскочили двое в масках, с револьверами. Тарзан схватил Силвию, потащил ее к машине: «Живо, красотка, живо и не трепыхайся». Кинг-Конг выкрутил руку Элою, улыбаясь почти сердечно. От боли тот вскрикнул, и Кинг-Конг, подкрепив приказ затрещиной, прошипел: «Молчать!»

Силвию и Элоя втолкнули в машину, где с переднего сиденья к ним повернулся человек с автоматом — наверно, старший. Машина рванулась. Ехать было недалеко. Мотель за высокими стенами, раскрыв ворота, поджидал гостей.

...Кико Обет, тощий и костлявый, как подвижник, принимая у Элоя дежурство, спросил, не скрывая зависти:

— В кино небось пойдешь? В «Популаре» сегодня вот такая лента: «007 против доктора Но»...

Элой улыбнулся загадочно, мечтательно и снисходительно:

— Да нет, я не в кино пойду...

А лучше бы в кино!

В четверг вечером

ССОРА — Данило удивился тому, что Манела не пришла ужинать. Наказана? Нет, дверь в ее комнату открыта. Куда же Адалжиза отпустила ее? В последнее время тетушка была свирепа и племянни-

цу держала на строгом ошейнике, на коротком поводке. Никаких подруг, особенно под вечер,— сделать уроки, помолиться и спать. На ночь ее запирали, а ключ Адалжиза носила при себе, уверена была, что Манела замышляет побег. Данило знал, что жене его хоть кол на голове теши — она от своего не отступится: запирать Манелу — необходимая мера предосторожности, наименьшее из зол. Данило огорчался, но от комментариев воздерживался, ибо слишком дорого они бы ему обошлись.

— А Манела где? — спросил он сейчас, накладывая себе на тарелку дымящийся ямс и тоном своим показывая, что спрашивает так просто, из любопытства, без всякой задней мысли.

Адалжиза на мгновение замерла, обратила на мужа пристальный взор, а потом рассказала обо всех сегодняшних перипетиях — и про найденный обрывок записки, и про бегство, назначенное на эту ночь, и про вмешательство падре Хосе Антонио, и про судью по делам несовершеннолетних, и про то, как Манелу определили в монастырь Лапа. Много нервов ей это стоило, но кончилось все с божьей помощью очень хорошо.

— Что? Ты посадила Манелу к «кающимся»? — Данило не верил своим ушам, у него даже голос охрип. Он помотал головой, силясь понять ошеломившую его новость.

— Да. С божьей помощью мне это удалось.

— Ты что, с ума сошла? Ты соображаешь, что делаешь?

— Я исполняю свой долг. Неужели надо было позволить ей удрать из дому к этому мерзавцу? Господь меня вразумил, дал мне силы вовремя вмешаться. Ему одному ведомо, чего мне это стоило. Теперь все уже решилось, и Манела под его святым покровом.

— Да что же ты натворила? Ты, видно, и впрямь спятила!! Или у тебя сердца нет?! Откуда такая жестокость? — Он оттолкнул тарелку.— Пошли! Вставай! Надо сейчас же забрать ее оттуда. Не хватало, чтоб она там оставалась на ночь!

— Это мне решать, когда ее оттуда забирать. Выйдет, как только позабудет эту макаку. И не ори, соседи услышат. Лучше вообще помалкивать об этом. Если спросят, отвечай, что уехала погостить в Оливенсу — двоюродная сестра Данило, бывшая замужем за богатым владельцем какаовых плантаций, часто приглашала их к себе.

Данило слушал эти рацеи вне себя от изумления. Адалжиза была, как всегда, строга и непреклонна, но голос ее звучал спокойно: Манела в безопасности. Миро остался с носом, целомудрие племянницы под надежной защитой. Ничего дурного с девочкой в монастыре произойти не может, а польза несомненная. Окруженная благочестивыми сестрами, с пробудившейся в душе любовью к господу, в постоянном восторге религиозности — утренние мессы, вечерние службы, ни шагу без молитвы, ежедневные исповеди, духовное обновление,— Манела как бы смоет с запятнанной и уже обреченной на погибель души всю грязь, освободится от дурных мыслей, одолеет соблазны, скинет тяжкое бремя грехов и потом, просветленная и благодарная, покорная и кроткая, вернется в лоно семьи — то самое лоно, которое она попыталась осквернить. На лице Адалжизы сияло удовольствие — «я исполнила свой долг, господь свидетель». Она подняла молочник, стала наливать в чашки.

Данило встал:

— Пойдем, Дада, пойдем за Манелой.

— Я ведь тебе уже сказала, чтоб ты и думать забыл про это! Она в монастыре по приказу судьи, никто, кроме меня, не может ее оттуда забрать. Сядь. Пей кофе. Супа я сегодня не успела сварить. И молчи, я не желаю, чтоб соседи шушукались у меня за спиной.

— Я такой же опекун, как и ты. Не хочешь идти, я один пойду.

— Никуда ты не пойдешь. Выбрось это из головы, сказано ведь!

Не суйся не в свое дело: воспитываю Манелу я! Понятно? Ну, вот и успокойся, перестань меня терзать.

Она поставила молочник, взяла кофейник. За ужином они иногда ели овощной суп или куриный бульон с рисом, а чаще ограничивались кофе с молоком, бутербродами, плодами ямса или хлебного дерева, кускузом из маниоки, кукурузными пирожками. Данило без памяти любил сладкие бататы, но Адалжиза редко баловала его: от них пучит, а Данило с годами стал страдать от несварения. Любое происшествие тотчас приводило к скоплению газов и к соответствующим результатам. Так случилось и в этот вечер: ссора до того огорчила его, что он не сумел сдержаться и издал протяжный, громовой, энергичный звук.

— Что с тобой, Данило? Постыдился бы! Ты ведь за столом!

ГЛАВА СЕМЬИ — Кто же командовал в доме? Задайте этот вопрос соседям и получите ответ: Адалжиза, разумеется! Она, стервозная баба, всем распоряжается, а у мужа терпенье как у Иова, лишь бы его оставили в покое.

Адалжиза взяла бразды правления с самого начала супружеской жизни, быстро подчинила себе мужа, благо тот занимал в своей конторе крохотную должность с нищенским жалованьем — ниже были только мальчишки-рассыльные. Он делал карьеру медленно, подолгу задерживаясь на каждой ступеньке служебной лестницы, и только недавно достиг поста старшего делопроизводителя с перспективой занять должность нотариуса, сменив Эустакио Лейте, который по чистой зловредности все никак не уходил на пенсию, хоть из него давно уже песок сыпался.

После медового месяца чета поселилась у Пако — средств снимать квартиру у нее не было — в комнате Адалжизы, сменив девичью кровать на двуспальную. Адалжиза сохранила и расширила круг клиенток доньи Эсперансы — та была чересчур разборчива и на кого попало не работала,— так что ее вклад в семейный бюджет был решающим. Другое дело, что тратили супруги мало: Пако Перес не соглашался, чтобы дочка и зять давали хотя бы сентаво на еду — чем бедней он становился, тем чаще взыгрывали в нем гонор и спесь. Итак, стол и квартира обходились молодым бесплатно.

Адалжиза дорого брала за работу — дороже, чем донья Эсперанса, и все-таки от заказчиц не было отбою. Объяснялось это тем, что она достигла высочайшего мастерства, и соперницы ей в подметки не годились. Заказы поступали даже из Рио, а хроникеры, описывая великосветские приемы и торжественные церемонии, как доказательство утонченности и безупречного вкуса присутствовавших дам, подчеркивали, что шляпки их и шляпы «сделаны руками искусницы-модистки Адалжизы Коррейа». В газете «Семь дней» Тереза де Майо объясняла невеждам, что «модистка» — это та, кто делает шляпы, а та, кто шьет платья, называется «couturière».

Жалкое жалованье Данило, житье на хлебах у тестя, бесплодие, признанное неизлечимым, барские замашки Адалжизы, не понимавшей, что от всего состояния Пако Переса остались какие-то крохи в виде лавчонки старьевщика,— все это вместе взятое позволило трудолюбивой и надменной супруге захватить власть в доме. Последнее слово всегда оставалось за ней. Данило, человек уживчивый, покладистый, мягкий, подчинился, не выказывая — по крайней мере внешне — протеста, позволил дражайшей своей половине командовать и распоряжаться.

Кое-какие скудные и незначительные знаки мужского достоинства ему удалось отстоять, последние рубежи обороны он еще держал: разрешалось ему раза два-три в неделю посидеть с приятелями в кафе, сходить на матч с участием любимой «Ипиранги», сыграть в триктрак или в шашки с профессором Батистой, выпить пива в суб-

ботний вечер, а в воскресенье утром пойти на пляж. Посещение борделей было, разумеется, тайным и в этот список завоеванных прав и свобод не входило: Данило забегал туда в конце рабочего дня с тем, чтобы ровно в семь, к обеду, быть дома.

Завела свои порядки Адалжиза и в том, что касалось дел постельных: нет-нет, не пугайтесь, я не стану еще раз живописать все ее скудоумные ограничения, все ее платонические умопомрачения — вы их помните и, без сомнения, единодушно осуждаете. Скажу лишь, что неисправимый оптимист Данило на исходе двадцатого года страданий и борьбы все еще сохранял порочные наклонности и бесстыдные устремления, все еще мечтал о чуде, и когда Адалжиза укладывалась в постель, норовил погладить ее по заду и пробормотать: «Погоди, ворюга, придет и твой час» — эту фразу он вычитал в сборничке сомнительных анекдотов, и она пришлась ему по вкусу. Тем все и кончалось: Адалжиза, не удостаивая мужа даже гневом, заворачивалась в простыню и засыпала. Истинно сказано: «Как волка ни корми...» Неистовый пламень страсти, приводивший к ссорам, скандалам, оскорблениям и даже матерной брани, стал слабеньким коптящим фитильком. Поползновения Данило не вызывали ни протеста, ни поощрения. Волка выдрессировали.

Денежные их дела, и прежде не блестящие, стали совсем плохи после смерти Пако Переса. Он скончался скоропостижно, чуть только успели отпраздновать первую годовщину свадьбы: это был скромный семейный праздник — пригласили Долорес с Эуфразио, выпили за ужином вина, а потом отправились в кино, на забавнейшую мексиканскую комедию. Пако Перес умер от инфаркта, когда осознал наконец, каков негодяй Хавьер Гарсия. Друзья давно уже намекали ему на нечистоплотность его компаньона и советовали внезапно обревизовать бухгалтерские книги и всю отчетность, но Пако отмахивался: он всецело доверял своему земляку, ибо тот всем на свете был обязан ему. Лавка была открыта на деньги Переса, пайщика-коммандитиста, а у Хавьера гроша ломаного не было за душой — ничего, кроме трудолюбия и алчности.

В один прекрасный день, придя в лавчонку за деньгами для игры, Пако услышал от Хавьера, что не имеет больше ни малейших прав на ежемесячную долю в прибылях и на процент с оборота. Хавьер ничего ему не должен. Напротив, он из должника сделался кредитором, а Пако, как явствует из ведомостей, накладных и финансовых поручений, задолжал фирме крупную сумму. Франсиско Ромеро потерял дар речи, побледнел, осекся на полуслове, глаза его остекленели, ноги подкосились, и он замертво рухнул наземь, прямо там, в лавке, где появлялся нечасто: ему, благородному коммерсанту, торговавшему пряностями, заморскими винами из Хереса и Малаги, сырами из Ла-Манчи, сардинами из Виго, омарами и лангустами, претило это грязное и пыльное заведение.

Хавьер Гарсия принял весьма скромное участие в подписке, устроенной друзьями покойного для сбора средств на похороны. Они, впрочем, прошли по первому разряду: вынос из кладбищенской часовни, отпевание, проповедь, роскошный гроб, бдение над телом, сопровождаемое прочувствованными воспоминаниями и пикантными историями о похождениях Пако. Забившись в уголок, молилась за упокой его души юная негритянка с заплаканными глазами — последняя победа Перес-и-Переса. Народу собралась тьма, испанский консул произнес надгробное слово. Словом, похоронили его как положено, и пышность эта отчасти утешила Адалжизу в ее потере.

Но денег, вырученных от продажи кое-каких ценных безделушек, принадлежавших покойному, едва хватило, чтобы расплатиться за квартиру. Семейный адвокат, доктор Карлос Фрага, человек дошлый и настырный, сумел договориться с Хавьером о ликвидации дела. Хавьер бился как лев, но в конце концов раскошелился. Доктор Кар-

лос защищал интересы наследников бесплатно: он свое получил еще во времена семи коров тучных, когда процветающий Пако платил ему баснословные гонорары. Адалжиза не стала транжирить деньги, вырванные из пасти экс-компаньона, а положила их в банк: она уже тогда мечтала о собственном доме.

Несколько месяцев они с Данило прожили в дешевой гостинице, а потом подыскали себе скромное обиталище — спальня, гостиная, душ, раковина, газовая плита. Там, на авениде Аве Мария, они жили уже больше двенадцати лет, и все бы ничего, если бы не соседи: бог знает, что за люди! Приятное исключение составлял только профессор Жоан Батиста. Ценой жестокой экономии сбережения Адалжизы росли, и она уже принялась изучать объявления в газетах.

Ни за что на свете не хотела она расстаться со званием члена-учредителя Испанского клуба, каковое звание после смерти Пако носил Данило, а потому продолжала делать солидный ежемесячный взнос. Адалжиза была и оставалась сеньорой, Адалжиза следовала примеру доньи Эсперансы, а та не уступала давлению обстоятельств, считая, что чем по одежде протягивать ножки, лучше уж вовсе ноги протянуть.

И вот, словно мало ей было мучительной мигрени, бесчисленных забот и хлопот, взвалила на себя Адалжиза тяжкую ношу, стала опекуншей племянницы, в которой ничего испанского и не было, которая готова была поступиться принципами добропорядочности да еще и влюбилась в таксиста. Какая ответственность, какая обуза! но Адалжиза с божьей помощью выполнит свое предназначение: выбьет из Манелы дурь, спасет ее душу.

МЯТЕЖНИК — Спасая заблудшую душу, исполняя долг, возложенный на опекунов господом богом и судьей по делам несовершеннолетних, Адалжизе предстояло действовать в одиночку, на свой страх и риск: от бывшей футбольной звезды помощи ждать не приходилось — не мычит не телится, отмалчивается, пока тетушка с племянницей ведут словесные распри, а когда они перерастают в настоящий скандал и Адалжиза от нестерпимой обиды прибегает к карательным мерам, ни словечка не говоря, схватит шляпу — и шасть в дверь. Если в этот день был матч, он шел к Кинкасу Сгинь Вода: в его кабачке собирались ярые болельщики и стоял телевизор.

Нельзя сказать, чтобы ссоры эти оставляли его вовсе уж безучастным — напротив, они его глубоко огорчали. Методов своей жены он не одобрял, и она это знала. Когда все еще только начиналось, когда наказания входили в обиход, он произносил протестующие речи, осуждал Адалжизу за несдержанность и вспыльчивость, за непомерную строгость кары. Немало горьких слов сказано было и по поводу плетки. В пылу спора о воспитании он обозвал Адалжизу мачехой, и притом самой мерзкой мачехой в мире.

Но случилось это только однажды, в первый и последний раз. Данило и представить себе не мог, что это определение так оскорбит жену, так уязвит ее, вызовет такую бурю праведного гнева и скорби. Данило потрясся, опомнился, забормотал извинения. Адалжиза заткнула уши. Оскорбленная до глубины души, она рыдала в голос, ночью с ней случился сердечный приступ. А прошел приступ, начались упреки и жалобы: «Вместо того, чтобы поддержать и помочь... ты несешь ответственность за племянницу наравне со мной... должен нести, ибо я надрываюсь одна, и вот, когда я пытаюсь пресечь ее сумасбродства, которые до добра не доведут, что получаю в награду?.. Мачеха? Это я-то мачеха?..» Адалжиза впивалась зубами в наволочку и призывала смерть.

Данило, опасаясь, что мирное и вольготное житье кончится, что гармония и уют — а они все же были! — исчезнут, предпочел умыть руки, предоставить все божьей воле. В точности как Понтийский Пи-

лат, заметил по этому поводу падре Антонио Эрнандес, ибо муж и духовник друг друга недолюбливали. Встречаясь с этим инквизитором, Данило испытывал безотчетное желание дать ему в морду.

Боялся ли Данило свою жену или поступал так из благоразумия, продиктованного любовью, но Адалжиза до того привыкла к его послушанию и покорности, что уделила главное внимание неприличному звуку за столом, а не дикой в его устах угрозе: «Не хочешь идти, я один пойду!» Остолбенев от изумления, Адалжиза безмолвно следила за тем, как Данило завязывает галстук, надевает пиджак, нахлобучивает шляпу и бормочет:

— Это уж слишком, Дада... Я без Манелы не вернусь.

Он замер в дверях, гримаса боли — физической и нравственной — исказила его лицо, он отставил ногу, и громовая очередь прогремела в комнате, заглушая властный крик Адалжизы:

— Данило, вернись! Вернись сию же минуту!

СЕМЬЯ, КОТОРАЯ СОБИРАЕТСЯ ЗА УЖИНОМ, НЕРУШИМА — В своем ли имении находился Жоаозиньо Коста или в городе, он требовал неукоснительного соблюдения введенных им самим правил и обычаев. Семейный ужин по четвергам был одним из таких обычаев: семья усаживалась за огромный стол черного дерева. Мужчинам — виски, Олимпии — джин с тоником; португальские вина, яства, приготовленные чернокожей кухаркой Претиньей, вывезенной из глухой глубинки. Иногда проездом в столицу появлялся какой-нибудь родственник, но, как правило, собирались только свои: хозяева дома, зять, две дочери, наследницы одного из самых крупных состояний в Баии. Одиннадцать лет разделяли Олимпию и Марлен, а в промежутке дона Элиодора родила сына, который прожил недолго: умер от дизентерии, когда ему еще и года не исполнилось. Для Жоаозиньо это было огромной потерей. Он продолжал мечтать о наследнике рода, и дона Элиодора забеременела вновь, но произвела на свет семимесячную девочку.

«Мой девиз таков,— говаривал владелец бескрайних земель и хранитель нерушимых традиций,— семья — это фундамент общества». Он требовал, чтобы Олимпия и Астерио в этот священный час непременно сидели за столом, даже если ради этого им придется отказаться от важных и многообещающих встреч и визитов. Он всерьез сердился, если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство мешало им. «Сначала семья,— восклицал он,— губернатор потом!» — «Это был не губернатор, папочка, а генерал».

Вот и в этот четверг, наполненный столь разнообразными событиями, семья сидела на веранде, выходившей в сад с бассейном, и поджидала Астерио — он безбожно опаздывал. Марлен, младшая, непокорная дочь в маечке и мини-юбочке, то и дело с возмущением поглядывала на часы — «что за хамство такое, в конце-то концов!» В половине девятого она должна быть у подъезда театра «Кастро Алвес», где французские телевизионщики будут записывать Каэтано Велозо, Жилберто Жила, Марию Бетанию и новую звезду — Гал Коста. Пригласил Марлен на съемку Жорж Мустаки, с которым она познакомилась накануне и больше не расставалась. Время встречи неуклонно приближалось. Марлен и не думала скрывать свою досаду на Астерио: «Он что, думает, нам больше делать нечего? Кем он нас считает?» Допустить, чтобы Мустаки томился у театрального подъезда, отдать его по доброй воле осатаневшему бабью? — нет, спасибо! — этого не будет.

Глава семейства тоже не находил себе места: садился, вскакивал, ходил взад-вперед, поглядывал на двери, прислушивался, не раздастся ли рокот мотора. Астерио отбыл на «фольксвагене», а «мерседес» с шофером отдан был в распоряжение Олимпии. Впрочем, она приехала на такси, поскольку путь ее лежал из уютной квартирки, пре-

доставленной сенатору одним из министров штата, его протеже,— сенатор пользовался славой бабника и гуляки.

Дона Элиодора — вся в брильянтах: одно только колье стоит многоголового стада быков, грудь примадонны, бедра в стиле бельэпок укрощены пресловутым резиновым поясом — потягивала фруктовый коктейль, слушая столичные новости и дивясь, как это Олимпия упомнит столько всякой всячины и ничего не перепутает. Вот, например, неприятности у лейтенанта Элмо — того красавчика, который был здесь со своим генералом, помнишь? «Помню. Так что с ним стряслось?» — «Он развлекался с генеральшей, и вот, в самый неподходящий момент, появляется откуда ни возьмись муж, и наш лейтенантик загремел на колумбийскую границу, а там одни индианки, у них губы как блюдца...» На кухне в ожидании распоряжений сидел Зе Ландыш, повествовал Претинье о том, как стосковался он по жене: лучше ее никто не лечит заговором от кашля и прочих хвороб.

Но вот наконец в дверях появился Астерио с коричневым конвертом в руке.

— Простите, задержали меня в конторе...— извинялся он, поочередно целуя тещу, свояченицу, жену.— Наш сенатор пожелал непременно сам доставить мне известие о том, что министр одобрил наше предложение, контракт на прокладку шоссе уже готов. Надо будет это дело спрыснуть.

При этих его словах Олимпия застенчиво улыбнулась, скромно потупилась: она внесла в это дело свой вклад, жертва ее была не напрасна, не зря мучилась она сегодня на сенаторском ложе, принимая диетические ласки. Покидая ее, сенатор объявил, что прямо отсюда направляется к «нашему милому Астерио». «Зачем?» — удивилась Олимпия. «Хочу взглянуть, идут ли ему рога». В объятиях его превосходительства Олимпия устремлялась мыслями к Силвии и семинаристу: счастливцы, для них эти часы освещены пламенем страсти, согреты жаром наслаждения, разнообразного и прихотливого, а она тут выбивается из сил, пытаясь вдохнуть жизнь в сенаторского покойника. Но теперь, услышав, что старания ее не пропали даром, что благосклонность сенатора принесет Астерио крупный куш, она благословила эту пытку и улыбнулась мужу. Тот окинул ее взглядом выпученных жабьих глаз, убедившись лишний раз в красоте и преданности своей супруги — безупречной и несравненной. Олимпия унаследовала от отца понимание того, что семья — священна.

ФОТОГРАФИЯ, СНЯТАЯ В МОТЕЛЕ, ИЛИ ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА В ИЗОБРАЖЕНИИ СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЫ — Астерио помахал конвертом перед носом изнемогающего тестя:

— Я даже не успел его вскрыть.

Жоаозиньо, захлопав в ладоши, властно сказал жене и дочкам:

— Идите, идите к столу, мы сейчас...

Женщины направились в столовую, а тесть и зять подошли к лампе, чтобы получше разглядеть падре Абелардо Галвана и Патрисию во всей красе. Астерио вскрыл конверт, на котором не было ни адреса получателя, ни фамилии отправителя, вытащил оттуда негатив и цветную фотографию 18×24. Помещик уже предвкушал, как вытянется лицо у кардинала- примаса, какую рожу скорчит высокопреосвященный лицемер. Его послушать, так милее Жоаозиньо на свете нет: «Как поживаете, друг мой? Как ваша фазенда? Благодарю за тот бочонок пальмового масла — жидкое золото!» — а за спиной покрывает падре-крамольников.

Да, на фотографии были запечатлены мужчина и женщина в чем мать родила, но это был не тот мужчина и не та женщина.

— Что за черт! Это же не Галван!

Астерио схватил снимок, вгляделся и вскипел:

— Идиоты! Олухи! Сукины дети!

Да, это были не падре Абелардо, не распутная актриска. На четко отпечатанной фотографии Астерио узнал не только жену судьи по делам несовершеннолетних, но и семинариста, с которым Олимпия, кажется, крутила романчик. Так, значит, он ей дал отставку? Астерио был вне себя от негодования, но вовсе не потому, что этот щенок изменил его жене,— он в эти дела не совался. Разумеется, он знал, что его любвеобильная Олимпия развлекается на стороне, но никогда не вмешивался, разве что в тех случаях, если очередное увлечение было не ко времени или могло помешать его делам и планам.

Негодовал и возмущался Астерио оттого, что накануне ему позвонили из столицы и сообщили, что агенты высочайшей квалификации и абсолютной надежности уже отобраны и посланы в Баию. Возглавляет операцию агент Семь-Семь-Ноль, а значит, успех гарантирован. Ошибка исключена, провал невозможен. Семь-Семь-Ноль — ас из асов.

— И эти-то недоумки хотят справиться с коммунистами?! Только и умеют, что кости ломать! Идиоты! Засранцы!

Услышав гневный голос мужа, вернулась на веранду Олимпия. Астерио попытался было спрятать фото, но она быстрым движением перехватила конверт: интересно же, из-за чего так распетушился тот, кто похвалялся своим самообладанием?

Она глядела и глазам своим не верила. С уст ее чуть было не сорвалось: «Боже мой, что же это такое?» — но она вовремя прикусила язык, а для верности зажала себе рот. Зажмурилась, снова открыла глаза, взмахнув накрашенными ресницами. На еще влажном снимке — Силвия Эсмералда и юный Элой в костюмах Адама и Евы, а сутана, платье, рубашка, трусики валяются у круглой кровати — в мотелях всегда такие. Они стоят бок о бок: Силвия, перепуганная до последней степени, таращится в объектив, лицо Элоя застыло в плаксивой гримасе, хвастаться ему решительно нечем. Даже тайные прелести Силвии, вдохновившие когда-то дебютанта Жоку на сонет в ее честь, не спасают положения — зрелище, прямо скажем, весьма неприглядное.

Олимпия была растерянна, сбита с толку, не знала, что и думать. Она снова зажмурилась — и вдруг поняла! Еле удержалась от вскрика. Только теперь осознала она, какой опасности подвергалась и от какой беды спасло ее свидание с сенатором. Все стало ясно как божий день: это она, а не Силвия должна была стоять нагишом под объективами секретной службы. А в том, что это дело рук секретной службы, сомневаться не приходилось: точно такая же история случилась перед выборами с женой одного парламентария. Теперь, значит, пришел ее черед. От ее имени послали записку Элою, назначив время и место свидания, он попался на эту удочку, попалась бы и она, Олимпия, если бы не условленная встреча с сенатором. Бедная Силвия, вот уж в чужом пиру похмелье, она, должно быть, в отчаянии. Все ясно: они хотят скомпрометировать Астерио! Но почему же политическая полиция вдруг обозлилась на него? Наверно, случилось нечто такое, о чем она даже не подозревает. Астерио обычно все ей рассказывает, держит в полном курсе всех своих дел, отчего же на сей раз он промолчал?

— Астерио, объясни, что это значит?

Но ответил ей отец, причем голос его звучал совершенно ненатурально:

— Да ничего особенного, Лимпинья... Это шутка, мы решили подшутить...— Он хотел засмеяться, но у него ничего не вышло.

Олимпия не сводила глаз с мужа, а он, видя, что она в панике, потихоньку от тестя сделал ей знак — успокойся, мол. Жоаозиньо Коста, оправившись от первоначальной оторопи, заметил с насмешливым раздражением:

— Кто бы мог подумать, что Прадо д'Авила позволит украшать себя рогами! Никому нельзя доверять! Идите к столу, я догоню вас.

Он двинулся на кухню, и супруги остались с глазу на глаз. Олимпия спрятала конверт с негативом и фотографией в большую белую сумку «Кристиан Диор». Странно, зачем же они отдали негатив? Наверно, уже разослали фотографии всем, кто так или иначе имеет дело с политикой и бизнесом. Сокровенные красы Силвии выставлены на всеобщее обозрение и посмеяние. Олимпия подошла к мужу вплотную:

— Тебе что-нибудь известно об этом?

— Все мне известно. Дома расскажу. Ничего особенного.

— Не лги, Астерио. Ведь это против тебя направлено, да? Но за что они на тебя взъелись? — Она говорила шепотом, хотя комната была пуста.

— Нет-нет, поверь мне, это всего лишь недоразумение. Дома все узнаешь.— Он протянул ей руку, и они пошли в столовую: пикирующий бомбардировщик рядом с гигантской жабой.

Марлен, ерзавшая на стуле от нетерпения, поковыряла дивного лангуста, отказалась от креветок, от филе, от прочих яств — «мне не хочется есть, мамочка». Она ждала только прихода отца, чтобы попросить разрешения встать из-за стола и нестись со всех ног в объятия обворожительного метека [1].

Ах, Жорж Мустаки — эти седые волосы, нимбом стоящие вокруг головы, эта всемирная известность, эта слава... И стоит ждет у дверей театра. Папочка, куда же ты запропастился?

А папочка размеренными шагами шел на кухню. Хорошо, что он не отправил Зе Ландыша домой, в Пернамбуко, как советовал зять. Он покачал головой: «Ох, уж этот Астерио, вечно у него какие-то безумные идеи... Самомнение из него так и прыщет, похваляется, будто может все на свете, фанфарон. За погляд можно деньги брать, а на самом деле дурень, слюнтяй... Рогоносец! И судья по делам несовершеннолетних, доктор Прадо д'Авила — тоже! Вот бы никогда не подумал!»

АРГУС НА СТРАЖЕ — Завернувшись в непромокаемый плащ, ставший уже притчей во языцех, надев темные очки, приняв книзу поля шляпы и, следовательно, обеспечив свое инкогнито, комиссар Риполето приступил к выполнению деликатного и опасного задания, порученного ему начальником службы безопасности. Комиссар на себе испытал, что такое несдержанность, обман и насилие, однако это не помешало ему сделать точный, объективный вывод: жители Санто-Амаро взялись за оружие и не собираются его складывать.

Поведение комиссара Риполето тем более заслуживает всяческого поощрения, что он столкнулся с немыслимыми трудностями, с открытой недоброжелательностью, с разнообразными препятствиями, но не отступил, а одолел их. Он расспрашивал Жозе Велозо, дону Кано и других граждан вставшего на дыбы городка, но выслушивал самые смехотворные ответы. За спиной у него смеялись и издевательски спрашивали: «Это кто — Шерлок Холмс или телохранитель Тенорио Кавальканти?» — он покорно сносил дерзости, которыми осыпала его первая дама Санто-Амаро, могутная, краснолицая, пышногрудая Марина, кума и экономка викария. Она, пользовавшаяся безмерным уважением своих земляков, была до того уязвлена нескромностью тайного агента, что едва не нанесла ему оскорбления действием: «Ничего я вам рассказывать не стану, оставьте меня в покое, мамашу свою спрашивайте, от кого она вас заполучила». Цедили ему сквозь зубы и угрозы: «Убирайся шпионить к себе в Баию».

Мятеж выплеснулся на улицы, население было настроено очень воинственно. На углах и перекрестках люди собирались толпами,

[1] Метек *(греч.)* — иноземец.

шли к Церковной площади, кричали «ура!» викарию, Жозе и доне Кано. По земле и по воде — в машинах, на грузовиках, на телегах, запряженных быками, на мотоциклах и велосипедах, верхом на лошадях, мулах и ослах, на яликах, лодках и катерах — мчались гонцы в другие города Реконкаво, неся весть о том, что объявляется освободительный и карательный крестовый поход, собирая под знамена Святой Варвары Громоносицы корабли и адмиралов, солдат и матросов. По всей реке Парагуасу гремели трубы Страшного суда, по берегам в пыли и воодушевлении неслись люди, крича: «Святая принадлежит нам!»

Утром, всегда в один и тот же час, почтовый катер доставлял подписчикам «Диарио де Нотисиас» и «Тарде». В тот четверг, о котором идет у нас речь, газеты, став всеобщим достоянием, переходили из рук в руки и читались вслух. Все, кто знал грамоту, ознакомились с репортажами Гидо Герры и Жозе Берберта де Кастро: первый сообщал об исчезновении святой, второй — о том, что своими глазами видел Громоносицу на причале.

Какие противоречивые сведения! Чему верить? Что за вопрос! — «Тарде» не допускала «уток», не распускала слухов, честным крестом можно было поклясться, что все сообщаемое ею — правда. Ну, а сенсационные новости щелкопера Гидо Герры — брехня от начала до конца, причем брехня, выдуманная по просьбе какой-нибудь шишки, заинтересованной в том, чтобы вызвать смятение по поводу святой,— разве не спелись директор Музея Священного Искусства и доктор Одорико Таварес, директор баиянского газетного концерна? Яснее ясного, чего они добиваются: сообщат, что статую украли, а когда схлынет шумиха, Святая Варвара скромненько появится в Музее. Это случай не первый и не последний. Как зовут вора? Называя имена, легко ошибиться, но в данном случае сомнений нет: упоминая о злоумышленнике, падре всякий раз именовал его дон Мимозо [1].

Была и еще одна версия — выдвинутая, конечно, злопыхателями из оппозиции: они утверждали, что кража совершена по приказу губернатора, собиравшегося преподнести уникальное изображение святой одному генералу, который должен был вот-вот сделаться президентом Бразилии. Такие случаи уже бывали — и неоднократно. Очень кстати всплыло тут имя некоего полковника, питавшего слабость к древностям и раритетам. Когда он командовал своей частью, расквартированной в Масейо, то с помощью местных политиканов опустошил все ризницы штата Алагоас. Спустя какое-то время он получил генеральский чин и был отправлен в отставку. Сменил мундир на пижаму, утерял толику тщеславия, подался в либералы. Алагоанская добыча пошла на приобретение квартиры в фешенебельном квартале Рио — Сан-Конраде. Вспоминая времена былого могущества, налеты на монастыри и храмы в Пенедо и Сан-Мигел-дос-Кампос, генерал объяснял, что эта роскошная квартира досталась ему с божьей помощью и при содействии святых.

Комиссар Риполето чуял, что в воздухе пахнет порохом, угадывал признаки смуты, подозрительное оживление и шевеление, но, вплоть до самого ужина бродя по домам и расспрашивая жителей, не сумел определить характер и движущие силы заговора, без сомнения имеющего место. Ужинал в грязной забегаловке, ужин был скудный и невкусный. Официант был мало того что слабоумный, но еще и неуклюж как слон: ни на один из многочисленных вопросов агента ответить толком не сумел, а потом вывернул на посетителя полный соусник, выпачкав жиром и еще какой-то дрянью пиджак и почти свежую сорочку. Нет ли тут злого умысла?

---

[1] Mimoso — баловень, неженка *(португ.)*.

НАРОД ВЗЯЛСЯ ЗА ОРУЖИЕ — Граждане Санто-Амаро-де-Пурификасан без различия пола и возраста, а также окрестные крестьяне в изрядном числе и с мачете в руках заполнили освещенную факелами Церковную площадь. «Отдайте нашу Святую!» — кричали они.

Комиссар Риполето, затесавшийся в толпу и в целях сохранения инкогнито кричавший громче всех, в конце концов возглавил целый хор самых рьяных прихожан, перекрывая своим трубным гласом истерический скулеж: «Святая — наша!» Комиссар, наделенный острым умом и бульдожьей хваткой — качества, которых не прощали ему завистливые сослуживцы,— понял, что принимает деятельное участие в митинге, который предшествует манифестации, а может быть, кое в чем и похуже, то есть совершает деяние противоправное и уголовно наказуемое.

Сообразив все это, комиссар Риполето затрепетал, но успокоил себя тем, что орет на митинге по долгу службы. Он применил военную хитрость, замаскировался под уличного смутьяна — и выдумка эта делает честь его сообразительности. Ликование охватило его при мысли о том, какой блистательный доклад представит он доктору Калишто Пассосу, а тот похвалит Риполето за образцово выполненное задание и повысит в должности и звании. Да, он хитер, изворотлив, осторожен, настойчив, решителен, умеет применяться к местности и использовать благоприятные обстоятельства, он дерзок и смел, он достойно представляет свою контору.

Тут из церкви в окружении сморщенных святош и возбужденных журналистов вышел на паперть викарий Санто-Амаро Теофило Лопес де Сантана, падре Тео, как обращались к нему прихожане, Тетео, как умильно называла его Марина, когда он, окончив дневные труды и позабыв обо всех неприятностях, снимал с себя сутану и надевал ночную рубаху, вышитую по вороту розовыми цветочками.

Оттуда, с паперти, ставшей и сценой и трибуной, викарий обратился к народу. В сильных, порой даже излишне крепких выражениях, подробно и негодующе изложил он эту гнусную историю. Рассказал, как по-хорошему просили его отдать статую, да нарвались на отказ, как принялись настаивать и упорствовать, как все усиливался нажим, как пришел наконец недвусмысленный приказ, как произошла погрузка, как по прибытии в Баию статуя исчезла. Исчез и тот, кто несет ответственность за все, кто измыслил этот достойный Макиавелли план, кто подослал воров. Целый божий день, а верней со вчерашнего вечера, пытался дозвониться викарий директору Музея, но так и не довелось ему услышать его медоточивый голос: дон Мимозо скрылся.

Куда же девался всеми почитаемый дон Максимилиан, цвет учтивости, деликатный, говорят, как барышня? Исчез бесследно, утащив с собой нашу небесную заступницу, Святую Варвару Громоносицу. По окончании речи, выдержанной в лучших традициях Антонио Виейры [1], громившего с амвона вороватых португальских дворян, паства восторженно приветствовала своего духовного вождя. «Да здравствует падре Тео, наш защитник! Да здравствует Святая Варвара! Долой ворующих во храме! Долой дона Мимозо!» Комиссар Риполето спрашивал себя, что это еще за дон Мимозо, но пока ответа не находилось, присоединял свой голос к возмущенному хору. В воздух взлетели ракеты, сильнее запахло порохом. Еще больший восторг вызвала речь доны Кано — маленькой, хрупкой, сухонькой, точно нефритовая статуэтка. Дочь Иансан превратилась в ярого агитатора, в предводителя мятежников, воительницу. «Отобьем нашу святую, она принадлежит народу Санто-Амаро, она — его законное достоя-

[1] Антонио Виейра (1608 — 1697) — политический деятель, философ и проповедник, знаменитый своим ораторским искусством.

ние!» — сказала она мелодично и непреклонно, и народ унес ее с площади на руках. Разумеется, снова взвились ракеты.

«Вот она, подрывная деятельность»,— смекнул Риполето, ибо чутье у него обострилось как никогда. Он обвел взглядом толпу, чтобы точно подсчитать число коммунистов, собравшихся на площади: дело было нелегкое, ибо с устным счетом у комиссара было неладно. В эту минуту паперть опустела, ушли закоперщики — викарий Жозе Велозо, ювелир Араужо, Освалдо Са из Марагожипе, ризничий Милтиньо, а за ними следом и журналисты: репортеры и фотографы из всех баиянских газет и Жервазио Батиста из столичной «Маншете», совсем недавно побывавший во Вьетнаме.

Они ушли, чтобы продолжить тайное совещание или начать обильный ужин: журналисты — мастера пожрать, без угощения не обойдется. Комиссар Риполето решил отыскать эту подпольную квартиру, пока не подошли к концу переговоры и манисоба [1], которой так славится Реконкаво и которую так любил светило сыска.

А как найдешь? Надо спрашивать, другого выхода нет. Комиссар стал задавать вопрос о местонахождении конспиративной квартиры людям, расходившимся с площади. Вопросы, заданные строго и властно, но отнюдь не грубо, почти без брани, повлекли за собой тем не менее очень неприятные последствия. Кучка дерзких парней окружила комиссара, отняла у него револьвер, обругала последними словами и силой поволокла на пристань. Прежде всего его выкупали в водах реки Парагуасу, что можно счесть и благодеянием, ибо жара стояла немыслимая. После этого посадили его в челнок без руля и весел, а челнок, оттолкнув, пустили по течению — этакие забавники.

Новоявленный мореход плавал недолго. Довольно скоро на крутом повороте, где русло расширяется, челнок наскочил на обширные заросли кувшинок — вот где раздолье моллюскам! — и застрял в непосредственной близости от берега. Ну, вы, наверно, считаете, что комиссар бросился в воду, в несколько энергичных гребков достиг суши? Или нет? Скажу вам по секрету, открою величайшую тайну, только смотрите, строго между нами: гордость баиянской службы безопасности плавать не умел. Пусть этот печальный факт его биографии пребудет во мраке неизвестности, пусть никогда не пронюхают о нем бездельники из управления и не испортят Риполето карьеру.

Мокрая одежда облепила тело, свирепо звенели целые полчища москитов — никогда прежде не видел он столько,— шляпа, которая могла бы помочь комиссару, уплывала вниз по реке, дул ветер, мелькали странные тени, слышались подозрительные шорохи, а наш герой, отправленный с особым заданием в Санто-Амаро-де-Пурификасан благодаря редкому чутью и прочим выдающимся дарованиям, в полнейшей беспомощности и в страхе сидел во тьме, чихая и дрожа всем телом, несмотря на зной. Он честно заслужил похвалу, он достоин продвижения по службе. В том случае, конечно, если избежит воспаления легких или иных напастей — перемежающейся лихорадки, малярии или ревматизма.

ОШАРАШЕННЫЕ — Покинув — вы помните, в сопровождении каких звуков,— авениду Аве Мария и оказавшись на вечерней оживленной улице, Данило вдруг понял: он не знает, что делать дальше. Легко было с видом настоящего мужчины бросить в дверях: «Я без Манелы не вернусь», но как поступить теперь?

Он собрался было идти к судье по делам несовершеннолетних, но, взглянув на часы, отказался от этой идеи. Да и что ему делать у судьи, одному, без жены? Ну, скажет он, что не согласен отдать племянницу в исправительное заведение, так ведь она Адалжизина племянница, к кому из опекунов прислушается судья? Конечно, не к

[1] Блюдо из маниоки, рыбы и мяса.

нему, а к кровной родственнице, особе строгих правил и незыблемых моральных устоев, спятившей на светских приличиях. Так или иначе только завтра сможет он вырвать у судьи новое распоряжение, отменяющее прежнее, а ведь Данило решил вызволить Манелу сегодня же ночью, о чем и объявил в категорической форме жене.

Да, дело-то оказывалось труднее, чем показалось ему, когда он услышал от Адалжизы о ее чудовищном решении. Вспылил, возмутился, брякнул не подумавши, высказался напрямик — вот и стой теперь под фонарем как последний дурак. И тут Данило вспомнил про Жилдету, воспитывавшую сиротку Мариэту,— она-то ведь тоже тетка и ничем не уступит Адалжизе — и решил немедля разыскать ее, чтобы сообразить, что дальше делать: Жилдета — женщина умная и решительная. Адалжиза, конечно, устроит ему скандал, разорется, что он посмел увидеться с «этой заразой» — она называла Жилдету только так,— однако Данило решил наплевать на грядущие неприятности и сел в автобус.

Там, в Тороро, у Жилдеты дома, Данило встретил того, кто и заварил всю кашу — Миро. Данило уже вдосталь наслушался от соседки Дамианы похвал этому парню, причем главной его добродетелью считалась постоянная, заразительная веселость — улыбка была нечто вроде его «торговой марки».

— Золотой парень, уж вы мне поверьте, сеу Данило! Будь у меня дочка, я бы с закрытыми глазами ее за него отдала.

Но сейчас Миро вовсе не излучал веселье — был хмур и озабочен. Когда сегодня около семи он приехал к условленному месту, в кармане у него уже лежала повестка от судьи по делам несовершеннолетних с предложением явиться на следующий день к пятнадцати часам — причина вызова не указывалась. Миро в недоумении сунул ее в карман.

Договорились они с Манелой так: он ждет ее полчаса, если она не выходит, значит, тетушка Адалжиза раскрыла заговор или по крайней мере заподозрила недоброе и посадила племянницу под домашний арест, что случалось довольно часто. Но в этот четверг Миро, прождав условленные полчаса, не уехал, не смирился с неудачей: он рассчитывал увезти Манелу сегодня же, нельзя было упускать такой благоприятный случай, следующий может представиться не скоро. Он крутился на углу авениды Аве Мария, надеясь, что Манеле все же удастся ускользнуть.

Профессор Жоан Батиста сказал ему, что видел Манелу около полудня — она возвращалась из коллежа, летела как на крыльях, рассказала ему — по секрету, разумеется,— что задумала побег и что все должно получиться. Дамиана сообщила Миро, что Манела не сидит под замком в своей комнате, она в этом убедилась лично: перед ужином принесла соседям любимые Манелой пирожки из маниоки. Двери были настежь, комната пуста. «Племянница пошла к подруге заниматься»,— сообщила Адалжиза. Дамиана усомнилась в ее словах по двум причинам: во-первых, она своими глазами видела, как тетушка с племянницей вышли из дому часа в четыре, Манела еще помахала ей на прощанье. А через час Адалжиза вернулась, но одна: Дамиана как раз была в дверях. С тех пор о Манеле нет ни слуху ни духу. А во-вторых, странной ей показалась рвущаяся наружу радость, с которой Адалжиза не могла совладать. Была она какая-то взбудораженная и чем-то страшно довольная, на себя непохожая.

Прочие соседи ничего не видели и не слышали. Миро, начинавший тревожиться, пошел к Ризии, к той самой подруге, с которой Манела, по словам Адалжизы, должна была заниматься, и обнаружил ее вместе с ее мальчиком перед телевизором. Манела? Ну да, с утра они были в коллеже, но вовсе не собирались вместе учить уроки: это выдумала Манела, чтобы Адалжиза выпустила ее из дому. Она сказала, что у них с Миро вечером свидание, и была очень взвол-

нована. Миро, недоумевая и тревожась все больше, направился к Жилдете.

ЧТО ДЕЛАТЬ? — Дверь Данило открыл студент-медик Алваро, и он услышал громкий голос. Миро, горячась и размахивая руками, повествовал о том, что ему пришлось подвести французов — он даже извиниться перед ними не успел.

— Дамиана видела, как обе часа в четыре вышли из дому, а потом, когда она отправляла с товаром своих мальчишек-лоточников, Адалжиза вернулась одна. Никто понятия не имеет, где может быть Манела. Вот и все, что мне удалось узнать.

— Добрый вечер...— сказал Данило входя.

Девочки, Виолета и Мариэта, подошли под его благословение, Миро кивнул: он был только шапочно знаком с дядей своей возлюбленной. Жилдета поднялась ему навстречу:

— Что же это происходит, Данило? Миро совсем голову потерял: они с Манелой должны были сегодня встретиться, дома ее нет, вышла вместе с Адалжизой и пропала... Теперь ты — здесь и в такое время... Это что-то новое. Тебе-то что-нибудь известно?

— Мне-то все известно,— ответил Данило печально и виновато.— Дада поместила Манелу в монастырь Непорочного Зачатия.

— Что это еще за монастырь? Первый раз слышу...— начала было Жилдета и тотчас сама себя перебила: — Как? Ты хочешь сказать — в обитель Лапа? Не может быть!

— Да-да, в монастырь Лапа, в обитель раскаявшихся грешниц.

— Ну, это уж слишком! Этого я терпеть не намерена!

— Что? — встрепенулся и Миро.— К «кающимся»?

— Сам виноват,— ответил Данило.— Я считаю, Дада плохо поступила, потому я сюда и пришел. Но виноват во всем ты. Дада перехватила твою записку, разъярилась, понеслась к судье, все ему выложила, а он отдал распоряжение...

— Какая записка? О чем вы? Брехня! Где доказательства?

— Я сам видел этот клочок бумаги — ты назначил время побега, не увиливай. Ясней быть не может: «Сегодня, любовь моя, ты познаешь высшее счастье...» Дураку понятно, что ты имел в виду.

— Ах, записка! — Миро чуть сбавил тон.— Ну да, я послал ей записку, назначил ей свидание на семь часов. Это так. Я хотел отвести ее в театр «Кастро Алвес», там сегодня французы снимают наших певцов. Послушать вживе Каэтано и Жила — разве это не высшее счастье? Меня подрядили возить французских телевизионщиков,— пояснил он, постепенно успокаиваясь,— хорошие ребята, простые такие, не то что некоторые... Я попросил дону Нилду, она и разрешила мне взять с собой Манелу. Про побег никто и не думал.— Глаза его, устремленные на Данило, вспыхнули.— Я женюсь на Манеле, будет ли на это ваше с доной Адалжизой позволение или нет, но о побеге и речи не было. Пока не было!— добавил он, снова распаляясь, и воздел палец.— Так как же это понимать: вы заперли ее к «кающимся», как все равно шлюху какую! Это бессовестно! Теперь скажите, что думаете предпринять, чтобы вызволить ее оттуда?

Данило, сохраняя спокойствие и не обижаясь на Миро, молчал: он понимал его гнев и обиду.

— Я за тем и пришел к тебе,— повернулся он к Жилдете.— Нам надо сообща обсудить, как вытащить Манелу из монастыря. Мы с Дада поругались: я хотел, чтоб девочка вернулась домой, только и всего. Но сейчас не знаю, что делать. К судье попаду только завтра и боюсь, он станет на сторону Адалжизы. Самое смешное, ей кажется, будто она действует для ее же блага.

— Как ты можешь!..— не сдержалась Жилдета.

— Ей же хоть кол на голове теши... Оставим это. У тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Ссориться сейчас не время:

Манела сидит за решеткой, страдает, бедняжка... Я и думать об этом не могу.

— Правильно. Ты всегда был добр к ней,— Жилдета качала головой, чувствуя себя беспомощной и ни на что не годной.— Так, вдруг, ничего придумать не могу. Но выход должен быть. Надо всем вместе раскинуть мозгами, тогда и отыщем решение. Мы обязаны его отыскать!

Виолета и Мариэта, сидя в обнимку, тихо и безутешно всхлипывали. Алваро предложил посоветоваться с адвокатом:

— Давайте позовем доктора Орландо Гомеса, он на семейном праве собаку съел. Ведь он же один из авторов кодекса. Все газеты об этом писали. Дружил с Пако и маму очень уважает. Позвони ему!

Миро нахлобучил берет:

— Не обижайтесь, сеу Данило, погорячился. Спасибо вам. И вам тоже, тетушка. Но я не могу тут прохлаждаться, пока она там мается. Сегодня же вытащу ее от «кающихся». Сегодня же!

Он вышел. Алваро двинулся следом:

— Пойду с ним, а то как бы он дров не наломал.

ТВЕРДЫНЯ ГОСПОДА — Неисчислимое воинство полицейских и журналистов рыскало по улицам Баии, взбегало по спускам, шныряло по тупикам. Искали двух духовных лиц — монаха и священника.

В редакции газет продолжали настойчиво звонить неизвестные, аттестуя падре как главаря шайки, захватывавшей чужие земли, грабившей церкви, и отъявленного бабника. Компетентные органы располагают достаточным количеством материалов, уличающих падре Абелардо Галвана в том, что он сколотил из местных крестьян вооруженную банду и совершает налеты на имения. Доказательства его причастности к недавнему похищению статуи Святой Варвары собираются. Он изобличен также как мафиозо, специализировавшийся на ограблении церквей,— мафия эта охватила весь Северо-Восток. Звонившие, хоть ни разу не назвались, были превосходно осведомлены и относительно личной жизни падре Галвана, высвечивая новые грани этой незаурядной личности. Развратник, растлитель невинных девушек, хорошо известный владельцам мотелей, где можно снять комнату на несколько часов. В последнее время он, к возмущению своей паствы, делит стол, кров и ложе с некой бесстыдной комедианткой — о ней неизвестный информатор обещал вскоре представить более полные и ошеломительные сведения. Сотрудники «Тарде» Ренато Симоэнс и Жорже Калмон заинтересовались: кто же все-таки звонит? «Проще простого узнать,— отвечал им главный редактор,— достаточно присмотреться повнимательней к латифундистам Пиасавы, а там только один такой». Ренато Симоэнс согласился: «Если не он, то уж наверняка его зять».

В восьмичасовом выпуске новостей был показан сюжет, посвященный обеду на рынке,— круговая самба, рукоплещущий искусству баиянок Жак Шансель, панорама гостей. Наметанный глаз полковника Рауля Антонио выхватил из сидевших за столом разыскиваемого злоумышленника: сосед слева — Фернандо Сантана, лишенный депутатского мандата, сосед справа — тайный коммунист Диас Гомес. Полиции он очень хорошо известен, и обед под телеобъективами в компании крамольников — поступок вполне в его стиле. Ощерившись, бормоча угрозы по адресу бездарных олухов, которыми черт его дернул начальствовать, полковник собрал своих подчиненных и потребовал: «Чтоб сегодня же нашли падре!» Установить местонахождение, глаз с него не спускать, следить за каждым шагом, понадобится — в сортир за ним ходить! Падре ушел от «наружки» перед обедом, непостижимым образом обманув агентов — и службы безопасности, и федеральной полиции. Комиссар Паррейринья в оправ-

дание нес какую-то ахинею о солнечном затмении. Не оправдание, а дерьмо собачье!

Журналисты встрепенулись только в одиннадцать часов: до этого времени они разыскивали дона Максимилиана фон Грудена, который тоже как в воду канул. Репортеры и фотографы, от которых он ускользнул во дворце архиепископа, ничего про него не знали. Не подлежало сомнению одно: в монастырь Святой Терезы, где помещался Музей, директор его не вернулся. Ходили и множились самые невероятные слухи; кто-то видел дона Максимилиана в аэропорту, где он садился в самолет, отлетавший в Рио; кто-то клялся, что он арестован и сидит в одиночке.

Журналисты, караулившие его в Музее, смотрели, позевывая, как идет монтаж экспозиции. К Льву Смарчевскому и Гилберту Шавесу присоединился их коллега Силвио Робато, помнивший уйму анекдотов, которые помогали томящимся представителям прессы убивать время. На сцене театра «Кастро Алвес», где ставили аппаратуру «Антенн-2» и готовились к съемке, расхаживали полицейские, следили за всеми входами и выходами, посматривали на Патрисию, надеясь, что она выведет их на падре. Патрисия в полном блеске всего того, чем может похвастать истая баиянка, пригодилась бы, замечу, для чего-нибудь еще.

А оба священнослужителя — пастырь Пиасавы и директор Музея — находились совсем неподалеку от театра — в аббатстве Сан-Бенто. Падре Абелардо останавливался там каждый раз, как приезжал в столицу: настоятелю монастыря рекомендовал его дон Элдер Камара, знаменитый архиепископ Ресифе и Олинды, главный покровитель «красных падре» — так по крайней мере считали ненавидевшие его военные.

А дон Максимилиан фон Груден, измученный директор Музея, звезда первой величины на интеллектуальном небосклоне Бразилии, непременный участник великосветских игрищ и радений, был, как всем известно и всеми забыто, славнейшим членом ордена бенедиктинцев. В аббатстве за ним сохранялась келья — аскетическая и угрюмая, как келье и положено быть, но отличавшаяся от всех прочих тем, что на стене ее висела великолепная немецкая репродукция «Четырех евангелистов» Йорданса — право, не хуже оригинала.

Легко было предположить, что дон Максимилиан, обладавший огромным кругом друзей, безмерной широтой интересов и жадностью к жизни, обретет себе иной приют. Где? Да где угодно: в мастерской живописца, в особняке банкира, в задней комнате книжного магазина, в студенческой коммуне, на террейро. Никому и в голову бы не пришло искать его в келье бенедиктинского монастыря.

На вершине холма вознеслась над морем твердыня господа — памятник истории, бастион свободы, убежище гонимых.

ТЕАТР ПОЭТА — Театр «Кастро Алвес» был переполнен полицией. «Кишмя кишат»,— сказала Нилда Спенсер Нелсону Араужо. Шпики, филеры, инспекторы и комиссары, тайные агенты, одетые все как один — плащ с оттопыренным от револьвера карманом, шляпа с опущенными полями,— представители разнообразных и многочисленных гражданских и военных подразделений службы безопасности собрались, чтобы присутствовать на съемке передачи «Большая шахматная доска», назначенной на сегодняшний вечер. Не впустить их было невозможно. Те, кому было поручено установить местопребывание падре Абелардо, не сводили глаз с Патрисии: она выведет их на «красного пастыря».

В карманах и за отворотами прятали агенты хитроумные звукозаписывающие приборы, сделанные в Америке, в Японии, в Германии: не бывает ничтожней по размеру, совершенней по качеству — последнее слово электроники. Это первоклассное полицейское сна-

ряжение тем не менее удивительно быстро выходило из строя, и, должно быть, прав был полковник Раул Антонио, когда возлагал ответственность за неэффективное использование заграничной техники на отечественные руки-крюки. Почему-то у японцев или американцев работает так, что одно удовольствие. Идеально было бы, размышлял полковник, вместе с техникой выписывать и агентов. Разумеется, речь не идет о заплечных дел мастерах, высоких специалистах, которые ничем не уступят самым свирепым и изощренным палачам из цивилизованных стран «первого мира».

Полицейское столпотворение было особенно заметно: театр закрыли в этот вечер для публики, пускали только немногочисленных гостей, и потому режиссер «Антенн-2» решил начать передачу с выступления четырех звезд — два композитора, два исполнителя,— с того, что Миро в злополучной записке назвал «высшим счастьем». Звали их Каэтано Велозо, Жилберто Жил, Мария Бетания, Гал Коста, и были они виднейшими представителями «тропикализма» — направления в музыке, которое сурово порицалось властями, считалось вырождающимся, подрывным и оппозиционным.

Оно дорого обошлось Жилу и Каэтано: за свои песни, будившие надежду, поднимавшие дух, мгновенно подхватываемые молодежью, они заплатили тюрьмой и изгнанием. Оба только недавно вернулись из Лондона, куда их выслали после тюремного заключения, после издевательств и унижений — волосы остригли, струны оборвали, уста затворили. Теперь они вернулись в ореоле мучеников и героев, их окружали любовь народа и неусыпное попечение полиции.

Чувствительнейшая аппаратура в карманах и за лацканами фиксировала для сведения властей все, что композиторы произносили в микрофоны французского телевидения. Все да не все, ибо выявилась одна примечательная особенность: покуда композиторы пели свои песни или рассуждали о музыке, техника работала прекрасно, но стоило только Шанселю задать им вопрос, связанный с политикой, как полицейские магнитофоны разлаживались и разряды статического электричества начинали грохотать на весь театр. Нельзя было расслышать и понять ни единого слова. А статная и величественная негритянка в баиянском наряде, сидевшая в последнем ряду партера, от души потешалась над этими помехами и треском. Ее кум по имени Эшу Мале просто надрывался от смеха. Эшу явился на ее зов, чтобы вместе с нею оборвать лепестки этой ночи.

С общего согласия Жак Шансель решил записать свои вопросы и ответы музыкантов — а уж это интервью даст в Париже пищу для разговоров — в другой раз, в другой день и в другом месте, не так сильно подверженном атмосферным превратностям.

На сцене улыбалась в наведенные на нее камеры, завораживала феерическим танцем помощница француза Шанселя, участница этого неожиданного кандомбле — Патрисия. Но глаза ее пытливо высматривали в темном зале ее милого мальчика, ее духовного отца. Обещал прийти, отчего же его нет? Что стало у него на пути? Тюремные стены? Решетки? Обет безбрачия? Ох, уж этот обет. Никогда бы не подумала она, что этот пережиток средневековья просуществует до наших дней.

На сцене же сидел, наблюдая за съемкой и околдованный бразильскими мятежными ритмами, Жорж Мустаки. У ног его примостилась, положив голову ему на колени, восхитительная Марлен.

ПЕРНАМБУКАНСКИЕ НОВОСТИ — Нет, вовсе не оковы целибата, не обет, произнесенный в Порто-Алегре при рукоположении, помешали Абелардо встретиться с Патрисией в театре «Кастро Алвес», посмотреть, как идут съемка и запись, послушать вольнолюбивые песни Каэтано и Жила, пленяться чарующими голосами Бетании и Гал.

После обеда на рынке Модело он долго размышлял о навязанном ему целомудрии: какое тяжкое бремя, даже не тягостное, а роковое. Но в четверг вечером господь послал ему новое испытание, оно-то и удержало Галвана в стенах аббатства Сан-Бенто. Из штата Пернамбуко пришло ужасающее известие, и он вместе со всеми монахами помолился за упокой души священника, за несколько дней до этого убитого в Ресифе полицейскими. Личный посланец архиепископа, некий Пауло Лоурейро, рассказал жуткие подробности: падре отрубили обе руки и лишь затем прикончили.

Жертву звали Энрике Перейра, и он был доверенным помощником архиепископа Ресифе и Олинды, одним из тех, кто видел спасение от всех бед в «базовых общинах» и сумел сплотить вокруг себя молодежь самых различных политических взглядов в борьбе против тирании военного режима. Твердый и последовательный демократ, падре Энрике стал символом сопротивления диктатуре. В день своей гибели он был на одной из студенческих сходок, но домой не вернулся, а вскоре его изуродованное тело, носившее следы пыток, было обнаружено в водосточной канаве — руки отрублены, вместо лица — кровавое месиво. Пауло Лоурейро привез в столицу фотографии трупа.

В штате Ресифе диктатура действовала с особым вероломством и жестокостью. Маленький и щуплый, словно птичка в белой сутане, архиепископ Элдер Камара не обращал внимания на угрозы и запугивания, предавал гласности преступления военных, личным примером поддерживал мужество в своих сторонниках, вовлекал в борьбу новых бойцов. Его бесстрашный голос звучал далеко за границами Бразилии, на всех пяти континентах, и заставлял прислушиваться к себе народы и правительства. Посланец архиепископа, причинявшего властям столько беспокойства, явился в аббатство вместе с неизвестной женщиной, которая, побеседовав наедине с настоятелем не менее трех четвертей часа, отправилась на встречу с Жилом и Каэтано: французское телевидение как раз в этот день записывало их в театре «Кастро Алвес», а познакомились они в Европе, давшей изгнанникам приют.

Сеньор же Лоурейро, белокурый сертанец средних лет, остался и еще долго рассказывал монахам о том, как идет борьба в Пернамбуко, о том, как восьмидесятилетнего Грегорио Безерру, заковав в кандалы, захлестнув ему шею веревкой, волочили по улицам Ресифе — и все это средь бела дня, на глазах у всех, в самом центре города. Он рассказал и про Ариано Суассуну, Руя Антунеса, Пауло Кавалканти, Пелопидаса Силвейру — все они сохраняют твердость. Запрещены спектакли театра марионеток, а заодно и карнавальные шествия.

Пауло Лоурейро был вместе с бенедиктинцами в монастырской церкви, где служилась заупокойная месса по Энрике Перейре, павшему жертвой диктатуры. Пауло Лоурейро в бога не веровал и потому не молился вместе со всеми, но никакого смущения от этого не испытывал, ибо разделял скорбь монахов.

МАСТЕРА АНГОЛЬСКОЙ КАПОЭЙРЫ — На площади Пелоуриньо, в школе местре Пастиньи, состоялась в тот четверг Первая Большая Встреча Мастеров Ангольской Капоэйры. Готовились к ней долго и тщательно, ибо местре Пастинья никак не соглашался сойти в гроб, не оставив преемника и не напечатав в газетах кодекс чести, которому обязаны следовать те, кто занимается этой борьбой-игрой.

В день открытия форума и по окончании его, в воскресенье, мастера должны были показать в школе свое искусство для развлечения и поучения зрителей. В субботу утром на песчаном пустыре, за рынком Модело, где обычно и проходят поединки, их будет снимать для своей программы французское телевидение.

Местре Пастинья, уже отпраздновавший свое девяностолетие, слепой, сгорбленный, недавно оправившийся от удара, но со все еще светлым умом и властным голосом, принимал и приветствовал многочисленных гостей, которые прибывали отовсюду, входя в семь ворот Баии. Его жена Ромелия, торговавшая с лотка акараже, абара, кускузом и прочими яствами, громко называла ему имя каждого, а местре Пастинья повторял его, приговаривая «добро пожаловать!» — он их всех знал как облупленных, понимал, когда бахвалятся они, а когда дело говорят.

Из приглашенных не явился только один — не было на торжественном открытии Первой Встречи Мастеров Ангольской Капоэйры бывшего футболиста Данило Коррейи, выученика местре Пастиньи: тот в свое время очень одобрял его и говорил, что «полумесяц», «благословение», удар головой выходят у него не хуже, чем финты, обводка, пасы и «сухой лист».

КОДЕКС ЧЕСТИ — Зал был переполнен, общее воодушевление росло, телехроникеры уже сняли открытие для вечернего выпуска новостей, а кинохроникер Сири со своей съемочной группой, состоявшей из его жены, фиксировал на пленке самые невероятные падения и броски.

Раздались рукоплескания в честь особо замысловатого выверта Кудряша, когда в дверях появился Миро: как будто это его встретили аплодисментами. Что ж, ничего удивительного — он всегда был желанным гостем и в школе, и за столом местре Пастиньи: и он, и Ромелия относились к нему как к родному. Местре для всех своих учеников был второй отец. Если старику надо было куда-нибудь съездить, Миро предоставлял свой «ДКВ» в полное его распоряжение, возил его по всему городу и ничего не брал ни за проезд, ни за бензин. «Сколько вы мне должны, местре? Ничего не должны. Это я вам должен, должен и обязан по гроб жизни».

Итак, Миро вошел в зал, а за ним следом — Алваро. Миро едва справлялся с душившей его яростью. Смолкли рукоплескания в честь Кудряша, а хлопнул в ладоши вновь пришедший, требуя, чтобы все внимательно его выслушали.

— Прошу прощения, местре, и вы, ребята, что решаюсь прервать вас, но дело у меня очень срочное и важное. Тут вопрос жизни и смерти. Мне нужна ваша помощь.

— Кто это? — спросил слепец Ромелию.— Голос вроде знакомый.

— Это Миро. Наш Мириньо Желанный.

— Что тебя привело к нам, сынок? Слышу, ты чем-то встревожен не на шутку. Расскажи, облегчи душу.

Миро сбивчиво рассказал, как его возлюбленную, Манелу, силком поместили в монастырь Лапа, который хуже всякой тюрьмы, а она совсем ни в чем не виновата, никакого преступления не совершила, никого не обидела. Ну, а если полюбить парня и захотеть выйти за него замуж — грех, то, значит, только в этом ее грех. Тетка у нее — сущая ведьма, вся полна кастильской спеси, даже не кастильской, а франкистской, фашистской, расистской, да и сама она ей не тетка, а скорее злая мачеха, так вот эта самая гадюка Адалжиза ни за что не хочет, чтоб Манела вышла замуж за простого шоферюгу, который к тому же еще темный мулат. А у Манелы кожа светлая, Манела в гимназии учится, ходит на балы в испанскую колонию и на мессу в новую церковь Святой Анны, а сама круглая сирота, ни отца ни матери, вот тетка ее и мытарит как хочет.

— Ай, что ж они сделали с девочкой! — вскричала тут Ромелия, знавшая Манелу.

— Не может этого быть,— сказал местре Пастинья и повторил: — Не может этого быть: я не допущу. Не допущу — и все.

Первая из шестнадцати заповедей капоэйриста гласит, что он обязан прийти на помощь каждому, кто его об этом попросит, должен облегчать страдания ближних, предоставлять защиту преследуемым и гонимым. Свет свободы — вот путеводная звезда всех занимающихся капоэйрой, обучающих или обучающихся ей, ибо возникла она из борьбы рабов за свою свободу,— так сказано в преамбуле этого своеобразнейшего документа.

Алваро отринул последние сомнения: Жилдета, конечно, одобрила бы его.

— Пошли!

— Бежим! — закричал Миро Желанный.

Местре Пастинья простер руку, Ромелия поддержала его под локоть.

— Поспешим, ребята, в неволе час годом кажется. Истинные капоэйристы, за мной!

Он принял командование на себя, зашагал к лестнице. В анналах школы капоэйры не значится имен тех, кто струсил и уклонился, решение помочь слабому было принято единодушно, и «Кодекс капоэйриста», еще не утвержденный на торжественном закрытии Первой Встречи, был применен на практике.

На Пелоуриньо, на приснопамятной Площади Позорного Столба, Камафеу затянул старинную песню.

А Манела — там, где час годом кажется, ибо тоска долга, а ожидание еще дольше и у ночи нет конца. От хора капоэйристов подрагивали черные гладкие торцы мостовой. Высилась впереди церковь Носса-Сеньора-до-Розарио-дос-Претос — церковь негров-рабов.

Ромелия вела старика Пастинью, а он, слепой, согбенный, разменявший девятый десяток, но ничего не утративший с годами, шел в авангарде со своим кодексом чести, со знаменем Баии.

ВОПРОС — «А Манела?» — слышу я негодующие голоса моих благосклонных читателей. Данило побежал к знакомому магистратскому чиновнику, Жилдета обзванивает адвокатов, Дамиана и профессор Батиста тоже где-то хлопочут, капоэйристы задумали небывалую забаву. Ну а Манела-то? Что с ней?

Почему автор оставил ее в небрежении? Почему ни словечком не обмолвился о судьбе несчастной? Разве не она — пружина сюжета? Пусть она не единственная героиня романа, но одна из главных, вся каша заварилась по ее милости, это она привела в движение родных и соседей, людей знакомых, незнакомых и совсем посторонних, среди которых есть весьма заметные фигуры нашей юриспруденции да и всего общества. А про нее саму ничего не ведомо. Неужели автор думает, что достаточно посадить ее под замок, чтоб и не упоминать больше? Нет, не пойдет, читатель таким объяснением не удовлетворится: он желает знать, как вела себя Манела в заточении, что чувствовала, бунтовала или покорилась.

К тому же отвели ее в монастырь под вечер, а сейчас уже около полуночи. Совсем скоро наступит пятница, та самая пятница, на которую назначено открытие выставки. Читатель же до сих пор представления не имеет, как реагировала на это на все наша баиянская Джульетта, юная Капулетти с авениды Аве Мария. Вот в какие дебри нас занесло, вот какие аналогии приходят на ум, хотя, видит бог, нелегко представить Миро в роли Ромео: и профиль не тот, и пагубной склонности к самоубийству не наблюдается. Зато он щедро наделен решимостью встретить лицом к лицу и победить сословные предрассудки опекунши: жениться — пожалуйста! с собой покончить — ни за что! Так как же поживает, что поделывает наша новоявленная Джульетта?

Вот что я вам скажу: если уж взялся рассказывать, рассказывай все как есть, не опускай подробностей, не подчиняй повествование

своей прихоти, не экономь страниц. У нас и без того отыщется множество писателей, сочиняющих худосочные, но в современном духе книжки, сплошь в пропусках да пробелах — они одним только критикам в радость. Если у таких писателей в придачу к бездарности найдется еще и усердие, тогда для них не все потеряно: помучится, поучится, глядишь, роман получится. Разве не так овладевают искусством капоэйры новички с университетским дипломом?

Однако вопрос повис в воздухе и требует ответа точного и немедленного. Итак, что же с Манелой?

МАТЬ ИГУМЕНЬЯ — Сейчас, благосклонный читатель, сейчас получишь ответ — немедленный, ясный и точный. Я не поскуплюсь на подробности: в романе вся штука в подробностях, как я заключил, прочитавши «Дон Кихота».

Местре Пастинья, истинный кладезь народной мудрости, не зря говорил, что в неволе час годом кажется. Именно поэтому он прибавляет шагу и поторапливает своих капоэйристов, направляющихся к монастырю Непорочного Зачатия. Я же, чтоб блеснуть эрудицией и хоть немного облагородить мои корявые строчки, сообщу, что прямо напротив этой обители стоит дом Жулии Фейтал — той самой, в кого всадил золотую пулю обезумевший от ревности возлюбленный. Он так ее любил, что и смерть решил обставить поторжественней, вот и отлил из червонного золота тяжелую пулю.

Медленно тянулись часы, отсчитанные на четках престарелыми, усталыми монахинями, молившимися в часовне. Манела — девица, собиравшаяся предоставить возлюбленному единственное свое сокровище,— была здесь одна такая, ее одну заключили в монастырь, чтобы спасти от домогательств дерзкого развратника. Когда Адалжиза, оставив Манелу у «кающихся»,— посиди здесь, я скоро вернусь — предъявила игуменье приказ судьи, та даже растерялась сначала:

— Уже много лет как к нам никого не помещали. Последней была девушка с Байшо-Сан-Франсиско, ее привез отец по настоянию епископа Барры. Здесь она, бедняжка, и умерла. От чахотки, а может, от тоски, бог ее знает.

— Не забудьте, матушка, что эта обитель и создана была для того, чтобы хранить целомудрие и карать порок,— строго заметил ей падре Хосе Антонио.— Вам бы радоваться, что появилась возможность исполнить божий завет.

Игуменья склонила голову: приказ судьи оспаривать не стала, но никакого воодушевления не выказала:

— Надеюсь, вы скоро заберете девочку отсюда — долго держать ее здесь было бы слишком немилосердно.

Игуменья — а звали ее Леонор Лима — велела сестре Эуниции сходить за Манелой, которая в это время, сидя в келье, предвкушала, как сегодня вечером отправится в театр «Кастро Алвес», рядом с Миро будет слушать своих кумиров — удовольствие мало кому доступное. Все подружки позеленеют от зависти. Адалжиза и падре, не заходя к ней, смылись потихоньку, Манела пошла за монахиней следом, уверенная, что у дверей встретит тетку.

Мать Леонора усадила ее на стул, окинула внимательным взглядом и сказала: «Должна сообщить тебе печальную новость, дочь моя. Мужайся». Печальная новость дошла до Манелы не сразу, но когда она наконец поняла, что тетя Адалжиза поместила ее к «кающимся», заручившись приказом судьи по делам несовершеннолетних — игуменья показала ей бумагу с подписью и печатью,— в ярости вскочила и крикнула:

— Ни минуты здесь не останусь! Сейчас же выпустите меня!

Она вопила, она стучала кулачками по сукну письменного стола, она отталкивала ласковую руку сестры Эуниции, она подняла крик,

какого уже десятилетия не слышали стены монастыря Лапа, ибо предшественница ее, девушка из Барры, плакала хоть и горько, но почти беззвучно. Взрыв отчаянья продолжался довольно долго — немало минут оттикали стоявшие в углу старинные часы красного дерева.

Игуменья — седые волосы, выбившиеся из-под чепца, худое лицо, костлявые руки — сидела совершенно спокойно, не приказывала Манеле замолчать, не успокаивала: дала ей выплакаться, позволила обозвать тетку всеми мыслимыми словами, высказать все, что она думает о падре Хосе Антонио — тут по губам настоятельницы скользнуло некое подобие улыбки,— тысячу раз поклясться в вечной любви к Миро. Именно в тот миг, когда охрипший от ярости и протеста голос Манелы вдруг смягчился нежностью, мать Леонора наконец нарушила молчание:

— Послушай-ка, что я тебе скажу, дитя мое,— сказала она с неожиданной сердечностью.— Не думай, что мне очень хочется держать тебя здесь. Я надеюсь, ты пробудешь в моей обители недолго: бог даст, тетка твоя одумается, раскается в своем решении — неразумном, на мой взгляд. Но помочь тебе не в моей воле, ибо тебя поместили сюда по распоряжению судьи.

Она попросила Манелу рассказать все как есть, и та, захлебываясь слезами, рассказала — и про родителей, и про их гибель в автокатастрофе, и про то, как младшую дочь взяла к себе тетя Жилдета, а ее — тетя Адалжиза, которая... Тут она вдруг замолчала, не зная, как определить свою опекуншу, то добрую, то злющую как ведьма, то ласковую, то словно с цепи сорвавшуюся — семь пятниц на неделе.

— Я думаю, она больная.

Она поведала и про Данило: он человек хороший, но уж очень боится бешеного нрава своей жены, а вот Жилдета нисколечко ее не боится. Призналась и в том, что нет ей без Миро ни счастья, ни радости и что она должна непременно выйти за него замуж. А тетя Адалжиза не позволяет, потому что он бедный и к тому же еще темнокожий мулат, такой хорошенький... Можно подумать, что сама она не мулатка! Неужели ж она и впрямь считает себя чистокровной белой? Баиянка она — этим все сказано.

Выслушав все это, игуменья заговорила вновь, и худое лицо ее вдруг осветилось добротой, и усталые глаза, видевшие на свете много печального, ожили, а голос стал по-матерински ласковым и проникновенным: конечно, Манела права, с нею поступили несправедливо, но отчаиваться не надо и тоске поддаваться не следует, ибо и добросердечный ее дядюшка, и отважная Жилдета, и влюбленный в нее юноша, когда узнают о случившемся, в лепешку разобьются, но вызволят ее из монастыря, настоят на отмене приказа. Приказ — это самое главное, без него никуда.

Сегодня они, должно быть, уже не поспеют, но завтра наверняка явятся за Манелой, и — как знать? — будет с ними и раскаявшаяся Адалжиза. А если их старания успехом не увенчаются, она, игуменья, сама пойдет к его высокопреосвященству кардиналу, изложит ему дело и попросит вмешаться и защитить сироту. Надо запастись терпением, уповать на господа и потерпеть. Одна ночь — это не страшно. А ей испытание это зачтется на небесах, и скоро она сама первая будет смеяться, вспоминая это происшествие. Так что лучше всего не терзаться, успокоиться и покориться, сестра Эуниция отведет ее в келью, где она будет жить весь срок — «надеюсь, краткий» — своего пребывания в обители. «И помни, дочь моя, если что будет не так — я сама испрошу аудиенции у кардинала». Сестра Эуниция взяла Манелу за руку.

Звучало это очень убедительно, но все равно как трудно уснуть, а еще трудней промаяться без сна целую ночь! В неволе час годом кажется и время отсчитывается не минутами, а ударами сердца.

ХЛОПОТЫ — Жилдета сочла, что сын дал ей верный совет, и принялась звонить профессору Орландо Гомесу, однако ей ответили, что он за границей, в Португалии, где получает звание почетного доктора Коимбрского университета. Тут вернулся домой второй ее сын, Дионизио, и когда мать рассказала ему о случившемся, он, обычно такой благодушный и хладнокровный, чуть с ума не сошел от возмущения.

— Я разнесу этот монастырь на кусочки! — кричал он.

Жилдета попросила его остыть и успокоиться: хватит того, что она сама места себе не находит и кипит от гнева. Данило вспомнил их общего с Дионизио приятеля, доктора Тибурсио Баррейроса, он несравненный крючкотвор и верный друг. Дионизио горячо поддержал идею обратиться за помощью к нему: «У Тибурсио длинная рука и котелок варит; ему вся Баия знакома, если сам не поможет, то подскажет, к кому броситься». Данило отыскал в справочнике нужный номер, позвонил, адвокат оказался дома, сказал, что ждет милого Принца. «Это дела давние...» — засмущался бывший футболист. «Корона не шляпа, только вместе с головой снимается»,— отвечал тот.

Доктор Тибурсио Баррейрос, жизнерадостный здоровяк лет под сорок, встретил их с распростертыми объятиями: «Я ждал одного друга, а пришли трое. Чему обязан такой радостью?» Он пододвинул Жилдете кресло. Жена его, знойная смуглая дона Дагмар, одетая, несмотря на позднее время и на домашнюю обстановку, так, что хоть сейчас — на бал, ушла сварить кофе. Жилдета, которую постоянно перебивали Данило, пытавшийся оправдать Адалжизу, и Дионизио, сыпавший руганью и угрозами, изложила адвокату суть дела. Тут в комнату с подносом, на котором стояли чашечки и кофейник, вернулась хозяйка и, услышав слово «монастырь», застыла на месте:

— В обитель «кающихся»? Она еще существует? — Ей, директрисе курсов английского языка, объездившей весь мир, были непостижимы эти замшелые зловещие предрассудки.— Боже! Какая дичь!

Адвокат сказал, что сегодня же вечером освободить Манелу не удастся. Судья по делам несовершеннолетних — зовут его д'Авила — цветочек не из самых ароматных, в юридических кругах его презирают, но и побаиваются, поскольку он пользуется полным доверием «горилл». Он махровый реакционер, настоящий фашист — в речи доктора Баррейроса явно проскальзывали симпатии к «левым». Рогоносец, зол как сатана и к тому же еще ханжа и лицемер, выдает себя за столп морали, на всех углах распинается о нравственности, а сам не вылезает из борделей и содержит любовниц. Настоящий Иуда — больше года назад раззнакомился с Тибурсио из-за какой-то безделицы... «Понятно,— смекнул Данило,— не поделили бабенку, надо будет выяснить, кого именно».

Самое большее, что они могут сделать сегодня,— получить разрешение — нет-нет, не от судьи, а от настоятельницы! — навестить Манелу. Свидание с родными утешит ее и подбодрит, она не будет чувствовать себя всеми покинутой, поймет, что о ней помнят. Ну, а в дальнейшем главная роль принадлежит Данило: законный опекун, будучи категорически не согласен с действиями жены, имеет право опротестовать решение д'Авилы и потребовать его отмены. Это, конечно, будет нелегко: сволочь судья считает каждое свое слово священным и не привык сворачивать с дороги. Однако не следует забывать, что Данило — глава семьи.

— Завтра узнаем, как надлежит действовать. Данило выдаст мне доверенность на ведение дела. А пока надо позаботиться о свидании. С игуменьей я не знаком, не знаю, что она за человек. Дайте сообразить, кто нам может посодействовать.

Тибурсио Баррейрос взял все на себя, не преследуя никакой иной цели, кроме успешного завершения дела. Он удалился в кабинет и тотчас стал названивать. Дона Дагмар, обнеся гостей кофе, принялась

охать и вздыхать: «Кто бы мог подумать, что это протухшее варварство еще существует!..»

Через пять минут адвокат вернулся в гостиную:

— Идем к доктору Монтейро, он ведет в суде семейные дела. Превосходный человек и знаком с настоятельницей монастыря.

Агналдо Баия Монтейро сам открыл им двери, извинился за то, что предстал перед дамой в пижаме — «не знал, что дона Жилдета почтит меня своим посещением»,— и проводил в свой кабинет, где изучал кодексы и готовил решения. Домашние его играли в столовой в лото, слышался смех и восклицания.

Хозяин не вступился за честь судейского сословия, когда Тибурсио обозвал судью по делам несовершеннолетних ползучим гадом: Монтейро и д'Авила не ладили с тех пор, как первому недолгое время пришлось заменять второго и вести его дела, доктор д'Авила был тогда на краткий срок лишен судейских полномочий. Доктор Монтейро успел отменить целую кучу приговоров, вынесенных его предшественником. «Вы не можете себе представить, друзья мои, с каким вопиющим произволом, с какой безграмотностью я столкнулся!»

Сегодня же вечером устроить родственникам свидание с Манелой? Дело отнюдь не невозможное, беда в том, что час уже довольно поздний, а в монастырь, тем более в женский, со своим уставом не ходят... Но попробовать можно, он даст им свою визитную карточку и черкнет игуменье записку, рекомендуя ей Данило и Жилдету. Тут еще явились жаждущие сведений соседи — Дамиана, залитая слезами, и до последней степени рассерженный профессор Жоан Батиста, то и дело восклицавший по-французски: «C'est impossible! Merde alors!» [1].

Но прежде чем сводный отряд родственников и соседей двинется к монастырю, я по секрету шепну вам, каким образом проведали обитатели авениды Аве Мария о случившемся. Вот каким: Дамиане рассказал об этом профессор, а ему — только не падайте! — сам судья по делам несовершеннолетних. Какая чушь, скажете вы, что может быть общего у столпа режима, у охранителя буржуазной морали с либералом, франкофилом и бонвиваном, как он сам себя называет? Ведь это же настоящие антиподы — достаточно взглянуть на постную рожу одного и послушать раскатистый хохот другого!

А вот поди ж ты, было общее — уютный и приятный бордель Анунсиаты, помещавшийся в квартале Бротас, в старинном, но хорошо сохранившемся «шале», укрытом от нескромных взоров раскидистыми деревьями. Именно там вечернею порою сходились пути премудрого юриста и прославленного журналиста, поскольку оба были в числе завсегдатаев этого гостеприимного сераля. Профессор, высвободившись из жарких объятий Мосиньи Конфорки, встречал в коридоре судью, минуту назад возлежавшего на груди Пруденсии Карамельки, и говорил ему: «Добрый вечер», а тот отвечал. А сегодня судья по делам несовершеннолетних доктор Либерато Мендес Прадо д'Авила с таким видом, будто делился отраднейшей новостью, сообщил товарищу по распутству, что распорядился заключить в обитель «кающихся» некую девицу — «да вы ее, наверно, знаете: она живет с вами на одной улице!» — по просьбе ее тетушки, женщины во всех отношениях достойной, умолявшей вмешаться и не допустить грехопадения. «Так и сказал, мерзавец,— гре-хо-па-де-ни-я».

ШЕСТВИЕ НА УЛИЦЕ ЖОАНЫ-АНЖЕЛИКИ — С двух сторон — с Пелоуриньо и с Тороро,— вступив на улицу Жоаны-Анжелики, две толпы встретились и слились воедино, превратившись не то в скромное шествие на святой неделе, не то в пышную карнавальную процессию.

---

[1] «Быть не может! Что за чертовщина!» *(франц.)*

Капоэйристы, пройдя по Террейро Иисуса, по Праса-да-Се и по площади Мизерикордия, спустились по Ладейра-да-Праса, миновали Управление пожарной охраны, пересекли Праса-дос-Ветеранос, поднялись по Ладейра-да-Индепенденсия и вышли на Кампо-де-Полвора, где был некогда расстрелян монах-революционер, брат Канека [1].

На каждом перекрестке присоединялись к ним новые люди, и число капоэйристов едва ли не утроилось.

Вторая толпа, состоявшая из родственников Манелы и обитателей авениды Аве Мария, оповещенных Дамианой, двигалась от дома Жилдеты на Тороро. Данило, Жилдета, Мариэта, Виолета, ее братья, друзья и соседи шагали торопливо, чтобы успеть получить свидание. Суеверная Алина дала обет рабыне Анастазии, недавно причисленной к лику святых,— «месяц не допущу до себя мужа, если все кончится благополучно».

И вот на улице Жоаны-Анжелики обе армии соединились, слились — произошло это без всякой предварительной договоренности, но далеко не случайно: все, что происходило в тот вечер, было предначертано и предопределено свыше, а потому и выполнялось с удивительной четкостью.

И вот в тот самый миг, когда ряды одного воинства разомкнулись, по-братски принимая в себя другое, когда громче зазвучали беримбау, и боевая песнь капоэйристов заставила окрестных жителей броситься к окнам, Святая Варвара Громоносица позвонила у обшарпанных дверей монастыря Непорочного Зачатия, где по приказу доктора д'Авилы вновь начала действовать обитель «кающихся».

РАСПОРЯЖЕНИЕ СУДЬИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ДОКТОРА МЕНДЕСА Д'АВИЛЫ — Сестра Эуниция, исполнявшая в тот вечер обязанности вратарницы, услышав звонок, приоткрыла окошечко, всмотрелась и узнала Святую Варвару — как же было не узнать, если они плыли из Санто-Амаро в Баию на одном баркасе? А когда причалили, святая подобрала полы своего одеяния и отправилась в мир.

По непростительной беспечности, по необъяснимой забывчивости — mea culpa, mea maxima culpa [2]— я не уведомил вас, любезные мои читатели, о некоем событии, наряду с другими имевшем место в этот четверг, не рассказал, что рано утром сестре Эуниции нанес визит комиссар Риполето. Он предупредил, что говорить будет о деле государственной важности, и с ходу задал вопрос: «Кто украл статую?» — «Никто ее и не думал красть. Святая Варвара своими ногами сошла на пристань и даже попрощалась со мной». Комиссар не скрывал своего огорчения: «Ну, что ты будешь делать? Заговаривается. Монастыри полны таких вот впавших в детство развалин. Несет, сама не знает что».

Итак, узнав Святую Варвару, монахиня заулыбалась, отодвинула щеколду, открыла дверцу в массивных монастырских воротах. Улыбнулась и святая:

— Здравствуй, Эуниция. Господь да пребудет с тобою.

— Благослови, Святая Варвара. Ты к нам? С ночевкой? Заходи, заходи.

Святая Варвара Громоносица благословила монашку и тут же сунула ей под нос официальную бумагу — дата, подпись, печать, все чин чином.

— Вот приказ об освобождении несовершеннолетней Манелы Перес Белини, подписанный судьей. По его же приказу ее поместили к вам сегодня днем. Мать Леонор не спит еще? — вопрос был задан про-

[1] Жоакин до Амор Дивино Ребело Канека (1779 — 1825) — бразильский монах, деятель республиканского движения, один из вождей народного восстания против португальского колониального режима.

[2] Моя вина, тягчайшая вина! *(лат.)*

сто так, для разговора, ибо кто-кто, а уж она-то прекрасно знала, что игуменья только что погрузилась в первый, самый сладкий сон.

— Ушла к себе; наверно, спит. Но если тебе угодно, я разбужу.

— Не надо. Положи-ка эту бумагу ей на стол, утром увидит. И поскорей приведи девочку. Ступай-ступай, я жду. Заходить мне недосуг.

Сестра Эуниция взяла приказ, машинально взглянула на печать и на закорючку вместо подписи, и скорыми мелкими шажками засеменила исполнять. Она была просто счастлива. Вот хорошо-то! Опекунша одумалась, судья отменил первоначальное свое решение, жестокое и несправедливое, а она, смиренная монашка, и Святую Варвару сподобилась еще раз увидеть — наверно, родилась Манела в ее день. Скорей, скорей, нельзя заставлять ее ждать. И девочку тоже: бедняжка — как надели на нее одеяние послушницы, так к еде и не притронулась, а когда в часовне молилась с сестрами, все плакала-заливалась. Ее и не признаешь-то в обличье черницы, так, наверно, и лежит на кровати, не раздеваясь. Еще несколько часов назад вела ее сестра Эуниция по горькой дороге, и сердце у монашки разрывалось от жалости. Шепча благодарственную молитву, она побежала еще быстрей.

Манела не стала даже тратить время на переодевание — вылетела не чуя под собой ног, представляя, как встретит ее тетя Адалжиза: от нее ведь чего угодно можно ждать, не угадаешь, что ей в голову придет через минуту, а теперь, наверно, раскаялась, поняла, как бесчеловечно она с ней поступила. Сестра Эуниция открыла дверь. Манела поцеловала ей руку, выскользнула наружу, и с глухим стуком дверь затворилась, лязгнула щеколда.

А стоявшая на улице прекрасная как сон негритянка в одеждах винного цвета улыбнулась Манеле, протянула ей амулет — и исчезла.

ПОСЛУШНИЦА — Ночной ветерок с моря, принесший облегчение изнывающей от зноя Баии, игриво заиграл в складках просторного одеяния послушницы, усилил напор, налетел на Манелу словно шквал.

А она вздохнула всей грудью — свободна! Снова охватило ее прежнее ощущение полноты жизни, уже испытанное однажды — в январе, на празднике в честь Спасителя Бонфинского, когда на церковном дворике смочила она водою Ошала курчавую голову Миро. Жаль, что он не может посмотреть на нее в этой хламиде на пять размеров больше — вот бы посмеялся. А сейчас, наверно, сердится: обещала и не пришла. Я не виновата, милый,— меня засадили в «обитель кающихся». Она оглянулась по сторонам, но статной негритянки, протянувшей ей амулет, нигде не было, она точно в воздухе растаяла. Зато перед собою увидела она самого Миро — под руку с Ромелией. Толпа заполняла маленькую площадь, образованную торцом монастыря и Баиянским Коллежем.

Затихли веселые беримбау, смолкли песни — капоэйристы шли тихо и сосредоточенно, скрывая волнение — близился час испытания, и никто — ни Миро, ни сам слепец Пастинья — не мог бы сказать, кончится ли дело благополучно. Манела высмотрела в бесформенной людской массе Жилдету и Данило: в поднятой руке тетушка держала конверт, это была записка доктора Агналдо игуменье. Тут раздался крик, от которого, должно быть, содрогнулись небеса, земля задрожала,— Миро узнал Манелу.

— Манела! Манела!

— Где? — спросил местре Пастинья.

— Да вон же, в монашеском платье,— показала Ромелия.

Едва успела она улыбнуться любимому, кивнуть Данило, встретиться взглядом с Жилдетой. Только хотела окликнуть их, броситься к ним навстречу, как и ноги, и язык отнялись. Это вселилась в нее и овладела ею богиня Иансан.

Танцуя, прошла Манела вдоль монастырского фасада, спустилась по проезду. Местре Пастинья — зрение ему отказало, но разумение осталось — воздел руки, склонил голову, как положено по обряду, восславил богиню: «Эпаррей, Ойа!»

Весь народ подхватил, все лица обратились в сторону «посвященной», раздались ритуальные хлопки: «Эпаррей, Ойа, слава тебе, Иансан, повелительница грома и молний!» Лицо Манелы сияло, тело ее, окутанное тяжелым одеянием послушницы, гибко изгибалось в танце. Никогда еще не видел ее Миро такой красивой, и в пояс в знак почтения поклонился он ей.

А богиня Иансан пролетела по площади из конца в конец, показывая людям танец воительницы, лицом к лицу встретившей смерть и одолевшей ее. Остановилась перед местре Пастиньей, и они обнялись, как ведется исстари — грудь к груди, щека к щеке. Потом пошла поздороваться с достойными и избранными.

Начала с Жилдеты — развела руки, чтоб заключить в объятия свою тетушку и защитницу. Жилдета покачнулась на вдруг ослабевших ногах, сплюнула на четыре стороны света, скинула туфли, и в объятиях Иансан был уже Ошала, вмиг прилетевший к впавшей в транс иаво. Затем настал черед Данило. Почтительно и смиренно ждал богиню Иансан Миро. Богиня двинулась к нему, и танец ее был танцем битвы и победы: тело «посвященного» затрепетало, рот наполнился слюной, голос стал хриплым оттого, что так близко оказалась к нему его возлюбленная и повелительница — грозная Иансан, принявшая обличье Манелы, Манела, воплотившаяся в царицу вод и бурь. Она обхватила его ниже колен, подняла своего огана в воздух, и одежды послушницы нисколько ей не помешали.

Так, ни на миг не останавливая танец, двинулась Ойа в сопровождении Ошала на террейро, где уже поджидала ее матушка Менининья де Гантоис — только теперь подняла она якорь, только теперь взяла бритву. Народ валил следом, довел ее до самой Ларго-де-Пулкерия. Легкий бриз сменился шквалистым ветром, в чистом небе, возвещая свободу, вспыхивали молнии, гремели громы. Ойа Иансан танцевала на улицах славного города Баии.

ЧЕЛН «ПОСВЯЩЕННЫХ» — Поднялась Иансан по ступенькам, постучала в двери. На террейро в полутьме — одна лишь слабенькая лампочка лила скудный желтоватый свет — сидела на своем троне матушка Менининья, и дочери ее, Клеуза и Кармен, сидели по обе стороны от нее. Толпа осталась снаружи, на Ларго-де-Пулкерия, стала мало-помалу редеть.

— Я ждала тебя, матушка.

Матушка Менининья прикоснулась кончиками пальцев к голове той, кто пал перед нею ниц. В расположении освященных ракушек прочла жрица приказ Ойа: оставить место на челне, отплывающем сегодня ночью к причалу посвящения, для дочери ее.

Все прочие были уже в сборе: был тут и Ошун, и Огун, и два Шанго, и Ошумарэ, Ошала молодой и Ошала-старец, и даже Оссаэн вышел из лесу, что не часто бывает. А Ошосси не явился, занят был охотою. Не откликнулась на зов и грозная богиня черной оспы Омолу — она сражалась с заразой в сертанах, в селении Шике-Шике. А Оба не захотел плыть, чтоб не встречаться с Иансан, с которой был не в ладах, и давно уж тянулась эта распря. Словом, хватало у Манелы спутников в этом странствии.

Матушка Менининья де Гантоис взяла бритву, готовясь применить грозный свой дар — выбрить голову «посвященного», открыть дорогу божеству. От блеска бритвы погасли молнии, звук оправленного в серебро бараньего рожка — пежи — заглушил громы.

Долгие часы страстной пятницы

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ — Когда рассвело, не спавший всю ночь, грязный, дрожащий от лихорадочного озноба, в сырой одежде, голодный, до полусмерти закусанный москитами, потерпевший кораблекрушение комиссар Риполето заметил на реке необычайное оживление.

Откликнувшись на призыв викария Санто-Амаро, из всех городков и деревень, стоявших на берегах Парагуасу, плыли к месту сбора суда всех видов и размеров, сбивались в эскадры и флотилии. Под самым носом у комиссара Риполето готовилась к походу новоявленная Непобедимая Армада.

Воинственный падре Тео отдавал приказы вооруженным формированиям, а вооружены они были четками, молитвенниками, часословами, цветами, собранными со всей округи, чтобы было чем украсить постамент статуи, когда Святая Варвара вернется домой. Мужчины несли пальмовые ветви и стебли сахарного тростника. Дона Кано раздавала желающим листочки бумаги: на одной стороне — цветное изображение Громоносицы, на обороте — весьма спорные и неточные сведения о ней.

А комиссар Риполето, оказавшийся в самых неблагоприятных условиях, не вполне еще оправившийся от выпавших на его долю передряг и испытаний, не позабывший насмешек и оскорблений, расслабиться себе не позволил, бдительности не утратил — даром, что ли, отдал он полиции двадцать лет беспорочной службы? Голод обострил его чутье: и все это столпотворение с утра пораньше, и жуткое количество плавсредств у причала, и множество людей, снующих взад-вперед, казались ему крайне подозрительными. Обстоятельный комиссар выдвигал версии, строил предположения, отмечал разнообразные факторы, как то: уровень воды, скорость течения, тактико-технические данные цапель — все это пригодится для доклада, который при первой возможности будет отправлен в Управление безопасности штата Баия.

Выбраться из полузатопленного челнока, добраться на чем-нибудь до столицы, явиться к начальству и отрапортовать — таковы были ближайшие задачи комиссара. Из-за злосчастного неумения плавать — тайный недостаток, для нас уже тайной не являющийся,— он не решался добраться до берега. Комиссар был уже готов отчаяться, как вдруг все решилось. Да, решилось.

Негодные юнцы, которые вчера так мерзко с ним обошлись, неожиданно явились к нему на выручку. Извлекли его из застрявшего челнока, переправили на один из баркасов, готовившийся к карательной экспедиции, и даже предложили комиссару доставить его в столицу, хотя он их об этом не просил. Их великодушный поступок был омрачен только тем, что они связали его по рукам и ногам. Комиссар Риполето отправлялся в Баию в качестве заложника.

ГАЗЕТЫ: ИНТЕРВЬЮ С ВИКАРИЕМ САНТО-АМАРО — Газеты не пожалели места для материалов, посвященных исчезновению святой,— были тут и пространные редакционные статьи, и комментарии, и обзоры.

Особого упоминания заслуживает подвал на третьей странице «Диарио де Нотисиас», в котором дирекция объединенных информационных агентств Баии поздравляла читателей с небывалой сенсацией, произошедшей накануне. «Диарио» была единственной газетой, осмелившейся приподнять завесу тайны, окутывавшей прибытие Святой Варвары в Баию, обскакав тем самым своих соперников, которые перепевали на все лады официальную версию: статую выгрузили, ее встречал сам директор Музея в сопровождении многочис-

ленных журналистов (sic), он заявил, что это произведение искусства украсит собою выставку. А «Диарио де Нотисиас» документально засвидетельствовала и подтвердила фотоснимками охватившее дона Максимилиана отчаяние — Святой Варвары на причале не оказалось.

А Гидо Герра, герой дня, первый кандидат на увеличение построчной оплаты, удостоившийся личной похвалы главного редактора, доктора Одорико Тавареса, который поздравил его и похлопал по плечу, не почил на лаврах. Раненько утром, сунув под мышку экземпляр со своим репортажем, он направился в Санто-Амаро, намереваясь взять интервью у викария, и прибыл туда раньше всех прочих журналистов вместе с фоторепортером Жервазио Батистой Фильо.

Падре Тео принял Гидо, что называется, «мордой об стол» — да и как иначе разговаривать с этой тварью, обделавшей его в своем репортаже с ног до головы, оболгавшей его без всякого уважения к сану, бранившей его за то, что викарий долго не отдавал статую на выставку, глумившейся над ним, обзывавшей его ретроградом, мракобесом, ископаемой личностью, «мрачной средневековой фигурой, неспособной понять культурные запросы широких масс». Мерзавец репортер утверждал, что он не достоин возглавлять приход Санто-Амаро и что статую такой ценности нельзя вверять его попечению. Он окрестил его «стервятником в сутане».

Нет, падре Тео был не из тех, кто пускает таких проходимцев на порог. И потому не успел Гидо, сияя приветливой улыбкой, представиться викарию, как тот, не потрудившись хотя бы поздороваться, сказал:

— Гидо Герра?— и смерил тщедушного репортера злобным взглядом.— Вас-то мне и надо. Давно вам хотел сказать, что стервятник в сутане — это не я, а та, кто произвел такую сволочь на свет! — и швырнул репортеру в физиономию клочки разорванной статьи, язвительной, живой и увлекательной. Сильней всего обиделся падре Тео на то, что его обозвали мрачной средневековой фигурой. Это он-то, падре Тео, не заботится о культуре, это он-то ретроград?! Разумеется, от интервью он отказался наотрез.

Но и Гидо Герра был не из тех, что кротко проглатывают отказ, сдобренный сильными выражениями, означающими крайнюю степень порицания. Он покаялся, он признал свое поведение легкомысленным и добавил, что во всех остальных случаях он как репортер безупречно корректен. Он воспользовался тем, что викарий слабо разбирался в хитросплетениях журналистики, и применил верное средство — стал бить на жалость: ему пригрозили увольнением, или, мол, возьмешь интервью или убирайся на все четыре стороны, а если он потеряет работу, кто будет кормить жену и двух невинных малюток? Жена и малютки были придуманы тут же, не сходя с места, но жалобный плач голодных детишек смирил негодование падре Тео. И на первой странице «Диарио» появилась такая «шапка»:

ЖИТЕЛИ САНТО-АМАРО ДОБЬЮТСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ СВЯТОЙ!
МЕСТО СТАТУИ — ЗДЕСЬ, А НЕ В ЗАПАСНИКАХ МУЗЕЯ!

Профессиональная щепетильность заставила Гидо высказать свое несогласие с некоторыми заявлениями викария: пусть никто не посмеет обвинить его во лжи и в клевете. Он своими глазами видел, какое отчаяние охватило дона Максимилиана на пирсе, когда монах убедился в исчезновении святой, и потому не может поддержать викария, который публично и печатно обвинил дона Максимилиана в том, что тот сам специально создал всю эту неразбериху, чтобы под шумок спрятать Святую Варвару в запасниках своего музея. От-

ветственность за это утверждение целиком несет падре Теофило Лопес де Сантана: «Пиши, пиши, печатай, беру все на себя!»

В ожесточенной тяжбе за статую медоточивый и учтивый дон Максимилиан явно перешел все границы, стал позволять себе презрительные отзывы о Санто-Амаро, вызывающее пренебрежение: «Статуя, достойная Вальядолидского Музея скульптуры или любой экспозиции в Европе или Америке, прозябает в захолустном городке Реконкаво! Это абсурд! Приход Санто-Амаро не может обеспечить ей не только доступ ученых и туристов, но и необходимую безопасность. В один прекрасный день шайка ловких воров, специализирующихся на монастырях и церквах, попросту говоря, свистнет ее — и прощай, Святая Варвара! Только в Музее при Баиянском университете статуя Громоносицы, во-первых, будет в полной безопасности, а во-вторых, ее смогут увидеть тысячи и тысячи восхищенных зрителей».

Выключив диктофон, Гидо протянул викарию руку, благодаря и прощаясь, и весело сказал:

— «Дон Мимозо» — это хорошо придумано. Я зря обозвал вас «стервятником в сутане», признаю свою ошибку, еще раз прошу прощения. Чтобы окончательно искупить вину, в интервью вы будете называться «Голубок Господень». Пойдет?

— Голубок — это опять же то... ну, скажем, существо, благодаря которому вы коптите небо. Если посмеете употребить это выражение по моему адресу, приеду в Баию, набью вам морду, а потом испрошу у Всевышнего прощения.— Он снова оглядел тощенького, щуплого репортера, уродливого и чернявого, голенастого и длинноносого, как журавль, отца двух крошек.— Нет, пожалуй, морду бить не будем: приеду и оттаскаю вас за уши при всем честном народе. Тогда и каяться мне не придется.

Гидо, все еще смеясь — «тот еще хмырь этот викарий!» — вошел в кафе, где ждал его Жервазио, заказал кофе: «Будьте добры, полный кафейник и две чашки», включил диктофон — викарий заполнил своим негодованием целую кассету — и принялся записывать интервью. Добрые католики Санто-Амаро, обсуждавшие за соседними столиками перипетии исчезновения Святой Варвары, примолкли, услышав голос своего пастыря, искоса воззрились на незнакомцев. Репортер исписывал листок за листком аккуратным почерком, он не перечитывал свой текст, предоставляя стилистическую правку секретарю редакции. Окончив, отдал стопку бумаги и кассету фотографу, исполнявшему в этой поездке обязанности шофера, и напутствовал его:

— Передай материал Клеберу, пусть расставит запятые где надо. Как проявишь и напечатаешь, парочку снимков отложи для викария. А потом гони сюда во весь дух! Здесь заваривается каша!

ПРИМИРЕНИЕ — Адалжиза заснула так, как спят только люди с чистой совестью. День выдался хлопотный, много было треволнений и беспокойства, нервы разгулялись вконец. И не успел Данило с перекошенным лицом выйти за дверь, как Адалжиза вымыла посуду и прилегла у себя в спальне. Телевизор ничем ее в этот вечер не прельстил, а ссора с мужем — повод недостаточный, чтобы вызвать бессонницу.

За те почти двадцать лет, что они прожили в браке, Данило несколько раз уходил из дому, хлопнув дверью, крича и клянясь, что ноги его здесь больше не будет. Тем не менее через час-другой он возвращался, кроткий как ягненок — ярость его улетучивалась, ссора забывалась. Возвращался, чтобы загладить свою вину, всегда приносил ей какой-нибудь гостинец: заморский фрукт — грушу или яблоко,— плитку молочного шоколада или красную розу.

Преклонив колени, Адалжиза помолилась, лишний раз прочитав

«Богородице» и «Отче наш» в благодарение господу за то, что даровал ей защиту, укрепил и привел к победе. Помолилась и улеглась, не мучась никакими предчувствиями, не подозревая о том, что творится в эти минуты на Аве Марии. Она знала, что, проснувшись, обнаружит у себя под боком Данило, и он будет вести себя как ни в чем не бывало, и даже не вспомнит о давешней ссоре, и не станет требовать, чтобы она вернула Манелу. Отрешившись от мучивших ее страхов, Адалжиза уснула, и приснился ей чудесный сон: двое полицейских волокут макаку Миро к судье д'Авиле.

Все шло как всегда, и, пробудившись, Адалжиза увидела перед собой мужа. Он в рубахе, но еще без штанов выходил из ванной, собираясь на службу. «Доброе утро»,— сказал Данило без намека на вчерашнюю ссору, и Адалжиза, с улыбкой ответив ему, сама заперлась в ванной, прихватив с собой транзистор. Данило окончательно оделся, достал из почтового ящика экземпляр «Тарде» и уселся в кресло, ожидая кофе. Адалжиза с подносом в руках появилась в комнате, когда он как раз дочитывал сообщение о пропаже статуи.

— Только и разговоров что о святой,— заметил он.

— О ком? — переспросила Адалжиза, читавшая только уголовную хронику и новости светской жизни.

Данило дождался, пока она принесет кофейник и чашки, и лишь после этого поведал ей о происшествии, переполошившем весь город: изваяние Святой Варвары Громоносицы, привезенное из Санто-Амаро на выставку, прямо с пирса исчезло неведомо куда. Все газеты кричат об этом.

— Диких денег стоит. Подозрение падает на викария Санто-Амаро, а другой падре — его сообщник, тут целый заговор. Обнаружится она у доктора Клементе Мариани или еще у какого-нибудь толстосума, они все собирают редкости и содержат для этого шайку всяких мерзавцев.— Он рассмеялся от души.— Недаром же говорится: священники — мошенники.

Адалжиза внимательно посмотрела на мужа. Лицо его так и сияло, лучилось радостью от того, что вышло в рифму, которая, несомненно, много раз прозвучит сегодня в стенах нотариальной конторы. Что-то необычное почудилось ей в оживлении Данило.

— Похищение святого образа — не повод для зубоскальства, это тягчайший грех святотатства. Не понимаю, как священнослужитель мог впутаться в такое дело, и не вижу тут ничего смешного.

Но Данило, продолжая повторять свой стишок на все лады, уже поднимался из-за стола, натягивал пиджак, надевал шляпу, шел к дверям. Поведение его все больше удивляло Адалжизу. Он даже изменил своей привычке и не спросил ее: не надо ли купить что-нибудь? Вопрос этот стал уже ритуальным, и хотя Адалжиза неизменно отвечала: «Нет, ничего не надо», сейчас ей вдруг стало не по себе. Что с ним сегодня творится? Раньше, когда после очередного скандала они мирились, Данило был к ней подчеркнуто внимателен, а теперь не принес ни цветочка, ни яблочка, ни шоколадки. Оливковой ветви она сегодня не дождалась. Чем крупней была ссора, тем старательней подлизывался Данило к жене, тем ласковей был он после примирения. Вчерашнее происшествие было чуть ли не самым ожесточенным за все их супружество: подобное происходило лишь в первые годы брака, когда Данило добром или силой пытался внедриться в жену с тыла, а она отвечала: «Ни за что! Лучше смерть!»

Удивленная, сбитая с толку, уязвленная Адалжиза, увидев, как Данило преспокойно открывает дверь и собирается уйти, даже не попрощавшись, не выдержала:

— А кто вчера говорил, что без Манелы домой не вернется?

Данило, уже взявшийся за ручку, уже толкнувший дверь, обернулся к жене — безмятежное лицо, ровный голос. Так, словно речь шла о событии заурядней шем, ответил:

— А Манела не желает сюда возвращаться. Она стала «дочерью святого» на кандомбле Гантоис.

Когда Адалжиза вновь обрела дар речи, муж был уже далеко. В чем была, в туфлях на босу ногу бросилась вдогонку, да поздно: только и видела она, как сел он в автобус, в котором всегда ездил на службу.

УНИЖЕНИЕ — Чудовищное, незабываемое оскорбление нанесла Адалжизе Дамиана, пустая бабенка, с которой зазорно якшаться. Дамиана видела, как она пронеслась вслед за Данило, и, разумеется, стала у дверей на часах, а когда Адалжиза понуро возвращалась домой, вдруг загородила ей дорогу. Она так торопилась поскорее отвести душу, выложить распиравшие ее новости, швырнуть их в надменное лицо этой воображалы, которая невесть что о себе мнит, что даже не поздоровалась.

— Слыхали про Манелу, дона Адалжиза?

Адалжиза хотела было повернуться к соседке спиной и скрыться в доме, сделав вид, что ничего не слышала. Но любопытство превозмогло. Адалжиза, зная наперед, что ничего, кроме позора, из этой беседы не выйдет, все-таки спросила:

— Что?

— Вчера ночью перед монастырем в красавицу нашу вселилась святая. Своими глазами видела.

Дамиана не объяснила, какого дьявола занесло ее глубокой ночью к монастырю Лапа, не сказала о том, кто помог Манеле выбраться из заточения, но зато во всех подробностях и с восторгом описала и празднество на площади, и танец Иансан, и пляску Ошала, воплотившегося в Жилдету — «забыть нельзя, дона Дада!»

Она ссылалась на присутствовавших — «не дадут соврать!» — кроме Жилдеты, был там профессор Батиста, Алина со своим сержантом и местре Пастинья — «да, сам старик Пастинья явился». Ну, да сеньор Данило, наверно, рассказал ей самое главное, а может быть, и все, он ведь был такой веселый, и Иансан почтила его, подарила ему амулет. Поцеловала «посвященная» и ее, Дамиану, в знак дружбы и благодарности. Но самое необыкновенное началось, когда — «сеу Данило не говорил?» — Манела — и как у нее только сил хватило? — подняла своего жениха в воздух и исполнила с ним танец посвящения. Что это было — сверхчеловеческая сила ориша, или сила любви, или обе они вместе укрепили тонкие руки девушки? «Как жалко, что вас не было, вам бы понравилось, дорогая моя дона Дада!»

Горло точно петля сдавила, от мигрени глаза полезли на лоб, голова стала раскалываться, и все же Адалжиза слабеющим голосом спросила:

— А как же она из монастыря-то вышла?

Щекастое смуглое лицо расплылось в улыбке — сверкнули белые зубы. Раздался неудержимый хохот, и Дамиана принялась извиняться:

— Ах, милая дона Дада! Простите меня, но я не знаю! Хоть убейте, не знаю! — А потом Дамиана покончила с жеманничаньем и притворством, перестала миндальничать, высказала все, что накипело, отвела душу, вконец уничтожила соседку да еще и плюнула на труп.— А вот что мне с божьей помощью открылось, того я и от вас не утаю: та подлянка, что упрятала бедную девочку в монастырь,— не человек, а упырь! У нее ни сердца, ни души, будь она проклята во веки веков, чтоб ей ни дна, ни покрышки! Так-то, милая моя, драгоценная моя дона Дада!

ГЛАВА, СОДЕРЖАЩАЯ КОЕ-КАКИЕ СВЕДЕНИЯ О СИЛЬВИИ ЭСМЕРАЛДЕ — Адалжиза резко отвернулась, шваркнула дверью перед самым носом наглой твари. Вошла в дом, остановилась посреди комнаты, чтобы перевести дух — ей казалось, вот-вот что-то с ней случится. В ванной пустила струю холодной воды, смочила лоб и щеки. Сердце колотилось так, что она почти слышала его удары.

Потом она надела платье и туфли, схватила сумку и двинулась в церковь Святой Анны, на Рио-Вермельо. В автобусе перебирала четки, задыхаясь от вонючего дыма дешевой сигары, которую курил сосед. Она шевелила губами, твердя молитву, а скотина сосед поглядывал на нее искоса. Автобус еле полз, останавливался на каждом углу, казалось, конца этой поездки не будет.

Падре Хосе Антонио крестил младенца, вокруг купели стояли испанцы, и Адалжиза, чтобы не вступать в беседу со знакомыми, вышла на паперть. Крестины затягивались: младенец был отпрыском богатой семьи, имевшей право еще и на проповедь. Наконец в окружении родителей, бабушек, дедушек и крестных появился падре. Деваться Адалжизе было некуда: пришлось здороваться. Падре подписал свидетельство, получил деньги за отправление требы, подтвердил, что непременно будет присутствовать на торжественном обеде, снял епитрахиль. Он почувствовал, что любимейшая его прихожанка чем-то сильно взволнована:

— Que haces aquí tan temparano, hija? [1]— Оставаясь с Адалжизой наедине, он всегда говорил по-испански, оставляя без внимания ее бразильское происхождение: так его речи звучали с отеческой нежностью.—¿Por que te mantienes de pie? Que se pasa cantigo, que te veo temblar?[2]

— Манела сбежала из монастыря!

— ¿Se fugó? Del convento? Imposible. No te creo[3].

Адалжиза выложила ему все, что знала, свалив в одну кучу ссору с мужем, наглую соседку, местре Пастинью и ориша. Все это было так сумбурно, что падре вправе был бы усомниться, в полном ли душевном здравии пребывает усердная овечка стада господнего. У святош часто ум заходит за разум, и они принимаются нести околесицу, но это случалось, как правило, с древними старухами.

— No puedo entender. Lo mejor es ir hablar a la Madre, saber lo que pasó [4].

В автобусе падре напомнил Адалжизе, что мать игуменья не больно-то возликовала, получив приказ судьи, даже не думала скрывать свое неудовольствие, проявила легкомыслие, чтобы не сказать — вольнодумство. Отнеслась к его словам без должного уважения, не приняла во внимание приведенные им доводы. Уж не из тех ли она современных монахинь, которые... Но тсс! Доказательств пока нет, но вовсе не исключено, что мать Леонор сама устроила побег Манеле, иного объяснения он не видит. Если подтвердится — матушка Леонор Лима заплатит дорого: он, падре Хосе Антонио, дойдет до викарного епископа.

Мать настоятельница поздоровалась с падре, а приходу Адалжизы была явно рада:

— Могу только одобрить ваше решение. Раскаявшийся грешник вдвойне достоин божьей благодати. Я очень, очень рада за вас.

От подчеркнутого пренебрежения и дерзости монахини загривок падре Хосе Антонио налился темной кровью. Он прервал поток ликований и потребовал объяснений: каким образом удалось Манеле совершить побег? Рассказывайте все без утайки, если не хотите весь-

---

[1] Что привело тебя, дочка, ко мне в такую рань? *(исп.)*

[2] Отчего ты так рано поднялась? Что с тобой? Почему дрожишь? *(исп.)*

[3] Сбежала? Из монастыря? Это невозможно. Не верю тебе *(исп.)*.

[4] Ничего не понимаю. Лучше поговорить с настоятельницей, разузнаем все толком. *(исп.)*.

ма неприятной беседы с монсеньором Клюком! Игуменья, не удостаивая его ответом, молча вытащила из ящика стола приказ, подписанный судьей по делам несовершеннолетних. Падре, впившись глазами в бумагу, читал ее и перечитывал, проверил штамп, подпись, печать: никаких сомнений — подлинное! Адалжиза тоже обследовала его.

— Это работа Данило... То-то он говорил...

— Данило? Твой муж?

— Да... Он говорил, что пойдет к судье, что у него такие же права опеки, как и у меня...

— Но бедь судья при тебе сказал, что отменит приказ лишь по тбоей просьве!

Падре Хосе Антонио гордился тем, что говорит по-португальски не хуже чем на родном языке: разве только едва заметный акцент выдавал в нем иностранца. Но стоило ему выйти из себя, разволноваться, как «б» и «в» начинали путаться — кастильский одолевал. Он хотел забрать приказ с собой, но игуменья отказала наотрез. Только в том и пошла она навстречу, что разрешила снять ксерокопию в Баиянском Коллеже, расположенном поблизости. Вернувшись, падре спрятал копию в карман и заявил:

— Келью не санимать! — Он воздел перст.— Гречница бернется! Очень скоро! Очень! Может быть, ее овуяли весы! Придется изгонять! — Испанская фонетика давала себя знать все сильней, свидетельствуя о том, сколь сильно было смятение его чувств.

— Дай-то бог, чтоб вернулась! — Адалжиза осенила себя крестным знамением.

Дело оказалось не таким скорым, как предполагал падре-фалангист, ибо судья по делам несовершеннолетних в то утро в свой служебный кабинет не явился. Принимавший их чиновник отсоветовал им идти к нему домой:

— Доктора д'Авилы нет. Его супруга, дона Диана, внезапно занемогла, ее срочно положили в больницу. Доктор при ней неотлучно. Разве что к вечеру, если ей станет лучше, он придет сюда. Наведайтесь после двух.

Дона Диана, супруга судьи. Ее превосходительство Диана Телес Мендес Прадо д'Авила, виднейшая представительница баиянской знати, известная в театральных кругах и на ложе прелюбодеяний, а также и тебе, любезный читатель, как Силвия Эсмералда.

ИЗГНАНИЕ — Словно разъяренный лев в клетке, метался дон Максимилиан по своей тесной келье, и рев его сотрясал сумрачные коридоры аббатства...

Не пойдет. Эта фраза никуда не годится. Образ тривиальный и нимало не соответствует действительности: лысоватый, изящный и хрупкий дон Максимилиан ничем не напоминает льва с величественной гривой и острыми когтями. Сравнение избитое, затертое, вульгарное, а главное — уводящее нас от истины. Коридоры в обители Сан-Бенто — широкие, ярко освещены и не сотрясаются ни от рева, ни от рычаний, ни от стонов. Даже рыданий не слышно. Падре Энрике Перейру, по приказу военных властей убитого в Пернамбуко, оплакивали под звуки органа на заупокойной мессе в монастырской часовне. На тайной сходке духовных и мирян протест, переполнявший их сердца, не выражался в демагогических речах, не перерастал в коллективную истерику,— он укрепляет волю, он пробуждает совесть и велит продолжать борьбу за справедливость и за свободу, даже если это будет стоить отрубленных рук, размозженных голов, изуродованных тел, брошенных гнить в канавы. Дон Максимилиан не принимал участия ни в таинстве отпевания, ни в политических беседах — он сидел у себя в келье и размышлял.

Бдение его длилось целую вечность, пропасть унижения и бесчестия была бездонна, но вот наконец глаза его сомкнулись: благо-

детельный сон смежил его вежды, но не извлек клинок позора из сердца, не утишил скорби, не смирил тревоги, не избавил от горечи поражения и осознания краха. Затерянный в пустыне мира дон Максимилиан подписал отречение. В письме на имя его превосходительства ректора Баиянского университета он слагал с себя обязанности директора Музея, которые так плодотворно и неутомимо исполнял на протяжении десяти лет. Да будет сказано во всеуслышание и закреплено в этих строках, что только благодаря ему обрел Музей превосходную организацию, богатейшие фонды, громкую славу общенационального и международного центра науки, всеобщее признание, неоспоримый авторитет.

Решение было принято в безмолвии монашеской кельи, наедине с самим собой. За стенами обители ждали дона Максимилиана легионы врагов, готовые растерзать его, вывалять в грязи, возвести на Голгофу. Разговаривая в четверг утром с ректором по телефону, он уж собирался сообщить об отставке, если статуя не отыщется, но промолчал — еще оставались время и надежда; в беседе с викарным епископом Клюком он сказал, что примет увольнение от должности и затворится в монастыре, и его преосвященство согласился: в самом деле, после такой нелепой и скандальной истории он не может оставаться ни в прежней должности, ни в Баии. Итак, отречение и изгнание! Перед лицом смерти одно другого стоит.

Изгнание? Да-да, изгнание! Дон Максимилиан, повитый промозглыми германскими туманами, исколесивший весь свет, бывавший в Европе, в Азии и в Америке, бросавший якорь в стольких гаванях, без устали работавший, только под палящим солнцем Баии обрел свою истинную родину, ступил на берег земли обетованной, которая приняла его радушно и сердечно. Мало того, он обрел и истинную свою сущность в этом краю, омываемом баиянским морем, в стране людей пламенных, наделенных творческим воображением, и добрым сердцем, и смешанной кровью — непременным условием их существования. Дон Максимилиан пересек пустыни, не согнулся под ударами житейских бурь и припал к этому животворному источнику, имя которому — гуманизм.

В ужасную ночь исчезновения Святой Варвары, под бредни Эдимилсона, грезившего наяву, он, дон Максимилиан фон Груден, воззвал к небесам, проклиная тот день и час, когда прибыл в Баию. Он поносил народ, в котором все сливается и перемешивается, окаянную страну, не знающую границы между явью и сном, людей, верящих в чудеса и фетиши. Бог знает, какую хулу изрыгал он в тот час, себя не помня, какую чушь нес. Он тут же пожалел об этом, пожалел и раскаялся. Как только дон Максимилиан представил себе, что придется, быть может, уехать прочь, покинуть этот город и его смуглых милых жителей, он понял: всякое другое место на земле станет местом его ссылки.

Да, наверно, он, вдумчивый и отважный исследователь, блестящий ученый, признанный во всем мире специалист, не пропадет — отыщет себе пристанище в другом аббатстве, в другом каком-нибудь музее или научном центре, изучающем религиозное искусство. Но нет в мире уголка, где бы жизнь так радовала его и тешила, как в Баии. Нет! Не существует!

Много бумаги извел он, пытаясь объяснить, почему принужден уехать: исписывал страницу за страницей, размышляя, вспоминая, оправдываясь и прося прощения. Ни один из трех вариантов этого прощального письма его не удовлетворил и не был дописан. А то, что получилось в итоге, заняло всего несколько строк: дон Максимилиан уведомлял, что уходит в отставку и уезжает, чтобы никогда больше не возвращаться. Ибо если вернется, то захочет остаться.

Когда рассвело, он пошел в церковь, преклонил колени, перекрестился. На кухне ему дали кофе и ломоть хлеба. Он послал за газе-

тами, попросил передать настоятелю, что он здесь и хочет его видеть. Как можно скорее.

НАСТОЯТЕЛЬ — Ну, а покуда дон Максимилиан, поневоле ставший терпеливым, ждет приема у настоятеля монастыря Сан-Бенто, а почтенный аббат перечитывает текст своей проповеди, посвященной убийству в Пернамбуко — он произнесет ее в воскресенье с церковного амвона,— воспользуемся паузой и сделаем еще одно отступление в нашем извилистом повествовании.

Движимый чувствами искреннего уважения и приязни, я со всеми почестями, на которые он имеет безусловное право и которыми — почестями, а не правами — не пользуется, представляю вам настоятеля обители Сан-Бенто дона Тимотео Аморозо. Его присутствие в моей истории, где толпятся и толкаются столь многочисленные падре и поэты — превосходные и отвратительные, владеющие тайной и словом или безграмотные,— окажет на меня вдохновляющее действие.

Прежде чем облечь костлявые рамена белой сутаной, дон Тимотео был самым обыкновенным человеком, гражданином и семьянином, имел жену и детей и со всем на свете знаком был не понаслышке. Он принял постриг, когда овдовел и, врачуя потерю, обратился за утешением и радостью к богу. Он писал стихи, хоть никогда их не печатал, и поэзия была присуща каждому его шагу, каждому мигу жизни, прожитой так, как подобает человеческому существу. Дон Тимотео Аморозо возродил в Баии традиции тех славных апостолов, которые не довольствовались тем, что обращали в христианство индейцев и негров и призывали их к покорному смирению.

Падре Мануэл де Нобрега появился в Бразилии в числе первых иезуитов, открыл на горé школу, был среди тех, кто основывал на востоке мира город Баию — прекраснейший из всех. Здесь, с амвона церкви да Се гремели проповеди непримиримо верующего в чудо падре Антонио Виейры, выражавшего чаяния невольников из лесов и с плантаций. Святая инквизиция, преследовавшая его при жизни, не успокоилась и несколько веков спустя и, чтобы заглушить его трубный глас, снесла церковь, своды которой еще хранили отзвук гневных обличений, неистовых нападок на воров, трусов, палачей.

Два монаха, носившие имя Агостиньо — де Пьедаде и де Жезус,— сотворили облик святых, даровали им вечную жизнь в камне, дереве, глине. Брат Канека, предшественник падре Энрике Перейры, бежал из Пернамбуко и был для устрашения и примера расстрелян на Кампо-де-Полвора, в самом центре Баии. Многие-многие другие, чьи имена, к прискорбию, изгладились из памяти автора этих строк, скверно знающего историю, с самоотверженной любовью посвятили себя городу Баии и обитателям его. Но никто не сравнится с доном Тимотео Аморозо, настоятелем аббатства Сан-Бенто.

За несколько дней до описываемой нами пятницы он предоставил в своем монастыре убежище и защиту студентам, которые устроили манифестацию на площади Кастро Алвеса. Их разогнали дубинками, но плакаты и лозунги вознеслись над прутьями монастырской ограды. Чтобы конфисковать их, чтобы перехватить смутьянов, цепным псам правопорядка надлежало вломиться в Сан-Бенто, однако на дороге у них стал, раскинув руки, тщедушный монах — и они не осмелились войти. Пришлось удовольствоваться злобным лаем с площади.

Когда в городе праздновали пятидесятилетие матушки Менининьи де Гантоис, хранительницы афробразильского культа, наследницы преследуемой и запрещенной религии чернокожих рабов, главной жрицы йалориши Баии и Бразилии, дон Тимотео отслужил в монастырской церкви торжественный молебен и произнес похвальное слово ревностному ее служению богам и людям Баии.

Вот вам только два деяния, два поступка, два примера из десятков подобных — и этого достаточно, чтобы благосклонный мой чита-

тель смог увидеть в полный рост и во всем блеске нового персонажа, который появляется в моей хронике затем лишь, чтобы исповедовать дона Максимилиана.

РАССУЖДЕНИЕ О ЧУДЕ — Разумеется, никто не узнает ни словечка из того, что было сказано и выслушано на исповеди: тайна ее будет соблюдена неукоснительно, как предписывает нам святая наша матерь-церковь.

Скажу только, что дон Тимотео отнесся к дону Максимилиану с уважением, восхищением и пониманием, которые вполне заслуживал наш высокоученый монах, украшение ордена бенедиктинцев, и что, отпустив ему грехи и наложив не слишком суровую епитимью, он обещал помочь ему и добиться перевода в один из монастырей Рио, куда тот собирался переехать немедленно по сдаче дел.

Увидев, что дон Максимилиан исполнен решимости, но напрочь лишен душевного спокойствия, аббат завел с ним дружескую беседу. Он спросил, почему директор сомневается в милосердии и всемогуществе божьем и не уповает на чудо:

— Ведь чудеса существуют, они происходят ежеминутно, и одна лишь гордыня не дает нам заметить их.

Разве то, что привело Эдимилсона на причале в такой трепет, не было чудом? Почему же дон Максимилиан сомневается в нормальности своего помощника и не верит в существование других чудес? Чудо — это тот самый хлеб насущный, что дает нам господь. А уж здесь в Баии, где такое множество богов и столько сверхъестественных явлений, чудесам можно и вовсе счет потерять: на них уж внимания не обращают, они входят в обиход, становятся обыденностью.

— А разве не чудо — жить в таких условиях, как наш народ живет? Величайшее чудо.

Аббат не стал развивать тему нищеты, поскольку собеседнику его, мучившемуся непритворно, было явно не до этого: тоска грозила обернуться раздражением и неприязнью. Аббат окинул взглядом — а глаза у него были цвета пронизанной солнцем воды — устало опущенные плечи, измученное лицо дона Максимилиана и пожалел его. Какой же бальзам излечит эту разверстую рану? Притча об учителе и ученике, застывших на пустынном причале.

И дон Тимотео сказал тогда, что знания иногда становятся шорами на глазах, что наука порой превращает нас в нетерпимых, спесивых, недоверчивых дурней. А вот Эдимилсон, недоделанный ангел господень, не пожелал превратиться в самодовольного догматика, носящего свое самолюбие, как беременная — живот, не захотел, чтобы наука убила в нем веру в чудо. Сын мой, брат мой во Христе, милый дон Максимилиан, последуйте его примеру: отриньте границы и рамки, не обуздывайте свое воображение, не унимайте фантазию, ибо превыше науки, которой владеем мы,— божья благодать и поэзия.

МУЧЕНИЧЕСКИЙ ВЕНЕЦ — В приходе Пиасавы падре Абелардо Галван кое в чем убедился на собственном опыте, а кое о чем знал только понаслышке. Со времен семинарского отрочества и по сию пору слышал он предписания, ограничения, запреты, правила и каноны. Рамки были узки, запреты — многообразны.

Отец его, преуспевающий врач, мечтал, чтобы сын пошел по его стопам, стал помощником и преемником. Мать, всю жизнь жадно глотавшая романы, видела его ученым, профессором университета. Однако бабушка, женщина богатая и властная, произнесла свой приговор: «Хочу, чтобы внука моего возвели в сан епископа, хочу поцеловать перстень у него на пальце, но при этом не он чтобы меня благословил, а чтобы я — его». Звали ее Эделвайс дос Рейс-Ризерио, овдовела она рано, лет в тридцать, высока была ростом, дородна телом и непреклонна нравом.

Ни в какой бинокль не разглядишь вожделенных регалий епископства — очень они далеки. Не знаю, может, в ту подзорную трубу, через которую бабушка Эделвайс с веранды своего дома оглядывала бескрайние пастбища, и можно их заметить. В редких письмах она сетовала: «Что за блажь такая — добиваться епископской митры в Баии?»

Ах, бабушка, подвела тебя твоя труба. И перстень, и митра так и останутся недосягаемыми. Какое там епископство! Пастырю крошечного нищего прихода в Пиасаве и то грозит опасность: монсеньор Рудольф Клюк предъявил ему ультиматум: или прекратите свою подрывную деятельность, или мы вас из Пиасавы уберем. Вот, бабушка, какое у меня епископство — я бедный попик, которому грозят большие неприятности. За спиной дона Рудольфа — гигантская тень Жоазиньо Косты, обрекающего на смерть безземельных крестьян. Добра не жди.

Зато совсем рядом, только руку протянуть — мученический венец: сеньор Пауло Лоурейро привез из Ресифе кое-какие известия. Рассказывая монахам про убийство падре, давая анализ политической ситуации в стране, он назвал бенедиктинцев «товарищи» и сказал: «Мы возвращаемся к временам мучеников».

Абелардо Галван был с ним согласен: да, воскрешаются героические эпохи, когда христианские мученики жизнью расплачивались за то, что несли в мир истину Священного писания. Вновь наступает опасное, волнующее время «Церкви бедняков» в расколотом надвое мире, и римская католическая апостольская церковь, мечась между богатыми и обездоленными, тоже оказалась разделенной надвое. Горсточка прогрессивно настроенных священников — против легиона попов-мракобесов... Падре Абелардо смотрел на узкий круг монахов и мирян — слово «товарищи» приблизило их друг к другу в этот тревожный час, породнило, сгладило разницу. Ему вспомнились бабушкины слова: «Я требую, чтобы ты стал настоящим священником, а не одним из тех надушенных, надутых спесью щеголей, которые разгуливают у нас в Порто-Алегре. Я хочу, чтоб ты стал истинным служителем господа, а не божьей потаскухой мужского пола». Дона Эделвайс не любила обуздывать свой нрав — и в верховой езде, и в жизни предпочтительней казались ей шпоры.

«Настоящим священником...»? Но уж тогда точно не придется тебе, бабушка, целовать мой епископский перстень, ибо требование твое несовместимо с твоей мечтой. По велению свыше стал Абелардо в ряды армии бедняков, плечом к плечу с самыми неимущими — с безземельными батраками. Он исполнил клятву, которую дал при рукоположении, когда простерся на полу в церкви, принимая святое причастие. Дона Эделвайс, чье поместье находилось в штате Рио-Гранде-до-Сул, знала, как бедно живут ее пеоны, но даже и представить себе не могла нищенское положение крестьян Северо-Востока.

Падре Абелардо выполнил обет — невзирая на угрозы, на газетную клевету, на неодобрение церковных иерархов, на зловещие предупреждения. А сколько тех, кто действовал против несправедливости открыто и бесстрашно, пал жертвой наемных убийц, подосланных латифундистами. Список их длинен и пополняется все время: не проходит недели, чтобы не находили труп падре в каатинге[1] или в зарослях на плантации, или на пустынных берегах реки Сан-Франциско — всюду, где бесправные батраки осмеливаются предъявлять права на землю, которую обрабатывают.

Пастырь Пиасавы был настоящим священником, ибо требовал от своих прихожан, живущих хуже скота, не смирения, но сопротивления. Но довольно ли вести себя мужественно, чтобы иметь право называться настоящим католическим священником? Готовясь принять

[1]Каатинга — равнина, поросшая кустарниками и редколесьем, на северо-востоке Бразилии.

мученический венец, падре Галван решил вырвать из своей объятой пламенем груди даже намек на малейшее неповиновение обету. Надо угасить это пламя, надо затоптать его раз и навсегда, чтобы во веки веков от искры греха не вспыхнул, сжигая сердце, пожар. А ведь искра эта уже проскальзывала: не далее как вчера в машине, и потом, на обеде в честь французов, и когда прощались — «пока, завтра увидимся в театре»,— когда губы Патрисии, влажные и горячие губы, коснулись его иссушенных и жаждущих уст. Можно ли считать настоящим священником того, кто свершил смертный грех? Ах, бабушка, это трудней, чем ты думаешь.

Но если говорить начистоту, он не знал, какой смысл вкладывала дона Эделвайс в понятие «настоящий священник». Кстати, о ней самой и о местном падре много чего поговаривали в округе. Каноник Жезуино Санто Доминго командовал гаучо в приснопамятных войнах конца века, скакал на коне в своей сутане с карабином поперек седла. Он точно сошел со страниц романа Эрико Вериссимо[1]. «Спит он с доной Эделвайс»,— шушукались и пересмеивались пеоны и горничные-китаянки. Однако не осуждали ни хозяйку, ни своего пастыря — дело житейское, природа свое возьмет. Так что же все-таки понимала бабушка под этими словами?

ИЗБРАННИК — «Все тебе объясню,— сказал падре Абелардо Патрисии, когда та позвонила узнать, почему не явился он в театр,— я был на мессе по мученику, а потом пытался понять причины и следствия его мученичества». Патрисия удивилась. «Да, вновь настают времена апостолов и самопожертвования: теперь исполнение Христова завета означает беспощадное преследование, подлую клевету, а может стоить и жизни»,— отвечал он возбужденно и даже весело. Абелардо чуть было не сказал Патрисии «товарищ», но вовремя прикусил язык.

Патрисия слушала эту торжественную речь с явным нетерпением. Сегодня, в пятницу, группа «Большой шахматной доски» должна была работать на Пелоуриньо, снимая то, что в сценарии называлось «баиянский карнавал» с участием африканских групп, афоше «Дети Ганди» и «Интернасьонаис» и школ самбы, среди которых блистала руководимая композитором Валтиньо Кейрозом и его пламенной и неугомонной матушкой доной Луз да Серра. Накануне по радио и по телевизору всех желающих приглашали собраться к пятнадцати часам на Пелоуриньо, где электротрио Додо и Осмара начнут этот импровизированный карнавал. Нилда Спенсер твердо пообещала Шанселю, что придет от двух до трех тысяч человек самое малое, и француз задрожал от восторга.

— Потом расскажешь...— перебила падре Патрисия.— Нет-нет, мне это очень интересно, говорить сейчас не могу, просто зашиваюсь... Я жду тебя в два у Школы, ровно в два часа — дня, разумеется... Да! Знаешь, я даже перекусить не успею, принеси, если сможешь, сандвич. Да, с ветчиной. А лучше с колбасой. Я колбасу больше люблю. А тебя — еще больше. Разве ты не знал? Ну так знай, мой милый мученик, мой Святой Себастьян. И пожалуйста, вымой шею: тебя же будут снимать,— дерзко добавила она.

Вот ведь человек: ничего у нее толком не поймешь, ничего прямо не говорит, обольстительница! А что это она несла про шею? Неужели опять телевидение? Неужели ей мало было обеда на рынке? Даже представить себе трудно, что скажет викарный епископ, если увидит своего священника за одним столом с комедиантами и полуголыми танцовщицами — исполнительницами самбы. Абелардо вспомнил вкус ее горячих губ. И еще смеется над его мученичеством: «...мой Святой Себастьян, я люблю колбасу, а тебя — еще больше, так и знай!» Ах,

[1] Эрико Вериссимо (1905—1975) — бразильский писатель.

бабушка, какое это беспокойное и рискованное дело — быть настоящим священником!

Не в силах отделаться от упорно одолевавших его мыслей, он сказал бы Патрисии, что исполнение Христова долга — дело избранных, а он этой чести не заслуживает, не достоин ее, но если господь предназначил его для мученического венца, если поместил среди избранных,— он готов, он не отступит. Однако Патрисия положила трубку, прежде чем пастырь Пиасавы успел поклясться ей, что опасность его не страшит, что он никогда не бросит бедняков и что никто никогда не заставит его отказаться от общины, не замкнет его уста, несущие господне слово. Падре Абелардо Галван пылал, горел, был исполнен страсти — в общем, хоть сейчас на крест или на колесо.

НАЕМНЫЙ УБИЙЦА — Вот только не знал наш божий избранник, готовый принести себя в жертву, что на Ларго-де-Сан-Бенто, на площади перед бенедиктинским монастырем, стоит, пожевывая спичку, Зе Ландыш в дождевике, в шляпе с опущенными полями, в темных очках, поджидая его, чтобы сопроводить в какое-нибудь укромное место и там активно споспешествовать приятию мученического венца: в данном случае пули в лоб. Револьвер у Ландыша был шестизарядный, но больше одной пули он в таких случаях до сей поры еще не тратил.

Зе Ландыш был человек верующий и богобоязненный. Глубоко почитал господа бога и падре Сисеро, небесного покровителя и заступника разбойников, бандитов и в особенности наемных убийц. Разумеется, полицейским, палачам, солдатам летучих кавалерийских отрядов и другим преступникам уповать на небесную защиту не приходилось. Зе Ландыш слушал мессу в монастырской церкви, размышляя о царствии небесном: славное, наверно, место: целый день играет музыка и все кушают манну — неземного вкуса лакомство. При этом он не сводил глаз с падре Абелардо.

Надо было накрепко запечатлеть в памяти его физиономию, чтобы не повторить ошибку, совершенную однажды на ярмарке в Каруару. Он тогда застрелил не того, кого следовало,— выпил рюмочку кашасы, закусил ломтиком вяленого мяса, подобрался почти вплотную: похож, похож на обреченного, а по правде говоря, ничего общего — только усики как у Чарли Чаплина, вот они-то и сбили Ландыша с толку... Здесь, в церкви Сан-Бенто, снова повинился он перед господом в своей ошибке. По его собственным подсчетам, на тот свет отправлено им было никак не меньше двадцати мерзавцев, Ландыш о них и не вспоминал никогда, и угрызений совести не испытывал, справедливо полагая, что без веских оснований человек заказывать убийство не станет — кто ж будет выбрасывать деньги на ветер?.. Но этот, из Каруару, остался у него на совести тяжким бременем: он даже мессу отслужил за упокой души по ошибке застреленного.

Но уж морда этого попика врезалась ему в память, уж тут-то он не обмишулится. Гад, наверно, без чести, без совести, один из тех, кто не признает господних заветов и хочет отобрать землю у законных ее владельцев, кто знать не желает ни границ, ни документов, ни законов... А может быть, он залез под юбку кому-нибудь из дочерей полковника Жоаозиньо: они обе на загляденье, особенно старшая, замужняя. Эти нынешние падре даром времени не тратят, долго вздыхать не станут: раз — и под кустик, ну, кроме тех, конечно, недоделанных, что предпочитают не брать, а давать. Ландыш не слишком строго порицал первых: кто отказывается от того, что само в руки идет, недостоин царствия небесного, а вот извращенцев, сброд поганый, презирал всей душою.

Полковник Жоаозиньо Коста уплатил вперед, потому что в эту пятницу должен был раненько утром куда-то улетать по срочному и внезапно возникшему делу. Зе Ландыш дело это понимал — не ма-

ленький: заказчик предпочитал быть подальше в час «Ч», в момент истины, в миг исполнения правосудия. Божьего правосудия, сказал полковник Ландышу, ибо на этих хмырей с дипломами юристов надежда плоха, они до скончания века ковыряться будут, а падре-безбожники вконец обнаглели, сколачивают оравы оборванцев и захватывают чужие земли.

И, обвеваемый утренней прохладой, чистый сердцем и помыслами, безгрешный и праведный, стоял Зе Ландыш на Ларго-де-Сан-Бенто, готовясь исполнить поручение, поджидал приговоренного падре, у которого шансов уцелеть не было никаких. Приговор вынесен тем, у кого есть на это право, за работу уплачено — и хорошо уплачено, физиономию жертвы Ландыш узнал бы из тысячи других, так что его преподобие мог уже считаться покойником и заказывать по себе панихиду.

НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА — А викарий Санто-Амаро, несносный падре Тео, тем временем во главе лучших людей города свершал последние приготовления к отправке Непобедимой Армады в Баию. Цель — отбить Святую Варвару, привезти ее назад, вернуть на прежнее место в алтаре церкви. Прежде всего, конечно, найти ее, где бы она ни таилась.

А где же ей таиться и кто ее таит? Для викария тут сомнений не было: статуя спрятана в каком-нибудь укромном месте, и это дело рук директора Музея, которому оказывает содействие сам кардинал. Но припертый к стене разгневанным народом, негодный монах признается в своем злодеянии, вернет святую. Тут ему никакой кардинал не поможет.

Городу же Санто-Амаро грозила опасность остаться без горожан: все хотели принять личное участие в вызволении святой, и для этих тысяч добровольцев не хватало уже места на кораблях и судах, хоть было их, видит бог, немало. Главное было не сколотить ополчение, а не допустить, чтобы участники экспедиции передрались из-за места, из-за плаката, из-за пальмовых ветвей. Кончилось тем, что дона Кано, привыкшая разбирать ссоры и улаживать тяжбы, поднаторевшая в принятии единственно верных решений, вынесла вердикт: каждая семья выделяет по одному представителю. Но даже и после этого галеоны и каравеллы остались перегруженными: Санто-Амаро рвался в бой.

Погрузка началась после полудня. Многие суда, прибывшие к месту отправки, были уже до отказа забиты развеселым воинством. В дорогу запаслись разнообразной и обильной снедью — были тут и бутерброды, и фрукты, и крутые яйца, и жареные цыплята, и рыба, и мясо — вяленое, копченое, жареное,— и свиные отбивные, и пирожки с креветками, и паштеты из крабов... Перечислять можно до утра, но, боюсь, аппетит разыграется, слюнки потекут. А я еще не упомянул о целых батареях пива и прохладительных напитков и о тайно пронесенных, вопреки запрету, бутылках кашасы. На яхтах — было их всего четыре, и принадлежали они богачам — рекой лилось виски.

Старушки из Общины Пречистой Девы Блаженного Успения составляли экипаж одного из лихтеров, и на палубе его царило непритворное оживление. Вырядились они как на праздник: белые юбки с кружевами и оборками на накрахмаленных чехлах, баиянские кофты, и на груди у каждой сияла и горела червонным неподдельным золотом ладанка — чудо ювелирного искусства. Из этих чернокожих веселых старушек кому было под восемьдесят, а кому — за, а кому и больше девяноста. Семидесятишестилетняя Баду считалась между ними девчонкой, а старейшина их, Мария Пиа, родилась еще во времена рабовладения. Беззубыми своими деснами жевала она ломтики сахарного тростника.

Комиссару Риполето, со вчерашнего дня находившемуся под присмотром юных атлетов, развязали руки, дали куриную ножку, два банана, пастилы, хлеба. Нет, в плену он с голоду не помрет. Потом опять связали ему руки за спиной, потому что, попросившись в лесок по малой нужде, он попытался удрать. Комиссар, преодолевая понятную тревогу — «не придушат ли меня по дороге?» — даже и в столь стесненных обстоятельствах помнил о служебном долге и фиксировал в памяти — жалко, что память дырявая! — приказы мятежных главарей и начертанные на картоне лозунги: «Требуем возвращения Святой Варвары!», «Святая — наша!», «Долой музейный империализм!», «Да здравствует Святая Варвара!», «Да здравствует падре Тео!»

Непобедимая Армада, поставив все паруса, к трем часам пополудни была уже готова и ждала только приказа выступать, чтобы доплыть до Баии, выгрузиться, дойти до монастыря Святой Терезы, где размещался музей, осадить его и воспрепятствовать назначенному на девять вечера вернисажу. Да, паруса были поставлены, экипажи набраны и подготовлены, десантные команды рвались в бой, воины и маркитанты размахивали пальмовыми ветвями, транспарантами и плакатами, флагами и хоругвями — неисчислимая сила баркасов, ботов, шхун, яхт готовилась отчалить, проплыть по реке Парагуасу, стать на якорь у Рампы-до-Меркадо. Подобных флотов не видано было со времен войны с голландцами.

Викарий, вооруженный боцманской дудкой, окруженный детьми и паствой, взяв себе в вестовые репортера Гидо Герру и фотографа Батисту, распрощался с кумой и экономкой Мариной и ступил на палубу флагманского корабля, объявив, что командует флотом.

РЕШЕНИЕ — После беседы с настоятелем дон Максимилиан фон Груден довольно долго ломал голову над тем, как бы ему пробраться из обители Сан-Бенто в Музей и остаться незамеченным журналистами: они продолжали нести караул во дворике — кто, убивая время, перебрасывался в картишки, кто слушал транзистор, а Жозе Берберт де Кастро, у которого всюду были связи, нашел пристанище в мастерской Роке, помещавшейся прямо напротив церкви Святой Терезы, и развалился в кресле, любезно предоставленном ему «популярнейшим мастером резьбы по дереву» — так он аттестовал его в одной из статей, посвященных исчезновению святой.

Итак, всласть поразмышляв и окинув мысленным взором те передряги, которые выпали на его долю за эти чудовищные двое суток, а также те, которые еще маячили впереди, дон Максимилиан принял окончательное решение. Раз уж он все равно пропал — спасти его могло бы только чудо, но вопреки упованиям дона Тимотео он по-прежнему в чудеса не верил,— то надо встретить беду с гордо поднятой головой, а не убегать от нее, не прятаться. И раз уж он решил, как ему вести себя, когда грянет час крестной муки, зачем же поступать так жалко и трусливо? Изготовившись к худшему, он слегка воспрял духом. Точно побежденный и обесчещенный самурай в порыве самоубийственного героизма, достал он оружие, которым перед лицом неумолимых судей свершит харакири,— вынул из кармана прошение об отставке. Раз уж он решил уйти с должности и покинуть Баию, чего ему теперь бояться?

В предсмертном приступе кокетства он оправил помятую сутану. Жаль, что нет зеркала, чтобы придать лицу выражение надменности с легкой примесью светлой печали. Бледность ему идет. Скрывая глубочайшую растерянность и полный упадок, вышел он из ворот аббатства, смешался с толпой прохожих и в их утомительной толчее поднялся по Сан-Педро, сделал вид, что не заметил, как показала на него мужу какая-то женщина: «Смотри, смотри, это тот, чья фотография была в газете!» — свернул за угол, двинулся по улице Байшо, увидев вдалеке доктора Одорико Тавареса — он шел к себе в редак-

цию, таща за руку профессора Эдвалдо Боавентуру. Они о чем-то разговаривали и смеялись. Конечно, над ним.

Дон Максимилиан с вызывающим видом прошел мимо редакции, но никто его вызова не принял да и не заметил. Ему захотелось войти, но зачем? Что ему там делать? С лестницы, связывающей улицу Байшо с улицей Содре, дон Максимилиан долго смотрел на церковь и монастырь Святой Терезы, на патио и сад, на весь этот ансамбль — один из красивейших в городе,— врезанный в ни с чем не сравнимый пейзаж: море и горы. Это — его музей, его дом, его жизнь. Крестьянин в куртке из грубой кожи шел навстречу, таща за недоуздок малорослого медлительного ослика с гигантским вьючным седлом на спине. Дон Максимилиан проводил взглядом их обоих, задержал взгляд на седле, зажмурился, чтобы картинка эта покрепче врезалась в память. Потом стал спускаться по лестнице, на каждой ступеньке раскланиваясь с соседями.

Он замедлил шаги у мастерской Зу Кампоса, резчика по дереву, занятого своим ремеслом. Заметив монаха, тот отложил стамеску, улыбнулся приветливо:

— Доброго здоровьица, дон Максимилиан.

— Что ты делаешь, Зу? Что это будет за святая?

— Как же вы не признали Святую Варвару? Вот и колчан. Если Громоносица из Санто-Амаро так и не объявится, можете взять на выставку мою.

На маленькой картине, висевшей у входа, летел по небу ангелок: вокруг него цвели синие цветы, порхали розовые птицы.

— Сколько хочешь за этого ангелочка, Зу?

— За «Мулатика»-то? Нравится?

— Очень.

— Вы себе хотите или подарить кому?

— Себе.

— Тогда нисколько. Все, что здесь есть, ваше.

Дон Максимилиан знал, что, если он будет настаивать, резчик обидится.

— Ну, спасибо, большое тебе спасибо. Отложи ее, я кого-нибудь пришлю. А у меня тоже есть для тебя подарок на память: я сочинил книжку про Святую Варвару Громоносицу из Санто-Амаро. Твоя почти так же хороша, как и та.

Он хотел рассказать резчику, что в планах Музея на следующий год значится выставка современного баиянского религиозного искусства — от Пресилиано до него, Зу. Ванды-Нада и Осмундо — в дополнение к той, что откроется сегодня в девять вечера и где не будет представлена никакая Святая Варвара — ни та, ни другая. Однако проект этот так и останется в голове и бумагах экс-директора и никогда не осуществится, так что толку говорить о нем?! Всего через несколько часов он станет бывшим.

Он одолел последние ступени и только лишь ступил на мостовую, как его облепили репортеры и посыпались вопросы. Из дверей Роке ринулся к нему на удивление проворный при своей тучности Берберт: «Мы уж думали, вы в Рио или по дороге в Германию!»

Дон Максимилиан, невозмутимый и бестрепетный — печально-надменное выражение мраморно-бледного чела — нет, лучше так: «на челе, словно выточенном из слоновой кости»,— даже не остановился, продолжая размеренно шагать по направлению к монастырю, не отвечая журналистам и не отбиваясь от них. Зе Берберт крепко держал его за рукав сутаны.

У входа в Музей директор, по-прежнему не теряя самообладания, обернулся и с расстановкой проговорил:

— Минуту внимания, друзья мои. Выслушайте меня и не перебивайте. Вы ведь со вчерашнего дня только и добиваетесь? Ну, так вот,— он взглянул на часы,— сейчас без четверти три, четырнадцать

сорок пять. Ровно в половине девятого, в двадцать тридцать — через пять часов, точнее, через пять часов и сорок одну минуту,— состоится торжественное открытие Выставки Религиозного Искусства, куда я всех вас приглашаю. Вот тогда я и выскажусь. Потерпите. Пять часов — это не так уж страшно.

Он улыбнулся Берберту, высвободил рукав, шагнул через порог и запер дверь изнутри.

СВЯЩЕННАЯ ПОДПИСЬ...— Ему пришлось на мгновение прислониться к косяку: дурно, перед глазами пелена, под ложечкой сосет, во рту горько — он не обедал сегодня и не испытывал голода. Дон Максимилиан вытащил платок, вытер холодный предобморочный пот. Нацепил маску небрежного безразличия — никто не засмеется ему в лицо. Поднялся на первый пролет лестницы.

По залам, отведенным для выставки, молча сновали сотрудники, Жамисон Педра, художник и архитектор, устремился навстречу:

— Пришел навести последний глянец.

— Очень любезно с вашей стороны, Жамисон.

Тотчас директора окружили и остальные.

— Заканчиваем,— сообщил Жилберт Шавес,— не хватает лишь экспонатов из собрания Мирабо Сампайо. Я хотел привезти их, а он отказался: сам, говорит, доставлю. Места мы уже наметили.

При упоминании осторожного коллекционера дон Максимилиан не смог сдержать улыбку: Мирабо Сампайо, увенчанный многими премиями скульптор, график и живописец, работы которого пользовались огромным спросом, обладал самым большим и изысканным собранием деревянной скульптуры.

— Странно, что он вообще согласился участвовать в нашей выставке: не испугался, что я не верну ему его сокровища.

В эту самую минуту вошел упомянутый Мирабо, словно младенца, бережно прижимая к груди статую Святой Екатерины Александрийской. О ней мечтали антиквары и коллекционеры, о ней вздыхали директора музеев, ибо на подоле ее одеяния вырезана была подпись брата Агостиньо да Пьедаде. «Один из четырех уникумов, подписанных великим мастером, который уступает только Алейжадиньо»,— тешил свое тщеславие Мирабо. Дон Максимилиан поспешил к нему:

— Позвольте смертному прикоснуться к этой святыне!

— Осторожно, она тяжелая.

Да, святая была тяжела и велика. Тонкие руки дона Максимилиана — тонкие руки с длинными пальцами — бережно приняли изваяние; восхищенная улыбка осветила его лицо, потемнело в глазах от алчности, когда в стотысячный раз он вгляделся в подпись, удостоверявшую подлинность и уникальность. Озабоченный Мирабо следил за этим ритуалом и вздохнул с облегчением, когда Святую Екатерину подхватил неискушенный Силвио Робато: опасность миновала, монах ничего не заметил. Не заметил и заметить не мог. Только он, Мирабо Сампайо, он один знал, где поставил он свою метку,— свидетелей этого не было. Не то чтобы он верил всем слухам о директоре, но накрепко затвердил одну заповедь: «Береженого бог бережет...»

— Сейчас отведем ей самое видное, самое почетное место,— сказал дон Максимилиан.— Как знать, может быть, в один прекрасный день удастся убедить нашего милого Мирабо, что Святая Екатерина Александрийская должна стоять не в частном собрании, а здесь, в Музее. Мы его убедим, и он нам ее подарит. Он ведь такой великодушный...

Насчет великодушия Мирабо существовали разные мнения, а сам он терпеть не мог шуточек такого рода. Директору доверять нельзя, особенно теперь, когда всплыла эта история со Святой Варварой Громоносицей. Он ответил ударом на удар:

— Смотрите, как бы я не передумал и не забрал ее назад!.. Не подарю, не продам и — самое главное! — на обмен, дон Максимилиан, я тоже не согласен. Не согласен! — Мгновенно вскипев, Мирабо повысил голос.

Директор понял, что коллекционер имеет в виду не обмен, а подмену. Чтобы утихомирить бестактного Мирабо, он уже во второй раз за сегодняшний день подумал, что надо бы устроить Выставку Современного Искусства: картины и скульптура Сампайо займут на ней достойное место — Пьета, например, да и Христос... И во второй раз оборвал он свою мысль: завтра он уже будет в отставке, какие там выставки?! Снова похолодело у него в груди: «Завтра я уже буду в отставке». Он взял Мирабо под руку:

— Пойдемте выберем ей место.

В сопровождении свиты сотрудников и служителей два сообщника, два подельщика, провернувшие немало замысловатых махинаций, пошли по залам выставки. Она была уже почти полностью развернута и охватывала период от колониальных времен до конца прошлого века, собрав воедино раритеты немыслимой красоты и ценности. В самой середине главного зала ожидал Святую Варвару пустой постамент. Дон Максимилиан велел унести его и заменить маленьким столиком времен голландского владычества, на столик поставили святую из Александрии, воссозданную в Баии Агостиньо да Пьедаде: скульптор, видно, был так доволен этим творением, что на видном месте вырезал свое имя.

Потом привратнику Алмерио было приказано принести прочие экспонаты, оставленные в машине Мирабо под присмотром Эдгарда: он — каждой бочке затычка. Мирабо, еще в ту пору, когда был бесшабашным вертопрахом, кумиром аргентинок из заведения «Батаклан», взял его в шоферы и телохранители: так они вместе и состарились.

Мирабо, хотя положительно помирал от любопытства и жаждал как можно скорее узнать о судьбе Святой Варвары, никак не показал, что знает из газет о ее исчезновении, ни словом не обмолвился о нагрянувшей к нему в мастерскую полиции: язык держал за зубами, а ушки — топориком. Но под конец все же не выдержал и у самых дверей, прощаясь, спросил вроде бы невзначай:

— А куда же вы решили поставить Громоносицу?

Дон Максимилиан, застигнутый врасплох, не ждал вопроса, но отвечать что-то было надо. И он сказал первое, что пришло ему в голову:

— А вот здесь, у входа, где я стою. Как по-вашему, удачно?

И, не дожидаясь одобрения, быстро пожал Мирабо руку, провожать его до лестницы предоставил своим подчиненным, тем более что влетел запыхавшийся караульный ангелок:

— Кардинал просит вас к телефону!

Кардинал со всей сердечностью приветствовал дона Максимилиана и не спешил расспрашивать его о святой. Он только что получил исчерпывающий доклад от викарного епископа и хотел теперь выслушать мнение директора. Дон Максимилиан выложил ему не тая все, что знал. В этот день он не получил никаких известий — газетные статьи не в счет,— не вспыхнула ни одна искра надежды. Из монастыря Сан-Бенто он звонил в управление общественной безопасности: не высказывая своего личного мнения, которое его высокопреосвященство мог бы счесть пристрастным, он сообщил, что доктор Калишто Пассос продолжает настаивать на виновности падре Тео... Подозрения его сменились уверенностью.

«Что? — вскричал кардинал.— Кого он считает виновным? Падре Тео?» Именно, именно, викария Санто-Амаро. Дон Максимилиан и на сей раз воздержался от комментариев и продолжил рассказ. Он сделал попытку связаться с начальником полиции, но безуспешно: пол-

ковник через кого-то из своих подчиненных велел передать, что новыми сведениями по делу не располагает. Дон Максимилиан сообщил кардиналу, что счастлив уже тому, что сам пока гуляет на свободе. Долго ли ему гулять, бог знает.

Кардинал пообещал поговорить с полковником и ввести дона Максимилиана в курс дела. Потом, уже в самом конце беседы, спросил, верно ли, что, по словам монсеньора Клюка, дон Максимилиан задумал уйти со своего поста и покинуть Баию, если к открытию выставки статуя не отыщется? Верно.

— Вам этот шаг представляется неизбежным?

— Не вижу иного выхода, ваше высокопреосвященство.

Быть может, он надеялся, что кардинал начнет возражать, скажет, что не принимает его отставки, что приказывает ему оставаться на своем посту. Ничего подобного он не услышал. Только вздохи и сетования:

— Как жаль, боже мой, как жаль. Но, наверно, вы правы, иного выхода нет.

Мог бы между прочим вспомнить, что и на нем лежит некоторая ответственность: не без его вмешательства попала Святая Варвара в Баию. Однако вспомнить не захотел. Крестный свой путь дону Максимилиану предстояло свершать в одиночку, и не найдется Симона из Кирены, который поможет ему взойти на Голгофу.

МОТОРИЗОВАННОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ — Падре Абелардо Галван оказался на заднем сиденье мотоцикла, обхватил обеими руками голый живот Патрисии, обняв ее, приникнув к ней, чувствуя и тепло ее тела, и само тело. Неслись они по центральным улицам города — от театральной школы до Пелоуриньо, запруженного народом.

«Садись! — скомандовала она.— Мы как всегда опаздываем. Жак уже уехал с Нилдой, Ги давно на Пелоуриньо. Две машины битком набили. Мы приедем раньше!» Падре Абелардо сомневался в этом, но когда она вскочила на мотоцикл, понял: удастся. Еще бы не удалось: сто километров в час.

На нем были джинсы и рубашка в цветочек — больше он ничего с собой в это краткое путешествие не взял, если не считать целлулоидного воротничка и нагрудника да двух черных трикотажных маек, на которых белым были напечатаны стихи Марио Кинтаны. Ну, а Патрисия была не столько одета, сколько раздета, ибо костюм ее был крайне скуден, хотя и ярок: постоянно разлетавшаяся юбка являла взору белые трусики и не прикрывала, но выставляла напоказ бедра. Коротенькая маечка на лямках безнадежно не справлялась с возложенной на нее задачей и еле-еле сдерживала напор рвущихся наружу грудей. Свои индейские волосы Патрисия собрала на макушке узлом, переплела цветами — получилось нечто вроде королевской короны. Королева карнавала предстанет перед французской съемочной группой.

В таком вот виде да еще в мотоциклетном шлеме на голове, чтобы уберечь макияж и прическу от ветра — босая, полуголая,— разгуливала она по театральному училищу, бросая вызов приличиям, подставляя себя ослепительному солнцу, ветру, взглядам, сияющая и совершенная, как мраморная статуя — какая-нибудь Венера Милосская или роденовская Ева. Отличие было только в том, что статуи смирно стоят в музеях на своих пьедесталах, а Патрисия двигалась и качала бедрами, и юбка ее то и дело распахивалась, открывая все, что только можно открыть.

«Чувственна, но не распутна, сладострастна, но не бесстыдна, ничего непристойного»,— так оценил ее падре Абелардо: он не стеснялся, глядел на нее во все глаза и не мучился сознанием своей греховности. Так же любовался бы он чайкой в полете, акацией в цвету, райской птицей. Ой ли? Так ли?

Претендентки на вакантные места звезд в галактиках театра и кино, студентки выпускного курса, обремененные одеждой не сильней Патрисии, бежали к двум автомобилям: за рулем одного из них сидел Миро. Падре удивился, отчего это не видно Силвии Эсмеральды — вчера она была самая веселая,— и осведомился о ней. Бедняжка Силвия вчера вечером заболела, был ответ, ее подруга, дона Олимпия де Кастро, тоже вращающаяся в высших сферах, позвонила из клиники и сообщила, что Силвии прописан постельный режим, но она уже вне опасности. Бедняжка! Угораздило же свалиться как раз накануне праздника, который бывает раз в сто лет.

Беседа падре с Патрисией текла не ровно и не гладко, то и дело прерывалась: она решала, торопила, командовала, отдавала приказания подругам, помощникам, шоферам и ему, падре Галвану. Потом, когда отснимут карнавал, она, пользуясь служебным положением, проведет его на ужин в узком кругу. У себя в Пиасаве он такого не едал: там в ходу каруру в честь святых Косьмы и Дамиана, а эта — в честь богини Иансан. Приготовят ее и съедят на рынке Святой Варвары, на Байша-дос-Сапатейрос, это два шага от Пелоуриньо, они отправятся туда прямо со съемки. Жасира де Одо-Ойа просила привести всю бригаду, никого не забыть — ни лакомку Жака, ни этого хорошенького французика, он из тех вроде бы, кто любит мальчиков, а может, и нет.

И вот в ту минуту, когда он меньше всего этого ожидал, падре Абелардо Галван оказался в самой гуще людей, про образ жизни которых он до сих пор только слышал, и, как правило, только гадости. Для него все было в новинку — их забавный жаргончик, и словно бы вовсе не существующая одежка. Они не заботились о том, чтобы выглядеть пристойно, они весело сквернословили, они ревниво оберегали свою свободу — прежде всего свободу нравов, а вернее, безнравственности, как утверждала молва, с чем готов был согласиться падре Галван, поглядев на них и послушав их речи, но вовсе не заслуживали бранных определений, приклеившихся к ним: «выродки, смутьяны, опасный сброд». Они оказались людьми симпатичными, милыми, сердечными. Никто не подтрунивал над затесавшимся в их среду священником — напротив: те, кто знал о деятельности падре, всячески его одобряли и поддерживали. И он, опальный и разыскиваемый полицией пастырь из глухого захолустья, очутившись среди поносимой и проклинаемой, вольной и вольнодумной богемы, игравшей в спектаклях Эроса Мартинса Гонсалвеса и в фильмах Глаубера Роши, не чувствовал себя чужим или посторонним. Наоборот, давно уж ему не было так хорошо, давно не дышалось так легко.

По этому лабиринту вела его, просвещая и наставляя, Патрисия. «Каруру,— объясняла она,— это традиционное угощение после кандомбле, но бывает оно далеко не всегда, а на террейро происходит волшба: боги-ориша нисходят к своим дочерям и сыновьям, танцуют и поют с посвященными и жрецами. Но на этот раз дадут и закусить».

— А ты никогда не бывал на кандомбле?

— Нет, хотя мне бы очень хотелось взглянуть. Слышал, что это красивое зрелище.

— Когда-нибудь свожу тебя. Ты ведь знаешь, что я — дочь Иансан? Выполнила все обряды, даже голову брила. Разве я тебе не рассказывала?

— Нет. Я понятия об этом не имел.

— Теперь будешь знать и держать ухо востро: дети Иансан шутить не любят, они — люди справедливые, но крутого нрава. Погоди, а кто же твой святой? Больше всего тебе подходит Ошала, но я бы хотела, чтобы им стал Шанго.

— Почему?

— Потому что Шанго — муж Иансан.

Католический священник, Патрисия, жениться не может, он дает обет безбрачия — принимая сан, он клянется хранить целомудрие и чистоту. Так мог бы ответить ей падре Абелардо, однако не вымолвил ни слова: может быть, столичная девица просто потешается: пробует коготки на нем, бедном деревенском пастыре. А сейчас, оседлав мотоцикл, ощущая ладонями ее шелковую кожу и безупречно вычерченный плавный изгиб, обнаружив совершенно неожиданно таинственную впадину пупка, пастырь Пиасавы, собравшийся стяжать терновый венец мученичества, спросил себя, куда, к дьяволу, провалились принятые им на рассвете важные, судьбоносные решения, твердые, неколебимые, окончательные? «Да... с ними, с решениями»,— сказала бы любая из учениц театральной школы, если бы прознала про его раздумья. Да, решения, принятые раз и навсегда, оказались невесомы как пух, дунул ветерок — они исчезли. А вот мука мученическая началась в тот самый миг, когда он вскочил на мотоцикл и оказался между райским садом и преисподней, между вечным блаженством и вечным проклятьем.

Он попытался было отодвинуться, отсесть от Патрисии подальше. Но когда мотоцикл на полном ходу, не снижая скорости, круто свернул за угол, падре, чтобы не слететь, пришлось приникнуть к амазонке, причем даже страх не помешал ему почувствовать под пальцами всю сладость мира. Предвестие истины пронизало его с головы до пят, так что похолодело в низу живота. Абелардо, у католического священника в низу живота ничего нет и быть не может.

Нечестивое, скорбное, нескончаемое путешествие падре Галвана, пастыря нищей Пиасавы, предводителя оклеветанной общины безземельных крестьян, продолжалось несколько минут: от Канелы до Пелоуриньо. Наплевав на правила уличного движения, управляемый Патрисией болид проносился мимо автомобилей, подрезал носы автобусам, обогнал машину Миро и «мерседес» Дженнера Аугусто. Целомудренные руки Абелардо лежали на тугом животе Патрисии, на территории мечты и греха. Левая рука (или правая), одним словом, то левая, то правая, скользила, прикасалась к пупку, поспешно устремлялась прочь, возвращалась, снова тянулась к нему — к бездне, к жерлу вулкана, к глубинам ада, и не было силы, способной остановить эту руку — левую или правую. Патрисия, привстав в седле, склонясь над рулем, вела мотоцикл, и спина ее была крепко-накрепко прижата к груди падре, падре, которому грозила смерть, а также вечная погибель души. Да что же значит, бабушка, «настоящий священник»? Наделен ли он тем, что должно быть у всякого мужчины, или же нет?! Скажи, бабушка!

Падре Абелардо Галван в путах искушения, в тенетах соблазна, рискуя быть отлученным от церкви, мчит на карнавал, устроенный французским телевидением. А потом отправится на рынок Святой Варвары, отведает каруру богини Иансан, супруги Шанго. Ах, Патрисия, Шанго я или нет, священнику жениться нельзя! Нельзя, Патрисия!

ВЕЩИ НЕВОЗМОЖНЫЕ — Условившись встретиться с падре Хосе Антонио в три часа у здания суда, Адалжиза вернулась домой. Сказать, что она была рассержена или разгневана,— значит ничего не сказать: она кипела и клокотала от бешенства. Настоящий комок нервов. Вместе с тем она была решительна, собранна и готова к действиям.

Когда при ее появлении распахнулись окна и двери и охочие до новостей соседки высунулись, чтобы полюбоваться на ее муки, она чуть было не взорвалась, однако сдержалась: незачем давать повод этой шантрапе, не услышат эти мерзавки от нее ни стона, ни жалобы, не получат никакой пищи для сплетен и пересудов. Этого удовольствия она им не доставит, зря надеются, подлянки. С гордо под-

нятой головой прошествовала Адалжиза до своих дверей, и лицо у нее было до того каменное, что даже главная интриганка и гадина Дамиана не осмелилась ни о чем ее спросить. Пришлось мерзопакостной этой твари удовлетвориться ехидным смешком, но ничего, ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Утешение, конечно, не бог весть какое, но другого у Адалжизы пока не было.

Данило, когда придет обедать, услышит кое-что интересное. Адалжиза отлично понимала, какую роль сыграл ее супруг во всех прискорбных перипетиях прошлой ночи. Роль ничтожную и мелкую! Никогда бы не смог он выработать такой сложный, такой изощренно хитроумный план: на футбольном поле растратил он всю свою сообразительность и находчивость, давно уже отдал кормило жене, а сам предпочитал плыть по воле волн — дрейфовать потихоньку.

Конечно, это все зараза Жилдета, эта она, горлопанка и скандалистка, сплела и провела интригу от начала до конца. А помогал ей макака Миро, черномазый прощелыга. Адалжиза словно своими ушами слышала, как они убеждали Данило: ведь он же опекун, у него такие же права, как у Адалжизы, ему и следует пойти к судье по делам несовершеннолетних, изложить свои доводы, высказаться насчет воспитания, получаемого Манелой у тетки. Наврать при этом с три короба, представить ее, Адалжизу, бессердечным и бессовестным чудовищем. Конечно, все это и было сказано — потому им и удалось убедить судью отменить свой приказ.

Размышляя о случившемся — насколько позволяла ей ярость размышлять здраво,— Адалжиза была оскорблена в лучших своих чувствах. Надрывалась, не щадя слабого своего здоровья, не покладая рук, не зная покоя и отдыха, жертвуя всем на свете ради того, чтобы воспитать племянницу в духе господних заповедей, чтобы охранить ее от порока и греха, чтобы не дать ей сбиться на дорожку бесстыдства и разврата, чтобы сделать из нее порядочную женщину. А родственнички, включая сюда и Данило, не только не воздали ей за самоотречение по заслугам, но и опозорили на весь свет, нанесли удар в спину. Не иначе как негодяйка Жилдета, спятившая на своих дикарских радениях, науськала на нее весь сброд с авениды Аве Мария, Дамиану и прочую сволочь, наклеветала на нее профессору Батисте, чтобы все стали свидетелями Манелиного бесчестья и ее, Адалжизы, поражения. Но до поражения еще ох как далеко, хорошо смеется тот... ну, словом, смотри выше.

Она рассчитывала, что главным ее оружием в этой борьбе станет сам Данило. Когда придет домой обедать, он услышит такое, что ему еще в жизни слышать не доводилось: то, что приберегла для него Адалжиза, не потратив на соседскую шваль. Никогда еще не была она так зла на него: с медовым месяцем и с первым годом замужества нечего и сравнивать. Тогда ей поневоле приходилось быть суровой и жесткой, она вынуждена была разговаривать с ним грубо, чтоб не лез с гнусностями, но все их ссоры перед ожидающим его скандалом померкнут и потускнеют.

Выложив ему все, что накипело, она заставит его вместе с нею отправиться к судье и отречься от всех тех мерзостей, которые он ему нагородил, и заявить, что он согласен, совершенно согласен с помещением Манелы к «кающимся». Да ведь судья, должно быть, не знает, что она прямиком из монастыря двинулась на кандомбле?

Итак, одно из двух: либо Данило сдастся, и смирится, и будет действовать и поступать так, как она того хочет, либо браку их — если понимать под этим союз двух любящих сердец, движимых единой волей,— конец. Либо он пойдет с нею к судье, либо — вон из дома. Третьего не дано. И пусть выбирает немедленно: вот бог, вот порог.

Все могла бы она скрепя сердце позволить мужу, все, кроме двух вещей. Первое: перебежать на сторону Манелы, помочь ей выбраться из монастыря и тем самым подтолкнуть к разврату и дикарским

обрядам. А о втором читатель уже осведомлен — ему яркими красками и в самой реалистической манере описаны кое-какие подробности интимной жизни счастливых молодоженов, не обретших гармонии в постели. Никогда, никогда не сдастся она на его уговоры и мольбы, которые звучат каждую ночь вот уже двадцатый год, никогда не пойдет по стезе порока, никогда не допустит она непристойностей и мерзкого распутства. Манела не пойдет по стезе порока, зад Адалжизы не будет предоставлен для похотливых притязаний. Аминь.

Утро выдалось столь беспокойное, что Адалжиза за всеми хлопотами и треволнениями позабыла, что сегодня пятница, что нотариус дает обед. Вот уж больше двадцати лет по пятницам Вилсон Гимараэнс Виейра, шеф Данило и его друг, устраивал в Нижнем Городе в ресторане «Колумб» обед. Одни гости считали вкус подаваемых там блюд божественным, другие — неземным. Адалжиза хотела, воспользовавшись отсутствием мужа, устроить себе пир и сварить свой любимый суп из мозгов. Данило это блюдо терпеть не мог, как, впрочем, и суп из бычьих хвостов,— странно, не правда ли? Ведь то место, откуда они растут, всегда вызывало у него повышенный интерес.

Не знала Адалжиза и никогда не пыталась узнать, по какому же поводу устраивались эти еженедельные застолья. А ведь пятница — это день Ошала, и по пятницам сыновья его и дочери облачаются в белое и празднуют своего святого. Каждый на свой манер. Нотариус Виейра, например, закатывает обед с молодым португальским вином. Постоянный и почетный участник бдений в ресторане «Колумб», профессор Батиста, неизменно заказывает в качестве закуски улиток — Данило они внушают отвращение. Нелишне будет заметить, что улитки, как их ни назови — «escargots» по-французски, «игбин» на языке племени йоруба или еще как-нибудь,— это не только кулинарный изыск, но и еда, посвященная богу Ошала.

КОРИДОР И ПРИЕМНАЯ — Адалжизе не сиделось дома, и в суд она пришла раньше времени.

Сначала попыталась дозвониться Данило, для чего пришлось идти в булочную сеу Мартинеса,— снова все соседи прилипли к окнам, но Адалжиза не удостоила их даже взглядом. Однако она опоздала: званый обед в «Колумбе» уже кончился, и официант с сожалением ей сообщил, что сеньор Данило совсем недавно ушел вместе с доктором Вилсоном Виейрой. Для очистки совести Адалжиза позвонила в контору, наперед зная, что никого там не застанет: смешно было думать, что нотариус и его старший делопроизводитель после такой трапезы вернутся на службу раньше трех. Они уж постараются продлить удовольствие, выпивая там и тут, в кафе и барах, с этим и тем, благо компания всегда найдется. Эти мужские привычки достойны сожаления и всяческого порицания, но Адалжиза предпочитала закрывать на них глаза.

Итак, она пришла в суд первая и стала ждать падре Хосе Антонио, чтобы войти в кабинет доктора д'Авилы вместе с ним. Бродила по коридору из конца в конец, спускалась в вестибюль, чувствуя себя из-за отсутствия Данило крайне неуверенно: муж был ее главным козырем в предстоящей партии. Как никогда требовалась ей божья помощь, и она тотчас дала обет: если господь поможет вернуть Манелу в монастырь, целый год, начиная со следующей пятницы, не будет она есть суп из мозгов. Когда хворала донья Эсперанса, Адалжиза целых три месяца жила без любимого кушанья.

Мигрень не давала ей покоя ни на минуту: в висках стучало, глаза застилало какой-то пеленой. У нее уже колени подкашивались от хождения взад-вперед, когда наконец показался падре Хосе Антонио: час пик, ужасные пробки, автобус еле тащился, прошу простить за опоздание. На самом же деле он засиделся на крестинах, где наелся в свое удовольствие. Тут из какого-то кабинета появился с де-

шевой сигарой в зубах тот самый клерк. Он узнал их и сообщил, что доктор д'Авила не приходил и не звонил, если угодно, пусть присядут в приемной и обождут. Срочное ли у них дело? «Весьма срочное»,— ответствовали падре и его духовная дочь. «Ну, наверно, скоро придет, а не придет, так позвонит». Повернулся и зашагал по коридору, сильно и гулко кашляя — застарелый бронхит курильщика.

В приемной стояли кресла, и ожидание было не таким мучительным и тягостным, тем более что падре Хосе Антонио сумел поднять боевой дух Адалжизы:

— Не теряй надежды, дочь моя. Все будет в порядке, ручаюсь. Доктор д'Авила давно меня знает: сразу после революции мы вместе участвовали в крестовом походе против коммунизма. Нас с ним одушевляют одни и те же идеи.

Однако это недоразумение явно ставило его в тупик:

— Не могу понять, что заставило доктора переменить позицию и удовлетворить просьбу твоего мужа. Должно быть, отыскались веские резоны, если он за несколько часов все поставил с ног на голову. Но, как бы там ни было, скоро все разъяснится. Не огорчайся, мы с тобой делаем святое дело, и господь с нами. Dios es grande [1].

В приемной стояла нестерпимая духота, «кондишн» уже больше года как был испорчен, падре потел и задыхался. В четыре часа судья наконец осчастливил их своим появлением. Хотя он успел заехать домой, где принял душ и переоделся, на лице его были явственно заметны следы бессонной ночи и тревожного утра, проведенного в клинике.

Падре Хосе Антонио учтиво осведомился о том, как чувствует себя дона Диана. «Да так себе»,— ответил судья. Падре пообещал молиться за ее скорейшее выздоровление. Адалжиза сказала, что присоединит и свои молитвы к его голосу. Сама она не имеет чести быть представленной доне Диане, но очень много слышала о ее несравненной красоте и изяществе от доны Олимпии де Кастро. «Я — модистка, и дона Олимпия заказывает у меня шляпы».

ПРОСТОЕ РОНДО: САМООТВЕРЖЕННАЯ ПОДРУГА — Доктор д'Авила и на службе-то смог появиться лишь потому, что клиентка Адалжизы, дона Олимпия де Кастро, достойнейшая дама и добрейшей души человек, махнула рукой на все свои светские обязанности — в том числе и на коктейль, устроенный организаторами круиза по Карибскому морю,— чтобы неотлучно находиться у одра больной подруги. Чтобы не оставлять ее в забытьи и бреду, пораженную внезапным и странным недугом. Под воздействием какого-то душевного потрясения бедняжка Диана несла совершеннейшую околесицу и несуразицу и звала Олимпию — только это имя она и произносила.

Вчера, вернувшись домой из заведения Анунсиаты, где он отдавал долг природе, доктор д'Авила обнаружил, что его супруга бьется в истерике, рычит и воет, выпучив глаза и суча ногами. Немедленно призванный доктор Рубим де Пиньо установил «нервный срыв» и ввел успокоительное, а также счел целесообразным поместить больную в клинику, чтобы резко сменить обстановку. Так и сделали. Как видим, ночь у судьи выдалась весьма тревожная.

Утром — не слишком рано: великосветские дамы спать ложатся на рассвете и спят до вечера — он позвонил сеньоре Олимпии, извинился за причиняемое беспокойство, однако дело чрезвычайно спешное и щепетильное. Диану госпитализировали, у нее был сильнейший припадок, нет-нет, не то чтобы просто нервы разгулялись, доктор Рубим де Пиньо определил острый приступ истерии. Диана все время ищет и зовет ее — сеньору Олимпию.

Сеньора же Олимпия, дама благовоспитанная и тонко чувствующая, слушала судью почти молча, только иногда издавала приличест-

[1] Бог велик *(исп.)*.

вующие случаю восклицания, выказала и озабоченность, и непритворный интерес, но, казалось, вовсе не была удивлена. Сказала, что накануне несколько раз звонила Силвии — «простите, Диане»,— но застать ее не смогла. «Я немедленно еду в клинику, вот только встану и оденусь»,— заверила она д'Авилу, из чего тот заключил, что его телефонный звонок, прозвучавший в одиннадцать утра, застал Олимпию еще в постели.

Примерно в половине второго она появилась в клинике, одетая так, словно собралась на демонстрацию последних моделей сезона. Когда судья почтительно назвал ее по имени, Диана — она же Силвия Эсмеральда,—до той поры с головой укутанная простыней и тихонько стонавшая, вскочила, схватила подругу за руку и впилась в нее взглядом широко открытых глаз, будто от Олимпии зависело, жить ей или умереть.

«У вас, наверно, много дел,— обратилась Олимпия к потерявшему дар речи супругу,— вы идите, предоставьте нашу милую больную мне. Вот увидите, я вылечу ее в два счета. Страшного ничего нет: это все от излишней впечатлительности. Она ведь у нас такая чувствительная: чуть что — и нервы сдают. Идите, идите, займитесь своими несовершеннолетними, а я займусь ею».

Утро тоже было не из самых приятных.

ДВОЙНОЕ РОНДО: СУМАСШЕДШИЕ — Судья приветствовал посетителей и пригласил их в кабинет, где они были накануне, предложил присесть и сам уселся за стол, заваленный бумагами, хотя беспокойство за жену продолжало снедать его, он постарался быть любезным, ибо высоко ценил падре Хосе Антонио.

— Чем могу служить? — Голос его звучал устало и печально, мыслями судья был там, в клинике.— Ну-с, определили девочку?

Адалжиза, ожидавшая совсем другого оборота разговора, растерянно залепетала:

— Да, сеньор... Как же... Вчера еще, под вечер... Но потом вы приказали ее выпустить...

Пришел черед оторопеть судье:

— Кого я приказал выпустить? Не понимаю. Объяснитесь, милая сеньора.

— Но вы...— Адалжиза беспомощно замолчала и повернулась к падре, прося содействия.

Тот поднял руку, заговорил звучно и необыкновенно правильно:

— Позволь, я объясню. Послушайте меня, доктор. Вот что произошло: вчера под вечер мы отвели девочку в монастырь Лапа, давы...— тут он поправился,— дабы господь простер над нею свой святой покров. Сегодня утром дона Адалжиза, здесь присутствующая, мне сообщила, что воспитанница ее после полуночи обитель покинула. Мы пошли к настоятельнице, и та подтвердила: действительно, Манела была отпущена из монастыря — в соответствии с вашим приказом. Вот, друг мой, как обстоит дело.

— Мой приказ? Что за бред? Кто его передал? Кто действовал от моего имени? Назовите мне его, чтобы я мог арестовать самозванца и возбудить против него дело.

Все запутывалось еще сильней, мигрень разыгрывалась всерьез, Адалжизе делалось дурно, в висках застучало. Падре Хосе Антонио был тоже сбит с толку и, как следствие, стал путать «б» и «в», сбиваясь на кастильский лад:

— Никого не выло. Предъябили письменное распоряжение.

Судья, услышав эту ахинею, подумал, что оба его посетителя спятили.

— Я не подписывал никакого приказа! Чушь какая-то! Приказа нет и в помине!

Падре протянул руку:

— Donde está la orden? Dámelo![1]

Адалжиза вытащила из сумочки ксерокс, падре схватил его, пробежал глазами и протянул судье.

— Вот он. Смотрите сами.

Доктор юриспруденции Либерато Мендес Прадо д'Авила, высокочтимый судья по делам несовершеннолетних в округе Салвадор, столице штата Баия, взял протянутую ему бумажку, будучи совершенно уверен, что имеет дело с безумцами: уж, видно, такая полоса пошла. Со вчерашнего дня сплошное сумасшествие. Началось с Дианы, которая билась в припадке, рыдала и просила прощения.

Он глядел на фотокопию, хлопая глазами, морща лоб, силясь постичь непостижимое, и чем дольше изучал приказ, тем больше недоумевал. Сомнений нет, это не фальшивка. Доктор д'Авила чувствовал себя полным идиотом.

— Что же это такое? Что это все значит?

Он снова стал всматриваться в ксерокс, изучая его во всех деталях. Все было на месте: и гриф, и печать, и подпись — его, его собственная подпись.

— Подпись подделана,— сказал он и, возвысив голос, позвал:— Сеу Маседо, зайдите ко мне! Поторопитесь, пожалуйста!

Однако делопроизводитель Маседо совершенно не торопился, а шел медленно, шаркая подошвами, пожевывая сигару, покашливая. Он состарился здесь, в суде, и знавал разных судей: одни были лучше, другие хуже, но гаже доктора д'Авилы ему видеть не доводилось. Не человек, а дерьмо собачье — таково было взвешенное мнение сеу Маседо.

— Взгляните-ка и скажите, что вы думаете по этому поводу.

Маседо окинул бумагу взором и нашел, что она составлена по всей форме, разве что не зарегистрирована в журнале исходящей документации.

— Вы, господин судья, где ее вчера вечером заполняли — дома или здесь?

— Я вообще ее не заполнял! Кто-то подделал мою подпись.— Он снова вгляделся.— Великолепно сделанная фальшивка! Но это копия, а я желаю видеть оригинал... Это мог сделать лишь тот, у кого есть доступ к бумагам с грифом, к печатям, кто знает, как я расписываюсь. Что вы мне на это скажете, Маседо?

— Ничего я вам не скажу, господин судья. Я знаю не больше вашего. Весь вечер просидел дома, смотрел телевизор, а потом спать пошел. Полагаю, Тобиас все-таки своего добьется,— последнее относилось к очередной серии телеромана.

Он знал своего начальника как облупленного: несравненный крючкотвор, сутяга, каких свет не видывал, большой мастер делать из мухи слона. Сеу Маседо был чист перед богом и людьми, и потому подозрения судьи его нисколько не встревожили. Все небось сам придумал, чтобы надуть простаков — падре и эту красотку. Делопроизводитель маслеными глазами посмотрел на Адалжизу: «Молодец, падре, эти иезуиты на ходу подметки режут». Он закашлялся, показал всем троим спину и побрел было к себе, но тут зазвонил телефон. Маседо снял трубку, послушал и протянул ее судье:

— Вас. Из клиники.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ — Звонила дона Олимпия де Кастро, чтобы порадовать судью: «Наша милая девочка уже почти совсем оправилась и завтра сможет вернуться домой».

Голос доны Олимпии, обычно грудной и томно-чувственный — «голос плоти самой», как утверждал объятый страстью поэт Сид Сейшас,— сейчас был просто медовым, журчал и обволакивал. «Ко-

---

[1] Где приказ? Давай его сюда! *(исп.)*

нечно, после такой встряски, после такого ужасного припадка бедняжке потребуется отдых и перемена обстановки, и тогда к ней вернутся душевное спокойствие и прежняя жизнерадостность. Как вы полагаете, доктор?» — «Разумеется, разумеется».

Тогда дона Олимпия заявила, что по счастливому совпадению как раз сейчас готовится увеселительный круиз по Карибскому морю, зафрахтован современнейший океанский лайнер. Двадцать пять дней в море и на тропических островах, двадцать пять дней безмятежного отдыха. «Как вы на это смотрите, милый доктор д'Авила?»— «Положительно».

Ну, раз так, то Олимпия немедленно сообщит эту отрадную новость бедняжке Диане, а поскольку муж не может сопровождать их в плавании — у Астерио столько дел, что времени на отдых не выкроить,— то в круиз с нею отправится ее лучшая подруга. «Благодарю вас, доктор, от всей души»,— и на этом дала отбой. Судья, слегка растерявшийся от такого напора, не сразу повесил трубку. С опозданием дошло до него, что он сию минуту сам предложил жене отправиться в круиз, чтобы она отошла немножко, оправилась и подлечила нервы. А что же все-таки с этими нервами случилось, из-за чего произошел припадок, осталось невыясненным. Объяснений дона Олимпия ему не дала, а уж от Дианы он их не получит и подавно. За что же она просила прощения, в чем каялась и винилась? Он не знал. А надо ли знать? Конечно нет.

Судья в задумчивости опустил трубку на рычаг и вновь оказался лицом к лицу с этой бессмысленной головоломкой: фотокопия приказа, им самим подписанного, лежала на столе. А может быть, это он сошел с ума?

Тут Адалжиза, поднявшись на ноги, патетически воскликнула:

— Так как же будет с Манелой? Что ее ждет? Знаете, куда повели ее из монастыря? На кандомбле Гантоис!

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КАРНАВАЛЕ В ЧЕСТЬ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ — Как вы помните, Нилда Спенсер пообещала Шанселю, что на Пелоуриньо соберется тысячи две-три желающих показать «Антенн-2», что такое бразильский карнавал. Она недооценила своих сограждан. Когда Патрисия и Абелардо, оставив мотоцикл у старинного дома, где помещался некогда медицинский факультет, двинулись по улице Алфредо Брито, на площади под звуки электрогитар и ударных танцевало не меньше пяти тысяч, и народу прибывало с каждой минутой. Трио Додо и Осмара поместилось на возвышении между Музеем Баии и церковью Розарио-дос-Негрос.

На деревянном помосте установили камеру, которая должна была снимать общие планы, панорамы. Три других на плечах операторов двигались с места на место в толпе, чтобы давать крупные планы — подробности и детали. Подробности и детали были таковы, что французы захлебывались от восторга: «Это неописуемо!»

На улице Грегорио де Матоса накапливались для атаки афоше и африканские группы — их было добрых полдесятка, и каждая готовилась прогреметь своей музыкой, прославить свои негритянские корни, так мощно повлиявшие на бразильскую расу. Неподалеку готовились «Дети Ганди» — славнейшая из карнавальных групп, и долетал уже рокот их барабанов-атабаке. Танцовщицы из группы «Жаку» в голубовато-бирюзовых хитонах сидели на паперти, и развеселая орава учениц театральной школы, присоединившись к ним, тотчас принялась плясать на ступеньках храма. Народ валил со всех сторон: спускался с Кармо и Террейро-до-Жезус, поднимался от Табуана, рекою, впадающей в море, тек с Байши-дос-Сапатейрос. Повсюду звучала музыка Жилберто Жила.

Жак Шансель в сопровождении Нилды весьма увлеченно проводил смотр разных групп и школ самбы, определяя, кому за кем ид-

ти. Он жалел только, что нет Силвии Эсмералды, оголенной сверху и снизу до последней степени вероятия. Он спросил о ней у Патрисии, которая, пристроив своего падре на возвышении для почетных гостей,— там был и французский консул Жак Фала, и португалец Фернандо Ассиз Пашеко, и американка Френсис Смит, и кое-кто из видных бразильцев,— вернулась к исполнению своих непосредственных обязанностей.

— Où est Sylvie ? Je ne la vois pas.

— Elle est malade.

— Comment, malade! Quelle dommage! Je voulais tant faire la fête avec elle ! La fête du Carnaval, bien sûr...

— Seulement du Carnaval ? — с намеком спросила Патрисия.

Нилда Спенсер расхохоталась, но француз не растерялся:

— Elle est si belle...[1]

Обе красотки рассмеялись, хотя впору было бы поплакать над незадачливой подругой. Бедная Силвия, что с ней только будет, когда она узнает, что Жак Шансель, знаменитость, шармер и яблоко раздора бразильских дам, Жак Шансель, которому адресовала она вздохи томные и романтические, Жак Шансель, которому она недвусмысленно предлагала свою благосклонность, сам Жак Шансель заметил ее отсутствие, спросил о причине оного и в полный голос, во всеуслышание заявил, что без нее ему и праздник не в праздник... Да она с ума сойдет от досады, зачахнет с тоски. Не повезло! Угораздило же заболеть в день карнавала!

Они увидели грандиозный проход афоше «Дети Ганди» — все в ослепительно белых одеяниях, и впереди — сам Ганди с козочкой. Увидели группу «Жаку», и глаз их порадовался девицам в бирюзовых хитонах и разлетающихся юбочках — «уж такое было жаку!..». Вел их, задавая ритм, Валтиньо Кейроз, а рядом с ним шла его почтенная матушка Луз да Серра, по виду годившаяся ему в сестры. Увидели они и Георгия Мустаки, грека, родившегося в Александрии, parisien [2], взасос целовавшего Леноку, а та была еще голей, чем студенточки театральной школы. Видели, как вступила на площадь группа «Интернасьонаис» под командой президента этого клуба Рубиньо и под музыку, специально сочиненную для них Винисиусом де Мораэсом. Они увидели все это и многое, многое другое, и камеры их запечатлели веселое и раскованное сумасшествие, праздник, не знающий ни границ, ни удержу, увидели бурный выплеск веселья, радости и свободы. Самые внимательные телезрители могли заметить и падре Абелардо — камеры иногда скользили по нему: он бил в бубен и не сводил глаз с мелькавшей внизу Патрисии.

А вот ее операторы не выпускали из поля зрения ни на минуту, фиксируя каждое ее движение, которое тотчас же повторялось всеми танцующими, отражаясь, точно в тысяче зеркал, танцорами и танцовщицами на площади. Увидели французы эту бело-черно-красно-кожую голландку Патрисию да Силва Ваальсерберг, увидели баиянку Патрисию, апогей мулатства, триумф смешения кровей.

Ей очистили место, чтобы под восхищенный гул и плеск ладоней она танцевала одна — единственная и неповторимая (тут операторы взяли ее крупным планом). «Сын Ганди» Камафеу де Ошосси, непереносимо элегантный в своих карнавальных одеждах, потряхивая спичечным коробком, взял на себя обязанности дирижера и церемониймейстера, а Патрисия, знаменщица и королева карнавала, играючи выполняла самые немыслимые па, может быть, даже слишком качая бедрами, вертя задом, выкладываясь до конца в этой самбе и

[1] А где же Силвия? Что-то я ее не вижу.— Заболела.— Заболела? Ах, какая жалость! Я так хотел устроить с ней праздник... Праздник карнавала, разумеется.— Карнавала, и только? — Она так хороша... *(франц.)*

[2] Парижанин *(франц.)*.

преследуя святую цель — показать французам, что́ есть карнавал, величайший праздник бразильского народа. Это во-первых. А во-вторых, сделать так, чтобы ее духовный отец падре Галван, ее милый и девственный Абелардо, увидел ее и пожелал.

ЭПОПЕЯ В СТИЛЕ ЭУКЛИДЕСА — Для того чтобы поведать обо всем, что происходило на площади Пелоуриньо с Зе Ландышем, надо быть по крайней мере Гомером или Шекспиром. Или Эуклидесом да Куньей [1], основавшим товарищество на паях с Достоевским и Гоголем. Под силу ли моему слабому перу это беспримерное сочетание греческой трагедии с русским романом? Мне ли, баиянскому сочинителю, небрежному и заурядному борзописцу, «кровь» умеющему рифмовать только с «любовь», браться за такое? Ни величия древних аэдов, ни утонченного психологизма, ни блеска стиля, ни художественности — ни черта нет! А что же есть, и притом в избытке? — Отвага! Отвага, присущая невежеству. Вот запасясь ею, и похромаем далее. Благословясь, приступим.

Целую вечность — те два часа, пока шел карнавал, пока гремело, сверкало, блистало, пока неисчислимая сила баб выставляла напоказ свои прелести, пока длилось это могучее и откровенное бесстыдство,— Зе Ландыш, то поспешая, то замирая на месте, прожил со страхом, с опасностью, с неволей, со смертью. Он разрабатывал планы, обдумывал ходы, попирал законы, совершал насилия, обдумывал, воображал, он был схвачен, судим и приговорен, он спустился в самый ад, он убил и умер.

Решимость одолеть препоны появилась у него еще у театральной школы, когда увидел он, как падре, сукин сын, жеребячья порода, уселся к этой полоумной чуть не на закорки, притулился к ней — и мотоцикл, взревев, скрылся из виду. Зе Ландыш вскочил в такси: окаянную парочку было никак не догнать, она была уже далеко впереди, но шофер успокоил его: ничего, мол, они на карнавал едут, на площадь Пелоуриньо. Господь не оставил, а таксист доставил — доставил на площадь в тот самый миг, когда оба придурка — он и она — влезли на подмостки, где стояли музыканты. Бесовка, правда, тут же слезла вниз, а падре, с позволения сказать, остался среди важных гостей, тузов и шишек. Ну, падре, ну, кобель, мало ему, значит, замужней дочки полковника... Погоди ж ты у меня.

Увидев, что падре приткнулся наконец к постоянному месту, Зе Ландыш стал оценивать ситуацию, чтобы выполнить поручение чисто и в самый подходящий момент. Скажу вам, что пристукнуть человека можно экспромтом, под воздействием некоего озарения — это, конечно, наилучший вариант, но в сложных случаях, вот как этот, к примеру, необходимо все тщательнейшим образом спланировать, все расчислить с математической точностью.

Сначала Зе Ландыш подумал, что застрелит падре прямо там, рядом с музыкантами: это проще простого, годилось любое окно на первом этаже, выходящее на площадь. И Зе проник в дом через черный ход, и никто его не заметил, потому что служители обоего пола высыпали на мостовую и пялились на всеобщий пляс. Убийца приоткрыл окно, и кудлатая голова падре оказалась совсем близко: и захочешь — не промахнешься. Замечательно! Да? Как бы не так! Смертельный риск. Стоит проклятому попу чуть-чуть отклониться в сторону, вперед или назад, и пулю схлопочет другой, ни в чем не виноватый. А эти бездельники на месте не стоят, всякую минуту меняют позу, двигаются, чтоб их!.. Проще простого, а вот невозможно. Зе Ландыш вышел из Музея так же, как вошел — незаметно. Тихо.

Были рассмотрены другие варианты, но ни один из них его не устроил, ибо не гарантировал стопроцентного успеха. Зе Ландыш

[1] Эуклидес да Кунья (1866—1909)—бразильский писатель, автор документального повествования «Сертаны».

рисковать не мог: на его совести уже был один убитый по ошибке, нет уж, спасибо, на двоих его не хватит. После долгого размышления он пришел к выводу, что ничего другого, как застрелить падре открыто, при свидетелях, не остается. Однажды он уже пошел на это, и, разумеется, его сцапали на месте, однако полковник Улисс Кардозо, которому, кроме заказа на этот выстрел, принадлежал и весь штат Алагоас, вызволил его из каталажки, чуть только прознал про такое идиотство со стороны полиции. Зе Ландыш был человек тертый, с наметанным глазом и потому легко узнал стоявших в подворотнях переодетых полицейских: судя по всему, падре интересовал их не меньше, чем его. Комиссара Паррейринью, к слову сказать, он определил сразу же: конечно, не знал, что он — комиссар и к тому же Паррейринья, но рожу легавого ни с какой другой не спутаешь. Делать нечего: хоть вокруг кишмя кишат агенты, хоть вполне вероятно загреметь в тюрьму и под суд, который меньше тридцати лет заключения ему не отвалит,— надо выполнять свой долг, надо доказать, что ты — порядочный человек и дорожишь своим добрым именем.

Да, порядочный человек, истинный профессионал и — добавлю от себя — очень толковый и терпеливый. Именно поэтому падре Абелардо мог еще некоторое время наслаждаться жизнью. Зе Ландыш устроился за помостом с музыкантом, приготовившись ждать столько, сколько потребуется. Поодаль кто-то — по виду земляк — сел во вьючное седло своего осла, чтобы видеть, а все остальные даже не шевелились, захваченные зрелищем. Ишь ты, падре, думал между тем Ландыш, затесался к большим людям, влез даже выше музыкантов, но погоди, как влез, так и слезешь, а как слезешь, тут тебе и крышка: блудливых котов холостят. Если потом успею добежать до Ладейры-до-Ферран, то выкручусь. Зе Ландыш был очень внимателен и сосредоточен и только изредка позволял себе бросить беглый взгляд на голые бедра и животы, крутые груди и точеные зады, ибо понимал всю меру лежащей на нем ответственности. Он почти не сводил глаз с приговоренного.

А праздник между тем охватил уже все пространство от кафедрального собора до монастыря Кармо. На улицу вышли по собственному почину, по своей охоте и без всякой надежды на вознаграждение еще две рок-группы: одно электротрио поместилось на углу Алфредо Брито, другое — у входа на Ладейру-до-Табуан. Появились еще школы самбы и афоше, не предусмотренные программой, появились и приняли участие в веселье: упомяну «Апашей из Тороро», группу Барона, «Сов», «Купцов из Багдада». Репортеры как всегда приврав, но на этот раз ненамного, уверяли, что десять тысяч танцевали на площади самбу, и продолжалось это до зари, и пришли они вовсе не за тем, чтобы покрасоваться перед объективами телекамер,— нет, из семи ворот города Баия ринулись они на карнавал.

Пик воодушевления, чтобы не сказать «массового психоза», пришелся на те минуты, когда камеры стали снимать беспримерный проход «Детей Ганди»: в первом ряду в обнимку с президентом шел Жак Шансель. Именно тогда Патрисия решила позвать падре, чтобы вместе с ним нырнуть в людское море: до сих пор она работала, а он только смотрел. Она махала руками, чтобы привлечь его внимание, она кричала, чтобы он услышал, она звала его и приказывала спуститься. Зе Ландыш встрепенулся, отвел глаза с того чудака на осле — он теперь слез с седла, присел в сторонке и вроде задремал. Нет, только деревенский пентюх способен на такое: спать на карнавале. Ослик жевал яркую афишу, содранную со стены. Весь народ рукоплескал и смотрел на «Детей Ганди».

Зе Ландыш сунул руку в карман своего дождевика, сжал рукоять револьвера «Таурус» — 38-й калибр, шесть патронов в барабане и все смертельные, рука не дрогнет, мушка не моргнет, бог не выдаст,

а свинья не съест. Прощай, попик, дерьмо ты собачье, прощай, пришел твой смертный час, прощайся с жизнью и с блудом, не придется тебе отплясывать с нею самбу и тешиться в осквернённой постели, конец тебе. И чужую землю больше делить не будешь, и с чужими женами блудить, потому как не подобает падре такими делами заниматься. Прощай, сукин сын, и зачем ты только ввязался в это?!

Падре Абелардо спустился с возвышения. Патрисия обняла его за талию, Зе Ландыш подошел почти вплотную, наставил револьвер в затылок обреченному, нажал на спуск. Но рука отчего-то дернулась, и пуля ушла куда-то в небосвод. Зе резко повернулся, готовый на месте пристрелить мерзавца, толкнувшего его под локоть. Но поблизости никого не было, кроме дремлющего крестьянина да ослика, продолжавшего жевать вкусную и питательную афишу.

Парочка удалялась туда, где гремел карнавал, и Ландышу некогда было разбираться, он прибавил шагу, взял на прицел голову беспокойного покойника, выстрелил. И снова дернулась рука, и снова пуля пошла «за молоком». В третий раз выстрелил он, и в четвертый, и в пятый — и все неудачно. Оставался один патрон. Зе Ландыш совершенно потерялся.

Житель сертанов готов умереть, готов покончить с собой, если нужно, но не падает духом, ибо он, как учит нас Эуклидес да Кунья, духом этим крепок. Последнюю пулю Зе Ландыш приберег для себя. Он поудобней уселся на мостовой, рассудил, что падре знается с нечистой силой, вспомнил и пожалел жену, индеанку Моми, умеющую гадать, заговаривать любую хворобу и еще так жарко ласкать его в гамаке. Приставил дуло к груди, к тому самому месту, где билось его сбитое с толку сердце, сердце храбреца, попрощался с жизнью и с милым Пернамбуко, родиной отважных. Выстрелил, почувствовал, как хлынула, заливая дождевик, кровь, понял, что мертв, опустился наземь, раскинул руки. Он только не заметил, что вовсе не кровь ударила струей из пробитого сердца, а просто грязная водица вытекла из ствола револьвера. «Таурус» 38-го калибра ни с того ни с сего сделался игрушечным.

ПЕНТЮХ С ОСЛИКОМ — А крестьянин, безмятежно дремавший в сторонке, вдруг проворно поднялся, подошел к распростертому на мостовой Зе. Низкорослый, коренастый, с длинными, как у гориллы, руками, он легко поднял убийцу, взгромоздил его поперек допотопного и громоздкого вьючного седла. Потянул ослика за узду, а тот потащил непривычный груз по крутому и скользкому спуску Ладейры-до-Ферран. На остановке крестьянин ссадил Зе Ландыша, усадил его в автобус, отправляющийся в Ресифе. Зе Ландыш побывал на том свете и теперь возвращался на этот.

Дон Максимилиан фон Груден видел, как кафуз[1] вел своего покладистого и медлительного ослика вниз по Ладейре-да-Прегиса. Да и не один дон Максимилиан — многие видели эту деревенщину, но никто не обращал на него внимания, а если и замечал, то потешался над нескладным увальнем. Дело известное: беженец с Северо-Востока, засуха скосила скотину, убила детей, вот он и двинулся в столицу штата. Мог он быть и рубщиком сахарного тростника, и рыбаком с берегов реки Сан-Франциско, а может, собирал пальмовое масло денде, заготовлял пальмовое волокно или растительный воск. Может, носил он кожаную шляпу, был скотоводом из каатинги, продувным малым, танцором и задирой.

Бесстрашный и отважный сертанец со своим маленьким — никак не крупней козла — осликом. Что тут особенного? И только те немногие, кто был призван и посвящен, кому ведома тайна волшбы и колдовства, кто покумился с самим Сатаной, кто выходит на кан-

[1] Метис от брака мулатки и негра, негритянки и индейца.

домбле, только они знали, что приземистый длиннорукий крепыш в выгоревшем и мятом пиджачке, доходившем чуть не до колен, в пастушьих сандалиях-альпаргатах, попыхивающий самокруткой, попахивающий кашасой,— не кто иной, как сам Эшу Мале, молочный брат и помощник богини Иансан, явившийся по ее зову.

А когда крестьянин со своим осликом поднимались по Ладейре-до-Папагайо, на вьючном седле всякий, кто хотел, мог бы увидеть иную поклажу — кожаную плетку, порядком истрепавшуюся от частого употребления.

ШТИЛЬ — Непобедимая Армада с торжественной медлительностью скользила по реке Парагуасу. Спокойные воды ее несли парусники, баркасы, боты, яхты и шхуны; сменяли друг друга, накатывая волнами, песнопения духовные и вполне светские, псалмы и самбы, гимны и песни протеста, запрещенные цензурой, проклятые властями.

Флот насчитывал двадцать восемь вымпелов: ветер надувал паруса, трепал, но не срывал флаги расцвечивания — часть была из материи, а остальные бумажные. Народ толпился на берегах, приветствуя экспедицию, кое-где устраивали молебны и шествия, прося господа даровать ей победу.

Но когда уже ближе к вечеру Непобедимая Армада вошла в Бухту Всех Святых, где ее тоже восторженно приветствовали жители многочисленных островов, случилось непредвиденное. Ветер утих — наступил полнейший штиль, абсолютное безветрие, море стало гладким, как голубовато-зеленый ковер, без малейшего признака не то что зыби — ряби. Казалось, по нему можно идти, аки посуху. На кораблях воцарилось мрачное молчание — дурная примета омрачила настроение.

Сколько же им теперь томиться в бездействии? До вечера надо было ошвартоваться у Рампы-до-Меркадо, а потом двинуться к монастырю Святой Терезы, к Музею, чтобы заявить директору, принимающему в это самое время губернатора и кардинала: «Святая принадлежит нам!» Они же везли с собою двенадцать транспарантов, пятьдесят два плаката. Успеют ли? Не сорвется ли манифестация?

— Все пропало, падре. Безветрие может продолжаться еще несколько суток...— меланхолически заметил Гидо Герра, утративший весь свой пыл.

— Замолчи, Фома Неверный! Святая Варвара Громоносица это дело так не оставит, сейчас же пришлет к нам ветерок. Нам много и не надо.— Викарий пытался приободрить свой приунывший экипаж, но и сам утерял недавнюю веселость.

Вот тогда со шхуны, на которой разместились почтенные богомолки из Общины Пресвятой Девы Блаженного Успения, и донеслась старинная песня, родившаяся еще в сензалах:

Громоносная Варвара,
Подари рабыне бедной
Завалящий грошик медный,
Подари мне три тостана —
Выкуплюсь и вольной стану...

Дона Кано, в душе которой всегда жила гармония, немедленно сымпровизировала:

Громоносная Варвара!
Дабы мы поспели в срок,
Громом грянь, блесни зарницей,
Ниспошли нам ветерок...

Хор подхватил, песня понеслась над голубовато-зеленым ковром, взлетела к небесам. И святая — не знаю, право, где была она в это время, чем занималась,— услышала, откликнулась. Может, кто-ни-

будь сомневается? Готов держать пари: деньги на бочку! Выигравший ест до отвала, проигравший платит за ракеты и шутихи.

ТРИУМФ СОРАТНИКОВ — Адалжиза была ублаготворена полностью. В сумочке у нее лежал новый приказ доктора д'Авилы, в котором черным по белому было написано, что ее племянница и воспитанница Манела подлежит заключению в стенах монастыря Лапа, в обители «кающихся» под присмотром матери игуменьи Общины Непорочного Зачатия до тех пор, пока она, Адалжиза, владеющая исключительными правами опекунства, не заберет ее оттуда. Кроме падре Хосе Антонио шагали рядом с нею двое судебных исполнителей, которым и надлежало добром или силой, собственными силами или с помощью полиции провести решение судьи в жизнь. Они должны были начать действовать при малейшей попытке сопротивления или возникновения каких бы то ни было препятствий со стороны завсегдатаев кандомбле Гантоис — «сброда черномазых», как метко определил их падре.

Все четверо вылезли из автобуса на улице Кардинала да Силвы — некое предзнаменование! — и далее двинулись пешком на Ларго-де-Пулкерия, где стоял скромный и величественный дом — там и помещалось Омим Аше Иамансе, или кандомбле Гантоис. Падре Хосе Антонио был еще веселей Адалжизы, его прямо-таки распирало от радости. Ликуя после знатного угощения и блистательно исполненного долга, он то и дело подносил к губам распятие на серебряной цепочке, которая так красиво поблескивала на его черной элегантной сутане. Падре был щеголь и франт. В молодые годы, когда он в рядах Фаланги молодцевато маршировал по Севилье, случалось ему разбивать женские сердца. И не только женские: помимо двух прихожанок — одна была богатая вдова лет сорока, а другая девица, которая рыдала и грозила, что покончит с собой,— пленил он и знаменитого матадора, славного и беспримерным мужеством, и пристрастием к мужчинам. Итак, девчонка твердила, что проглотит требник, вдовушка осыпала его подарками, а матадор, сразивший на арене десятки беззащитных быков, впирался прямо в ризницу, обхаживал падре спереди и сзади, делал нескромные предложения, сулил золотые горы, лез с поцелуями.

Природная правдивость, являющаяся и основой, и путеводной звездой моего повествования и, быть может, единственным его достоинством, не дает мне умолчать о том, что миловидный и забалованный падре, снедаемый страстью к святой нашей матери-церкви и к генералиссимусу, смирил плоть, что далось ему нелегко, и отверг притязания двух осатаневших баб и неистового тореро. Если же и случалось ему извергнуть семя, то происходило это во сне и свершался грех не смертный, но простительный: кусочек мыла и «Отче наш» смывали пятно и с простыни и с совести.

Он остался глух к просьбам девицы, резонно полагая, что на каждый чих не наздравствуешься, он презрел авансы вдовицы и отверг ее дары, лишь из вежливости не вернув ей полученные раньше шелковые пижамы, желтые и голубые подштанники, флаконы одеколона, распятие на золотой цепочке — оно стоило бешеных денег, но падре Хосе Антонио не купишь. Труднее было утишить роковую страсть матадора, поскольку Эль Потаскун давно уже был кумиром юного фанатика, который не пропускал ни одной корриды. Он попытался предложить ему дружбу, но успеха не достиг: тореро, человек необузданных страстей, требовал все или ничего и плевать хотел на дружбу: «На кой она мне сдалась, твоя дружба?!» Во исцеление душевной раны он отправился в Мексику, где вскоре спознался с усатым, задиристым и злобным гитаристом из ансамбля «Марьячи», который и помог ему забыть святотатственную любовь к падре. Так

что добродетель Хосе Антонио не только не поколебалась, но даже укрепилась.

Падре и модистку, оживленно обсуждавших по дороге загадочную историю с подделанным приказом, сопровождали, как уже было сказано, двое судебных исполнителей: темнокожий мулат Жозелито Массарандуба, человек уже в годах, жрец Ошосси, отец многочисленного семейства, посвящавший свободное время игре в «очко», чтобы сшибить лишнюю сотню милрейсов на любимое угощение — особым образом тушенную фасоль с пряностями,— и мулат светлый, рыжеволосый и веснушчатый, по имени Пауло Котовия — этот был холост и жениться, кажется, не собирался, большой любитель музыки, ударник в джаз-банде «Chango's Brothers» [1]. Да, так вот: падре Хосе Антонио считал, что ничего таинственного в истории с приказом нет и дознание должно подтвердить подозрения доктора д'Авилы.

А доктор д'Авила ясно дал понять, что подозрения эти падают на бронхитного делопроизводителя. Сеньор Маседо мог войти в здание суда в любое время дня и ночи, имел доступ к бумагам с грифом и к печати и прекрасно знал, как подписывается судья. Словом, подделать приказ больше некому. Оставалось только выяснить, кто его попросил об этом одолжении и сколько было уплачено за него.

«Разумеется, это Жилдета!» — вскинулась Адалжиза. Они с Данило сложились и сумели отблагодарить Маседо, если тот и вправду получил от них деньги. Но скорей всего договорились полюбовно: у этой мерзавки, не вылезающей с террейро, повсюду, повсюду свои люди, всех она знает, все они друг за друга горой, способны на любую пакость и вообще на все что угодно.

Беседуя таким образом, шли они на кандомбле Гантоис, как вдруг навстречу им по улице Кардинала да Силвы двинулся приземистый длиннорукий сертанец, тянувший за недоуздок ослика.

ПРИЗЫВ — В эту пятницу, хоть и не страстную, но заполненную разгулом страстей, башни баиянского телевидения, вознесшиеся неподалеку от Ларго-де-Пулкерия, уловили странный сигнал. Кто-то неведомый трубил в раковину, созывал богов-ориша к челнам, бросившим якорь на кандомбле Гантоис.

Этот могучий и таинственный призыв, переданный по спутниковой связи, пролетел всю нашу землю от севера к югу, от запада к востоку, через моря и океаны, континенты и материки, из страны в страну — до самого края света. Что это был за сигнал, внезапно зазвучавший по всем телеканалам? Кто его подал? Что он означал? Какое сообщение передавал? Какие грядущие катаклизмы возвещал? Что предсказывал? К чему призывал?

Собравшись на съезды, конгрессы, симпозиумы, конференции и коллоквиумы, виднейшие и крупнейшие ученые, как всегда, разделились по идеологическому признаку, служа власти. Верней сказать, тем, в чьих руках эта власть сосредоточилась. Западные ученые, охранители отсталой и реакционной буржуазной цивилизации, заявили, что сигнал отправлен с планеты Юпитер. Мужи науки с Востока, представлявшие цивилизацию бюрократического и авторитарного социализма, с пеной у рта доказывали, что ни с какого не Юпитера, а вовсе с Нептуна. Разгорелась научная дискуссия, в ход пошли головоломные аргументы и классические оскорбления.

Ожесточалась полемика. Вашингтон сцепился с Москвой, левые — с правыми. Создалось либеральное направление с двумя основными ответвлениями — центрально-правым и центрально-левым. Непримиримые радикалы опубликовали манифест, объединив на своей платформе представителей крайних взглядов, предлагавших немедленную войну с Юпитером. Или с Нептуном. Неважно, с кем. Возникали,

[1] «Братья Шанго» *(англ.)*.

раскалывая единство, все новые и новые группы и течения, выпускались тысячи книг, написанных латинским шрифтом или кириллицей, арабской вязью, китайскими, японскими, корейскими иероглифами, снимались фильмы, записывались кассеты, составлялись программы для компьютеров. Доселе неизвестная группа японо-китайских теоретиков прогремела на весь мир, объявив, что сигнал исходит с Плутона и является материализовавшимся симбиозом Будды и Маркса.

Следует отметить, что в странах богатых и развитых накал страстей был меньше — возможен, возможен разумный компромисс между сверхдержавами! — но в «третьем мире» продолжались взаимные обвинения и отчаянная перебранка.

А на Кубе, на Гаити, в Африке боги-ориша, услышав призыв, бросили привольное житье, охоту и купанье, и послеобеденную дрему, и прочие утехи и забавы, среди которых была и та, что порождает стон, хоть и не от боли,— пересекли небосвод, устремившись в Баию.

БИТВА — И длиннорукий сертанец прибавил шагу, дернул за недоуздок, торопясь навстречу славной четверке, призванной восстановить попранную мораль по приказу судьи д'Авилы. Улица Кардинала да Силвы — оживленная магистраль, машины несутся сплошным потоком, но сертанец и его ослик, наплевав на все правила уличного движения, вдруг пустились в пляс прямо на мостовой.

И едва лишь судебные исполнители Жозелито, Массарандуба и Пауло Котовия поравнялись с этой парочкой, как вмиг слетела с них вся серьезность, и оба тоже стали выделывать фортеля, откалывать коленца, обнаруживая прекрасное знакомство с этим танцем. Падре Хосе Антонио, который не мог, разумеется, знать, что так полагается приветствовать на кандомбле демона Эшу, возмутился самим фактом того, что два служителя правосудия отплясывают посреди улицы за компанию с каким-то оборванцем. А осел? Это уж ни в какие ворота не лезло: вальсирующий ослик — зрелище постыдное и отвратительное. Что уж говорить о том, что вакханалия мешала проезду, машины замедляли ход, тормозили, едва не стукаясь бамперами. Возникла пробка.

— Что это значит? Que hacen ustedes?[1] — спросил он, мешая, как всегда в минуты волнения, испанский с португальским, и даже слегка оторопев перед лицом такого внезапного и ни с чем не сообразного веселья.

Но наглый сертанец, пентюх, деревенщина, грозный демон Эшу вместо ответа разинул бездонную пасть и показал достойному священнослужителю сизый, словно раскаленное железо, язык. «Пошел вон!» — вскричал оскорбленный падре. Эшу предоставил отвечать своему ослу, который отставил хвост и издал громовую очередь непотребных звуков, а сам подскочил к Адалжизе и взглянул ей прямо в глаза. Судорога прошла по ее телу — предвестие скорого явления божества,— голова закружилась.

— Матерь божья, спаси меня! — взмолилась она.

Да, в смертельной схватке, воспетой еще славным нашим поэтом Кастро Алвесом[2], сошлись лицом к лицу непримиримые враги — фанатизм и терпимость, предрассудок и разумение, расизм и метисация, тирания и свобода. Битва эта идет в любой части света каждую секунду, и конца ей не видно.

Эта стычка была коротка, длилась ровно столько, сколько нужно, и ни мгновения больше, а показалась бесконечной. Проносились

[1] Что вы делаете? *(исп.)*

[2] Кастро Алвес (1847 — 1871) — бразильский поэт-романтик, борец против рабства.

мимо стремительные автомобили, и сидевшие в них даже не подозревали, что здесь, на углу улицы, гордящейся именем непреклонного догматика, твердокаменного охранителя устоев кардинала да Силвы, и площади, названной и честь Пулкерии, жрицы-йалориши, родившейся в неволе, отправлявшей на кандомбле культ запрещенного властями божества, нищей и доброй Пулкерии, противоборствуют величие и ничтожество, вчера и завтра, влечение к смерти и радость бытия. В окопе мракобесия сидел фалангист Хосе Антонио — со свастикой в крови, с анафемой на устах, с атомной бомбой в яйцах. В атаку на него шли три бога-ориша, спешно прилетевшие из африканских краев — Ошосси, Шанго, Эшу Мале. Мимо пролетали машины: водители их и пассажиры торопились побольше заработать, пораньше приехать, боялись опоздать и ничего не видели, точно слепые. Одна только Розана Новоа, секретарша по профессии, проезжая в своем подержанном «багги», спросила мужа, с какой это стати тот священник на тротуаре вдруг рассвирепел, воздел распятие и двинулся к коленопреклоненной женщине. Муж по имени Умберто ответа не нашел и отмахнулся.

Почтенный Жозелито и юный Котовия, судебные исполнители, вмиг превратившиеся в Ошосси и Шанго, кружились в ритуальном танце, приветствуя Адалжизу, приглашая ее на пиршество на Меркадо-да-Байша. И богобоязненная модистка вдруг выгнула стан, закусила губу, и в засверкавших ее глазах послеполуденный солнечный день сменился вдруг рассветным сумраком с первым проблеском зари — утром второго рождения. Губы ее что-то невнятно бормотали, вселившееся в нее божество заставило ее трижды подпрыгнуть — каждый раз все выше и выше. Падре Хосе Антонио, подняв над головою крест, крикнул, задыхаясь от изумления и негодования:

— ¿Que te pasa, hija? Contrólate, desgraciada! [1]

И просвещенная испанка, рьяная поборница Святейшей Инквизиции предприняла героическую попытку прийти в себя, освободиться от наваждения, стряхнуть с себя чары ориша: провела руками по телу, чтобы снять невидимые оковы волшбы, воспротивиться ее цепкой силе, закрыть ориша путь, открытый когда-то бритвой Анунсиасан, которая дала обет посвящения, не ведая, что уже носит ребенка от Пако Переса.

— Espera! Voy liberarte de demonio! Ahora mismo! [2]

Рухнула Адалжиза на колени, стиснула ладони, а руки устремила к небу — очень уж не хотелось ей покидать сословие приличных людей, настоящих сеньор. Стиснув в кулаке распятие — так, должно быть, обхватывала рукоять меча длань Сантьяго Матамороса,— падре Хосе Антонио бросился к ней на помощь:

— Vade retro, Satanas![3]

Не знаю, сатана, может, и послушался бы этого заклятия, но проворный африканский бес Эшу Мале Семь Прыжков и не подумал сгинуть и рассыпаться — напротив, он вместе со своим ослом набросился на падре, размахивая плеткой, предусмотрительно снятой с вьючного седла. Окаянная скотина, не переставая громозвучно портить воздух, брыкаться и лягаться, перешла теперь с вальса на пасодобль. Падре Хосе Антонио попятился от свистящей плетки, повернулся, чтобы убежать, и тут получил прямо в зад страшный удар копытом от обуянной дьяволом твари, которая так обрадовалась своему святотатственному бесчинству, что раздвинула губищи, оскалилась и заревела. Падре повалился наземь. Чуть поодаль распростерлась, как мертвая, Адалжиза: голова у нее раскалывалась, но не от мигрени — мигрень исчезла навсегда,— это закровоточило ее каменное сердце. Кто бы мог подумать?!

---

[1] Что с тобой, дочка? Приди в себя, несчастная! *(исп.)*

[2] Подожди! Я изгоню беса! Сейчас, сейчас! *(исп.)*

[3] Изыди, сатана! *(лат.)*

Вот тогда и выяснилось со всей непреложностью, что падре Хосе Антонио Эрнандес — герой только на словах, а на деле — распоследний трус, что к самопожертвованию он не стремится и стяжать мученический венец не готов. Он поднял руки вверх, сдаваясь трем демонам, которые, без сомнения, намеревались прикончить его. Всем известно, что коммунисты перед тем, как убить духовное лицо, норовят оскопить его. Падре желал сохранить жизнь, а заодно, если можно, мужское свое естество, которому, правда, не находил должного и приятного применения — сны не в счет. Следует отметить, что для падре демоны, коммунисты, ориша и хиппи были одним миром мазаны.

Трое убийц, трое развеселых и вконец распоясавшихся ориша с хохотом окружили его. Они удовольствовались малым: моментально раздели его, разули, так что остался он совсем нагишом, если не считать грязных носков да распятия на серебряной цепочке. Эшу Мале проводил его пинком в зад.

Падре бросился бежать, продрался через живую изгородь, в кровь оцарапавшись о колючки «слез Спасителя Бонфинского» и «шипов Святого Антония», пролетел, падая и поднимаясь, по авениде Гарибальди, свернул на Ондину. Вслед ему кричали прохожие: «Глядите, глядите — голый падре!» Как буря, ворвался в особняк миллионера Карлоса Маскареньоса, того самого, что несравненно играет на маленькой гитаре-кавакиньо и еще лучше — в карты. Миллионер узнал падре, ибо тот часто приходил к нему за пожертвованиями, и, хотя терпеть его не мог, принял великодушно и даже предложил scotch-on-the-rocks.

— Играете роль Адама, святой отец? Или убегаете от какого-нибудь ревнивца? Вас застукали? Ну, а прелюбодея какова попалась? Стоящая?

Чтобы пастырь смог добраться до своей церкви и при этом в него не тыкали бы пальцами уличные мальчишки, Карлос одолжил ему свой карнавальный костюм — черный саван, в какой обряжают самых неимущих покойников, черный саван с намалеванными на груди белыми ребрами. А чтобы не узнали, дал в придачу темные очки.

РАДУГА — Трое ориша сняли вьючное седло с ослика и надели его на спину Адалжизе, извивавшейся в конвульсиях, и великолепный ее зад, предмет вожделений Данило, стал еще краше и величественней.

На кандомбле Гантоис, в тайном покое, отведенном для тех, кто делает первый шаг к посвящению, богиня Иансан вскочила на свою горячую кобылку, вселилась в красивейшую из своих жриц-иаво — в Манелу: все с ума сойдут от восторга, когда поскачет она по кругу на террейро.

Предъявив свои права на Манелу, признав ее своим конем, Иансан дала ей отдохнуть, и та простерлась на узком лежаке — голова выбрита, лицо расписано синим с белым, к щиколоткам привязаны в знак подчинения амулеты из конского волоса. Тогда, нежно улыбнувшись ей, оказалась богиня на авениде — грянул боевой клич, сверкнула зарница, ударил гром. Выше телебашен взвилась Иансан и опустилась на Адалжизу: заранее было велено Эшу оседлать непокорную, вот и вскочила богиня в седло, выполнила обещанное. Но пришпоривать ее не стала — зачлась бессердечной опекунше, злобной мачехе та слезинка, которую уронила она в обители «кающихся», расставаясь с Манелой.

Прожив на свете сорок лет, исполнила Адалжиза то, что было предначертано ей не при рождении даже — при зачатии, освободилась от тесного, тайного кокона и обрела истинное свое значение, стала дочерью богини Ойа Иансан — Иансан Вьючное Седло, имя которой

так часто повторяется в песнопениях на террейро. В руке вместо обычного амулета сжимала она плетку — ту самую.

По воле Ошумарэ, двухголовой змеи, двуполого божества радуги, воздвигалась в небе Баии семицветная арка, распахнулся веер, горящий всеми цветами солнечного спектра, открылись ворота тайны. Первым прошел в них ослик, и теперь не переставший брыкаться. По свидетельству иных очевидцев, не заслуживающих никакого доверия, напрочь обделенных божественным даром вдохновения и малокультурных, чтобы не сказать «скудоумных», осел этот был тот самый, на котором бежало из Египта святое семейство. А может, и Буриданов осел, успевший и водички попить, и сенца пощипать, и разрешить проблему, ставившую великого схоласта в тупик. Очень даже вероятно, что был он и волшебным ослом из сказки Шарля Перро, оставлявшим после себя не навоз, а чистое золото: на мостовой, на улице Кардинала да Силвы, нашли потом в ослином дерьме три медные монетки — одну достоинством в двадцать рейсов и две по десять.

Неразлучные Ошосси и Шанго — равно любила их Иансан — вошли в сине-зеленые, красно-белые врата радуги. Направлялись они в лес, в пустыню, к реке, в африканские столицы Лагос, Луанду, Порто-Ново, Прая, к заливу Бенина, в земли царства Айока, шли и распевали одну из песенок Каэтано.

А почтенный судебный исполнитель Жозелито Массарандуба и его юный коллега Пауло Котовия остались вдвоем посреди улицы. Куда же девался святоша-падре, сахарный крендель, оказавшийся при ближайшем рассмотрении плесневелой коркой, куда пропала его спутница — очень еще аппетитная дамочка? Не стали они ломать себе над этим голову, не огорчились тому, что сгинули оба не попрощавшись, не отблагодарив за труды, не раскошелившись хоть чуточку, хоть на табак да пивко: Жозелито и Пауло к людскому бессердечию было не привыкать. Старший, приглашенный загодя на каруру в харчевне Жасиры, как настоящий друг потащил за собой младшего:

— Пойдем, там будет пир горой.

А Эшу перекувырнулся через голову, и исчез, и затворил за собой врата радуги.

А Иансан с вьючным седлом на спине растворилась в воздухе. Эпаррей, Ойа!

Пир горой

По всему историческому центру Баии, от Террейро-де-Жезус до площади Кармо, до самого рассвета бушевал «французский карнавал»: последние гуляки угомонились, лишь когда заря отомкнула радужные врата, когда взошла над городом суббота, прекрасная, как канун воскресения Христова.

Сами французы убрались восвояси часов в пять вечера, отсняв последние кадры панорамы отплясывающей толпы и крупные планы полуголой Патрисии — Патрисии задыхающейся, Патрисии задорной, Патрисии, без устали добивающейся внимания падре Абелардо,— вот он-то как раз веселился с натугой, словно из-под палки, и мучился несказанно.

Оставив в гостинице отснятый материал, французы решили откликнуться на любезное приглашение Жасиры де Одо-Ойа и отведать каруру на рынке Святой Варвары. Миро должен был отвезти их туда — всех, от Шанселя до того завитого паренька с сережкой в ухе — вроде извращенец, а может, и нет.

Жасира затеяла пиршество безо всякой особой причины, не во исполнение обета — просто хотелось ей почтить богиню Иансан, покровительницу рынка. Позавчера ночью гонец с террейро Гантоис поведал хозяйке харчевни, что Иансан наведается в Баию — у нее там

какое-то важное дело. Гонец попусту болтать не станет, он человек положительный и серьезный, не из тех полузнаек, что ошиваются на радениях, пыжась от своей учености. А для Жасиры это был прекрасный предлог созвать друзей, которых у нее пол-Баии, и восславить Иансан — ей, матери своей, обязана она всеми своими удачами в торговле и в любви. Ну, и закатила пир на весь мир.

Каруру должен был превзойти все ожидания: на него пошло двенадцатью двенадцать дюжин киабо. Лоточники и владельцы павильончиков скинулись на покупку нужных ингредиентов, фабрики прохладительных напитков брались поставить разливанное море пива, а известный юрист Зезе Катарино заказал Вилару и Деолино живительную влагу — настойки лимонные, кокосовые, питанговые, мандариновые и прочие под девизом «Изобилие, разнообразие, качество!». Его супруга, дона Режи, дама из самого что ни на есть высшего общества, тоже была дочерью Иансан и каждый год 4 декабря устраивала роскошный ужин с икрой и шампанским для особо приближенных гостей. Богиня Иансан чужда была расовых предрассудков и благосклонно принимала подношения даже от женщины белой и богатой.

А у Жасиры де Одо-Ойа друзей было не счесть — не только среди близких и равных — тех, кто зарабатывал хлеб насущный в поте лица своего,— нет, и в самых высоких сферах финансов, политики и науки. До того, как открыть харчевню на рынке святой Варвары, она владела скромным домом терпимости в квартале Амаралина. Харчевня досталась ей по наследству от брата, собственных детей не заведшего и в недобрую минуту вздумавшего повздорить за картами с каким-то головорезом.

Ей-богу, легче назвать тех, кого не было на празднестве Жасиры, ибо не в моих силах перечислить имена пришедших, ронявших слюнки — даже осененные благодатью руки Аналии не приготовили бы блюда вкусней! — пробовавших ликеры и настойки, болтавших, смеявшихся, теснившихся за столом. И потому ограничусь я перечнем персон, ставших персонажами и уже фигурировавших на страницах этой хроники, посвященной пришествию Иансан в ее Баию в год, когда открывалась там грандиозная Выставка Религиозного Искусства — о ней и сегодня еще память свежа.

Вот стоит наш милый и долгожданный профессор Жоан Батиста, оживленно беседуя с Жаком Шанселем, объясняя тому на безупречном французском языке с тягучим выговором уроженца Сержипе, что такое каруру, ватапа, китанде, курица-шиншин и прочие деликатесы афробаиянской кухни: он сведущ в этом вопросе и получает от беседы живейшее удовольствие. Вот наш художественный критик Антонио Селестино обхаживает сразу трех первоклассных дам — две столь же знамениты в научном мире, сколь и красивы, а третья к науке ни малейшего отношения не имеет, но тоже очень хороша, и поскольку ученого звания у нее нет, ей приходится гордиться только стройной крутизной бедер, за которые вполне можно дать и доктора «гонорис кауза». Вот во всем своем аристократическом блеске увлеченно изучает нравы и обычаи Баии очарованный ими португальский поэт Фернандо Ассиз Пашеко. Бард из Коимбры отважно опустошил несколько объемистых тарелок, отведал разнообразных настоек и, по собственному его признанию, обрел на этом празднике вдохновение, сочинив наконец стихотворение, стоившее ему много труда и бессонных ночей. Вот, продолжая свой нескончаемый обед, начавшийся в ресторане «Колумб», нотариус Вилсон Гимараэнс Виейра и его верный делопроизводитель Данило Коррейя наслаждаются киабо и ледяным пивом. Звезду «Ипиранги», закатившуюся столько лет назад, до сих пор все любят и почитают; Данило жмут руку, обнимают:

— Как поживаешь, Принц? А где же дона Адалжиза?

Дона Адалжиза отродясь не бывала в таких местах, в жизни не посещала подобных сборищ. Данило притащил на рынок своего на-

чальника и друга, чтобы отсрочить час возвращения домой, ибо там его ждал невероятный скандал, беспримерная головомойка. Можно себе представить ярость Адалжизы. Однако он не раскаивался в том, что посмел ослушаться жену и предпринять на свой страх и риск известные читателю шаги. Мятеж обойдется ему дорого, и он то храбрился, то впадал в уныние. И домой решил вернуться как можно позже, а сейчас напиться вдрызг: пьяному легче будет встретиться лицом к лицу с Адалжизой. Так или иначе, четверть часа крика, жалоб, угроз ему обеспечены, у жены снова приключится мигрень, она сляжет... Ах, да пропади все пропадом! Ну, последним назову падре Абелардо Галвана, пастыря Пиасавы, свершающего скорбный вояж в столицу штата. Он изо всех сил старается сохранить бодрость духа — отдал дань каруру, выпил настойки из кажа — настоящий нектар! — но все это молча, угрюмо, без малейшего воодушевления. На веселье его явно не хватает. И дело тут вовсе не в том, что по всему рынку шныряют агенты федеральной полиции, а комиссар Паррейринья оказался достойным соперником Ассиза Пашеко по части поглощения и восхваления каруру. Дело в Патрисии, которая утратила всякую сдержанность и забросила, как говорят французы, чепец за мельницу. Она держала падре за руку, совала ему прямо в рот самые лакомые кусочки, гладила его по щеке, перебирала его кудри, шептала ему в самое ухо: «Ты — мой Святой Себастьян, весь утыканный стрелами, ты мой добрый пастырь, ты мой Христос Младенец, ты мой красавец, любовь моя», она висла на нем, вешалась ему на шею и в шею целовала, она прижималась к нему и покусывала за мочку — и это все при том, что была совершенно трезвая, просто очень веселая. Она была истинной козочкой Иансан, непокорной и готовой на все: сегодня или никогда! Падре Абелардо, попадая из огня прямо в полымя, колеблясь меж добром и злом, между спасением души и вечной ее погибелью, был и растревожен выше меры, и угнетен. Патрисия, священник жениться не может, обет не позволяет! Патрисии до этого, казалось, никакого дела нет, она словно и не знала о роковом запрете. Но не только она отвергала обет — противилось ему и пылающее преступной страстью сердце самого Абелардо. Ах, да только ли сердце!

После семи, когда каруру в основном было уже съедено, а питье только начиналось, весь рынок загудел — это по знаку Незиньо из павильончика араба Джамиля вытащили спрятанные там до поры барабаны-атабаке. Мастеров на каруру всегда бывает предостаточно, а тут составился целый оркестр. Убрали кастрюли и тарелки, очистили место. Зарокотали барабаны, кое-кто немедля пустился в пляс — надо ли говорить, что в числе самых первых была Жилдета? Олга затянула славословие богам-ориша.

Но допеть не успела, ибо в главных воротах появилась сама богиня: она шептала приветственные слова, гибко покачивалась всем телом, выдыхала пламя. На спине — вьючное седло, в руке — плетка. Никто прежде не видел здесь Адалжизу, в которую вселилась Иансан, все замерли. Дрожь пронизала весь рынок Святой Варвары. Жасира, хозяйка праздника, пала ниц, как на террейро. По правде говоря, ей-то уж шепнули по секрету: Иансан — в Баии, она не отвергнет твое угощение, придет на твой праздник. Ойа Иансан подняла ее с земли, трижды обняла. Произошло воплощение, Одо-Ойа вскочила на Жасиру; начался танец.

Одна за другой появлялись в кругу Иансан, и гости напирали все сильней, боясь пропустить хоть малость. Громче стал гул атабаке, к ним присоединились пустотелые тыквочки-агого и погремушки. Рванулась на отчаянном галопе Олга из Алакату, а за нею — Ойаси, жрица африканского племени жеже, Маргарита-де-Иансан, жена огана Аурелио. Потом пришел черед Веры-до-Белудо, только сегодня прибывшей к нам из Рио.

Прежде чем падре Абелардо успел опомниться, Патрисия, призванная святой, скинула туфли, вскочила в круг. Пять Иансан танцевали вокруг Ойа Вьючное Седло, представлявшей народу свою дочь Адалжизу, сорок лет противившуюся материнскому обету, а теперь укрощенную и покорную. На языке йоруба: этот язык во время радения — то же, что латынь на литургии — велела она снять седло, люди уже видели его на улицах Баии, кое-кто смеялся, думая, что это маскарад, но иные все смекнули, тихо улыбнулись. Незиньо, Марио Оба Тела и Жилдета исполнили повеление, отнесли седло в палатку Джамиля. Когда же праздник кончился, хватились — нет седла, куда могла запропаститься громоздкая тяжеленная штуковина? Однако так и не нашли, исчезло седло, как все равно Святая Варвара Громоносица.

Шесть Иансан танцевали в тот день на рынке, все хороши на загляденье, но Адалжиза — лучше всех, ни с кем не сравнить ее. Только тот, кто видел, как вздрагивает в танце ее высокая грудь, как ходуном ходят могучие бедра, узнает, каково было смирить и обуздать ее, заставить ходить под седлом, да не простым, а вьючным!

Данило же в эту минуту находился в глубине рынка, где спорил до хрипоты, обсуждая решение судьи, назначившего одиннадцатиметровый в ворота Баии и даровавшего тем самым победу «Санта-Круз» из Ресифе. Судью — он был из штата Параиба — после матча слегка помяли, поделом ему, еще дешево отделался! И тут он услышал свое имя. Нотариус Вилсон в крайнем возбуждении звал его. Бывший Принц, не выпуская из руки жестянки с пивом, подошел, глянул в ту сторону, куда тыкал пальцем начальник и друг, и чуть не грянулся оземь:

— Матерь божья, это же Дада!

Богиня Ойа, сидя на своем коне, на укрощенной Адалжизе, подъехала к славному Данило, вручила ему плетку, а потом поступила в точности так, как Манела с Миро — обхватила чуть выше колен и высоко подняла, показывая и представляя народу нового огана из своей свиты, любимого огана.

Близилась ночь, празднество шло к концу, стали расходиться. Ойа поручила «посвященную» Адалжизу заботам жреца-бабалориша Луиса да Мурисоки. В продолжение сорока дней будет находиться она в особой комнатке на террейро — там постигнет движения ритуальных танцев, выучит обрядовые песнопения. Никогда больше не будет мучить ее головная боль, а вместе с мигренью сгинут и фанатизм и злоба:

Дверь я затворила,
Дверь велю открыть...

Вернисаж

ПРИГОВОР — Приговор был вынесен в семь часов вечера, когда сумерки сменились тьмою, окутавшей залив. Выставка была полностью готова к открытию, все недоделки устранены.

Дон Максимилиан везде поспевал, во все вникал, ничего не оставлял без внимания. Когда же все было кончено, он проводил до дверей четверых своих добровольных помощников — Гилберта, Льва, Силвио и Жамимона,— поблагодарил их всех, найдя для каждого нужные слова. О принятом решении он даже не обмолвился, но они что-то заподозрили, ибо само умолчание настораживало и было достаточно красноречиво.

Потом он собрал своих сотрудников и служителей Музея, дал им последние указания — как всегда, тоном решительным и властным. Никого, ни одной живой души, кто бы ни был, какой бы пост ни занимал, в залы не впускать, пока он, дон Максимилиан, лично не раз-

решит. Самые почетные гости: кардинал, комнадующий округом, начальники военно-морской и военно-воздушной баз, дона Режина Симоэнс, префект, викарный епископ, доктор Норберто Одербрехт, банкиры Анжело Калмон де Са и Лафайет Понде, дон Тимотео и живописец Карибе — будут ждать в кабинете директора, прочие гости и представители прессы — в залах, где размещена основная экспозиция. Он, дон Максимилиан, уйдет в свои покои, и посылать за ним следует не раньше, чем придет сообщение о том, что министр просвещения направляется из аэропорта в монастырь Святой Терезы. До этого он убедительно просит его не беспокоить, а о репортерах чтоб и речи не было. Слушавшие эти наставления сотрудники и служители Музея готовы были исполнить любое желание своего директора и, сплотясь вокруг него тесной любящей кучкой, горестно недоумевали: обычно в преддверии подобных событий дон Максимилиан хохотал, сыпал шутками и прибаутками, используя любую возможность, чтобы подбодрить и успокоить своих соратников, а сейчас был печален и угнетен.

Прежде чем уйти, он подошел к телефону, выслушал приговор. Брови его хмурились, рука слегка дрожала, голова поникла — приговор был окончательный и обжалованию не подлежал.

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО: СТАТУЯ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ ПОТЕРЯНА БЕЗВОЗВРАТНО — Кардинал-архиепископ Баиянский позвонил дону Максимилиану с тем, чтобы сообщить ему, чем же завершились розыскные мероприятия федеральной полиции, каков итог их бурной деятельности. Предпосылки были верны, версии безошибочны, клубок размотан, тайна исчезновения Святой Варвары разгадана, сыщики сделали однозначный вывод. Побив все рекорды, светила сыскной науки за каких-то двое суток не только прояснили это темное дело, но и решили проблему, представляющуюся неразрешимой: все стало ясно как божий день, как детский праздник. А коллеги их из управления безопасности еще топтались на месте, еще раскачивались да примеривались, отложив дело до греческих календ.

Полковник Раул Антонио, начальник федеральной полиции, не послал кого-нибудь из подчиненных к кардиналу, а явился лично, что свидетельствует о хорошем воспитании, сохранившемся даже в условиях военной диктатуры. Полковник был в Баии первым лицом после командующего войсками округа. В течение целого часа он истязал кардинала обстоятельнейшим докладом со множеством технических подробностей: взмывал к высотам теории, выдвигал обвинения, сыпал именами. Была, однако, в его речах и конструктивная самокритика: да, работа проделана колоссальная, и проделана блистательно, и результаты налицо, и все-таки время упущено, опоздали. Да-да, опоздали в аэропорт, перехватить статую не удалось.

Кардинал не счел нужным передавать дону Максимилиану всю беседу дословно, со всеми именами и явками — так, не было произнесено имя падре Галвана, не упомянуто аббатство Сан-Бенто. А между тем Абелардо Галван, вовлеченный в памятные события в Пиасаве и, по мнению прессы, вдохновивший, если не возглавивший крестьян, которые вторглись в имение «Санта Элиодора», был в истории с похищением фигурой ключевой: этим-то ключиком и открыли таинственную дверцу. Внимание полковника привлекло уже то, что Галван отправился в столицу штата через Санто-Амаро — крюк порядочный! — с явным намерением оказаться на одном баркасе со статуей. Выяснить это удалось очень быстро, хоть дон Максимилиан, когда с него снимали показания, попытался утаить это многозначительное обстоятельство. Любопытно, почему?

Падре Галвана взяли под наблюдение, и след привел в аббатство Сан-Бенто, где шайка припрятала добычу. Все сошлось в лучшем виде: где же найти убежище крамольному падре, как не в этом монасты-

ре — рассаднике марксизма, очаге злобной агитации против нашего благословенного режима?! Полковник Раул Антонио учтиво, но твердо пресек попытки кардинала защитить обитель: «Простите, ваше высокопреосвященство, но мы располагаем доказательствами». Тут он даже слегка возвысил голос, чтобы избежать зряшного спора: «Мы знаем о Сан-Бенто и о его настоятеле все. Аббат — далеко не пешка в играх такого рода!»

Было также установлено, что неизвестная женщина посетила Сан-Бенто и провела в его стенах более получаса. Ее настороженное поведение и явное желание остаться незамеченной вкупе с непривычным обликом — замшевые туфли, пепельно-серый tailleur [1], перчатки и шляпа — привлекли внимание агентов. Приехала она в Сан-Бенто на такси, покинула его на монастырской машине: номера автомобилей и время были зафиксированы. Своевременно извещенный полковник Раул Антонио пустил в ход превосходно отлаженный механизм федеральной полиции, связался с коллегами из других штатов и из столицы. В результате чего всего через несколько часов он смог установить личность неизвестной. «Знаете, ваше высокопреосвященство, кем она оказалась?»

— Это сестра Мигела Арраэса, коммунистического лидера, в 64-м году возглавлявшего правительство штата Пернамбуко,— Виолета Арраэс, опаснейшая агитаторша!

— Виолета Арраэс?

— Вы с ней знакомы?

Кардинал неопределенно помычал, как бы давая понять, что у него, главы бразильской церкви, знакомых множество и всех не упомнишь. Полковник настаивать не стал, продолжил свой доклад. Итак, после выяснения личности проследить маршрут Виолеты по Баии труда не составляло. Из монастыря она заехала за своими вещами туда, где остановилась — на квартиру Каэтано Велозо, которому, как видно, полученный урок пошел не впрок, так что придется повторить. А оттуда — в аэропорт...

— Когда мы приехали туда, самолет авиакомпании «Вариг» прямым сообщением Баия — Париж был уже в воздухе, увозя и «Пассионарию из Пернамбуко», и Святую Варвару Громоносицу.

Интересно бы узнать, откуда узнал полковник это прозвище? Из архивов СНИ? Подслушал на улицах Ресифе? Ясно одно: сестра Арраэса якшалась в Пернамбуко с доном Элдером и прочими приспешниками мятежного брата, а в Баию приехала, чтобы забрать похищенную статую, вывезти ее за пределы страны, переправить в Европу, продать там, а на вырученные деньги субсидировать подрывные организации. Сомнения нет: это была тщательно разработанная и мастерски проведенная операция — мафия все предусмотрела и рассчитала по секундам.

— В Баии она находилась с фальшивым французским паспортом на имя Виолет Жервезо.

Еще удалось установить, что в ее багаже был большой и тяжелый ящик, на который она попросила приклеить ярлычок «Осторожно, не бросать!» и который, по ее словам, содержал керамические изделия пернамбуканских кустарей Виталино и Северино.

Федеральная полиция подтвердила свою квалификацию, разгадав тайну исчезновения святой всего за сорок восемь часов, но щепетильный полковник поздравлений не принимал, поскольку его подчиненные нагрянули в аэропорт слишком поздно.

— Опоздали часов на двенадцать: самолет взлетел в половине второго ночи, а мы были у стойки «Варига» около полудня,— сказал

---

[1] Английский дамский костюм *(франц.)*.

он, бия себя в грудь.— Так что Святая Варвара теперь в Париже, нам до нее не добраться. Пиши пропало.

Но борьба с мафией далеко не кончена: похитители старинных статуй, орудующие в церквах, будут установлены и арестованы. Первая битва проиграна, но кампания завершится победой.

— А выведет нас на главарей шайки этот самый падре Галван. Мы оставим его на свободе и глаз с него не спустим. Нас ждет еще много сюрпризов, ваше преосвященство.— И, завершая беседу, блеснул эрудицией, привел перевранную цитатку из Шекспира:— «Прогнило что-то в королевстве шведском».

Кардинал не стал его поправлять: какая разница — «шведском» или «датском»? — полковник Раул Антонио явно имеет в виду идеологическую сумятицу, разброд и шатания в рядах церкви. Когда страной правит военная диктатура, когда звучат угрозы и оскорбления, может ли кардинал, даже если он — примас Бразилии, ждать, что к нему отнесутся с уважением?

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ — По телефону он сообщил дону Максимилиану самое главное: статуя переправлена за границу, все пропало, надежды нет никакой.

Потом кардинал принялся пересказывать хорошо знакомую директору теорию полковника Раула Антонио, выдержанную в духе авантюрных романов: сокровища, украденные из монастырей и ризниц, служат тем, кто захватывает помещичьи земли в деревне и устраивает «герилью» в городе. Вряд ли начальник федеральной полиции утверждал бы такое, не будь у него проверенных данных, полученных в ходе следствия. Итак, Святая Варвара Громоносица увезена из страны Виолетой Арраэс.

Кардинал был с нею давно и хорошо знаком: полковник ошибся — ее на самом деле звали Виолета Арраэс Жервезо, поскольку она была женой французского финансиста Пьера Жервезо, человека отважного и великодушного. И именно потому, что кардинал был с нею давно и хорошо знаком, он и поверил полковнику, ибо Виолета способна еще и не на такое.

В самом конце разговора он спросил дона Максимилиана, не лучше ли будет ему не появляться на вернисаже, послав предварительно ректору прошение об отставке? Директор словно только того и ждал:

— Я публично объявлю о своем уходе,— с жаром проговорил он,— как только выставка будет открыта. Я изопью свою чашу до последней капли.

Ну, что можно возразить на такое патетическое заявление? Кардинал, слегка растерявшись, сказал только: «Ну, в таком случае до скорого свидания» — и дал отбой. Легко себе представить всю меру отчаяния, охватившего дона Максимилиана, глоток за глотком пьющего горечь и скорбь. Дон Максимилиан терпеть не мог риторики, и если уж речь зашла о чаше, можно вообразить, до чего его довели. Кардинал от всей души сожалел об участи этого высокоученого, работящего, талантливого бенедиктинца и решительно не представлял себе, кем его заменить. Бедный, бедный дон Максимилиан! Ему предстоит мучительнейшая ночь.

Но все на свете кончается, кончится и эта ночь, а утром директор Музея сядет в самолет, полетит в Рио, где ему уже ничего не будет страшно. А вот кардиналу-примасу еще предстоит разбираться с викарием Санто-Амаро: тут уж не жди ни риторики, ни высокопарных фраз — водопадом обрушится самая низкопробная брань... В эту самую минуту — как нарочно! — вбежал секретарь и доложил его высокопреосвященству, что падре Тео во главе жителей Санто-Амаро только что высадился в Баии, на причале Рампы-до-Меркадо. Кардинал почувствовал, как по спине у него побежали мурашки.

CONSUMMATUM EST [1] — Крестная мука дона Максимилиана началась в восемь вечера — минутой раньше, минутой позже,— когда он узнал, что изваяние Святой Варвары Громоносицы контрабандой вывезено во Францию. Полиция расписалась в своей полнейшей бездарности, в неповоротливости, косности, замшелом бюрократизме. Тернистый путь привел монаха к узенькой дверце — выходу в изгнание. Ехать в Рио? Вернуться в Европу? Начинать все сначала? Где? Это он потом решит, в этот час свершения он не в силах думать о завтра, ибо слишком тяжко бремя дня вчерашнего, всех этих радостных лет, прожитых в Баии. Consummatum est!

Через час он встретит министра просвещения и культуры, кардинала, губернатора, ректора и еще триста знаменитостей — цвет интеллектуальной Баии — и объявит Выставку Религиозного Искусства, организованную Музеем и лично им самим, доном Максимилианом фон Груденом, открытой. Вот она — готова и развернута во всем своем блеске. Эта минута должна была стать минутой его торжества, высшим его взлетом, она принесла бы ему огромную славу и в Бразилии, и за границей, эта минута увенчала бы лаврами труды и усилия всей его жизни. Но все будет наоборот. Перед нацеленными на него телекамерами он вынет из кармана свой приговор, прочтет прошение об отставке с поста директора, огласит текст отречения. Consummatum est!

Займет это лишь полминуты: долго ли прочесть несколько строчек? А потом он передаст бразды правления и приглашенных художнице-реставратору Лиане Гомес Силвейре — она постоянно замещала директора на время его непродолжительных отлучек, она заменит его теперь навсегда. Не удостоив журналистов взглядом, он удалится в свои сумрачные покои, покинет Музей, распрощается с наслаждением вынашивать и осуществлять замыслы, распоряжаться и руководить, расстанется с радостной повседневной суетой забот и хлопот. Он унижен, изгнан и отринут, грудь его подставлена всем насмешкам и оскорблениям. Consummatum est!

Так, из рабочего кабинета дона Максимилиана начался его путь на Голгофу. Днем он уже разобрал и освободил от бумаг ящики письменного стола, собрал чемодан и теперь сидел перед телефоном наедине со своей печалью, и жгла его эта печаль больнее, чем бичи центурионов. Он поднялся, прошел через все крыло монастырского здания к маленькой лестнице, которая вела в запасники и в его личные апартаменты. Но чтобы попасть домой, надо было пройти все залы, где была развернута выставка. Он шагал медленно, с любовью вглядываясь в экспонаты, стараясь, чтобы это ослепительное богатство навеки запечатлелось на сетчатке его глаз и в сердце. При выходе из каждого зала он выключал свет, погружал выставку во мрак и уносил ее с собою. Consummatum est!

В квартире своей он ни к чему не притрагивался — сил не было, да и времени тоже. Он отдаст ключи Эмануэлу Араужо, испытанному другу, а тот соберет все его пожитки, перешлет их в Рио. Дон Максимилиан включил лампу в изголовье кровати, подошел к окну: если уж плакать, так сейчас, а не при отъезде, он должен выйти отсюда с гордо поднятой головой и сухими глазами. В пролетарском квартале уже наступила ночь, растворила во тьме все неудачи и тревоги минувшего дня, потопила их в обрывках музыки, зевках, жалобах. С пластинки пел Роберто Карлос, кто-то наигрывал на гитаре, транзистор передавал спортивную программу, и трое, собравшись вокруг, спорили; толстая женщина размахивала руками; под кустом цветущего жасмина не теряли времени даром кассирша из супермаркета и паренек, доставлявший на своем мотоцикле покупки на дом... Ничего величественного, ничего значительного, но как же ему будет

[1] Свершилось! *(лат.)* — Предсмертные слова Иисуса Христа.

не хватать всего этого! Да по чему только не будет он тосковать теперь? Consummatum est!

Он устремил взгляд на ветхие крыши домов, на спящие улицы Нижнего Города, на залив, где подмигивали звезды, габаритные огни шхун и баркасов, фонарики волнореза. Посмотрел на черную громаду форта Святого Марцелла, похожую на панцирь исполинской черепахи. Слезы навернулись на глаза, сердце сжалось, дон Максимилиан дал себе волю, как самый обыкновенный человек, но никто не услышал задавленного рыдания, не увидел скатившейся по щеке слезы. Он распят, consummatum est!

Возник какой-то шум — сначала в отдалении, потом все ближе и ближе, все сильней и сильней: это был слитный топот многих сотен ног. Дон Максимилиан всмотрелся и понял, что вверх по Ладейре-да-Прегиса движется, распевая гимны, целая толпа: это паломники из Санто-Амаро явились за своей святой. Когда они поравнялись с монастырем, он узнал и викария, падре Теофило Лопеса де Сантану, державшего в руках плакат: «Дон Мимозо — вор!» Дон Мимозо? Это ведь его они так прозвали, больше некому быть... Какая низость! Господи, неужели еще и это ты мне уготовил? Consummatum est!

Манифестанты запрудили всю улицу Содре, став лагерем как раз напротив Музея. При свете уличных фонарей дон Максимилиан читал надписи на их плакатах и транспарантах: «СВЯТАЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ! ВЕРНИТЕ НАШУ СВЯТУЮ! ВАРВАРУ ГРОМОНОСИЦУ УКРАЛИ! ДОНА МИМОЗО — ЗА РЕШЕТКУ!» Монах опустил голову, почувствовал, как пробили гвозди его ладони и ступни. Он выставлен на всеобщее посмеяние, он наг и бос. Слеза повисла на подбородке, капнула на грудь. Consummatum est!

В двери осторожно постучали, и появился Нелито, веселый «бой», чернокожий херувим, грациозный и соразмерный, словно статуэтка. Звонили из аэропорта: господин министр вместе с губернатором и ректором, встречавшими его, направляется в Музей. Кабинет и залы переполнены гостями, кардинал уже теряет терпение. Это он его послал к дону Максимилиану.

— Спасибо, Нелито. Подожди минутку.

Он вытер слезы и только после этого включил свет в ванной: вымыл лицо, причесался, оправил сутану, чтобы складки ее лежали красиво. Взглянул на себя в зеркало: печальный лик, романтический профиль, смертельная бледность, изящная фигура,— весь как из слоновой кости выточен. Личина мужественной мизантропии скрыла язвы поражения, рубцы разочарования, следы недавней слабости. Он был уничтожен, но исполнен достоинства. Consummatum est!

— Пойдем, Нелито, тебе одному скажу то, что еще никому не ведомо. Завтра меня уже здесь не будет, завтра я уеду.

— Как уедете, дон Максимилиан? Быть того не может! А Музей? Что с Музеем-то будет? Вы, наверно, шутите... Я вам не верю.

ЕСТЬ БОГ НА НЕБЕ! — Нелито шел впереди, включая в залах выставки свет, а за негритенком, словно приговоренный к смерти, шагал дон Максимилиан фон Груден, и незримое присутствие палачей придавало особую, чеканную четкость его поступи. Хотя никто, кроме Нелито, не мог его видеть, директор ни на минуту не забывал о том, чтобы на лице застыло достаточно елейное выражение, чтобы сутана ниспадала красивыми складками, чтобы весь вид его свидетельствовал о твердости духа. Так двигалась по залам эта траурная процессия.

Негритенок скакал и прыгал, и дону Максимилиану пришлось сделать ему замечание:

— Что такое, Нелито?! Нельзя ли потише?

— Да ведь сегодня — ночь полнолуния, праздничная ночь — выставка открывается! Вот я и радуюсь.

Он никогда больше не увидит этого черного ангелочка из своей

свиты, никогда больше не будет прыгать перед ним эта ожившая гравюра Дебре. Сегодня, Нелито, не наш праздник, сегодня торжествует викарный епископ, ректор и все те, кто терпеть меня не могут и давно мечтают убрать меня с поста директора,— имя им легион. Я буду далеко, я не смогу подобрать себе достойного преемника, хорошо еще, если назначат Лиану.

— Послушай, Нелито. Я буду ждать у дверей, а ты стань внизу, у лестницы, и никого не пускай, пока министр не приедет. Никого — даже кардинала. Понял?

Нелито два раза повторять было не надо. Из дальних залов доносилось жужжание голосов, долетали обрывки диалогов, женский смех — гости старались занять места поближе к входным дверям, а самые почетные ждали в директорском кабинете. Стенные часы — тоже музейной ценности вещь! — показывали девять. Министр военного правительства, хоть и штатский, но тоже обладает даром останавливать движение стрелок, замедлять качание маятника, чтобы ровно в девять объявить Выставку Религиозного Искусства открытой.

Дон Максимилиан фон Груден завершил путь на Голгофу — вступил в первый зал экспозиции. Но это был уже не человек, а жалкие его остатки, живой труп, обитатель могилы. Он собрал последние силы, расправил плечи, но сердце, разрывавшееся от отчаяния, не подчинилось воле. Глаза резало — до того они были сухи.

И вот тогда он глянул, увидел — и не поверил тому, что увидел. Вгляделся, протер глаза: на том самом месте, о котором говорил он Мирабо Сампайо, что собирается поставить туда изваяние Святой Варвары Громоносицы, она и стояла — без постамента, без носилок, стояла как живая, как существо из плоти и крови, как вы и я. Дон Максимилиан, по-прежнему не веря своим глазам, вмиг наполнившимися слезами счастья, ущипнул себя. Нет, он не грезил, не бредил. И даже не удивился, когда Святая Варвара Громоносица улыбнулась ему и подмигнула, возвращая его из ссылки и изгнания в единственный на всей земле город, в Баию. То, что статуя улыбалась, показалось ему совершенно естественным.

Дон Максимилиан встал на колени, вознес хвалу господу, а потом простерся у ног святой, поцеловал край ее одеяния, и похож он в эту минуту был на сына грозной Ойа Иансан, выполняющего на радении обряд, клянущегося в верности и покорности.

А когда наконец распахнулись двери и, окруженный телекамерами и радиомикрофонами, появился министр просвещения и культуры, дон Максимилиан фон Груден, директор Музея, ждал его как ни в чем не бывало рядом со статуей, о которой доподлинно было известно, что ее украли и вывезли в Европу. Он стоял рядом со святой и улыбался не без высокомерия, и легкая надменность звучала в его голосе:

— В присутствии господина министра, господина губернатора штата, его высокопреосвященства кардинала-примаса, от имени ректора федерального университета Баии,— он помедлил и произнес громче,— с благословения Святой Варвары Громоносицы объявляю Выставку Религиозного Искусства открытой!

Микрофоны записали его слова, телекамеры через спутник показали миллионам бразильцев от Ойапоке до Шуйи монаха в безупречной белой сутане, монаха, не знающего себе равных в искусствоведении и музеологии, монаха ученого и прекрасного, а он стоял рядом со знаменитым образом, защищая его и под его защитой. Потом он расписывался на экземплярах своей книги, которую сочинил про нее, про Святую Громоносную Варвару. Он определил ее происхождение, он назвал и дату ее появления на свет, и имя того божественного полукровки, чьи изъеденные проказой пальцы сотворили ее.

Слава тебе, господи всемогущий! В девять часов двенадцать минут страстной пятницы началась на этот раз пасхальная суббота.

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ — Это нечто новое в деле сочинения романов: на нижеследующих страницах я собираюсь ответить на вопросы тех, кто, отбывая тягостную повинность, следил за всеми перипетиями и хитросплетениями сюжета, за всеми горестями персонажей да и автора, который теперь еще ко всему жестоко страдает от люмбаго. Правда, мне никогда еще не приходилось видеть, чтобы подобные газетные штучки расцветали на почве творческого воображения и чистого вымысла. Но не забудьте: речь идет не просто о романе, а о романе баиянском, а стало быть, открытом всем новым литературным веяниям и освежающему идеологическому сквозняку, устроенному «перестройкой». Времена номенклатуры и бюрократизма уходят в прошлое, ка-ра-шо!

Впрочем, неспособность вашего покорного слуги обновляться хорошо всем известна. Не умею я обогащать повествование неожиданными кунстштюками, не желаю отказываться от испытанной формы «романа с продолжением», не в силах провести фрейдистский психоанализ героев — жалких существ, обреченных на жизнь всемогуществом судьбы; представить любовь аберрацией и девиацией. Не поднимается у меня рука сделать мой роман современным и — непригодным для чтения. Автор очень страдает от этой своей неспособности, она у него уже в печенках сидит, днем омрачая его тихую старость, а ночью мучая бессонницей. «Переписка с читателем» вовсе его доконает.

Но я всем сердцем откликаюсь на требования моих любознательных читателей, которые были сочувственными свидетелями того, с каким упорством полупочтенный автор этих строк выполнял взятое им на себя обязательство повествовать забавляя и забавляясь, раздвинуть рамки теории и изменить мир к лучшему. Беспримерная дерзость со стороны сочинителя, богатого лишь числом прожитых лет и проигранных битв, но до сих пор не сумевшего сделать так, чтобы литературные критики захлебывались от восторга, читая его скудоумные творения, рассчитанные на самый непритязательный вкус.

Короче говоря, лицам, не склонным к обновлению и духовному обогащению, читать нижеследующее не обязательно, благо, повествование мое оборвалось в конце предыдущей главы. «Переписка с читателем» служит для того лишь, чтобы подбить, как говорится, бабки и рассказать, каковы были последствия описанных мною событий.

РЕЗОНАНС — Он был громовой и восторженный, на всю Бразилию. Эхо Выставки и выхода книги дона Максимилиана о Святой Варваре, книги, ставшей классикой, отозвалось и в Португалии.

Дон Максимилиан еще не пришел в себя: он почивает на лаврах и распускает хвост как павлин. Я хотел было написать: «Надувается как индюк», но вовремя остановился. Он бродит вокруг монастыря: то потолкует с резчиком Роке, то перебросится словцом со скульптором Зу Кампосом, и белая его сутана мелькает в зелени деревьев, окружающих монастырь Святой Терезы. Вокруг него прыгает шаловливый херувим Нелито с требником под мышкой, и зря он таскает его за директором — тот ничего больше не читает, а только гуляет между клумбами маргариток и дягилей, пастырь каменных и деревянных ангелов и святых. Тут мы его и оставим, пусть наслаждается жизнью.

Наша печать уж и не знала, как еще расхвалить выставку и книгу — печатала гигантские заголовки, давала целые подвалы и даже полосы, десятки фотографий, не жалела самых пышных эпитетов. Что же касается происшествия, от которого вся Баия на протяжении сорока восьми часов ходуном ходила — исчезновения святой,— то общее мнение таково: это был гениальный рекламный ход, тонко рас-

считанный и блистательно осуществленный самим же доном Максимилианом, желавшим привлечь к своей монографии всеобщее внимание. Разумеется, сделано это было с помощью журналиста Гидо Герры — два сапога пара, больших мистификаторов свет не видывал.

Сам Гидо ничего не опровергает, а только ухмыляется, щуря свои бесстыжие попугайские глазки. Хотя теперь на попугая какаду стал похож Жозе Берберт де Кастро, вот уж кто трещит без умолку, торжествуя победу. Он смог вернуться в редакцию родной «Тарде», и главный редактор Жорже Калмон погладил его по головке: молодец, Жозе, в очередной раз наша газета не стала гнаться за сенсациями и дала правдивую, точную информацию. Репортер своими глазами видел прибытие Святой Варвары в Баию, о чем и уведомил подписчиков.

Ну, ладно, оставим в стороне это вечное соперничество наших газет и обратимся к статьям, подписанным славнейшими именами. Вот, например, Антонио Селестино, которого так безосновательно подозревал дон Максимилиан, трубит славу Выставке: «Перед посетителями разворачивается величественная панорама религиозного искусства, безмерные богатства которого собраны и сохранены у нас, в Баии». А чуть ниже с чисто португальской высокопарностью умиляется книге дона Максимилиана: «Из-под золотого пера не знающего себе равных мэтра вышел подлинный шедевр, который раскрывает все тайны, окутывающие образ Святой Варвары Громоносицы, и приводит неотразимые аргументы относительно ее авторства. Баия может торжествовать: мы обладаем одним из самых совершенных творений гениального Алейжадиньо».

В рубрике «Роза ветров», где обозреватель Одорико Таварес ежедневно помещал несколько дюймов своей блистательной прозы, он тоже расхваливал Выставку и монографию, однако советовал быть более благоразумным в вопросе атрибуции.

Член Международной ассоциации художественных критиков Кларивал до Прадо Вальядарес в длинной, восторженной статье с цитатами на всех языках тоже превозносил дона Максимилиана до небес.

И, наконец, венцом всему этому стали интервью и репортаж «специального корреспондента португальских газет» Фернандо Ассиза Пашеко. Вы помните, именно так представил его собравшимся на пресс-конференцию дон Максимилиан в среду, незадолго до того, как пошла вся свистопляска. Давая интервью и выдвигая дерзкие идеи, Пашеко с присущим ему обаянием набросал беглый портрет директора Музея: «Он говорит, что ему пятьдесят пять лет, пятнадцать из которых он прожил в Баии, но его красноречия и лукавства хватит еще на столько же; он превосходно разбирается не только в изображениях святых, но и во всех сферах искусства и литературы: я сам мог судить, к примеру, сколь солидны его знания памятников галисийско-португальской лирики». И продолжал: «Многолетняя любовь к Святой Варваре произвела на свет эту интереснейшую, блестящую книгу, вызывающую безоговорочное восхищение». Дон Максимилиан таял от удовольствия, читая это.

А в репортаже португалец весело и со множеством подробностей повествовал об исчезновении святой, о той панике, в которой двое суток находилось население Баии, красочно живописал смятение жителей города, лишившихся своего национального достояния. Нашлось в репортаже место и обеду на рынке, и круговой самбе, и «французскому карнавалу», и пиршеству в заведении Жасиры де Одо-Ойа.

Далее Пашеко глумился над версиями, выработанными службой безопасности и управлением полиции, поскольку дальнейшее развитие событий показало, что обе эти почтенные организации попали пальцем в небо. Издевался над полковником — людоедом в обличье интеллектуала, утверждавшим, что статуя переправлена в Европу, и

над безмозглым доктором Пассосом, обвинившим в похищении самого викария Санто-Амаро. Надо надеяться, оба идиота уже сняты с должности.

Тут наш коимбрский бард сильно ошибался: все остались на своих местах. Полковник Раул Антонио продолжал разоблачать гнусные замыслы коммунистов, рядящихся в сутаны и камуфлированные комбинезоны, и утверждать, что статую Святой Варвары не вывезли из страны лишь благодаря бдительности федеральной полиции: Виолета Арраэс, очевидно, почувствовала за собой слежку, испугалась и оставила изваяние в обители Сан-Бенто. Доктор Калишто Пассос, получив рапорты комиссара Паррейриньи и сильно простуженного Риполето, снова стал метать гром и молнии в алтари — я имею в виду алтарь церкви Санто-Амаро-де-Пурификасан. Там, во храмах, замышляются священнослужителями хищения имущества, принадлежащего церкви и общинам. Викарий Санто-Амаро увидел, что находится на грани разоблачения, и разыграл фарс с манифестациями протеста.

ИСТИНА ПОЭЗИИ — Публикуя на страницах моего, при последнем издыхании находящегося романа первый вариант стихотворения Фернандо Ассиза Пашеко, породившего столь ожесточенную полемику среди здешней и тамошней литературной швали, я надеюсь, что публикация эта придаст моему незатейливому повествованию недостающий ему блеск.

Прежде чем привести текст стихотворения, считаю нужным отметить разночтения между ним и лиссабонской публикацией, осуществленной несколькими годами позже. Стихотворение, вдохновленное пиршеством в харчевне Жасиры де Одо-Ойа и перенесенное на бумагу в пятницу вечером, после вернисажа, было издано уже через неделю под маркой издательства «Макунаима» в количестве стольких-то нумерованных экземпляров, украшенных ксилогравюрами Калазанса Нето, и стало утехой коллекционеров-библиофилов. Совсем недавно в Португалии вышло второе издание, в котором эти дивные стихи даны в подборке с другими, не менее замечательными. Ответственность несет «Иэна Эдитора».

Разночтения бросаются в глаза: структура стихотворения остается неизменной, но португальский вариант явно пытается скрыть имя вдохновлявшей поэта музы. Остается только гадать, почему пошел на это наш славный Пашеко, что подвигло его на это — переменчивый поэтический нрав, лузитанский патриотизм или, быть может, боязнь навлечь на себя гнев доны Розариньо, на которую природа тоже не поскупилась? Если уж объяснить это не смогли нам два просвещеннейших критика — Жозе Карлос Васконселос и Антонио Алсада Батиста,— сочинившие пространные статьи, то нам ли брать на себя смелость искать отгадку? Это было бы непростительной самонадеянностью с нашей стороны. Итак, ограничимся лишь тем, что отметим расхождения.

Пойдем по тексту. Всюду, где в первом издании — Адалжиза, во втором — Маруша. Вместо «Баия» — Бургос, «иаво», слово, написанное на языке йоруба и означающее прекрасную дьяволицу, заменено просто «куколкой». Величественный зад увиден в ресторанчике, а не на рынке. Казалось бы, пустяки, но этого достаточно, чтобы изгнать беззащитную Адалжизу из истории литературы, чтобы наша Баия в очередной раз сделалась жертвой излишней щепетильности некоторых виршеплетов.

Теперь, когда нужные предуведомления сделаны, я приглашаю вас, нежные дамы и мужественные господа, прочесть стихотворение, на которое вдохновила Фернандо Ассиза Пашеко наша Адалжиза, Иансан Вьючное Седло, на каруру в харчевне Жасиры де Одо-Ойа. Если быть точным, не сама Адалжиза, а ее победоносный зад.

Итак, вот канонический текст стихотворения:

Я Адалжизин зад видал не на картинке —
Могучий, вечно вольный, как бизон,—
Я угадал его, мне не приснился он:
Мне август даровал его на рынке.

Задов немало памятью хранимы,
Не стать с твоим им вровень, несравнимы
С волшебным крупом жрицы-иаво.
Мне с той поры не позабыть его.

Мы все покорены, и пленены им все мы,
Пусть в честь его звучат сонеты и поэмы.
Исполнен блеска он, исполнен силы ярой,
В квашне Баии он взошел опарой.

Здесь был замешан — в чем? —
здесь был он испечен,
Он вьется, как штандарт.
И сна лишает он.

Фернандо Ассиз Пашеко
Баия. Август. Вечер

ДЕНЬ ПОСВЯЩЕНИЯ — Всех очень интересует судьба Манелы, вопросы так и сыплются. Еще бы: всякий желает знать, куда держит курс волшебный челн, снявшийся с якоря на кандомбле Гантоис.

В глубинах подводного царства Айока плывет он по неверным волнам памяти, смывающим да все никак не смоющим позорное пятно с тела нашей отчизны. Возникают звуки, движения, чувства, появляется песок пустыни, лесной перегной, волшба, и колдовство, и чары. Челн доверху полон всем тем, что составляет нацию,— ритмами мелодий, отзвуками и приметами, следами и цветами, самоцветами и щебнем, хорошим и дурным, и жрицы-иаво складывают все это в святилище у алтаря.

Голову, подмышки и лобок выбрила Манеле священная бритва «матери святой», открыв настежь вход, распахнув выход. Семь кантиг каждому ориша выучила Манела, научилась распознавать смысл и значение в рокоте барабанов-атабаке. Шестнадцать дней длилось ее плаванье в челне Огуна, а на семнадцатый матушка Менининья назначила ее посвящение.

В этот высокоторжественный и радостный день в переполненном бараке на кандомбле взвилась в воздух, сверкнув всеми своими рубинами и самоцветными, винно-красного цвета каменьями, богиня Иансан, в первый и последний раз выкрикнув имя новорожденной — Ойа-де-Манелы. Величественная Ошала-де-Жилдета и могущественная Иансан-де-Адалжиза сопровождали ее на пути постижения тайны и истины.

Слыхали имя? Сейчас же забудьте, забудьте и никогда не повторяйте, не поминайте всуе, только «мать» и «дочь» святого знают в точности, как звучит оно. Имя Иансан-Манелы было хрипло выкрикнуто, услышано и забыто на пышном и многолюдном, гордом празднестве, на украшенном бумажными флажками террейро, где собралась чертова уйма гостей.

Обитатели авениды Аве Мария явились, повторяя выражение Батисты «au grand complet». Подавалось изысканнейшее и обильнейшее угощение — истинные шедевры афробаиянской кухни: три козочки, две дюжины кур принесены были в жертву.

На следующий день, в воскресенье, действо было продолжено: начался аукцион негров-невольников. Манелу — на запястьях ее и лодыжках звенели браслеты, на шее висело ожерелье ее «святой» — ку-

пил Данило, названый отец. А перед тем как выложить за нее нужную сумму и, стало быть, во второй раз взять на себя ответственность за ее жизнь и счастье, он оплатил весь этот праздник, оплатил не скупясь и не торгуясь. Да откуда ж у клерка из нотариальной конторы такие деньги? Может, он в спортивную лотерею выиграл, верно назвав все тринадцать номеров? Нет. Данило, надо вам сказать, в игре не везло: больше десяти он ни разу не угадывал, нет, вру, однажды назвал одиннадцать. Так что не в лотерее дело, а просто были у него друзья — многочисленные и надежные, а с друзьями, как водится, не пропадешь.

В этот день, в праздник «провозглашения имени», Миро, улыбаясь во весь рот, заехал за обеими тетушками, за Жилдетой и Адалжизой, посадил их, взволнованных, в свой автомобиль и привез на террейро. Представить нельзя было, что совсем недавно они друг друга на дух не переносили — сейчас они льнули одна к другой, точно сестры-близнецы, и притом однояйцевые. Укрощенная, веселая, навек забывшая свои мигрени и духовного отца, Адалжиза совершенно переродилась: сохранив достоинство, потеряла спесь. Не перестав быть ревностной католичкой, сделалась верным конем Иансан — Адалжизой Вьючное Седло.

Ну, а тем, кто хочет поподробнее разузнать обо всех таинствах кандомбле и макумбы, радения и волшбы, оганов и ориша, могу только посоветовать наскрести деньжат да и отправиться в нашу сновиденную Баию. А как приедете, ступайте прямиком на террейро, в «дом святого» — на Энженьо-Вельо, Аше Ийа Нассо, или Гантоис, Аше Ийа Массе, или в Сентро-Круз-Санта, Аше де Опо Афонжа, или в братство Святого Иеронима, Иле Моройалаже, или в Пилан-де-Прата — короче говоря, выберите одно из двух тысяч террейро, где отправляют свой культ африканские племена и народности — наго, жеже, ижеша, конго, ангола,— и на любом встретят вас радушно и гостеприимно, ибо всякому, кто пришел с миром, говорят там «добро пожаловать».

Если кто просто молвит «добрый вечер!», тот увидит — издали, правда, и мельком — красоту и волю. Если кто подойдет под благословение «матери святого», тому откроются иные дали, тот и с ориша сможет повеселиться. В этих убогих храмах, которые еще совсем недавно были под запретом, хранятся истории о неграх-рабах, песни и танцы, сберегается осужденная, приговоренная память народа. А хранительницы культа — много их, и все величественны, прекрасны и мудры,— они-то и есть истинные владыки Баии, королевы ее и принцессы, истинные матери народа — иаво.

Каждый, кто придет на террейро, будь он богатый или бедный, юный или старый, ученый или вовсе безграмотный, каждый, кто придет с миром, сможет принять участие в кандомбле, в этом празднестве, где боги и люди веселятся как равные, где в мелодиях песен, в ритме танцев царит дух всеобщего, вселенского братства.

Манела облачилась в грозовую мантию Святой Варвары, подняла скипетр Ойа. Богиня дала ей имя, которое, если кто и слышал, тотчас забыл.

СВЯТОША — С глубоким прискорбием извещаем всех наших феодалов-полковников, всех владельцев бескрайних и немеряных земель, всех повелителей суда и избирательных кампаний, легионов слуг и политиков типа «чего изволите?», хозяев наемных убийц... Да, господа, с глубоким прискорбием извещаем вас о том, что Зе Ландыш, уроженец и житель Пернамбуко, славнейший из «пистолейро», известный во всех сопредельных штатах, стреляющий без промаха, можно считать, умер и похоронен. Бросил свое ремесло.

Шесть раз выстрелил он, шесть пуль пропало впустую: пять он хотел всадить в затылок мерзавцу падре, шестой покончить счеты с жизнью, умереть, как подобает храбрецу. Главный сертанский святой, падре Сисеро Роман Батиста, одним из апостолов которого был тот пентюх-деревенщина со своим осликом — помните? — послал ему это знамение, дал господне остережение. Зе Ландыш раскаялся сам, призвал к раскаянию и покаянию других. Стал просить богачей, чтобы по доброй воле отдали неимущим лучшие угодья, а бедняков посылать в паломничество. Уговаривал бросить работу, посвятить себя молитве.

И очень скоро сплотилась вокруг него порядочная орава фанатиков, загремели проклятия и благодарения, стали звать его уже не Зе Ландышем, а Святым Иосифом, просили благословить, требовали чудес, и требования их выполнялись, и чудеса совершались. А если спрашивали его, чем утолить голод, советовал он на первом попавшемся пастбище взять нескольких бычков, скромно, без излишеств, пообедать, а запить водой из колодца.

Военизированная полиция, по приказу армейского командования денно и нощно боровшаяся со смутой и крамолой, схватила его, отдубасила ножнами палашей, объявила опасным коммунистом — марксистом-ленинцем! — обвинила в том, что он вел агитацию среди крестьянских масс, и отдала под суд. Вместе с другими преступниками отправили его отбывать наказание на остров Фернандо де Норонья. Там он теперь живет-поживает, молится господу всемогущему, тешится в гамаке со своей индеанкой, не покинувшей его в трудную минуту, и ждет, когда же грянут трубы Страшного суда. Вот чем кончилась история испытанного профессионала и превосходного человека Зе Ландыша.

ПРИГЛАШЕНИЕ К НЕЗАКОННОМУ СОЖИТЕЛЬСТВУ — В сиянии полной и яркой луны, врезанной в небо над самым Итапуанским маяком, Патрисия сорвала поцелуй падре Абелардо. Поцелуй был в губы, и вкус у него был неземной. Неземной и преступный.

Падре как раз сказал ей, что решил еще на несколько дней задержаться в Баии, чтоб послушать лекции дона Педро Казалдалижи, легендарного клирика, епископа и поэта,— лекции об аграрной реформе. В узком кругу духовных и мирян, в Педра-де-Сал, поведает он о том, как исполняет свою миссию, как борется с нищетой, как пытается перераспределить землю. Дон Тимотео добыл приглашение и для викария Пиасавы. Патрисия, задрожав от этой новости, обхватила падре за шею и поцеловала его в самые уста, поцеловала по-настоящему, а не как раньше, когда губы их лишь на мгновение соприкасались.

Падре Абелардо, настоящий мужчина, истинный гаучо по рождению и призванию, несравненный любовник, вынужденный хранить чистоту по обету, принесенному у алтаря, затрепетал. Вот ведь какое неразрешимое, антидиалектическое противоречие обнаружилось: можно считать, что при рукоположении его оскопили, а отрезать надлежащее позабыли. Страшным усилием воли и одновременно против воли оторвавшись от Патрисии, он в полный голос, так, чтобы она услышала и сделала выводы, открыл ей ужасную истину, повторив те самые слова, которые не переставал твердить про себя в последние двое суток, ведя безнадежную борьбу с искушением:

— Патрисия, священник жениться не может!

Тень удивления скользнула по тонкому лицу Патрисии, лунное сияние окружило его — черные гладкие волосы индеанки, голубые глаза белой, пухлые негритянские губы.

— А зачем жениться?

Да, вот именно! Извольте ответить мне, достоуважаемый падре Абелардо со всеми своими обетами и целибатами: зачем жениться? Стоит нам только раскрыть глаза как следует, снять с души все оковы и колодки, как жизнь окажется легкой и простой. Ну же, падре, смахните с тонзуры паутину, призовите на помощь здравый смысл, взгляните в лицо действительности! А главное — не прикидывайтесь глухим, не валяйте дурака, не стройте из себя оскорбленную невинность, не пытайтесь перевести разговор на другую тему. Будьте мужчиной!

Вся эта проблема с обетом безбрачия, о котором вы, ваши преподобия, столько спорите, предлагая то внести радикальные изменения в церковный устав, то издать специальную энциклику его святейшества, осуждающую замшелую догму, эта проблема, годная разве лишь для многосерийного телефильма, давно уже решена, и не понадобилось для этого ни вселенский собор созывать, ни в теологию углубляться — выручила природная наша бразильская сметка. Знаешь ли ты, что Жозе де Аленкар, произведший на свет Ирасему[1] — она мне приходится, кстати, двоюродной сестрой,— был сыном священника? Ах, не знал? Ну, так знай.

Я вовсе не прошу тебя жениться на мне, сбросить сутану, хоть ты ее и надеваешь-то раз в год, не прошу тебя отречься от сана. Знаю, что он не позволяет тебе жениться, знаю, что ты, женившись, утратишь право священнослужения — смысл своей жизни. Но, ей-богу, мысль о женитьбе мне и в голову не приходила. Я совсем о другом тебя прошу.

Ты — пастырь, ты — миссионер в краю нищеты, ты свершаешь свой апостольский подвиг, служа беднейшим из бедных, обездоленным и безземельным. Ты не хочешь преступать клятву, данную Христу: он — твой наставник, твоя священная хоругвь. Но если поднимешь ты ее еще выше, если покроешь ее славой, разве сойдешь ты со своей стези? Я никогда тебя об этом не просила, я — овечка в твоей пастве, черная овечка, горная козочка, что скачет по скалистым отрогам. Я борюсь плечом к плечу с тобой, мы с тобой в одном окопе: земля принадлежит тем, кто на ней трудится.

Ты сам все время повторяешь, что целибат — это средневековый предрассудок, политическая акция мракобесов-церковников, служащих богатым, что в наши дни все по-другому. Чуть раньше, чуть позже, но непременно и в самом скором времени собор отменит эту вздорную выдумку, и любовь будет не смертным грехом и вообще не грехом, а тем, что она и есть — божьей благодатью. Бразильские падре не стали дожидаться этого революционного собора, заводить богословские диспуты, ссылаться на труды отцов церкви — решили вопрос сами, на свой страх и риск, как и любит господь. И он закрывает глаза на их проделки, и улыбается, и не осуждает, а когда приходит им пора умирать, принимает их в лоно свое, и почти всегда покидают они этот свет в благоухании святости.

Я прошу только, чтобы ты меня любил, вот и все. Видишь, я перед тобой в лунном сиянии, в свете звезд, лицо мое влажно от водяной пыли, и пахнет от меня морской свежестью, и сердце готово выскочить из груди, и я устала ждать, о мой охлократ, и я прошу твоей руки, твоей любви, зову тебя в возлюбленные.

Ты, может, думаешь, кто-нибудь, кроме немногих фанатиков и полных идиотов, исполняет этот обет? Как бы не так: вспомни того кардинала Парижского, забыла, как его звали, который умер в объятиях веселой девицы. Да, одни втихомолку ходят к потаскухам, а другие открыто и явно создают семьи, заводят детей от своих преданных

[1] Жозе Мартиниано де Аленкар (1829 — 1877) — бразильский писатель и политический деятель, один из виднейших представителей романтизма, автор, в частности, известного романа «Ирасема» (1865).

и набожных кум-экономок, становятся отличными отцами. И не нужно им ни у алтаря стоять, ни в книге записываться, под кустом они венчаются, исполняя истинный господень завет. Вот и я хочу стать твоей кумой, экономкой викария Пиасавы, если даже и придется мне превратиться в безголового мула, как в той сказке про распутницу, спознавшуюся со священником.

Я хочу понести от тебя, хочу, чтобы в Пиасаве, где по приказу феодала-полковника пролилась кровь, родился у тебя сын. Да, кстати, ты знаешь, что и тебя хотят убить? Жоаозиньо Коста нанял в Пернамбуко пистолейро. Это Ойа спасла тебя по моей молитве, это она перечеркнула приговор и написала слово «любовь». Я выкупила у нее твою голову, отдала за тебя черную козочку.

Любовь — это не грех, оскорбляющий господа, не святотатство и не преступление, любовь — чиста и прекрасна. Пойдем, мой красавец, выбрось эту чушь из головы. Ты останешься настоящим падре, но станешь еще лучше, и никто не сыщет в тебе изъяна, когда ты познаешь вкус моих поцелуев, застонешь в моих объятиях и услышишь мой стон, когда под твоими пальцами созреют яблоки моих грудей, когда ты отведаешь дикого меда из моего кувшина, когда будешь лежать головой у меня на плече в сладком забытьи. Идем же, мой Христос Младенец, мой Иисус Назареянин, умри на кресте моих рук!

А если не пойдешь, если откажешь мне, если притворишься слепым, и глухим, и бесчувственным, если ты так глуп и невежествен, что предпочитаешь онанизм, и грязные сны, и выпачканные простыни, если ты всего лишь бразильская разновидность фалангиста Хосе Антонио Эрнандеса, тогда я больше не желаю тебя знать, я ухожу прочь! Меня вот приглашают в Париж, на передачу «Антенн-2», посвященную Баии. Представь только, какое это будет безумное веселье. Хочешь, чтоб я уехала с французами? Там ведь есть один такой, красивый как куколка, носит сережку в ухе, хоть и не педераст. Или остаться в Баии, с тобой? Покончить с твоей невинностью? Решай! Я прошу тебя стать моим возлюбленным, моим милым. Согласен?

Патрисия да Силва Ваальсерберг, Патрисия дас Флорес, черная овечка господнего стада, козочка Иансан договорила до конца, выложила все что припасла и добилась еще одного поцелуя от падре Абелардо Галвана, пастыря Пиасавы,— еще одного поцелуя прямо во влажные от морского ветра и соленых брызг губы, поцелуя, которому не суждено будет кончиться.

Да, бабушка, я, слава богу, оказался настоящим священником. Где-то очень далеко отсюда, на темноводном озере Абаэте, хор ангелов грянул «Аллилуйя!» под флейты и гитары (музыка Тома Жобима). Я — нормальный человек, бабушка!

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ — На протяжении всего нашего подробнейшего повествования мы не раз упоминали — и сейчас упоминаем, присовокупив слова признательности,— колонку светской хроники, которую ведет «Жюли», Жулиета Изензее, одаренная, информированная и популярная журналистка. Что бы ни произошло в высших слоях нашего общества и в среде литературно-артистической элиты — все с пылу с жару, со сведениями из первых рук, вместе со сплетнями и слухами находит себе приют и комментарий в гостеприимной колонке Жюли.

Разумеется, с явным удовольствием и скрытой завистью описывала она и такое знаменательное событие, как круиз роскошного итальянского лайнера по Карибскому морю. Среди счастливцев, поднявшихся на борт, оживленней, веселей и нарядней всех были две наши давние приятельницы — «пикирующий бомбардировщик» Олимпия де Кастро в матросском костюмчике — самое подходящее одея-

ние, учитывая ее габариты и ее отвагу,— и неразлучная с ней Диана Телес де Что-То Там, она же — Силвия Эсмеральда в мини и футболке с цветным изображением Святой Варвары Громоносицы: издательство Шавеса не упустило конъюнктуры. Силвия вполне оправилась после своего нервного срыва и просто излучала радость.

Пожалеть можно было лишь о том, что обе путешествовали без супругов. Астерио де Кастро никак не мог бросить свои стройки, свои сделки, свои бесчисленные дела, отменить встречи с министрами, сенаторами, генералами и полковниками. Конец месяца: надо оплачивать счета, раздавать взятки, брать подряды — конкуренты тоже сложа руки не сидят. А достопочтенный судья, помимо обычной самоотверженной борьбы с детской преступностью, занимался еще и скрупулезным дознанием, пытаясь выяснить, кто же все-таки подделал его подпись. Соломенные вдовицы смертельно тосковали по своим мужьям и разгоняли тоску в объятиях туристов, членов экипажа — особенно оспаривалась благосклонность второго штурмана — и распущенных — на каникулы! — школьников.

Опять же из обозрения Жюли узнали мы о почетном приглашении, полученном Нилдой Спенсер: «Антенн-2» вызвала ее в Париж, чтобы с ее помощью готовить передачу «Большой шахматной доски», посвященную Баии. Жак Шансель хотел, чтобы в день эфира она была рядом. Нилда вылетела в Париж с большим запасом слез умиления и гордости, которые прольются в тот миг, когда на экранах французских телевизоров появятся круговая самба и ангольская капоэйра, кандомбле и карнавал, когда зазвучат напевы и мелодии Баии, когда будет показана жизнь нашего народа — страдальческая и прекрасная. Грянет «La Chanson de Bahia».

Нилда улетела не одна. Дона Элиодора Коста попросила ее взять с собой свою младшенькую, Марлен, Леноку — это был подарок к ее пятнадцатилетию — и присмотреть за ней, пока она будет целый месяц знакомиться с культурой Франции. Жюли писала, что Ленока, со всем пылом юности используя представившуюся возможность, совершит марафонский пробег по музеям, выставкам, достопримечательностям, прослушает краткий курс «страноведения» в Сорбонне, посетит театры и концерты, увидит Нотр-Дам, кабачок «Lapin Agile» [1], Лувр, Гранд-Опера и «Crazy Horse» [2].

Однако, как стало нам известно уже не от Жюли, а из уст неугомонных сплетников, юная Ленока, едва ступив на французскую землю, пожелала отпраздновать свою пятнадцатую весну должным образом и немедленно распрощалась с Нилдой, которая при этом наверняка воскликнула: «Слава тебе, господи!» Во-первых, она совершенно не годилась в чьи бы то ни было опекунши и наставницы, а во-вторых, у нее без Леноки хватало в Париже дел: надо было готовить передачу к выходу в эфир. Итак, Ленока испарилась, пообещав звонить.

Она обрела приют на шестом этаже дома на Иль-Сен-Луи — этот адрес вместе с долларами и кредитными карточками хранился в специальном шелковом поясе, сшитом доной Элиодорой собственноручно. Встретила ее развеселая и многонациональная стайка прехорошеньких девушек, ни одна из коих не была старше пятнадцати. Девицы в первом цвете юности были радушны и гостеприимны: провели ее по обоим этажам этой квартиры, все ей показали — и музыкальные инструменты, и стереоаппаратуру, и рисунки, и книги, и зимний сад, и спальню композитора, который сейчас в отъезде, но должен вот-вот вернуться: у истинного художника не жизнь, а каторга, а у знаменитости тем более.

---

[1] «Веселый Кролик» — название кабачка на Монмартре.

[2] «Шалая Лошадь» — варьете в Париже.

В ожидании своего «le pâtre gres» [1] девицы плели ему венок. Было их ровным счетом шестнадцать, и звали их Бенедикта, Надя, Надин, Вера, Вероника, гречанка Вассо, Анна, Рашильд, негритянка Бонза, Валентина, Александра, Рене, Ремедиос из Севильи, Оула и меднокожая Мария Des Sept Merveilles[2].

ЗАЧАРОВАННЫЙ — Хочу печатно и публично воздать хвалу единственному добросердечному существу, вспомнившему о бедолаге. Зовут это существо Анни-Клод Бассе, она бразильская писательница французского происхождения, и это ее чувствительное сердце отозвалось на чужую беду, это она потребовала у меня сведений о семинаристе Элое. Помните такого? Его в голом виде засняли фотографы из Службы национальной информации.

Эта жертва обстоятельств, попавшая в ловушку судьбы, увидел револьвер, направленный в лоб, и автомат, нацеленный в живот. Он затрепетал как овечий хвост, расплакался, обмочился.

В семинарию он не вернулся, считали, что он сбежал, а потом был обнаружен в Бока-до-Рио: он трясся как в лихорадке, решительно ничего не помнил и беспрестанно мастурбировал — настоящий тихопомешанный, сбежавший из психушки. К тому же еще голый.

Бренда Налльсштат, стареющая, богатая шведка, уже лет пять как обосновавшаяся там вместе с тенью некоего Артура — он достался ей на спиритическом сеансе в Сен-Годансе, но оказался полной ерундой,— подобрала несчастного, взяла к себе. Как его зовут, откуда взялся, отчего помешался, Бренда так никогда и не узнала. Она стала называть его «L'Inconnu du Fleuve» [3], и он откликался на это имя. С помощью матушки Мирининьи до Портан душу Артура удалось отправить восвояси — в верховья реки Гаронны.

Романтическая и развращенная шведка, используя подручные средства — руку, рот, лоно,— быстро вылечила Незнакомца от горячки, избавила от пристрастия к онанизму. Память, правда, не вернулась к бывшему семинаристу, да он в ней нисколько и не нуждался теперь, ибо всецело посвятил себя исполнению сексуальных прихотей своей госпожи и достиг в этом значительных успехов. У него не жизнь, а вечный праздник, и только изредка снится ему направленный в лоб револьвер, нацеленный в живот автомат и бесстрастный фотограф, щелкающий затвором своего «кодака». Когда это случается, он тихо, мелодично стонет и мочится в постель. По мнению Бренды, шведки и поклонницы Фрейда, объясняется все это эдиповым комплексом.

ИСЦЕЛЕНИЕ — А на террейро матушки Гантоис, в Иле Аше Иба Огун, в особом покое для посвященных, провела Адалжиза сорок дней, исполняя все те обеты, которыми пренебрегала до сей поры. Вошла она туда в ранге иаво, вышла в ранге эбомин.

И когда вышла, после всех омовений и обрядов, авенида Аве Мария устроила ей шумную и торжественную встречу: жеманница Алина и сержант Деолиндо принесли проигрыватель с пластинками; Дамиана превзошла самое себя, наготовив разнообразных сластей; профессор Жоан Батиста, верный изысканным привычкам своего круга, озаботился напитками: белым и красным вином из Испании, молодым шипучим вином из Португалии, хересом и мансанильей, русской водкой, произведенной в нашей отчизне, и лучшими сортами шотландского виски, изготовленными в Парагвае. Веселье, песни и танцы продолжались до рассвета, но Данило и Адалжиза вскоре после полуночи покинули застолье, сказав, что хотят отдохнуть.

[1] «Греческий пастух» *(франц.)*.
[2] «Семь чудес» *(франц.)*.
[3] «Незнакомец с реки» *(франц.)*.

Однако отдыхать они не стали. Богиня Иансан дохнула на Адалжизу огнем и вселила в нее огонь желаний, сорок дней носила она на талии буйволиные рога — всякому известно, что нет возбуждающего средства лучше, действует оно скоро и безотказно. Адалжиза воспламенилась, и ночь ее примирения с соседями стала ночью впервые испытанного наслаждения. Данило был нежен и терпелив, хотя алкал и жаждал безмерно. Супруги решили отправиться на Морро-до-Сан-Пауло, чтобы отметить там двадцатую годовщину свадьбы и провести второй медовый месяц. Первый, если помните, получился не медовым, а дерьмовым: бывший принц зверски расправился тогда с невинностью своей жены, сделав из девушки строгих правил и пуританских взглядов фригидную женщину.

Теперь она напрочь утратила свою холодность, но сохранила трепетную робость в любви, что придавало ей еще больше очарования и делало ее в глазах Данило еще желанней. Адалжиза, оставаясь порядочной женщиной и настоящей сеньорой, допускает теперь в постели любые изыски, исполняет любые прихоти. Она излечилась от фанатизма, но продолжает быть ревностной католичкой и по воскресеньям вместе с Жилдетой ходит к мессе, только больше уже не исповедуется и никогда больше не видит своего духовника, падре Хосе Антонио Эрнандеса. Она души не чает в Миро, и уже назначен день, когда он по всем правилам попросит руки Манелы. Ну, и последнее, что мне остается сообщить вам перед тем, как они с мужем отправятся в Морро-до-Сан-Пауло: мигрень ее исчезла бесследно. Данило же избавился от несварения, и воздух теперь не портит — разве что изредка, по старой памяти.

ХЕППИ-ЭНДЫ — В скромном деревянном домике, предоставленном супругам Лаурой и Дарио Кейрозами, давними знакомыми наших героев, царила идиллия, время от времени переходящая в вакханалию. Об умеренности и воздержанности было забыто: еще бы — Адалжиза наверстывала упущенное за двадцать лет.

Сорок дней, проведенных в особом покое на кандомбле Гантоис, выполняла она обряды «дочери святой», расплачиваясь за три семилетия небрежения к воле ориша. Пятнадцать дней и четырнадцать ночей в Морро-до-Сан-Пауло Адалжиза, позлащенная лунным сиянием, ласкаемая легким ветерком, возмещала мужу все, что была ему должна, а должна была немало. Ах, сколько времени было упущено! На лету схватывала она, если позволительно употребить это выражение в данных обстоятельствах, все, чему учил ее даровитый и настойчивый наставник, желанный гость в домах терпимости, Принц Данило, из просителя превратившийся в повелителя.

Но горько ошибется тот, кто рассчитывает, что эти лаконичные и целомудренные сообщения торят дорогу пятидесяти могучим страницам, описывающим второй медовый месяц, ознаменовавший собой двадцатую годовщину брачного союза Данило и Адалжизы. Горькое разочарование ждет его — или бесчисленных ценителей такого рода литературы, их у нас, слава богу, хватает. Ну-с, так вот: ничего подобного не будет, ожиданиям этим сбыться не суждено. Дверь в спальню заперта на ключ, а подсматривать в замочную скважину нам не пристало.

С носом остались те, кто вздумал усладить свой слух вздохами и стонами, лепетом и шепотом, музыкой страсти нашей четы. Ничего им не перепадет, ничего не отломится, ни словечка вы от меня не добьетесь. И про потерю невинности я рассказывать не стану.

Какой еще невинности? Да разве не утеряла ее Адалжиза безвозвратно двадцать лет назад, на полотняных простынях доктора Фернандо Алмейды, предоставившего свой загородный дом молодоженам? Все так, но теперь, во время второго медового месяца, Данило

получил наконец в безраздельное пользование зад жены и насладился им с позволения слегка напуганной владелицы.

Это произошло на седьмую ночь их отпуска, когда до конца его оставалось еще столько же, в ночь полнолуния. Босиком прошли они тогда по волшебной лунной дорожке, сбросили с себя купальные костюмы, нагими погрузились в море, хохоча, гонялись друг за другом в воде, кувыркались в волнах, потом выбрались на твердый сухой песок, и пена морская застывала на напрягшихся грудях Адалжизы, и в самые небеса уставлено было оружие Данило. Жадные губы были солоноваты на вкус, руки блуждали, мысли были устремлены к одному. Домой супруги шли скорым шагом, поторапливались. По возвращении с пляжа и случилось это знаменательное событие. Свершилось! HAPPY-END. Принимаясь за рассказ об Адалжизе и Данило, о горьком медовом месяце, я обещал вам «мелодраму с хеппи-эндом». Мелодрама была вам представлена во всех подробностях, но теперь все эти недоразумения и разминовения не более чем печальный эпизод из прошлого. Вторая попытка увенчалась счастливым концом.

По моему глубокому убеждению, Данило, целых двадцать лет не оставлявший своих усилий, наталкивавшихся на твердокаменный пуританизм фанатички жены, вполне заслужил такую развязку. Хоть и с опозданием, но сбылись все его мечты, явью стали дерзновенные сны: Дада стала женщиной огненного темперамента, таких еще поискать. Данило полон воодушевления, и силы ему еще, слава богу, не изменяют. Впрочем, на этот случай есть у него запас некоего снадобья — мелко-мелко истолченная кожура гуарана,— присланного ему давним поклонником и другом Эдуардо Лаго из Сан-Луис-до-Мараньяна.

Вот на этом и кончается история про Адалжизу и Манелу, дочь и внучку кастильца Пако Переса-и-Переса и негритянки Андрезы, история тетушки и племянницы, дочерей богини Иансан, которая посетила Баию, дабы кривое сделать прямым, унять злонравие, научить их добру и наслаждению и радости бытия. Иансан надела грозовую мантию Святой Варвары, своего alter ego, взошла на борт баркаса, вызвала невероятное смятение в нашем городе, смятение и неразбериху, а заодно спасла жизнь одного «красного падре» и уж вдоволь позабавилась. Историю эту поведали вам как смогли три жреца грозного Шанго, три доктора «гонорис кауза» в школе жизни, три баиянца — музыкант Доривал Каймми, художник Карибе и ваш покорный слуга.

ВОЗВРАЩЕНИЕ — Выставка Религиозного Искусства имела оглушительный, безусловный успех: публика ломилась на нее, книги отзывов были заполнены словами восторга и восхищения, международный резонанс — самый, как вам известно, благоприятный. Продолжалась она целый месяц, но изваяние Святой Варвары и после ее окончания провело в стенах монастыря еще неделю, став предметом забот искуснейшего реставратора Лианы Гомес Силвейра.

Береженого бог бережет, и викарий Санто-Амаро, падре Тео, чьи отношения с доном Максимилианом оставались весьма прохладными и окрашены были в тона неприязни и подозрения, потерял наконец терпение и лично отправился забирать Святую Варвару. Однако ему пришлось, изрыгая страшные проклятья, ждать еще два дня: директор Музея неожиданно уехал, а без подписанного им приказа никто не имел права выдать скульптуру.

Но всему свой рок, и вот настало это солнечное, ветреное воскресенье, когда дон Максимилиан и мечтательный ангел марксистского толка Эдимилсон, вновь приступивший к своим обязанностям,

погрузили статую в «комби», привезли на Рампу-до-Меркадо, где стоял баркас шкипера Мануэла «Морской бродяга». Мануэл и жена его Мария Клара подняли святую по сходням, поставили на корме. Дон Максимилиан учтиво распрощался с викарием, который проявил не меньшую любезность, пробурчав что-то вроде: «Не держите зла... такой уж я человек...» «Что вы, что вы,— всполошился директор,— вам вовсе не за что извиняться». Все недоразумения, выпады, обманы, намеки были поняты, а следовательно, прощены. Дон Максимилиан и викарий обменялись рукопожатием. В Музее за семью замками остался документ, подписанный падре Тео: так и так, статую Святой Варвары Громоносицы в полной сохранности и отличном состоянии Музей Священного Искусства вернул, претензий не имею.

В Санто-Амаро святую сопровождали и два журналиста: Гидо Герра из «Диарио де Нотисиас» и Жозе Берберт де Кастро из «Тарде» — и два фоторепортера: Жервазио Фильо и Вава. Блистательные борзописцы — каждый в присущей ему манере — оставили нам историю этого плавания по заливу и реке и прибытия в Санто-Амаро. Происшествий в пути не случилось, при входе в устье баркас был встречен ракетами и приветственными стихами. Выгрузка статуи стала просто апофеозом.

До самого устья Парагуасу «Бродягу» эскортировали многочисленные суда и суденышки. Там, где море соединяется с рекой, у врат Реконкаво, флотилия убрала паруса. В воздух взлетели ракеты, возвещая счастливый миг возвращения, а Антонио Бразилейро — кажется, это последний поэт, которому суждено появиться на страницах этого учебника стихосложения,— прокричал в древний мегафон балладу в честь и во славу Святой Варвары: рыбы всплыли на поверхность, чтобы послушать ее, кувшинки распустились как розы, утренний ветерок подхватил рифмы.

На самой реке «Бродягу» перехватили, выполняя свой священный долг и почетную обязанность, корабли Реконкаво. На груди Святой Варвары сверкал ковчежец общины Пречистой Девы Блаженного Успения, а члены этой общины, беспокойные старушки, ожидали на причале Санто-Амаро. Святая Варвара, судя по всему, была довольна, что возвращается в свой алтарь,— она улыбнулась Марии Кларе, певшей о любви. Ветерок запорхал под мозолистыми ладонями шкипера Мануэла. Осанна!

Выгрузка была истинным торжеством: народ праздновал свою победу над теми мерзавцами, которые пытались похитить достояние города — статую Святой Варвары, обретшую отныне еще большую ценность, ибо, как неоспоримо доказано и даже в книге пропечатано, изваял ее сам Алейжадиньо по заказу викария, пожелавшего украсить ею алтарь своей церкви. Толпы народа сопровождали шествие, носильщики то и дело сменяли друг друга, а впереди шли дона Кано и Жозе Велозо. Богоявление!

На своем законном месте, в скромном алтаре церкви Санто-Амаро воцарилась статуя святой, вызвавшая столько споров, наделавшая столько шума, породившая столько слухов и толков. По мнению падре Тео, и не надо было ее трогать: кто бы знал, каких трудов, какой бешеной ругани стоило ему вернуть во храм знаменитое, уникальное, подлинное изображение Святой Варвары Громоносицы.

СТАТЬЯ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ — Да? «Знаменитое, уникальное, подлинное»? Не знаю, не знаю, не уверен. В книжных магазинах, там, где ведутся разговоры, которых нигде больше уже не услышишь, наши интеллектуалы шепчутся о статье в «Universalenzyklopädie der religiosen Kunst» [1], только что изданной в Мюнхене, богато иллюстрированной цветными репродукциями. Статья сжато и точно сообщает

[1] «Энциклопедия мирового религиозного искусства» *(нем.)*.

о красоте скульптуры, изображающей Святую Варвару, о ее непреходящей художественной ценности, о головокружительной цене, упоминает книгу дона Максимилиана, где утверждается, что изваял статую сам Алейжадиньо. В самом конце уведомляется, что оригинал хранится в фондах Музея Священного Искусства при Баиянском университете, а копия служит предметом поклонения верующих в церкви Санто-Амаро-де-Пурификасан.

Вот этой-то ошеломительной германской информацией, наводящей на размышления и побуждающей к новому залпу взаимных упреков и обвинений, мы, пожалуй, нашу историю и окончим. Остается только попрощаться. Au revoir [1], друзья мои! На перекрестке, где уже не различить лиц, где перепутались дороги, я слезаю с седла своего ленивого ослика — помните? того самого, что так любит плясать,— выпускаю из рук поводья, приношу жертву демону Эшу — бутылочку кашасы и пяток сигар покрепче и подешевле.

«Ларойэ!» — как положено на макумбе, кричу я, и целый хор кумовьев отвечает мне: «Laus Deo!» [2]. Прощайте, друзья мои, до свиданья, и, надеюсь, до скорого.

Париж, май — октябрь 1987,
февраль — июль 1988,
август 1988, Баия

■

[1] До свиданья *(франц.)*.
[2] «Господу хвала!» *(лат.)*

Литературное наследие

ХРИСТО ЯСЕНОВ

К 100-летию со дня рождения

■

С болгарского

В 1909 году в редакцию софийского журнала «Наш живот» (в дальнейшем — «Наблюдатель») пришел со стихами очень стеснительный, скромно, почти по-крестьянски одетый молодой человек. Издатель и редактор Антон Страшимиров, известный прозаик, прочитал стихи этого юноши не сразу, но, прочитав, был поражен их музыкальностью и, как он писал потом, «странным криком безверия и сомнения». Не голос ли это новейшего поколения?

Посвящая молодого человека в поэты, Страшимиров заявил, что фамилия Туджаров — «туджар» по-болгарски торговец — звучит прозаично, поэтому не стать ли ему Ясеновым? Так в Болгарии появился новый поэт — Христо Ясенов.

Христо Ясенов родился в 1889 году в прибалканском городке Етрополе в семье торговца. Он не пошел по дороге отца, чем страшно его возмутил. Бросив торговое училище, будущий поэт поступил в рисовальное. Оставшись почти без средств, он бедствовал, но упорно учился.

Стихи он начал писать с ощущением скорбного несоответствия между яркой мечтой и нищей, тусклой жизнью. Христо много читал, увлекался болгарскими и русскими символистами...

Первая книга его — «Рыцарский замок» — увидела свет лишь в 1921 году, когда он уже «переболел» символизмом; он уже побывал как офицер в окопах первой мировой войны, получил орден за храбрость, пережил плен, отозвался стихотворением «Петроград» на октябрьскую бурю в России, вступил в ряды коммунистов и принял открытое участие в борьбе с зарождавшимся в Болгарии фашизмом, став главным редактором коммунистического издания «Червен смях».

Книга «Рыцарский замок» состояла из юношеских стихотворений, написанных задолго до ее выхода. Издал ее Гео Милев как первую в задуманной им серии «Книги для немногих». И кажется, она, несмотря на модерную обложку, звучала тогда анахронизмом.

Но поэт-революционер Гео Милев поступил совершенно правильно. Он не только показал широту воззрений, которая должна быть свойственна коммунистам, но и восстановил справедливость, вложил недостающий кирпич в здание болгарской поэзии тогда уже минувшего десятилетия (Яворов, Дебелянов, др.).

«Рыцарский замок» Христо Ясенова — это книга юной, чистой души, оградившей себя «бронзовыми стенами» от посягательств грубого практицизма, бездушной расчетливости, мещанского карьеризма. Шифры и символы Христо Ясенова легко разгадываются. Многие из них уже бытовали в поэзии. Но характер поэта был своеобразен.

Следует обратить внимание на то, что он не чувствует себя комфортно в башнях этого замка. Когда, вслед за Бальмонтом, он поет хвалу своему стиху, он замечает, что стих его не только «язвителен и мрачен», но в первую очередь «лучезарен и прозрачен». Поэт очень противоречив на первый взгляд, но затем это сочетание мировой скорби и весеннего темперамента становится чем-то естественным и, видимо, характерным для поколения Христо Ясенова.

Смешение темных символов и светлых красок природы, живое и горькое предчувствие «некоего страшного разгрома» и личной гибели, именно гибели, свидетельствует об истинности и непосредственности поэтических прозрений Христо Ясенова.

Вместе с Гео Милевым Христо Ясенов в 1925 году погиб в полицейском застенке.

■

В автопредисловии к «Рыцарскому замку» Христо Ясенов писал в 1921 году, что многие стихи этой книги не соответствуют его более поздним идейно-эстетическим воззрениям, но он их предлагает вниманию читателей как «этап своего развития». Грустно думать об этом. Потому что дальнейшего поэтического развития не было.

В течение 1919 года Ясенов печатает в журнале «Червен смях» политические фельетоны в стихах (иногда в прозе) под псевдонимами — Третий Интернационал, Ваня Петроградский, Чрезвычайка и т. п. А затем как поэт совсем умолкает...

Между лирикой «Рыцарского замка» и агитками поэта лежит такая же пропасть, как между псевдонимами Ясенов и Чрезвычайка.

Все последующие пять лет Христо Ясенов переживал творческий кризис, который, как это бывает, мог привести его к новому самобытному слову, но жизнь поэта оборвалась...

Многие годы критики, следовавшие закостенелым догмам, выдвигали на первый план в творчестве Ясенова его агитки и упорно уничижали его лирику. Но время показало, что Христо Ясенов именно «Рыцарским замком» вошел в болгарскую поэзию и остался в ней как один из ее пылких и чистых рыцарей.

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

Из цикла «Рыцарский замок»

* * *

Воздвиг я замок бронзовый в лазури
и, недоступный в нем для дольних сил,
сердечные там убаюкал бури
и скорбь пророческую усыпил.

В объятья бронзовые вдохновенно
я заключил свою мечту, свой сон,
и зажил там высоко и надменно,
от мира и от бога отчужден.

Но тяжко бурям и скорбям таиться,
и зарыдала скорбь, как от беды,
что замок мой — безгласная гробница,
без воздуха, миража и воды.

Но как, горя, спуститься буре в долы,
где города и села (спят они),
чтобы разрушить крепь любого дома
и запалить ожившие огни,

И — чтоб живая вновь жила тревога —
в пророчески слепой земной толпе
любить и проклинать с ней вместе бога
в паденьях, победах и борьбе?

О, поздний час непрожитого лета,
час моего бунтарского огня!
Я замок сам поджег, поправ обеты,
и стены рухнули вокруг меня!

. . . . . .

Но в пепле их, живой подобно ране,
мое трепещет сердце и зовет...
А вековая скорбь моя, ветрами,
громами став, и плачет, и поет.

Из цикла «Небо»

* * *

Распахнись широко надо мной!
До зари тебя ждал я смиренно,
ждал в слезах тебя в теми ночной,
ждал бессонно и нощно и денно...
Распахнись широко надо мной!

Высь безбрежная, душу измучив,
я взываю к тебе без конца,
дай мне гаммы, что были б созвучны
всем чертам неземного лица!
Жертва ямы земной, неминучей,
пленник чувств, что сжигают сердца,
высь безбрежная, душу измучив,
я взываю к тебе без конца.

Я иду по дороге мятежной,
и судьбу я не знаю свою.
И таю в себе страх неизбежный,
и в мучительной жажде скорблю.
Потопи в бесконечности нежной,
в безмятежности долю мою.
Я иду по дороге мятежной,
и судьбу я не знаю свою.

Унесенного в нежный покой,
утопи меня в бездне лазурной —
пусть пленен буду только тобой!
Будет смерть моя звездной, безбурной —
распахнись широко надо мной!

Перевод ***ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА***

Из цикла «Луна»

* * *

Я иду тропой пустынной
в край неведомого сна,
предо мною град старинный
и луна.

Вот и древние соборы,
как в былые времена,
арок тонкие узоры
и луна.

В белом мраморе ограды
спит под камнем старина,
и зажженные лампады
и луна.

Ту, что плачет над гробницей,
обступает тишина,
луч последний золотится
и луна.

Словно я в твой мир пустынный —
в гроб сошел, обитель сна.
Гроб старинный, град пустынный
и луна.

Перевод НАТАЛЬИ ВАНХАНЕН

Из цикла «Посвящения»

* * *

Глаза мои полны теплейшей тьмой,
что из открытых окон веет влажно.
Измучен и устал, я не однажды —
в слезах и бедах, летом и зимой —
искал, часы вечерние губя,
под городскими лампами тебя.

И там, в язвительный вступая хор,
в хор карнавала, в призрачные маски,
твои ловил я пламенные ласки
и забывался, твой впивая взор,
заласкан жадно им и обуян,
и так любил тебя, волшебно пьян.

И, сердцем переполненным любя,
пленительна, покорна и смиренна,
ты плакала тогда — отдохновенно —
в моих руках, ласкающих тебя,
и вслушивалась, словно в детский сон,
в мой праздничный и угасавший звон.

И вот теперь, когда так веет тьмой
и бледный снег на город ниспадает,
невольно сердце по тебе страдает,
и эта память звоном надо мной
плывет... И, глядя в белый лунный путь,
я сам шепчу, как малое дитя:
— О женщина, благословенна будь!

Перевод ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

* * *

Летний вечер медленно поднимет
крылья лебединой красоты
и, как мать печальная, обнимет
нивы и заглохшие сады.

И тогда — в смирении печальном,
и тогда — хотя бы в нежном сне
обо мне, сестра моя, о дальнем,
вспомни тихо, вспомни обо мне.

Перевод МАРИАННЫ РОГОВСКОЙ

Из цикла «Мадонна»

* * *

Помоги, чтоб переплыл я неизведанное море
и узрел за чудом чудо, стран неведомых огни;
дай мне солнце, чтоб согрел я замороженное поле,
дай весеннее мне солнце и безоблачные дни!

Дай песчаные мне вихри над пустынею бескрайней,
примечтавшиеся ласки дай мечтающей душе,
дай приблизиться мне к богу и к его великой тайне,
чтоб не мог я жить без веры и не мог грешить уже.

Приютясь со мною рядом, приласкай, как мать! Бессонно
жду я теплого дыханья первых сорванных цветов;
жду просторов озаренных, чтоб, как чайка, окрыленно
я летал над синью моря и над пеною валов.

А когда начнет смеркаться на просторах одиноких
и бездомный потянусь я к кровлям родины своей,
отвори тогда ворота мне дворов твоих широких
и вина любви великой величаво мне налей.

Помоги, чтоб переплыл я неизведанное море
и узрел за чудом чудо, стран неведомых огни;
дай мне солнце, чтоб согрел я замороженное поле,
дай весеннее мне солнце и безоблачные дни!

Перевод ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Радость

Хочу я быть цветною весеннею левадой,
под трепетом осинок и сном плакучих ив,
чтоб, расцветая, пели, дыша моей прохладой,
стыдливые фиалки, себя в траве укрыв.

Чтоб был мой нежный клевер воробушкам отрадой,
чтоб в нем скакал кузнечик, овсянок веселя.
Пускай я буду лугом, пускай я буду садом
для бабочки цветистой и пестрого шмеля.

И пусть лениво дремлют во мне под вечер ветры,
пусть яростное солнце вовсю меня печет —
я буду чутко слушать, как бродят соки щедро,
я буду чутко слушать, как жизнь течет, течет...

Из цикла «Ясная погода»

* * *

Над сочною травой в моем подворье
расцветшей пышно сливы ветви чуть трепещут.
А всходит ясный день, играя на просторе,
и теплый свет в садах, их наполняя, блещет.

А всходит ясный день — и ясный и безбрежный —
и каждый цвет горит и тянется в прохладу.
А всходит ясный день — день знойно-безмятежный,—
и сливы цвет, как дождь, все будет падать, падать.

Перевод МАРИАННЫ РОГОВСКОЙ

* * *

На пышные кроны деревьев ложится
лучистой зари золотая коса.
И капля за каплей на травы струится —
и капля за каплей,
и капля за каплей —
прозрачно и чисто роса.
Земля пробуждается, солнце взирает
на землю, чье в черной печали жнивье.

Озноб за ознобом легко пробирает —
озноб за ознобом,
озноб за ознобом —
усталое тело ее.

И вот уже солнце, ликуя, сияет,
окинув просторы, что стали светлы.
И слово за словом в душе возникает —
и слово за словом,
и слово за словом —
то вечному богу хвалы.

Из цикла «Сказочное царство»

* * *

Опять улыбается осень
сквозь слезы, и краски, и прах,
и вихрь ее пестрый разносит
тревожные вздохи и страх...
Я чахну, тоской занедужив,
укачивает и томит
угрюмая тьма — а снаружи
лишь вечер холодный шумит.

Лишь вечер холодный пророчит
и странно рыдает порой...
Смежим утомленные очи —
приходит конец роковой!
Так рано пришло вечеренье! —
нежнее любите меня.
Погасли и старые тени
минувшего светлого дня.

Погас даже лучик на доме,
на траурном доме моем;
о некоем страшном разгроме
я думаю ночью и днем.
Хочу средь беды бесконечной
упасть, чтобы больше не встать.
К груди своей, нежной и вечной,
прижми меня, родина-мать!

Перевод ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

■

Восприятие одной культуры глазами другой — проблема увлекательная. Ведь характеристика другого есть всегда и САМОхарактеристика...

ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ

ОБРАЗЫ ИНДИИ

Эллинский и германский

Индия издревле привлекала интерес европейцев. И то, что видели путешественники, чему удивлялись в ней, есть не только результат встречи с новым миром, его обычаями и предметами, но выявляет и характер собственного их народа его миропонимание. Складывались как бы национальные мифы об Индии, обладающие большой устойчивостью.

Я и решил их сопоставить: как одна реальность (Индия) видится из разных национальных космосов, и как они при этом обнаруживают свои особенности? Я рассмотрел с этой точки зрения известные памятники европейской культуры: «Географию» Страбона. «О языке и мудрости индусов» Фридриха Шлегеля, «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, «О духе законов» Монтескье. Отражения Индии позволяют проделать как бы спектральный анализ национальных миросозерцаний.

Моя работа состоит в толкованиях удивлений: удивляются тому, что странно, чего нет у себя,— и так самохарактеризуются. Я же прикидываю умом: что бы это могло значить? Какие особенности национальных представлений о мире могут за этими удивлениями стоять?

В качестве метаязыка я беру древний натурфилософский язык четырех стихий. Земля, Вода. Воздух, Огонь, понимаемые расширительно и метафорически, суть «слова» этого языка. Пропорции этих стихий во многом и характеризуют национальный Космо-Психо-Логос.

Эллинское восприятие Индии

(По «Географии» Страбона)

Речь идет, по сути, о восприятии Индии греками в походе Александра Македонского. Это был всемирно-исторический контакт Европы и Азии, где цивилизация Европы выступила активно-познающей, вопрошающей стороной. Хотя Страбон писал на стыке эр (годы его жизни: 64/63 до н. э. — 23/24 н. э.), основными источниками его сведений об Индии продолжали оставаться данные спутников Александра.

Воображение эллинов индийский мудрец поразил тем, что «сжег себя в Афинах, подобно тому как это уже сделал Калан, доставив подобное зрелище Александру» (кн. XV, I, 4). То есть индус причастен *огню*, тогда как эллинские купцы совершают плавание (и войско Александра держится рек), то есть, причастны *воде*. Соответственно, стремления эллинов — в резонанс стремлению воды: течь по поверхности, вдаль и вширь растекаться; а индусам, причастным вертикальному стремлению огня, совершенно чуждо желание распространяться вширь, завоевывать земли. «Ведь никогда индийцы, по его (*Мегасфену*.— Г. Г.) словам, не посылали своего войска за пределы страны» (1, 6). Так это будет в основном и в дальнейшей истории Индии, что казалось бы странным при нараставшей перенаселенности страны: отказ от плоскости земли и отворот от сторон — стран ее. Энергия населения уходила в надстройку над землей многоэтажного кастового и духовного здания, а в нем высший слой — брахман — мог быть гораздо беднее низшего — вайшьи (купца, земледельца, промышленника), и последний подавал подаяние первому, кому положено было не заботиться о доме, пище и побираться нищим.

Эллин выносит суждение о фигуре страны: «Фигура этой страны становится ромбоидальной» (I, II). То эллинский геометро-пластический подход к явлениям мира как атомам, чтущий разум внешней формы и фигуры. И *ромб* для эллинов много говорит. В «Тимее» Платона четыре элемента распределены по фигурам. Огонь — пирамида, и верно: язык пламени — пирамидальной формы, как кипарис, тоже к жизни-смерти причастное древо. Земля—куб, устойчивый, увесистый. А меж этими полюсами располагаются: атом воздуха—икосаэдр, его сечение образует ромб; атом воды — додекаэдр, приближается к шару — капле. Так что сама фигура Индостана на причастность к стихии воздуха, к пране и духовным мирам — намекает. Ромб Индии — как ковер-самолет.

«В Греции все есть»,— говорил чеховский персонаж. Благодаря расчлененности ее земли среди моря и многовариантности полисов, типов городов-государств,— здесь зародились все философские идеи и типы миропонимания: что Вода в основе всего (Фалес), и что Огонь (Гераклит), и что Воздух — всесубстанция (Анаксимен), и Идея (Платон) и так далее. Греки — горцы. И главный тип местности: остров в море. Вода — внизу и с боков. В Индии же земля-почва намыта реками (Инд и Ганг) с гор. Этому и дивуется Страбон: что реки как руки — взяли материал с Гималаев и перенесли укладывать в другом месте, построили равнину Бенгалию. Как человек из равнины строит гору-город. Вода тут работает сверху. И по индийским мифам, земля произведена из пахтанья богами мирового океана с помощью гималайской горы Сумеру — как мутовки, волшебной палочки. А в Ригведе бог Варуна (Уран греков), в котором наиболее просвечивают черты Творца и зиждителя мира, сопряжен с космическими водами.

Не только Пространство, но и Время организовано Водою сверху. Времена года в Европе и на Руси распределяются по теплу солнышка и воздуха: зима — лето. Здесь же, в тропиках,— солнце всегда дано, тепло — константа, Единое. А вот влага дается единожды — в период муссонных дождей, от ветров с юго-запада: от мая—июня до октября—ноября. Сезон дождливый, а за ним — сухой. Так что стихия Воды — начало расчленения, Двоицы. Тепло же, Огонь — всеприсущ всегда и во всех. Недаром он, Агни,— «Джатаведас», «знаток существ»— таков его эпитет в «Гимнах Ригведы».

Влажный жар, стоящий в надземном пространстве,— породитель избыточной Жизни: кишение существ в Индии, клубление растений и животных и избыток плодов — не от трудов, а от природы, тогда как в менее плодородящих космосах стран Европы Жизнь надо подкреплять Трудом: Труд человека, а не Эрос Природы, «ургия», а не «гония» — податель благ. Руки, а не звуки, как в Индии, где говорение Вед брахманом — космоустроительно: по его гимну и Солнце взойдет, и коровы-облака с неба прольют молоко.

Взгляд европейца поражен диковинными ползучими деревьями. Вот как их описывает Страбон со слов Эратосфена: «В силу этого *(от жара и влажности.*— Г. Г.) так гибки и ветви деревьев, из которых делают ободья для колес, и по этой же причине на некоторых деревьях появляется «шерсть» *(так был понят хлопок животно мыслящими эллинами: на растение смотрят сквозь призму овцы, как на сахарный тростник — сквозь образ пчелы.*—Г. Г.) ...Он говорит о тростнике, который дает мед, хотя и без пчел... Там есть какие-то большие деревья, ветви которых достигают даже 12 локтей; затем они продолжают расти вниз, как бы согнувшись, пока не коснутся земли. Потом, распростершись по земле, они пускают корни подобно отводкам; затем, снова поднимаясь, образуют ствол... и так далее, так что из одного дерева образуется огромный зонт, подобный палатке со множеством подпорок» (1, 20—21). Да это же — естественный город, дворец, многозалье, аркады! Европейцу такое знакомо — в утробе Земли, пещеры со сталагмитами-сталактитами. Но чтобы такое выросло на поверхности! Это уже творит и загибает Индийский Эрос, влаго-воздух, курчавясь и лианясь под жгучими ласками солнца-огня. Такое дерево — это кентавр по-индийски: полурастение-полуживотное, в нем застыла ходьба сороконожки, шествие змеи по земле. Недаром Змея — наиболее характерное существо (изо всех стран мира) именно для индийского космоса: здесь и «заклинатели змей», и в мифах о происхождении мира Змея окутывает Вселенную. Змея же — самодвижный ствол ползучий.

Итак, индийский мир бросается в глаза эллинскому сознанию как космос переходов: растение движется, как животное; возле человека — обезьяна, так что он, оказывается,— не исключительное существо, и самохвальное убеждение «человек — царь зверей» (что в Европе и в Ренессансе), сей эгоизм гуманизма, не может быть присущ Индии, такое резкое самоотличение от прочих живых существ. Здесь естественнее, напротив, идея переселения душ в разные существа — но не во Времени (как на это согласилась и европейская теория эволюции, где существа выстраиваются в прогрессивный затылок друг другу), а всегда, сейчас. И бодхисатва вполне достойно мог дозревать в благочестивом слоне или зайце (в «Гирлянде джатак» Арьи Шуры), как и в царевиче.

Вот это дивно привыкшему к определенности и четкости форм средиземноморскому взгляду — текучесть и клубление.

Что *огонь-вода* — основное в Индии стечение стихий — подсказывает и Ригведа, где больше всего гимнов к Агни (огню) и Соме (напитку). Через Агни земное (жертва, молитва) воспаряет и доносится до верхней оболочки мира, где обитают боги; через Сому боги приглашаются снизойти на Землю, испить, отведать, причаститься человечеству. Огонь и вода сплелись в воздушном пространстве, образуя влажный мир, марево жизни. Потому в Индии сам воздух дышит плодородием, оттуда йоги вдыхают жизненно-порождающую силу — прану. Среди буйного тропического преизобилия жизни, разнообразия существ главная задача для мысли — отрегулировать соотношение человека с сериями иных существ: богов, обезьян, асуров, ракшасов (индуизм, законы Ману). И как преодолеть кишение жизни, утомительный круг Сансары, сию цепь рождений и смертей, и выйти из потока (проблема буддизма)?

При изобилии При-роды — недостаток Воз-Духа: он тут стоя́ч, мало ветров, очистителей Космоса на северных пространствах. И потому человек призван восполнить недостачу воз-духа: творить Дух (отсюда тут творчество религий и философий), а не материю и плоды трудом — они и так возникают. «Мегасфен, отмечая плодородие Индии, указывает, что земля там приносит дважды в год двойной урожай... Плодовые деревья приносят также много плодов; в изобилии встречаются корни растений, в особенности большого тростника: они *СЛАДКИ В СЫРОМ* и вареном виде, так как и дождевая вода, и речная нагревается

от солнца. Поэтому Эратосфен хочет сказать, что процесс, называемый у других «созреванием плодов или соков», у индийцев носит имя «сваривания», и при созревании плоды получают столь же приятный вкус, как от варки на огне» (1, 20).

Но это значит: не так тут нужен и важен ОЧАГ, а следовательно, и ДОМ — основные понятия в Европе и германстве, где очаг — синоним жизни, а мироЗДАНИЕ — образ Бытия. Жизнь протекает в Индии более прямо в открытом Бытии, а не под покровом крыши и стен (где тайное содержится, не явное; где сути-ноумены — не явления-феномены; где содержание под формой...). Нет резкого раскола бытия на субъект-объект (на германские Haus и Raum), «Я» и «Не-Я», чтобы их потом мучительно соединять в гносеологии как проблеме. Здесь Бытие плавно перетекает в Жизнь человека, и наоборот. Смерть не так категорична, абсолютна и страшна-необратима. Оттого в Индии знают Драму, но не Трагедию, и конфликты не столь остры (в семье и меж кастами общества), и терпимость к плюрализму. А в логике индийской противоречие не трактуется как взаимоисключающая противоположность: как «или-или, третьего не дано»,— но как многоступенное различие, мягко. Вспомним логику Нагарджуны: «все есть истина», «все есть неистина», «все есть истина и неистина», «все не есть истина, не есть и неистина» — по такой схеме трактуется всякое явление и проблема.

С другой стороны, раз плод и корень свариваются уже прямо в котле Пространства, а не на Очаге в Доме,— есть подаяние человеку от Бытия, манна небесная, и меньше, следовательно, сил он призван тратить на жизнь и пищу. Космос не взывает здесь к Труду так категорично, как на Севере, где или будешь работник в поте лица своего (проклятие грехопадения), или помрешь от голода и холода. «У других же племен заведено возделывать поле сообща всей родней, а после уборки урожая каждый получает достаточное количество продуктов для пропитания на год; ОСТАТОК СЖИГАЮТ, чтобы у них было побуждение работать в другой раз и не проводить время в праздности» (1, 66). Ну это — европейски-трудовое, из представления Бытия как Ургии и Творения исходящее объяснение. Здесь же, может: гигиена Бытия, чтобы Жизнь избыточная не перешла в гниение, но в обмене веществ-перерождений существ свежела. Ведь Индия — источник эпидемий и чум-холер...

Но СЖИГАТЬ ОСТАТОК! Прибавочный продукт! Ведь вся Европа, история производства, культуры основывается на накоплении остатков, запасов, залогов. В сем лето клянется зимою, что — придет! Беспрерывность накопленного должна как бы компенсировать прерывистое дыхание Жизни, ее пунктирность в смене времен года. И тут это, как восполнение маложизненных условий национального Космоса — естественно. Да, именно естествен здесь этот рост искусственного существования: труда, городов, искусств, индустрии, письменности.

А в Индии священно устное бытование Слова: Вед, Упанишад поэм — тысячелетия у пандитов и гуру брахмачарья наизусть учил шлоки, сутры и тантры. Страбон дивится: нет воровства в Индии (вор как раз отделяет от «я» вещи избытка, а их нет, где избыток сжигают). «и это у людей, где нет писаных законов! В самом деле, по его (*Мегасфена.*— Г. Г.) словам, индийцы не умеют читать и писать, но разбираются во всех делах по памяти» (1, 53).

Письмо, бумага — вещь, отчуждение, дело рук. В Индии же рот почтеннее руки, дыхание — огнеземли труда и формы; культура здесь более устна. Брахман и есть живой пергамент, свиток: разверни — исполнит главу Упанишад, песнь Махабхараты — на то и заготовлен Бытием. Конечно, и в Индии есть древняя письменность — санскрит, и писаны законы Ману и шастры. Но Слово имеет тут иное, нежели в Европе, назначение в состоянии Бытия. В Космосе Европы Слово становится все более у-слов-но, оно лишь знак мира мысли, так что легко отменяется, если возникают более экономные и совершенные системы знаков: алфавит, математика, ноты... Материя воплощения вроде не сращена с содержанием мысли.

В Индии ж сам Дух — более дыхание, более неотрывно телесен, так что заменить живое истечение слова из уст, с трепетанием воздушных струй, для слуха и пространства,— значками для глаза,— совсем не адекватное преобразование, есть отмена как раз сути дела. Именно песнопением и в таком именно ритме раздражив воздух и пространство и послав соответствующие волны — цунами — в Бытие, брахман может так его колебнуть, что реальную помощь оказать Солнцу-Сурье в его отлипании от низа мира и преодолении силы земного притяжения (иль поверхностного натяжения вод Океана, из которого выныривает Солнце). И слово это должно каждодневно твориться, а не откладываться, как вещь, про запас; не может Солнце здесь себе такого позволить: сейчас исчезну, а потом воздам сторицею — что оно вполне себе позволяет в космосе Севера, где полярная ночь, а потом вечный день, зима и лето столь розны теплом и светом... И мышление там такое вырабатывается, что про запас откладываемо: в письмена, в литературу, библиотеку... В Европе мысль есть «я-мысль», так же отвердевает в индивида, как и жизнь человека, отчего и индивидуальное авторство важно. В Индии ж принцип личности (аханкара) есть авидья — неведение. И тут мысль-волна (потоки джарм, как волн), а не мысль-атом-частица. Тут квантово-ВОЛНОВОЕ воззрение на строение вещества, и то, что европейцы тут находят похожее на атомизм (дхармы), в сущности-то не частицы, а волны...

В Индии душа онтологична, а Бытие — психично: Дух и дыхание взаимоперетекаемы. Человек отверст, а не отделен от Бытия крышей своей черепной коробки и не укутан в свое тело, как в одежду и дом, что так тверды и стеноподобны в Европе и на Севере, где их функция — отделять, обособить человека от Бытия (так же как и органов чувств, которые, по скептикам-англичанам Юму и Беркли и также по германо-шотландцу Канту,— не связь наша с миром, а стена, от него отделяющая: проблема трансцензуса и гносеологии...). Нет, в

Индии, вдыхая, мы засасываем в себя прану, мировой Брахман в свой атман: они сообщимы.

А раз все есть, течет и пребывает сразу, то не нужно опосредствований (основной принцип европейского Логоса — медиация: *средний термин* силлогизма у Аристотеля, *особенное* между всеобщим и единичным у Гегеля), закладов и удостоверений (справок российско-советских): «В этой стране нет процессов о закладах и доверенных ценностях; им не нужно ни свидетелей, ни печатей, но все верят тем, кому поручают свои ценности. Домашнее имущество обычно без надзора» (I, 53). Ну да: ведь человек слово произносит, дает клятву в открытом Бытии, как на духу, где Брахмо слышит его колебания воздуха, и воз-дух запоминает и отмстит за нарушение. А там, где лето уходит напрочь, а вместо него белая зима воцаряется,— нужны залоги и заклады, так как на место Бытия становится Ничто, а потом вдруг Бытие из Ничто возникает. Как поверить зимой, что лето было, что лето будет?

«Это, конечно, все разумно *(что нет воровства, есть доверие друг другу.*— Г. Г.). Но никто, пожалуй, не одобрит другого их обычая — всегда жить только для себя и не иметь общего для всех часа обеда, завтрака, есть как кому заблагорассудится; ведь другой способ еды более подходит для *общественной и гражданской* жизни» (1, 53). Снова эллин в этом сказался — политик, живущий в Полисе, городе-государстве. Он общается с Бытием не прямо, каждый, но через Общество, Социум, общественные отношения (от Платона до Маркса об этом...). В Индии ж каждое существо напрямую соотносится с Бытием, свой принцип к нему верного отношения имеет (свою дхарму), а не через солидарность со своей общиной (кастой, варной). Хотя человек — член касты, но дхарма его проверяется не «советом» касты, а прямо Бытием, на Абсолют он глядит, а не на некое «мы», и «своих», и классово-кастовый интерес, как это естественно в маложизненных космосах Севера, где «в партию сгрудились малые» (Маяковский) — в борьбе за существование.

В Индии борьба скорее — за выход из существования: на то усилие Духа и воли у человека требуется. Бурному клублению Бытия, чтоб оно не шло вразнос, ускоряясь, мудрец противопоставляет остановку: себя прежде всего, делая себя как бы осью, воздерживаясь — удерживаясь: ведь «дхар» — «держать», отсюда и «дхарма» — закон-принцип-путь-долг.

В жизни своей индус менее волен, чем европеец: у того «я» и свобода воли, а у этого — варна, и карма, и дхарма; однако в смерти — более волен: самоубийство здесь не грех. Страбон не устает дивоваться самоубийствам философов («гимнософистов»), восходящих на костер... Опять — огонь, Джатаведас, как и нирвана — нибхана — «угасание» (по одной интерпретации). «Чаще всего философы говорят о смерти. Они считают здешнюю жизнь как бы ребенком во чреве матери, а смерть — рождением к истинной и блаженной жизни» (1, 59). Учитывать надо, что перед нами эллинский перевод индийских воззрений, а беседа через переводчиков, как извиняется перед Онесикритом мудрец Мандаий,— это «все равно, что требовать, чтобы чистая вода текла через грязь» (1, 64). Эллин переводит Индию на свой Космос и Логос — *гонии:* рождений, котловин, пещер (Платонов образ) и недр, нутр, чрев; и у Гиппократа образ: глаза и уши человеку даны вместо пуповины, когда вываливается из матки. Не помогать Жизни — призвание человека Духа тут, но приостанавливать жизнь, которая и так избыточна. Потому хваленая в Европе «жизнерадостность», и идея «Бога Живаго», и «философия жизни», и «жизнь как воля», и «воля к жизни и власти» — чуждые постулаты. Поперек колесу Сансары, майи-жизни и авидьи — «дхармачакраправарта на»: проворот колеса Дхармы — творит буддист и йогин. Интересно, что самоубийства мудрецов распределены по стихиям, суть как бы их заклятия, приостановка собою, толчок вспять их течению: «Люди твердого характера... бросаются на меч или в пропасть (*земляной, твердый — земле наносит удар — толчок.*— Г. Г.); избегающий страданий — в морскую пучину (*мягкие — «прячут звон свой в мягкое, в женское», по стиху Маяковского,— во влажное; концы — в воду.*— Г. Г.); люди, привыкшие переносить страдания, кончают жизнь повешением (*отдают себя стихии воз-духа.*— Г. Г.), а люди пылкого нрава бросаются в огонь *(огню — огнево.*— Г. Г.)» (1, 68).

Что касается представлений о мире, «во многом они держатся одинакового мнения с греками. Так, например, они полагают, что мир сотворен и обречен на гибель, так же как это утверждают и греки (*в передаче Мегасфена — событие мира однократно, тогда как по индуизму мир и миры творятся и сокрушаются бесконечно в ритме кальп, юг и критаюг.*— Г. Г.); мир они считают шарообразным» (1, 59). Это типично эллинское воззрение, по которому шар — совершенная фигура, и мир — Сферос.

Любопытно удивление эллинов *асанам* индийских мудрецов. Так эллин Онесикрит, посланный Александром, чтобы поучиться индусской мудрости, был необычайно шокирован, когда «софист велел ему... если он хочет слушать, снять одежды, голым лечь на те же камни и выслушивать его поучения» (1, 64).— Чушь какая-то, маскарад!— мог реагировать на это предложение эллинский Логос.— Ну какая разница, говорится ли слово Истины стоя, сидя или лежа?— А между тем и в Элладе — недаром «перипатетики»-«прогуливающиеся», аристотелевой школы умники. А платоники возлежат на Симпосионе. Поза-асана не безразлична, но есть постулат-предикат главный учения: как бы крюк, на который ловится Истина; приспособленный сразу аспект в плюрализме возможных миров и Истин: его на себя наверстать-наярить. Асана — прямо мысль, идея, принцип миропо-имания — поймания, как рыбы на живца.

И эта сращенность мышления с позой (лотоса, змеи и так далее) свидетельствует о неотделенности Духа от Бытия: Мысль открыта в Бытие, есть ток самого Бытия. Она не отвлеченная но и плотяная, не чужда материи. Мысль в индийском космосе трактуется в Упанишадах как особая

стихия, материя, первоэлемент: наряду с землей, водой, воздухом и огнем — и «манас», и иные варианты духовного: «атман», «рич», «вач», «удгитха». А позой-асаной мы делаем как бы узел для связыванья всех элементов и сотворяем ипостась-вариант системы мира.

Удивляются греки, что виноградной лозы соком не услаждаются индийцы. Но в космосе марева, где человек и так пьян, нет нужды в разгорячении: скорее в остужении он нуждается для возбуждения жизненной активности. И эту роль играет богатейшая культура Духа в Индии, которая снизу старается восполнить недостаток сухого воз-духа в пространстве: отодвинуть, осушить влажный жар — за счет активности атман-Брахмана. И в Индии так же необходимо, по Космосу ее, дышит очаг Духа (в религиях, философиях), как в Европе, при недостатке солнца, горит очаг Труда материального.

Германский образ Индии

Фундаментальным знакомством и проникновением в индийскую культуру Германия обязана романтической школе. Тогда были заложены основы индоевропейского (или «индогерманского», «индоарийского» — впервые эти термины были введены в научно-культурный обиход) народоведения и языкознания (Вильгельм фон Гумбольдт). Глава романтической школы Фридрих Шлегель явился и автором основополагающего для индийских штудий в Германии труда «О языке и мудрости индусов» (1808)[1]. Полвека до того француз Монтескье в «Духе законов» (1748) много писал об Индии, причем его интересовали порядки, обычаи, нравы в быту и общении, в социальности людей. Германец же сразу откидывает чувственно-социальную, бытово-телесную сторону и сосредоточивается на духовном: *мудрость* есть то, чем люди сообщаются не друг с другом, а с Бытием, Истиной, Богом; а *язык* есть то, чем сообщаются люди как души, как духовные существа (в отличие от материально-гражданско-правовых отношений). Значит, если у француза интерес к тому, чем люди соприкасаются внешне: телесными, кожными поверхностями в касании-трении (сексуально-социальном) и вращении,— то для германца эта твердь будто истаивает, отменяется — и остается внутреннее: Innere, глубинное. А там — духовность есть всемирный Океан.

Состоит это «восточное своеобразие,— дает общую характеристику индийскому стилю мышления Шлегель,— в высокой смелости и расточительной полноте и великолепии образов вместе с часто с этим связанной склонностью к аллегории. Южный климат может рассматриваться только как содействующая, а не как главная причина этого направления фантазии» (213). Интересен последний термин: Hauptgrund, буквально «главное дно», высший низ, top bottom. Он совмещает важнейшие ценностные ориентировки германства: высь (Höhe) и глубину (Tiefe).

Из обычаев лишь на один не мог не прореагировать германский земледельческо-горняцкий дух с отвращением: что трупы запрещено предавать земле или «еще более священному — пламени» (тут сведения Шлегеля ошибочны: трупы сжигают — предают Джаташедасу Агни, «знатоку существ», а пепел развеивают над Гангом, то есть причащают к огневоде — главной субстанции Индии), но дают на растерзание диким зверям.

Показательно, какими струнами реагирует германец: отлучение от земли и от огня воспринимается им как Ад. Значит, отсюда, от противного: самые это ему дорогие и внутренне присущие стихии: *огнеземля*. Недаром и цвет их — коричневый; средняя из их трехцветного флага: черно-красно-золотое — есть коричневое. И тут — ургия — die Tat — Труд, который есть обжиг земли и создание формы из «я», которое — огненный дух, Geist, das Selbst, самость, воля.

Труд Шлегеля — у самых истоков европейского научного исследования духовной культуры Индии. Начали его, как это естественно, англичане, у которых и компания — Ост-ИНДская. Но до конца XVIII века английские репортажи об Индии носили практико-этнографический характер бытописания — для торговли. Учиться у индусов уму-разуму не приходило в голову. Но вот после века Разума (Просвещения) и сие забрезжило, и пионерами индологии выступили англичане Уилкинс и Уильям Джонс, на кого первым делом в своей книге ссылается Шлегель. Русский индолог И. П. Минаев в «Очерке важнейших памятников санскритской литературы» пишет: «Одним из первых произведений, переведенных с санскрита на европейские языки, была драма Калидасы «Шакунтала». В 1789 году вышел английский перевод У. Джонса, а в 1791 году Г. Форстер переложил «Шакунталу» с английского на немецкий. Выбор, сделанный Джонсом, был весьма удачен и немало способствовал возбуждению интереса к изучению древнеиндийской литературы... Гёте отозвался известным четверостишием, в котором он очень характерно оценил красоты древнеиндийского поэтического создания. И. Гердер, Ф. Шлегель, Ф. Шеллинг еще обстоятельнее характеризовали поэтические достоинства «Шакунталы» [1].

И какая дистанция! В Англии смиренные работяги-переводчики, а здесь духовные вожди нации. И притом не просто читают в переводах и отзываются, но вот Шлегель идет на выучку к члену Калькуттского общества Александру Гамильтону, изучает санскрит, списки древних текстов, пьет из первоисточника, сам переводит: к его книге приложены метрические переводы отрывков из «Рамаяны», «Законов Ману», «Бхагавадгиты», эпизода «Махабхараты» о Шакунтале. Индийскую мысль он из узкого круга ученых-ориенталистов вводит в самое пекло и кузню немецкой классической фи-

[1] Ueber die Sprache und Weisheit der Indier. Von Friedrich Schlegel. Heidelberg, bei Mohr und Zimmer, 1808. При ссылках на это издание далее указываю лишь страницы. *(Прим. авт.)*

[1] Цит. по кн.: Избранные труды русских индологов-филологов. М., 1962, с. 46.

лософии, которая тогда как раз на полпути своего становления была: к 1808 году закончились Кант и почти Фихте, расцветал Шеллинг и только начал Гегель («Феноменология духа», 1807). Что труд Шлегеля не остался дремать в библиотеках, а сразу был восхищен мыслью как первейшая ей пища,— свидетельство тому Шеллинг, который тут же прибрал в свою мысль рассуждения Шлегеля о пантеизме и ссылается на них в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы» (1809). По этой ссылке я, собственно, и узнал о существовании книги Шлегеля. Так что индийская мысль тем самым сразу встала как слагаемое и фактор одного из высших творений европейской культуры — немецкой классической философии. И Гегель, как показывают его «Лекции по эстетике», «История философии» и «Философия истории», уже обнаруживает большую начитанность в индийских книгах. А скоро затем — Шопенгауэр...

Что же касается немецкой литературы, то на ней проходившее в начале века духовное породнение с Индией сказалось меньше — то ли потому, что, в отличие от философии, которая была в разгаре, немецкая классическая литература уже заканчивала свой век, и даже романтическая школа к тому времени уже, в основном, сделала свое дело, да и ориентировалась к тому же больше на Элладу (Гёльдерлин) или на национальное германское средневековье; то ли потому, что для влияния на литературу, на текст и слово, нужна именно буква, т. е. чтение в подлиннике или прекрасных переводах, а не дух, которого достаточно для философии.

Таков культурный контекст, в котором создавал свой труд Шлегель. Что же до исторического контекста,— то было время национальной скорби: чувство униженности после наполеоновских разгромов требовало духовного подкрепления. И именно из этой потребности вспыхнуло слово: ИНДО-ГЕРМАНСКИЙ, которого в ином контексте, при ином накале национальной температуры, могло и не произойти,— и были бы мы об Индии без этого понятия, а с другим.

Таким образом, труд Шлегеля — не столько наука, сколько идеологема, определенное построение индийского миросозерцания из балок и априорных форм германского духа. Тут дан узел идей, направлявших дальнейшие исследования. Предчувствуя, что открывает новую эру, Шлегель сравнивает нынешнее вливание индийской культуры в Европу с Ренессансом античности в XIV—XVI веках.

Первая книга труда Шлегеля — «О языке». Главы: 1. Об индийском языке вообще; 2. О родстве корней; 3. О грамматической структуре; 4. О двух главных видах языка по внутреннему строению; 5. О происхождении языков; 6. О различии родственных и некоторых особенных посредствующих языков (Mittelsprachen).

Пока интерес народов к Индии оставался на вещественном уровне: природы, быта, климата (а именно так взирают Страбон, Никитин, даже во многом Монтескье), Индия оставалась страной чужой и чудес — особенной, отличной, неродной, непохожей. И это естественно: материя материю, тело тело отталкивает — плоть стоит оградой и броней проницанию.

Теперь впервые заговорили о сродстве, похожести: не о диковинах, но о НАШЕМ же, родном, едином — и это поворот радикальнейший. Но произведен он мог быть лишь постольку, поскольку точка зрения перенесена из внешности и вещественности во внутреннее, в глубь (а тут специфический вектор германства, его ценности), в Дух — и тут открылось Всеединое, тогда как Материя — начало различий и множеств. Но для того, чтобы стало возможным такое воззрение на внешние предметы (в частности, на Индию) и понимание сокровенного единства, лежащего в подспуде разнообразия материального мира,— сам инструмент миропонимания, Разум, должен был быть предварительно прочищен и приведен к единству, что и было проделано к тому времени в горниле и чистилище кантовых «Критик» и в кузне Фихтева «Наукоучения», где выковано единство субъекта-объекта.

И Фридрих Шлегель, варившийся именно в этом соку, осуществляет в своей книге проекцию структуры германского Чистого Разума («Я») на индийский материал — это якобы данное извне «Не-Я», которое при ближайшем рассмотрении оказывается тут насквозь продуцированным, произведенным, положенным из «Я». То есть, в познавании Индии, в том образе Целого, который здесь обрисован,— абсолютно прочитывается своя оптика: структура глаза, Логоса германского, который в нее вперен и лучами своими столько же рисует внешнюю форму, представление, предмет,— сколько и выводит наружу, опредмечивает то, чем сам жив, из чего состоит. Таким образом и осуществляет Шлегель познание Индии — как самопознание Германии.

Это прочитывается и на поверхности: в предметах Шлегелева интереса, устремленного к Единому, общему (родство языков — индийских и европейских; близость философского понимания мира, образов Бога; пути миграций народов в истории), и во внутренней форме Шлегелевой мысли: какими зацепами-крючьями, ухватами-понятиями (Be-griff, «понятие» — буквально «ухват») он индийские горшки улавливает и переставляет, какими ходами мысли осуществляет истолкование.

Пожалуйста: уже по представленному выше оглавлению первой книги структура германского Логоса, его строение и категории проступают. 1. Всеобщее. 2. *Род*ство (гония, порождение: Целое мира — как семья, фамилия) корней. То есть, подход от Растения как модели (не от Животного, как отчасти эллины и романские народы, кочевые и южные многие). И развитие мира предстанет не как животная жизнь из страстей и политических интересов и отталкиваний (как это у француза Монтескье), но как рост Генеалогического Древа — излюбленная германская парадигма и архетип. 3. Структура — Здание: целое — как конструкция-ургия, продукт Труда-творения: не естество, а искусство. И именно как Дом, Haus. Бытие есть мироЗДАНИЕ — постулат германского представления мира. 4. Вводится Двоица — раздвоение Единого, диалектика и антиномии — метод движения

германской мысли. 5. Происхождение: взгляд германца устремлен назад, к *причине*, к началу, к основам, вглубь, в фундамент, вниз и потому маниакально повертывается к древности, как к родному магнитному полюсу, туда склонение его Логоса (и в науках немцы очень «Истории вопроса» любят). Напротив, взгляд француза автоматически поворачивается в сторону ЦЕЛИ, прогресса и будущего (утопический социализм). 6. Вводится РАЗЛИЧИЕ и ПОСРЕДСТВО: германский Логос не может удовлетвориться на числе 2 (как утолен им француз Декарт: две субстанции — мышление и протяжение; и фигура баланса и симметрии тут), но вводит Третье, Опосредствование, как связь — и вот уже ТРОИЦА, ТРИАДА Гегелева — модель Растения тоже: зерно — стебель — зерно (в колосе). И вот уже можно закончить рассмотрение: Всеединое завершено как Целое структурированное, по-германски.

Однако что ж тогда у меня выходит: что никакое разнообразное «что» — предметы, опыты, мысли — не имеют значения и веса, но все они — функции от структуры, формы, от «как»? Тогда нечему и учиться, ничего знать не следует: имей «правильное мировоззрение», суй его повсюду — и всякие врата этим Сезамом отворятся, сей универсальной отмычкой. Гегель иронизировал над немцами: «Вместо того, чтобы писать историю, мы всегда стараемся определить, как следовало бы писать историю»[1]. То есть, настолько гипнотически переживается определяющая роль метода познания, способа производства понятий по отношению к материалу, что до последнего никак и не доходят.

Но ведь перед нами книга германца *об Индии*, и неужто материя, жизнь, входя в нас как предмет мысли, безгласна там? Ведь еще платоники недаром полагали, что душа уподобляется предмету созерцания и чем дольше во что, любя, в духовном Эросе вглядываешься, тем более сам ум твой и дух подлаживается и приобретает форму и образ созерцаемого. В наблюдении и опытном познании душа и ум — «женщина» (отдается впечатлениям), тогда как в германском идеализме разум — «мужское», активно формирующее начало.

И вот во второй книге труда Шлегеля, «О философии», проступает, зачем понадобилась индийская мудрость. Задыхаться уже начала германская мысль, направясь, с Канта, сама на себя, исчерпав себя в субъективизме Фихте, в его «Я», полагающем всякое «Не-Я». Потому и Шеллинг, и вот Шлегель потянулись туда, где не все знание извлекается из «Я» как абсолютного источника, но где есть ОТКРОВЕНИЕ Бытия, Природы, Бога — словом, чего-то реального: Шеллинг — в натурфилософию, к эллинам, а потом на Восток — к религиям откровения; а Шлегель от романтического субъективного гениальничанья — к «пантеизму» (как он это именовал) индусов и в романский католицизм, который есть, в отличие от лично-рассудочной конфессии лютеранства, вера социально-организующая, более объективная и вещная. Все разбегаются от огненно-геенского «Я», приотворившего в Канте и Фихте свою абстрактную, ненасытно-империалистическую пасть и утробу (как у Волка Фенрира скандинаво-германской мифологии). Ну да, эта «яйность», Ichheit, есть огонь всепожирающий — и все пустым и голодным остающийся. Потому и потянулись эмиссары и миссионеры германства за необходимой огню их духа (Geist) землей, материей, веществом — в жизненное пространство иных народов. Так что интерес немецких мыслителей рубежа XVIII—XIX веков к Востоку — тоже своего рода Drang nach Osten за субстанцией, в тоске по реально-устойчивому и самодостоверному, не нуждающемуся для своего подтверждения в доказательствах и хитроумной диалектике.

Открытие на рубеже XVIII—XIX веков и переживание светлейших духовных ценностей античности и Востока меняет всю перспективу исторического развития человечества, и Шлегель во второй книге прямо начинает с опровержения распространенного и будто бы естественного и самоочевидного воззрения, по которому «человек начал с состояния совершенно животной глупости, но гонимый нуждою от одного усилия к другому.... наконец возвысился и доработался до некоего разума» (89). А ведь такого воззрения придерживался и английский Логос (Гоббс), и французский (Монтескье, Руссо, Кондорсе): концепция ПРОГРЕССА. Эллинский же ум (Гесиод, Платон) исходил из золотого века позади. Ну а Индия явила такие сверхсокровища духовные, созданные в первое тысячелетие до нашей эры — Веды, Упанишады, «Махабхарата», буддизм,— что все последующее житье-бытье Индии к этим сверхценностям не прибавило равного.

Германский Логос в своем воззрении на путь человечества находится в динамической антиномии. С одной стороны, врожденная его устремленность и априорное тяготение к Низу, Основе, Глубине, Корням побуждают его поместить целостность туда и усматривать золотой век позади. С другой же, принцип-Ургии, Свободы воли, Труда, деятельности из «я», высокое чувство самости (das Selbst), гордыня не допускают быть зависимым от чего-либо, кроме себя самого, и побуждают полагать себя кузнецом своего счастья и видеть высшее впереди... Сей пессимизм-оптимизм и у Гегеля, и у Вагнера, и у Ницше...

Итак, Фридрих Шлегель полагает, что человек начинает не со зверства, но с божества, и залог тому — духовные ценности Древнего Востока. Во второй главе второй книги им рассматривается система переселения душ и «эманации», которую Шлегель полагает наиболее сущностно индийским изо всех восточных учений. Передает он ее по первой, космологической главе «Законов Ману», которые считал древнейшим из тогда известных Европе памятников (Вед Шлегель еще не знал). Излагает он ее в постоянной полемике с системой «пантеизма» (под ним в Европе имели в виду философию Спинозы, с ее «фатализмом» и утоплением личности), на которую она лишь внешне похожа. «Тем, кто привык только к диалектической форме сравнительно молодой европейской философии, легко представляется пантеистической большая сме-

[1] Гегель. Соч., М.-Л., 1935, т. 8, с. 6.

лость и фантазия каждой восточной системы. Первоначальное же различие между ними очень существенно, ибо индивидуальность в древнем индийском учении никак не снимается и не отрицается. Также и возврат единичного существа в свое божество только возможен, но не необходим; упорствующее злое остается навечно отделенным и отринутым» (96—97).

Здесь явно подтягивание аморфного индийского воззрения под четкие определения и грани германского Логоса — Haus'a: ведь индивидуальность там не жестка, преходяща и есть скорее отрицательный принцип личности, на чем и сам Шлегель спотыкается и толкует в примечании: «Аханкара, яйность (Ichheit) имеет в индийских текстах в большинстве случаев дурной оттенок, как противостремящееся и противостоящее божественному единству и ровности» (276). И не может быть в Индии вечности мук злых, как и блаженства добрых, ибо и пребывание в богах ограничено, и весь мир зыблется: то возникает, то исчезает со всеми своими «твердыми» различениями — в том числе «добра» и «зла». И нет необратимости, которую Шлегель ищет усмотреть, чтобы установить для человека любимую им свободу воли, а значит: нет и зависящего только от «я» выбора меж добром и злом — в вину иль в заслугу. В индийском воззрении выбор, верно, есть — на этом буддизм основан (решение избрать восьмеричный путь дхармы), но сам выбор не абсолютно личный, предопределен заслугой или виной предыдущих рождений.

«Пантеизм учит, что все хорошо, ибо все есть лишь единое, и всякая видимость того, что мы называем неправым или дурным, есть лишь пустой обман. Отсюда разрушительное его влияние на жизнь, поскольку... поступки человека должны почитаться безразличными, и вечное различие между добром и злом, между правом и несправедливостью должно целиком сниматься и считаться за ничто. Совсем иное — в системе эманации, где скорее все существующее бытие (Dasein) считается за несчастье и сам мир за испорченный и злой во внутреннейшем своем, так что все есть не что иное, как печальное погружение из совершенного блаженства божественного бытия» (97—98). По этой выдержке видно, сколь одностороння трактовка Шлегелем индийских воззрений, а главное: абсолютизация различий, по-германски, до противоположностей, антиномий,— чего там нет.

Пантеизм неприемлем германскому Логосу из-за его статичности; здесь же дорого развитие, деятельность, превращения — и за это интимно близка Шлегелю теория метемпсихоза — пуще, чем эллинское статическое многобожие (тоже род «пантеизма»): в «переселении душ» существ есть и их падение от состояния божеств до растения и камня — и поднятие душ, восхождение через собственные усилия, так что здесь есть и необходимость, и свобода.

Эманация (по эллину Плотину) есть истечение божества, Света, Единого из себя — по мере отдаления — потемнение, отяжеление, превращение в тьму, вещество, материю: свет погружается, и мир есть человек, стоящий по пояс в воде. В индийском варианте «эманации» Шлегель отмечает стадиальное затемнение: в учении о четырех веках, о четырех варнах-кастах видит он ступенчатое понижение состояния мира. То же и в учении о трех мирах («лока»): небо, воздух, земля (или: небо, земля, недра), трех «гунах» — качествах («саттва» — свет; «раджас» — страсть, мир блеска и майи; «тамас» — тьма). Везде «закон постоянного ухудшения и постоянной порчи. Всякий охотно допустит, что фантазия едва ли может заполнить противоречие и промежуточное пространство (*как между стенами Дома.*— Г. Г.) между мыслью о совершенном существе и видом несовершенного внешнего мира более легким и естественным образом, чем через воззрение эманации» (107).

Структура этой мысли: противоречие, антиномия, двоица и необходимость заполнить пространство опосредствованием некиим, третьим, которое по содержанию — деятельность, становление (Werden в философии Гегеля). На каждом шагу бессознательно проговариваются эти координаты германца. «Она,— продолжает мысль об эманации Шлегель,— не только КОРЕНЬ древнейшего и наиобщего суеверия, но и стала богатым ИСТОЧНИКОМ поэзии» (107) — «через свою моральную ГЛУБИНУ, через свою положительную ПОЛНОТУ и генетическое РАЗВИТИЕ мирового целого» (114). Как равнозначные координаты-ценности, непрерывно рядом выступают Глубина и Высь: «Все земные существа на дно того Возвышенного будут проглочены» (in den Grund jenes Erhabenen) — так передан мир как сон бесконечного существа в «Законах Ману».

Итак, мы преследуем внутренние образы, которые, безотчетно даже для такого рефлективного писателя, как Шлегель, залегают в подспуде его мыслей и предопределяют их склад и направление. Они, эти слои созерцания, лежат на такой глубине, которая уже недоступна субъективному началу художнической индивидуальности, есть не особенность индивидуального стиля или манеры, но принадлежит национальному «гену», родовым чертам сознания народа — как космолога.

Эти же черты находим и в известном четверостишии Гёте, на «Шакунталу» Калидасы:

Willst du die Blüte des frühen, die Früchte des späteren Jahres,
Willst du was reizt und entzückt,
willst du was sättigt und nährt,
Willst du den Himmel, die Erde mit einem Namen begreifen,
Nenn ich, Sacontala, dich, und so ist alles gesagt.

Переведу дословно (хотя есть перевод Тютчева — скорее, вариация); так мне важнее:

Если ты хочешь цвет ранних, плод поздних лет,
Хочешь что прельщает и восхищает, хочешь, что насыщает и питает,
Хочешь Небо и Землю одним именем схватить,
Назову я, Шакунтала, тебя,— и тем все сказано.

Гёте начинает обращением к Воле: «хочешь», как в «Песне Миньоны»: Kennst du das Land — «Знаешь ли ты землю?..» — то есть воззванием к действию Воли иль Познания — к двум основным духовным спо-

собностям человека, по-германски: вспомним Практический и Теоретический Разумы Канта, «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, Субъект-Объект у Фихте, Шеллинга и Гегеля, материальное и идеальное у Маркса. Эта парность антиномий, как почти врожденная априорная структура жизни и мысли, отчетлива и в четверостишии Гёте: цвет — плод, ранний — поздний, небо и земля. И задача: как одним именем (во Единое) двоицу привести — типичная проблема германской философии.

В восприятии индийского сюжета Гёте происходит перевод одного Космо-Психо-Логоса на другой. Во-первых, эпико-драматический сюжет о внешнесобытийном откликается ВНУТРЕННИМ переживанием лирического стихотворения. Кстати, лирика субъективного переживания, столь распространенная в китайской и японской поэзии, в индийской словесности менее развита, ибо «я» здесь не обособленное, отсоединенное, непричастное, мир имеющее против себя как предмет, но — расплывчатое с Бытием.

Далее Гёте переводит сюжет животно-телесной Шакунталы, которая в Индии оборачиваема в лань,— на растительные координаты земледельческого германства: цвет-плод (вспомним и у Якоба Бёме садовые термины: «горькое», «кислое», «сладкое», «терпкое» — на правах четырех первоэлементов Бытия). Этим тут же еще две сверхидеи вводятся: Вертикаль и Время. Вертикаль подчеркнута, помимо ствольности растения, и парой: небо — земля. В то же время намечено и низовое горизонтальное тяготение: reizt — влечет и entzückt — восхищает — снизу ввысь. То есть: структура пространства как мироЗДАНИЯ, Дома. В индийском же космосе пространство — это, скорее, клубление, что (кругловидность) соответствует большей животности космоса: ширь и горизонталь более подчеркнуты на Небе, наверху, нежели внизу, как в германстве (Дом с готическим шпилем),— и недаром у того же Калидасы поэма «Облако-вестник», где плоскость по небу плывет.

И третьей из мировых координат, после Воли и Растения — Древа, выступает у Гёте — Время: «ранние-поздние лета». Ну да: Бытие тут в паре с Временем («Бытие и Время» — основной труд Хайдеггера). В индийском же космологосе страшно беспечны насчет времени и сроков (а как трепетно их считают во христианстве, в Европе и на Руси: не исполнились ли сроки и не грядет ли конец света? Эсхатологизм), там же существа пребывают и переносятся на другие уровни, а не отсекаются стенами уникального рождения-смерти.

(Ноябрь 1968 г.)

◆

ЖИЛЬ ПЕРРО

КРАСНАЯ КАПЕЛЛА

Документальный роман

Перевод с французского В. ЖУКОВОЙ

Большая игра

Франц Фортнер категоричен: «Я присутствовал не на всех его допросах, далеко нет,— ведь после его ареста я вернулся в Брюссель, на место службы. Но могу дать гарантию: если Большой шеф и заговорил, то не из страха перед пытками или ради спасения жизни. Этот человек не знал страха. Он был не из таких, как Райхман или Венцель. Если бы он решил молчать, то и под пытками ничего бы не сказал, я уверен в этом... Видите ли, я понял, почему он повел себя так, а не иначе, значительно позже, после войны, когда мы стали чуть лучше разбираться в методах работы советской разведки. О, он был очень умен и очень тверд! Обманул нас всех! Русские всегда организуют на месте три сети: активную, резервную и законсервированную. Когда активная сеть засечена, на ее спасение не тратят время: на ней ставят крест, и точка. И резервная сеть приступает к работе вместе со своим руководителем, штабом, связными и радистами. Законсервированная же сеть становится резервной и готова принять эстафету после следующего тяжелого удара. Вы теперь понимаете, в чем хитрость? Треппер подкидывал нам кое-какие крохи, на которые мы набрасывались, а пока мы теряли время, гоняясь за тем, что осталось от его сети, резервная сеть совершенно спокойно подменила предыдущую! Треппер заговорил, это правда, но сказал то, что было предусмотрено. Таков был его долг. Как ни странно, своим молчанием он предал бы Москву».

Три сети? Допустим. Можно найти кадры, навербовать агентов, подготовить радистов. Но как быть с «источниками» информации? Их не наберешь сколько угодно. «Источник» нельзя подготовить: его находят, как правило, случайно, привлекают к работе. Теория Фортнера приложима к Гроссфогелю или Кацу: Треппер может выдать своих старых товарищей, у них есть замена в резервной сети. Но кто заменит Максимовича? Кто придет на смену Кэте Фёлькнер? Работа Директора все-таки не настолько совершенна, чтобы он мог в 1942 году предусмотреть «резервные» и «законсервированные» источники...

Но так ли уж важно, что объяснение Фортнера звучит неубедительно. Главное, что оно существует, существует осознанная необходимость логического объяснения. Фортнер арестовал Большого шефа и провел с ним несколько часов. Он убежден, что ни страх перед пытками, ни страх перед смертью не могли заставить его говорить. И тем не менее он заговорил: рапорты гестапо свидетельствуют об этом. Значит, должна была быть какая-то причина? Какая?

Французские специалисты единодушны: после того, как Треппера арестовали, он думал только о том, как обезопасить коммунистическую партию и связанные с ней организации. Гестапо прилагало все усилия, чтобы арестовать Центральный комитет; оно занималось этим до последнего дня оккупации Франции, и по его архивам видно, до какой степени близки были гестаповцы к успеху.

Дилемма была жестокой, но простой. Треппер мог бы выбрать молчание. Но это означало пытки; безумец тот, кто априори уверен, что стоически выдержит их. С другой стороны, он мог бы выдать избежавших ареста членов сети, убедить гестаповцев в своих добрых намерениях и, рассказав достаточно много, заставить их поверить, что рассказал все, дабы не допустить дальнейших расспросов. На этих чудовищных весах жизнь Каца и Гроссфогеля, конечно же, немного стоила. Так же, как жизнь Максимовича и Кэте Фёлькнер: зачем нужны «источники», если нет больше сети, которая могла бы их использовать?

Так рассуждали специалисты, и их объяснение не было лишено убедительности. Но

Окончание. Начало в № 1.

как бы правдоподобно ни выглядела гипотеза, это еще не означает, что она верна. Действительно ли поведение Треппера определял расчет, который ему приписывали?

Я отправился в Штутгарт, чтобы спросить об этом Генриха Райзера.

Он был гауптштурмфюрером СС и, так же как Гиринг и Берг, старым профессиональным полицейским, которого взял на службу Гиммлер. Он стал специализироваться в сфере контрразведки еще до прихода нацистов к власти. Назначение в Париж получил сразу после оккупации страны. Гиринг был начальником зондеркоманды, но без конца разъезжал между Берлином, Брюсселем и Парижем. Райзер же не трогался с места. Гиринг контролировал действия зондеркоманды в разных странах, его заместитель Райзер командовал во Франции.

Он рассказывает: «Я боролся против «Красной капеллы» еще до того, как была создана зондеркоманда. Арест четы Сокол — моя заслуга. Мы не подозревали, что они работали на русских. Думали, что речь идет о банальной группе Сопротивления, подчиняющейся Лондону. Их сразу же затребовали в Берлин. И если пытали, то в Берлине, а не в Париже».

И далее: «Каца арестовал лично я. Мы взяли его с помощью Райхмана».

— Господин Райзер, тут какая-то ошибка: Каца вам выдал Треппер.

— Ничего подобного. Большой шеф не выдал никого из своих агентов хотя бы по той простой причине, что его об этом никто не просил. Если бы он предал их, мне, наверное, было бы об этом известно: я ведь работал там постоянно.

— Однако в донесении гестапо сказано определенно: Треппер позвонил Кацу и назначил ему встречу на станции метро «Мадлен», перед колонной Морриса. Когда Каца привели на улицу Соссе, Треппер сказал ему: «Придется поработать с этими господами. Игра окончена».

Райзер поглубже уселся в кресло, его жесткие глаза сузились и стали как две маленькие голубые точки, руки он сжал так, что побелели суставы.

— Слушайте меня внимательно, мсье. Если вы хотите что-то понять в этом деле, вы не должны доверять ни одному слову, сказанному о Большом шефе в донесениях гестапо. Вы поняли меня? Ни одному слову!

На первый взгляд это меняло все. Но если поразмыслить, то ничего не изменилось.

Мы уже говорили: радиоигра — это хитроумная и захватывающая операция, конечная цель которой — обмануть противника. Но чтобы выиграть партию, нужно еще получить разрешение на игру. Верхние эшелоны подозрительны. Они считают, что дело может принести большие дивиденды, но если оно будет проиграно, получится, что ни за что ни про что врагу передали точные сведения, предназначавшиеся для «обеспечения» радиоигры. Страх перед ответственностью заставляет требовать гарантий, первая из которых, разумеется,— надежность завербованных радистов.

Гестапо собирается использовать Треппера для развертывания радиоигры небывалого масштаба. В этом есть смысл. В Голландии Хискесу удалось совершить чудеса, используя группу второстепенных «пианистов» в игре против Лондона. Того ли можно ожидать от одного из руководителей советской разведки, если использовать его в игре против Москвы? Но нужно убедить начальство.

Со времени ареста Треппера нацистское руководство нервничает. В Париж летят телеграммы, однообразие которых отмечают и Фортнер и Райзер: «Что говорит Большой шеф?» Итак, Большой шеф излагает свою биографию и рассказывает о потрясающих возможностях, которые предоставляет телефонный справочник. Если сообщить в Берлин о таком великолепном результате, Гиммлер задохнется от злости и наотрез откажется вести радиоигру. И будет прав. Чтобы убедить ОКВ, министерство иностранных дел и все другие немецкие ведомства в необходимости поставлять необходимую «пищу» для функшпиля, гестапо должно дать гарантию готовности своего узника к сотрудничеству.

Сломить Треппера? Может быть, и удастся; но это рискованно и опасно. Одно дело заставить человека под пытками выкрикнуть имена, другое — склонить его к добровольному сотрудничеству на несколько месяцев, пока будет длиться радиоигра. Этот человек не прост. Пока он не рассказывает, а болтает. Соглашается выпить кофе, выкурить сигарету. Но если на него нажать, не замкнется ли он в свою раковину? А его сотрудничество необходимо. Только он один может придать радиограммам немцев в их радиоигре тот стиль, почерк, который будет убедителен для Москвы.

Так и родилось это хитроумное решение: создать ему «легенду», представить Гиммлеру «приукрашенный» и убедительный образ законченного предателя. Гиринг объясняет Большому шефу: «Не все нужно рассказывать военным, они ведь ничего не понимают в политике; и не все нужно говорить политикам, потому что они ничего не понимают в разведке».

Треппер: «Но тогда кто же должен понимать все?» «Тот, кто ведет игру. И именно он должен каждому отмерить его порцию».

Гиммлеру отмеряют добрую меру. Рапорты Гиринга не оставляют никаких сомнений в предательстве заключенного. Фортнер, как и все остальные, читая их, поверит, что Треппер выдал Каца, Гроссфогеля, Максимовича. В одном из рапортов дата ареста Большого шефа будет даже перенесена с 24-го на 16 ноября, с тем чтобы можно было вменить ему в вину разгром «Симекс» и «Симексно», облаву, осуществленную в Бельгии, и арест группы в Лионе...

Гиринга можно понять. Но Треппера? Разве он не видит, какова ставка в начинающейся игре, где ему предстоит выступать в роли «козыря» зондеркоманды?

Ставка огромная.

Моральный дух немцев в 1943 и 1944 гг. упал по сравнению с зимой 1941—1942 гг., когда союзники, которых побеждали на всех фронтах, были на грани отчаяния. Германия, охмелев от побед, вдруг отрезвела под стенами Москвы, и в течение нескольких месяцев переживала тоску похмельного синдрома. Война больше не казалась грандиозной прогулкой; она будет долгой и мучительной, и неизвестно, чем она закончится.

Многие военные и гражданские деятели считают, что близится катастрофа. Германия никогда не выигрывала войны на два фронта. Придется договариваться с Западом или с Востоком. Но ратовать за переговоры равносильно самоубийству; можно прослыть пораженцами, то есть предателями. Лучше уж двигаться к пропасти, как все остальные: шагая в ногу.

Гиммлер — не все остальные. Он не подвержен всеобщему страху, поскольку сам — источник и орудие этого страха. Гестапо его не пугает: он и есть гестапо. И если рейхсфюрер достаточно проницателен, чтобы оценить ситуацию, то кто же, как не он, может принять необходимые меры для ее спасения? Гиммлер — здравомыслящий безумец, не такая уж редкая порода. Голова в облаках, ноги на земле. Он почти уверен, что в него переселилась душа короля Генриха Птицелова, который правил германскими племенами в XI веке и перед которым он особенно преклонялся; но тем не менее его эсэсовские дивизии — единственные в немецкой армии — были обеспечены меховой одеждой уже во время первой русской зимы. Здравый смысл подсказывает ему, что необходимо покончить с войной на двух фронтах. О переговорах с Востоком он и не помышляет: Гиммлер — неистовый сторонник «крестового похода против большевиков». Следовательно, его усилия будут направлены на переговоры с Западом. Безумие Гиммлера, конечно же, в его уверенности, что Черчилль или Рузвельт согласятся вести с ним переговоры и пожмут руку, обагренную кровью миллионов жертв. Но иллюзии рейхсфюрера — которые он, между прочим, будет питать до самого конца — это его дело.

Наше же дело — политика.

Существует ли связь между политической игрой в мировом масштабе, которую ведет Гиммлер, и «игрой» Треппера, его неожиданного пленника? Существует — прямая и абсолютно простая.

Чтобы заключить сепаратный мир с одним из союзников, сначала надо расколоть союз, разорвать фронт противника, открыть в нем брешь, через которую можно прорваться вперед. И самый лучший союз может распасться. Сталин, Черчилль и Рузвельт — прекрасная тому иллюстрация. Перипетии их временного союза слишком известны, чтобы на них останавливаться.

Игра немцев, таким образом, будет состоять в том, чтобы разжигать антагонизм, обострять недоразумения, отравлять коалицию ядом взаимного недоверия с тем, чтобы она разрушилась в силу внутренних противоречий.

Но как это сделать?

Шелленберг, начальник разведывательной службы СС, ясно объясняет это в своих мемуарах: убедив каждого из партнеров, что Германия собирается вести переговоры с другой стороной. «Поэтому было очень важно,— пишет он (эта мысль приходит ему в голову летом 1942 года),— вступить в контакт с русскими в тот самый момент, когда мы начинали переговоры с Западом. Нарастающее соперничество между державами-союзниками могло усилить нашу позицию». Но он забывает, что труднее всего договориться о встрече с русскими. Рейхсфюрер требует, чтобы с ними связались. Мы не знаем, кто подсказал ему этот выход: использовать передатчики «Красной капеллы».

Идея была остроумной; осуществление — превосходным. Теперь понятно, почему так точны были сведения, переданные в Центр завербованными «пианистами»: любой ценой нужно было добиться того, чтобы Москва не узнала об арестах и продолжала верить в преданность своих людей. Тогда «Красная капелла» могла бы продолжать игру без настораживающего антракта, но на этот раз — по нотам Берлина и на беду Москве. Ефремов, Венцель и Винтеринк были первыми солистами при исполнении новой симфонии. Но в первую очередь надо поставить во главе этой новой «капеллы» ее прославленного дирижера — Большого шефа. Остальные — всего лишь простые музыканты; один он обладает размахом, необходимым для того, чтобы обвести Москву вокруг пальца в сфере международной политики.

Как использовать его теперь, когда он в их руках? С находчивостью и блеском: сначала лишь слегка прикасаясь к клавишам, не форсируя, делая упор на конкретные детали. Стену недоверия, посредством которой немцы надеются изолировать Сталина, они хотят строить по камешку.

17 января 1944 года московская газета «Правда» под заголовком «Слухи из Каира» публикует следующую информацию: «Каир, 12.1 (От собств. корреспондента «Правды»). По сведениям из греческих и югославских источников, заслуживающих доверия, недавно в одном из прибрежных городов Пиренейского полуострова состоялась секретная встреча двух английских руководящих лиц с Риббентропом. Встреча имела целью выяснение условий сепаратного мира с Германией. Полагают, что встреча не осталась без результатов».

«Она подействовала на министра (Геббельса. — **Прим пер.**), как сильнейший наркотик,— пишет его бывший помощник Вильфред фон Овен.— Когда он вызвал меня на совещание, посвященное материалам печати, среди которых, разумеется, находилась упомянутая статья, он выглядел очень возбужденным. Статья была положена поверх стопки телеграмм и была помечена — знак чрезвычайной важности — большой скобкой, начерченной его зеленой ручкой; на полях было поставлено также несколько восклицательных знаков. Министр бросил на меня многозначительный взгляд, постучал по листу тыльной стороной ладони и сказал: «Это самая важная информация на данный момент. Разумеется,— и я должен сказать, к несчастью,— она выдумана от А до Я. Возникает вопрос: чего Сталин — ведь именно эта хитрая лиса, и никто другой, скрывается за этим делом,— чего он хочет добиться с помощью подобной «утки».

В Лондоне и Вашингтоне неизвестно, чем вызвана публикация статьи. В столицах нейтральных государств также недоумевают по этому поводу. В Берлине министр пропаганды Геббельс, министр финансов Шверин фон Кросигк и почти все нацистские лидеры тоже ничего не понимают. Даже летописцы третьего рейха споткнутся об этот клубок и сделают вид, что верят, будто это просто

«небылица» — «утка», как говорит Рейтлингер[1], вторя Геббельсу...

Составленная вдохновителями радиоигры, переданная в Париж гестапо-Мюллером, информация была послана в Москву зондеркомандой через передатчик Кента. Задолго до этого таким же способом в Москву сообщили, что Маленький шеф вступил в контакт с высокопоставленным чиновником немецкого министерства иностранных дел. Директор потребовал срочно назвать его имя. Зондеркоманда указала подлинное имя немецкого дипломата, который работал в Лиссабоне до 1939 года и чьи антинацистские убеждения были хорошо известны. Так было найдено объяснение для наплыва важных дипломатических сведений в радиограммах Кента. Информация о сговоре между Риббентропом и англичанами якобы поступила из этого «источника». По утверждению Кента, его агенту стало известно о донесении некоего дипломата нейтрального государства, работающего в Лондоне; упомянутое донесение было перехвачено немецкими службами. И действительно, такой дипломат находился тогда в Лондоне—Кремль легко мог проверить это — и посылал своему правительству отчет, который немецким спецслужбам удалось перехватить. Мастерам радиоигры пришлось лишь заменить несколько фраз, чтобы придать ему совершенно иной смысл, и таким образом вставить туда сообщение о встрече на нейтральной территории между немецкими и английскими представителями, встрече, вызванной беспокойством руководящих лондонских кругов по поводу огромных территориальных завоеваний Красной Армии.

Осторожно подогрев сомнения Сталина относительно лояльности союзников, надо было убедить его в том, что они собираются начать переговоры с Германией. Сталин поспешит превзойти их в вероломстве и, по расчетам немцев, положит начало процессу распада союза, который якобы уже начался.

Такова суть опасной Большой игры, в которой вынужден участвовать Треппер, если хочет сохранить жизнь.

Солнце и туман

А жилось неплохо.

После ареста в кабинете доктора Малеплата Гиринг и Фортнер отвезли Треппера на улицу Соссе. Там его передали местному начальству — штурмбанфюреру СС Бёмельбургу, который две недели назад ездил в Марсель, чтобы арестовать Кента. Бёмельбург, шеф гестапо во Франции, увидев Треппера, воскликнул: «О! Мы все же поймали этого советского медведя!» В течение получаса члены зондеркоманды звонили в Берлин, сообщая великолепную новость, после чего арестованного втолкнули в машину, которая привезла его в тюрьму Френ. Его сопровождало несколько автомобилей, набитых вооруженными полицейскими.

В тюрьме Френ он провел только одну ночь, и, наверное, ему было довольно трудно заснуть: руки были стянуты наручниками за спиной, в соответствии с инструкциями Гиринга относительно всех арестованных из «Красной капеллы».

[1] Английский историк, автор книги «Эсэсовцы» (Хайнеман, 1956 г.). *(Прим. перев.)*

На следующий день зондеркоманда снова привезла Треппера на улицу Соссе и поместила в импровизированную камеру на первом этаже. Он провел здесь два с половиной месяца. Никто никогда не поднял на него руку. Его хорошо кормили и обеспечивали сигаретами. Поскольку у него было больное сердце, врач вермахта каждые три дня приезжал осматривать его и лечил. Райзер рассказывает, что два-три раза в неделю Треппера разрешали принимать ванну в ванной комнате, расположенной на верхнем этаже здания. Поскольку узник жаловался на скуку, вызванную бездельем, ему выдали словарь, бумагу и карандаш, чтобы он мог занять свой досуг, совершенствуясь в немецком языке.

На допросах с ним разговаривали вежливо. Обычно это происходило после обеда, потому что по утрам члены зондеркоманды были не в лучшей интеллектуальной форме: они испытывали муки похмелья.

Итак, после обеда Гиринг и Треппер усаживались перед бутылкой коньяка и огромным кофейником. Они до вечера болтали как старые приятели, обмениваясь воспоминаниями, и очень редко какой-то поворот в разговоре напоминал им, что они не на одной стороне баррикады. Однажды, например, Гиринг сообщил, что Красная Армия перешла Днепр, и добавил: «В Берлине начинают подсчитывать реки, которые отделяют немцев от фронта». Треппер рассказал знаменитый анекдот о кайзере, который в 1918 году сказал адъютанту, что желает побывать на фронте; а адъютант ответил ему: «Терпение, государь, фронт скоро подойдет к вам сам». Гиринг побледнел, а его пленник, понимая, что зашел слишком далеко, продолжил с видом философа: «Да! Реки текут то в одном направлении, то в другом». Этого совершенно ничего не значащего замечания было достаточно—с коньяком в придачу,— чтобы успокоить Гиринга.

Шеф зондеркоманды постоянно худел, и его голос звучал, как пещерное эхо. Треппер сочувствовал его страданиям и убеждал пить больше спиртного, что было единственным, по его утверждению, средством приостановить рост раковой опухоли. Любопытно, что Большой шеф стал для зондеркоманды кем-то вроде консультанта-медика, бесплатно раздающего советы и рекомендации. Его наиболее преданным «пациентом» стал заместитель Гиринга Вилли Берг, который невероятно страдал после каждого перепоя. Большой шеф подбадривал его: «Я знаю одну парижскую аптеку, где изготавливают чудесное лекарство; надо нам зайти туда как-нибудь».

И действительно, Большой шеф довольно скоро получил разрешение бывать на улице. В первые дни, когда он покидал свою камеру, чтобы совершить прогулку на автомобиле, его сопровождали две машины гестапо. Затем эскорт был сокращен наполовину, а позднее отменен вовсе. Таким образом машина, в которой помимо шофера находился Треппер с двумя охранниками, разъезжала по Парижу. Но и эта мера предосторожности была упразднена: заключенному разрешали выезжать всего лишь с одним охранником, которым чаще всего оказывался Вилли Берг.

Гиринг погибал от рака. Начальник зондеркоманды был вынужден оставить свой пост в

августе 1943 года; он лег в больницу Ландсберга, где умер в конце года. Несомненно, ему было тяжело выходить из игры в самом разгаре, потому что он был сильно увлечен этим делом. Но, умирая, он утешался сознанием того, что выиграл в схватке с неумолимым временем, начатой два года назад: «Красная капелла» была уничтожена, и перед ним, как послушные слуги, склонились Большой и Маленький шефы. Гиринг был груб и жесток, но в то же время умен и хитер. Он не моргнув глазом подвергал арестованных пыткам, но и сам, не дрогнув, терпел пытку рака. Оставшиеся в живых члены «Красной капеллы» ненавидят его и... отдают ему должное.

Преемником Гиринга будет полицейский комиссар Хайнц Панвиц.

Панвиц — типичный представитель той категории людей, которых американский историк Ширер назвал «гангстерами-интеллектуалами третьего рейха». В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, Панвицу было двадцать два года и он почти не интересовался политикой: он изучал теологию и собирался стать пастором. Но после пяти лет учебы отверг храм Божий и, по зрелом размышлении, решил поступить в нацистскую полицию. Пути к призванию неисповедимы. В тот же период в ведомстве Гиммлера начинает свою карьеру молодой человек двадцати трех лет, блестящий выпускник Боннского университета, увлеченно занимавшийся эпохой Возрождения,— Вальтер Шелленберг, который в один прекрасный день станет главой немецких секретных служб. То же самое относится к двадцатисемилетнему очень трудолюбивому молодому человеку по имени Адольф Эйхман и еще одному, тридцатилетнему мужчине: Альфреду Науйоксу, бывшему студенту Кильского университета. Начальником всех троих был Рейнхард Гейдрих, 39 лет, бывший морской офицер, скрипач-виртуоз и фехтовальщик международного класса. Они все были молоды и очень честолюбивы. Нацистская авантюра представлялась им наилучшей сферой приложения своих дарований. Она открывала неограниченные возможности, и сразу же. Германия была первой их жертвой, затем они получили Европу из немощных рук престарелых правителей и превратили ее в свою игровую площадку. Потому что в основном это были игроки, которым привлекательным и достойным казалось действие как таковое. Шелленберг предаст, Науйокс дезертирует, а Гейдрих — если бы он дожил до конца,— вполне вероятно, представлял бы для жизни Гитлера опасность пострашнее, нежели джентльмены из Сопротивления. «Игры» нацистов этого типа были одновременно ничтожными и захватывающими. Ничтожными, потому что временное господство Германии было не их заслугой, а вермахта. Без его бронетанковых дивизий они бы ничего не совершили. Благодаря вермахту у них были развязаны руки и они предали весь континент огню и мечу. Развлекались по-королевски. Все железные дороги Европы оказались в руках Эйхмана, плюс четыре-пять миллионов человек, которых перевозили по этим дорогам: великолепный эшелон. Он наслаждался этой игрой без всякой ненависти к своим жертвам, как позднее обнаружат его удивленные судьи. Но если жонглирование расписаниями и переводами стрелок являлось безмятежным развлечением, вполне во вкусе Эйхмана — наименее изобретательного человека в этой своре,— другие не останавливались перед бредовыми выдумками, демонстрируя поистине необыкновенную фантазию. Науйокс и Шелленберг организовали и успешно осуществили в 1939 году на голландской границе невероятное похищение двух офицеров из «Интеллидженс сервис» — в духе Эжена Сю. Через несколько месяцев Шелленберг приезжает в Лиссабон, чтобы похитить герцога и герцогиню Виндзор; он велит бросать в их окна камешки и посылает герцогине букет цветов с такой запиской: «Остерегайтесь козней британской разведки. Португальский друг, принимающий близко к сердцу ваши дела»,—совсем как в романе Александра Дюма. Науйокс придумывает «операцию Бернхард», фантастический план, состоящий в том, чтобы наводнить Англию фальшивыми банкнотами и тем самым расстроить ее экономику — чистый Ян Флеминг. Гейдрих устраивает в Берлине роскошный бордель, «Салон Китти», который посещают дипломаты, аккредитованные в Берлине; все разговоры записываются в комнате подслушивания, оборудованной в подвале,— как у Роже Пейреффита. Что касается Хайнца Панвица, он предлагает невероятный способ устранения Уинстона Черчилля: надо сбросить над Англией двух сумасшедших парашютистов, страдающих навязчивой идеей убить его. План принят. Но поскольку ни в одной психиатрической больнице Германии не нашлось душевнобольных с таким симптомом заболевания, психиатры в течение нескольких недель будут пытаться — правда, безрезультатно — вдолбить ненависть к Черчиллю в головы двух несчастных больных...

Забавно.

Но как известно, были вещи и не столь забавные.

29 сентября 1941 года Рейнхард Гейдрих приезжает в Прагу. Его только что назначили исполняющим обязанности «имперского протектора Богемии и Моравии». В действительности Гитлер предоставил ему все права для того, чтобы взять в свои руки управление бывшей Чехословакией, которую, как оказалось, не способен обуздать ее официальный хозяин, «протектор» Нойрат. Хайнц Панвиц тоже приезжает в Прагу. Благодаря поддержке Гейдриха он сделал в гестапо головокружительную карьеру. Достигнув положения советника по уголовным делам, он с женой и детьми поселяется в Праге, чтобы быть правой рукой хозяина, поставившего перед собой грандиозную политическую цель.

Через две недели после прибытия Гейдриха Гиммлер получает следующий рапорт: «Все батальоны СС будут переведены в протекторат Богемии и Моравии для проведения расстрелов и контроля за казнями через повешение. К этому моменту в Праге уже девяносто девять расстрелянных и двадцать один повешенный; в Брно — пятьдесят четыре расстрелянных и семнадцать повешенных; в общей сложности сто девяносто одна казнь, в том числе шестнадцать евреев». И это только начало. Но любой зверь-эсэсовец может обращаться с кнутом, тогда как политика пряника требует ума и ловкости. У Гейдриха их хватает. Он разрабатывает необычную стратегию продовольственного поощрения: за каждый дополнительный час работы чеш-

ский рабочий получает в качестве вознаграждения не деньги, которые обесценены, а карточки на мясо или жиры. Гейдрих метил низко, но точно. Чешское промышленное производство немедленно совершает скачок вперед. Второй этап — проведение пропагандистской кампании на тему германо-чешского примирения. Третий этап будет заключаться в предоставлении чехам относительной автономии в обмен на их присоединение к великому крестовому походу против большевиков. Но это уже слишком для чешского правительства, находящегося в изгнании в Лондоне. Гейдрих, «ангел зла», должен исчезнуть. Двух агентов сбрасывают на парашютах с заданием убить его. 27 мая они нападают на открытый «мерседес» Гейдриха, стреляют и бросают бомбу, тяжело ранят его — Гейдрих умрет 4 июня — и скрываются.

И здесь карьера Ханца Панвица достигает апогея.

За несколько дней до покушения он умолял своего начальника согласиться, чтобы его сопровождала охрана. Гейдрих, как обычно, отказался. Он был кем угодно, только не трусом. Но Панвиц, шеф гестапо в Праге, а следовательно, лицо, отвечающее за безопасность «вице-протектора», теперь может поплатиться за его безрассудство.

Собственно говоря, расследование велось под руководством Панвица. Оно началось в подвалах гестапо, где пытали людей, и закончилось 18 июня в склепе церкви Святого Карла, где укрылись парашютисты и их сообщники. Панвиц руководил операцией по их захвату, командовал отборным эсэсовским полком, которому в течение нескольких часов успешно противостояли семь героев-чехов — в конце концов пришлось их затопить.

Назначению на место удалившегося от дел Гиринга Панвиц был обязан не только тому факту, что, сидя в своем кабинете, пристально следил за работой зондеркоманды по донесениям Гиринга. Находясь в Праге, Панвиц выдвинул «революционные» предложения, касающиеся того, как покончить с Сопротивлением. Традиционный способ состоял в уничтожении каждой обнаруженной подпольной сети. Но как только немцы расправлялись с организацией, из ее пепла вырастала другая, и так без конца. Хайнц Панвиц предлагал оставить само подполье в покое и заниматься поимкой одних главарей. После ареста их «завербовывают», они становятся «политическими советниками» немецких властей, и благодаря им оставленный нетронутым аппарат Сопротивления можно использовать для того, чтобы уничтожать сам дух Сопротивления. Это было хитроумно и смело — слишком смело для того времени. Но разве Большая игра была основана не на тех же принципах, что предлагал Панвиц? Хитрый полицейский комиссар, конечно же, был тем человеком, который был нужен на месте Гиринга. Тем более, что в скором времени должен был начаться решающий этап Большой игры. В течение шести месяцев немцы в основном добивались доверия Москвы, ловили русскую рыбку на крючок: теперь настало время ее подсечь.

Панвицу было тогда тридцать два года; по словам одного из его сотрудников, он был «толстощекий, розовый и свежий, как поросенок».

13 сентября 1943 года у Вилли Берга с утра ужасно болел желудок. Накануне он выпил больше, чем обычно, чтобы залить свое горе: была годовщина смерти одного из его детей. Треппер сочувствует его страданиям и предлагает поехать в ту самую аптеку, где продают чудо-лекарство. Берг горячо благодарит его. Они усаживаются в гестаповскую машину. Треппер приказывает шоферу ехать к вокзалу Сен-Лазар. Слева от вокзала на Римской улице, 15,— аптека Байи. Этот магазин не похож на жалкую лавочку. Огромный холл на первом этаже, где расположен с десяток прилавков. На других этажах здания размещены кабинеты и лаборатории. Один вход с Римской улицы, другой — с улицы Роше.

Автомобиль останавливается у главного входа. Треппер выходит и придерживает дверцу для Берга. Тот приподнимается и, нахмурив брови, говорит: «В этой аптеке ведь не один выход...» — «Конечно, но вы же идете со мной». Берг колеблется, затем снова падает на сиденье, прошептав: «Увольте! Я вам доверяю. Идите...»

Большой шеф входит в дверь с Римской улицы, выходит на улицу Роше и исчезает в толпе.

Полдень. Двадцать часов назад совершен сенсационный побег века: Бенито Муссолини, свергнутый диктатор, был похищен из тюрьмы Гран-Сассо штурмбанфюрером СС Отто Скорцени.

Дуэль между Треппером и Рингом

Покидая кабинет доктора Малеплата в компании Гиринга и Фортнера, Треппер скорее сгорал от нетерпения, нежели тревожился о будущем. В течение нескольких месяцев он старался найти объяснение странному поведению зондеркоманды и невероятной доверчивости Москвы по отношению к функшпилю: теперь он наконец узнает.

На следующий день после ареста его перевели из тюрьмы Френ на улицу Соссе. Вечером он предстал перед ареопагом шефов гестапо. Некоторые прибыли из Берлина в тот же день. Среди них некий Мюллер, которому оказывают особое почтение и который, может быть, и есть гестапо-Мюллер собственной персоной.

Слово берет Гиринг. Он говорит:

— Итак, вы проиграли. И проиграли не только с нами, но и с Москвой. Там уже давно вам не верят. После арестов на улице Атребат вас упрекали в том, что вы волнуетесь по пустякам. Когда арестовали Ефремова, вы попытались предупредить Москву и еще раз проиграли. Мы, гестапо, пользуемся доверием у Центра, а не вы. Но все это вам, разумеется, известно. Когда человек вашего уровня видит, как его агенты проваливаются один за другим, что бы он ни делал, он поневоле понимает, что противник имеет контакт с его собственными хозяевами. Именно так все и произошло. Послушайте, вот некоторые из телеграмм, которыми мы обменивались с Москвой: они докажут вам, в какой степени мы владеем ситуацией.

Большой шеф ознакомился с посланиями, которыми обменивались «пианисты»-перебежчики с Москвой, затем вернул их Рингу.

Тот продолжал:

— Что же теперь нам делать с вами? Добиваться, чтобы вы назвали ваших последних агентов? Это нас не интересует. Ваша сеть была прекрасно организована, я это признаю, но с ней покончено. Хотите доказательства? Вот...

И Гиринг прочитал заключенному список уже арестованных агентов «Красной капеллы». Он перечислил всех тех, кого уже засекли, выследили и могли взять в любое время. Он назвал ему даже имена мужчин и женщин, просто подозреваемых в том, что они работали на сеть. Затем он снова заговорил:

— Видите, мы не нуждаемся в вас, чтобы ликвидировать организацию. Повторяю еще раз, нас это не интересует. У нас более важная цель. Цель, которая важнее и ваших, и наших дел. Речь идет о заключении мира между Россией и Германией, чтобы положить конец этой абсурдной войне. Она выгодна лишь капиталистическим плутократиям, которые только и ждут, когда русские и немцы перережут горло друг другу, чтобы наброситься на добычу. Но мы не такие идиоты, и мы хотим этому помешать.

Разумеется, вы можете отказаться помогать нам. Честно говоря, это было бы для нас не слишком большой потерей. Вы знаете, что на нас теперь работают ваши передатчики, а радиограммы свидетельствуют, что дело двигается хорошо. Мы установили контакт с Москвой и можем начать диалог и без вас. Просто было бы лучше сделать это с вашей помощью

Если вы откажетесь, вы умрете, так сказать, дважды. Здесь мы вас расстреляем как шпиона. И заставим Москву поверить, что вы предали своих, перешли на нашу сторону. Вы знаете, что у нас есть такая возможность: там они проглатывают все, что мы им посылаем.

Жду вашего ответа.

Треппер тщательно запоминал тексты радиограмм; он зарегистрировал в памяти имена агентов, которых так любезно перечислил ему Гиринг, и сказал себе: «Их единственный козырь против тебя — в том, что ты сидишь на стуле в наручниках. Но ты сильнее их и победишь».

Он ответил:

— К тому, что меня здесь расстреляют, я был готов. И вы, думаю, понимаете, что мне наплевать, если в Москве меня сочтут предателем. Что же касается истории с заключением мира... черт возьми, это небезынтересно. Но ваше дело не выгорит, я сразу вас предупреждаю. Вы согласились признать определенные достоинства организации, которую я создал; знайте же, что система советской разведки — ничто в сравнении с системой, которую Центр разрабатывает на месте, чтобы обезопасить ее или следить за ней. Мы называем это «контрразведкой». Она вездесуща, всемогуща. В скором времени ей станет известно о моем аресте и она предупредит Москву. Когда там узнают, что я провалился, вашим планам конец.

Гиринг заметил, что аресты и «вербовка» «пианистов» в Брюсселе ускользнули от внимания советской «контрразведки». Треппер возразил ему, рассказав множество подробностей о деятельности зондеркоманды в Бельгии. Он заявил, что эти сведения были переданы ему упомянутой «контрразведкой». На самом деле он получил их от группы наблюдения, которую сам организовал после облавы на улице Атребат. В конце он предостерег:

— До сих пор вам удавалось скрыть от Центра, что вами завербованы несколько «пианистов» и моих подчиненных, таких, как Ефремов. Я вынужден признать очевидное. Но позвольте вам заметить, что со мной все будет несколько иначе. Я не Ефремов. Нельзя убрать меня, не вызвав шума.

Дискуссия закончилась только к рассвету. Треппер не отказался сотрудничать: он ограничился указанием на практические трудности такого сотрудничества. Гиринг не добивался четкого ответа: подобная настойчивость опровергла бы его утверждение, искреннее или нет, что он может обойтись без Большого шефа. Первый раунд носил ознакомительный характер. После его окончания Треппер уже понимал, что Гиринг — опасный противник.

Сообщение о Большой игре потрясло Треппера, но не особенно удивило, потому что он ожидал чего-то подобного. По донесениям Максимовича о группе военных, сплотившихся вокруг генерала фон Пфеффера, ему было известно, что часть офицеров вермахта желает вступить в переговоры с Западом, чтобы легче было рассчитаться с противником на Востоке. Но тогда речь шла о неопределенных поползновениях группы людей, не имеющих средств для осуществления этих планов. То, что эсэсовцы встали на тот же путь, чревато неизмеримо более серьезными последствиями. Потому что Треппер был убежден — разговоры Гиринга о мирном компромиссе с Россией были всего лишь хитростью, необходимой для того, чтобы склонить его к предательству. Большая игра, должно быть, преследует цель, которую поставило перед собой окружение Пфеффера: подготовить договор между Германией, Англией и Америкой или, по меньшей мере, создать напряженность между союзниками. В обоих случаях от этого может зависеть исход войны.

Треппер разгадал Гиринга. От Кента, арестованного на две недели раньше, шеф зондеркоманды знал, что самые важные телеграммы Большой шеф передавал через передатчики компартии. Логично, что Гиринг любой ценой хотел отыскать нить, ведущую к ним. Если он доберется до радиоканала партии, в Москве будут полностью доверять его посланиям. Помимо этого, он узнает, сообщила ли «контрразведка» об аресте Большого шефа.

Два человека могли связать зондеркоманду с партией: Треппер и Директор.

В конце ноября, через несколько дней после ареста у Малеплата, Гиринг торжествующе протягивает своему пленнику радиограмму из Центра, адресованную Кенту, передатчик которого находился в руках гестапо. Директор приказывает Трепперу встретиться с Мишелем, «посредником» по связи с партией, и указывает день, час и место встречи.

Гиринг готовит мышеловку. Но арестовывать Мишеля он не собирается, ему надо установить за ним слежку и таким образом добраться до компартии.

Мишель не появляется. Между ним и Треппером было условлено, что на встречу, организованную Центром, он приходит с некоторым опережением: за два дня и два часа до назначенного срока.

Второй раунд выиграл Большой шеф. Но чем закончится их дуэль, пока неизвестно. Гиринг по-прежнему держит его в камере. А действовать Треппер сможет, только выбравшись из нее. Гиринг разрешил выдать Треппер словарь, бумагу и карандаш. Днем в присутствии безучастного надзирателя, постоянно находившегося в камере, заключенный что-то писал. Разговаривать с ним было запрещено. Ночью охрана довольно часто нарушала запрет. До часу ночи молчали, но затем, когда все вокруг затихало, разговоры в камере затягивались до двух-трех часов утра. После этого надзиратель вытягивался на походной кровати и засыпал. Большой шеф ждал еще полчаса, затем приподнимал свою кровать и доставал бумажный рулончик, спрятанный в полой ножке кровати: свое донесение в Москву.

Оно начиналось с изложения подробностей. В последние месяцы Треппер передавал в Центр тревожные сообщения, с которыми там не считались. Необходимо было, чтобы на сей раз ему поверили. Это был последний шанс. Он тщательно изложил обстоятельства своего ареста (день недели, дату, место), описал, что происходило в тюрьме Френ и как он попал на улицу Соссе. Рассказал о каждой беседе (с кем, когда и где она происходила). Все это можно было проверить, если даже выдуманная им группа советской «контрразведки» была всего лишь пугалом, предназначенным для того, чтобы сбить спесь с Гиринга. Почти не сомневаясь, что Центр поверит в его арест, Треппер приводит далее список арестованных агентов и, главное, называет имена тех, чья принадлежность к сети, по утверждению Гиринга, уже установлена, и тех, кого только подозревают в этом. Наиболее значительная фигура среди них — Фернан Порьоль, руководитель радиослужбы партии. Треппер настоятельно рекомендовал ему скрыться как можно скорее.

Далее он объяснил, что такое Большая игра. Описал ее цель и привлеченные средства. В качестве иллюстрации к тому, что можно сделать с помощью нескольких завербованных «пианистов», он процитировал текст радиограмм, которые Гиринг столь любезно позволил ему прочесть, снабдив их комментариями начальника зондеркоманды. В конце он сообщал, что попытается бежать, и излагал несколько планов. Наиболее подходящим местом для этого ему представлялось кафе с двумя выходами, расположенное в конце бульвара Сен-Мишель.

На составление донесения ушло несколько ночей. Он мог работать над ним только с трех до шести часов утра, внимательно наблюдая за спящим охранником. Самым приятным из них оказался Берг, ведь алкоголь был для него сильнейшим снотворным; самым несносным — мобилизованный священник, употреблявший ночи своего дежурства на молитвы о спасении души заключенного.

Треппер написал донесение на идише, иврите и польском, перемешав языки насколько возможно. Если бы бумаги обнаружили, для расшифровки пришлось бы искать трех переводчиков: в любом случае это давало отсрочку на несколько часов. Нехитрая, но типичная для Большого шефа предосторожность; даже привязанный к столбу перед расстрелом, этот человек, наверное, размышлял бы, что делать, если все двенадцать пуль не заденут его.

Когда донесение было составлено, Треппер решил, что настало время попытать счастья в единоборстве с Гирингом. Большой шеф в своей жизни часто рисковал, но никогда еще опасность не была так велика.

Шеф зондеркоманды узнал, что первым звеном в цепи, ведущей к ФКП, была некая Жюльетта, старая активистка коммунистического движения. Она работала в торговавшей оптом кондитерской неподалеку от площади Шатле.

Но Гиринг решил послать к ней не Треппера, как тот надеялся, а Райхмана, брюссельского изготовителя фальшивых документов; более года назад он встречался с Жюльеттой. Большой шеф сказал эсэсовцу: «Зря потратите время. Она сделает вид, что не знает Райхмана».

Она действительно притворилась, что не знает его. Несколько месяцев назад Треппер приказал Жюльетте никого не принимать, кроме Каца и его самого. Любой другой посетитель должен был предъявить в качестве условного знака маленькую красную пуговицу. Гирингу и Райхману эта деталь была неизвестна.

Третий раунд снова выиграл Большой шеф. Гиринг и Вилли Берг отправляются в Берлин. По возвращении Берг усиленно склоняет Треппера к активному сотрудничеству. Тот отвечает, что сам только того и ждет, но его держат в камере и тем самым лишают этой возможности. Он был готов отправиться к Жюльетте, и не его вина, что Гиринг предпочел послать Райхмана. Он по-прежнему согласен помогать зондеркоманде, но пусть ему по меньшей мере дадут возможность обмануть пресловутую «контрразведку». Нужно, чтобы его снова увидели в тех местах, где он обычно появлялся, и было бы неплохо, если бы ему разрешили встретиться с некоторыми агентами. Берг отвечает, что он охотно согласился бы с этими условиями, но добавляет, что Гиринг на это не пойдет. Не столько из-за недоверия к Большому шефу, сколько опасаясь покушения на драгоценную жизнь заключенного. Гиринг убежден, что все боевые группы компартии получили приказ либо освободить Треппера, либо, убив его, закрыть ему рот.

Тогда Большой шеф предлагает послать к Жюльетте Хиллеля Каца.

Сообщение об аресте верного заместителя глубоко потрясло Треппера, и вместе с тем ему стало несколько легче. Боль была естественной реакцией, а чувство облегчения объяснялось исключительными качествами этого человека: с ним вести игру будет не так трудно, как в одиночку.

Кац, которого пытали, чтобы заставить говорить и понудить к сотрудничеству, с момента своего ареста повторял одно: «Мой шеф — Треппер. Он останется им до конца. Я буду делать только то, что велит мне он, и ничего другого». Было ясно, что он пойдет к Жюльетте только тогда, когда Большой шеф прикажет ему. Бергу удалось убедить

Гиринга устроить им встречу. Треппер и его помощник увиделись впервые после 23 ноября. Кац был изуродован побоями.

Встреча была тщательно подготовлена двумя эсэсовцами и Треппером. Главная трудность состояла в том, что, в отличие от Треппера, Кац не говорил по-немецки, а Гиринг и Берг не знали французского.

Выход был предложен Большим шефом. Он сказал Бергу: «Вы немного понимаете идиш. Я буду разговаривать с Кацем на идиш, и вы увидите, что я вас не обманываю». Идиш, язык близкий немецкому, действительно был понятен немцу. Но в нем множество слов из иврита, и смысл их, разумеется, ясен только тому, кто говорит на этом языке.

Большой шеф произнес перед Кацем большую речь, уговаривая его подчиниться зондеркоманде; он приказал ему пойти к Жюльетте и дал множество советов якобы для того, чтобы она узнала его, но все это было не нужно, поскольку Жюльетта в любом случае приняла бы Каца. Треппер перемежал свою речь словами на иврите. Составленные вместе, они означали следующее: «Жюльетта должна отвечать, что попытается выйти на связь, но что ничего не обещает».

Кац вернулся с ответом, подсказанным Треппером.

Через восемь дней Гиринг снова послал его в кондитерскую. Следуя инструкции Треппера, Кац заявил, что ответ Жюльетты был таков: «Я нашла связного, но нужно, чтобы хозяин пришел сам».

Эти увертки и это требование очень тревожили Гиринга: нет ли здесь ловушки? Треппер заверил его: «Нет конечно! Просто их беспокоит мое внезапное исчезновение! Я уже устал вам повторять: если меня не увидят на улице, будет ясно, что я арестован, и вся наша операция закончится неудачей. Они уже наверняка что-то унюхали...»

Гирингу нельзя было отступать. Арестовав Большого шефа, он, в сущности, поставил на карту все. С помощью Треппера, если к тому же использовать партийный радиоканал, можно добиться абсолютного доверия к донесениям немцев, ведущих функшпиль... И наоборот, если станет известно о его аресте, Москве придется признать, что прежние опасения Треппера были оправданны. Тогда Центр начнет заново проверять, в каком положении оказалась разведывательная сеть, и это контрраследование неминуемо приведет к разоблачению завербованных «пианистов». Провал функшпиля и конец Большой игры будет неминуем.

Шеф зондеркоманды решился послать Треппера в кондитерскую. На этот раз весь квартал был оцеплен значительными силами полиции. Подразделения немецкой жандармерии в штатском заняли позиции на перекрестках, заблокировав выходы с площади Шатле. Охрана кондитерской и соседних объектов возложена была на агентов гестапо и их французских помощников.

Гиринг вручил заключенному текст, который Жюльетта должна была передать руководству ФКП, чтобы его радировали в Москву. Радиограмма была якобы составлена Большим шефом. В ней сообщалось, что сети был нанесен серьезный ущерб, но она не разгромлена. Треппер предлагал прервать связь в Москвой на месяц, пока не утихнет буря. Сигнал для возобновления связи должен быть передан из Центра — традиционная поздравительная радиограмма Большому шефу к Дню Красной Армии.

Месячный перерыв был находкой Треппера. Он убедил Гиринга, что Центр, привыкший к его осторожности, ждет предложений такого рода. В действительности арестованный хотел предоставить Москве время для проверки его донесения и заодно приостановить все инициативы со стороны зондеркоманды.

Вилли Берг довел Треппера до кондитерской и сделал вид, что рассматривает товары на прилавке. Треппер подошел к Жюльетте и протянул ей бумажный рулон. В нем была радиограмма Гиринга, его собственное донесение и письмо, начинавшееся так: «Уважаемый товарищ Дюкло, умоляю тебя сделать невозможное, но передать этот документ Димитрову и Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза. В Москве происходит что-то неладное. Возможно, что в ряды наших служб проник предатель...»

Жюльетта молча взяла бумаги. Треппер шепнул ей: «Как только передадите это, исчезните немедленно и больше не возвращайтесь!» Затем он вышел, за ним — Берг.

Итак, он закончил и выиграл партию. Прямо из логова гестапо — из самых лап отборной группы, которой являлась зондеркоманда,— ему удалось под носом у охранников установить связь с Москвой. Благодаря ему Центр получит больше чем достаточно «козырей», чтобы сорвать эсэсовскую игру. Но он пережил столько жестоких разочарований по вине Центра, что какое-то смутное опасение не покидало его. Даже после того как он переиграл Гиринга, обвел его вокруг пальца, исход поединка зависел от решения главного судьи: Директора. Если тот не захочет поверить написанному на трех языках донесению, победителем выйдет эсэсовец.

Терпения Гиринга на месяц не хватило. Через три дня после передачи документов Жюльетте он послал французского агента в кондитерскую — узнать от имени Большого шефа, удалось ли передать его в высокие инстанции. Жюльетты на месте не оказалось. Хозяйка объяснила, что та взяла отпуск. Неделю спустя она все еще была в отпуске. Еще через неделю хозяйка сообщила посыльному, что Жюльетту вызвали ухаживать за больной теткой, и неизвестно, когда она сможет снова приступить к работе.

Встревожившись, Гиринг потребовал от Треппера объяснений. Заключенный сделал недовольную мину и проворчал: «Я вам уже говорил и повторяю: заперев меня здесь, вы неизбежно вызываете подозрения».

23 февраля, в День Красной Армии, Гирингу вручили поздравительную радиограмму Директора, адресованную Большому шефу. Это был «зеленый свет» для возобновления связи с Москвой. И главное, «зеленый свет» для Большой игры. Разумеется, пришлось временно отказаться от использования ценнейшего партийного канала: ведь след Жюльетты был потерян, а радиограмма Центра убеждала Гиринга в том, что об аресте Треппера в Москве неизвестно, функшпиль можно было прикрыть авторитетом Большого шефа.

День Красной Армии стал праздником и для зондеркоманды; коньяк, наверное, лился рекой. Всеобщая эйфория оказалась выгодной для Треппера: в тот же вечер его перевели в фенешебельную тюрьму Нейи. Кента оставили на улице Соссе. Там он сидел в камере, смежной с камерой Треппера, и заключенные могли перебрасываться кое-какими репликами. Кент сказал Трепперу: «Я уверен, что ты на них не работаешь, хочешь их провести...» Тот ответил: «Да нет же, я и в самом деле согласился сотрудничать! А что было делать? Ты же видишь, что все пропало!»

Гиринг стал внимательно прислушиваться к отдельным предложениям Большого шефа. Треппер заговорил с ним о том, что у него отобрали документы и деньги. Дело в том, что агенты зондеркоманды, дабы не привлекать к себе особого внимания — во Франции они чувствовали себя не очень уютно, опасались всех и каждого,— вместо подлинных немецких документов пользовались фальшивыми. По удостоверениям личности это были голландские, фламандские или шведские дельцы, жившие в Париже; они предъявляли их, когда французский полицейский кордон устраивал проверку документов. Но что бы произошло, если б во время одной из прогулок машину Треппера остановили французские полицейские? Как бы они отреагировали, натолкнувшись на человека без документов и денег? Они непременно попытались бы арестовать его. Разумеется, инцидент бы уладили, но это могло иметь непредсказуемые последствия. Возникла бы реальная угроза: движению Сопротивления станет известно о таинственном заключенном, которого во время прогулки по Парижу сопровождают переодетые немецкие полицейские.

Гиринг согласился с ним и велел выдать Большому шефу документы и немного денег.

Шесть следующих месяцев в основном были заполнены хождением вокруг лужайки перед особняком Нейи. Зондеркоманда обращалась к Большому шефу только за консультациями общего порядка; практическое ведение функшпиля было возложено на Кента; он составлял радиограммы и зашифровывал их: свои — по-французски, от имени Треппера — по-русски.

С Бергом у Большого шефа сложились просто идиллические отношения. Эсэсовец щегольнул перед Треппером своим любимым высказыванием: «Я был полицейским при кайзере, шпиком в Веймарской республике, я полицейский при Гитлере и останусь им даже тогда, когда к власти придет Тельман». Эти два человека понимали друг друга. Как-то Берг, троих детей которого унесла болезнь, вернулся неузнаваемым из Берлина, где провел отпуск: во время одной из бомбежек его жена сошла с ума. С тех пор это был сломленный человек. Теперь он жаждал одного — увидеть конец войны, и, слушая его, Большой шеф часто думал, что по крайней мере этот человек искренне хочет мирного компромисса — неважно какого. Он был для Большого шефа исключительно ценным «источником», поскольку день за днем и в мельчайших подробностях рассказывал ему о деятельности зондеркоманды, так что Треппер был в курсе планов Гиринга еще до того, как их начинали осуществлять.

Известие об уходе Гиринга он воспринял с облегчением, тем более что приезд Панвица его вполне устраивал — Треппер считал, что только выиграет от такой перемены.

Криминальрат Панвиц не верит в героизм еврея Треппера, к тому же он прочитал в Берлине донесения, из которых явствовало, что тот предатель. Показательная деталь, свидетельствующая о недоверии друг к другу в гестаповской среде: никто не объяснил новичку, что «легенда» о Треппере была целиком сфабрикована и предназначалась для высшего эшелона. Панвица, имеющего абсолютно искаженное представление о заключенном, назначают шефом зондеркоманды, и он сразу же проявляет к пленнику полнейшее доверие. Треппер узнает, что в скором времени покинет Нейи; его поселят в одной из парижских квартир, и он сможет входить и выходить когда захочет, хотя наблюдение, правда незаметное, будет вестись по-прежнему.

Но прежде всего он должен помочь ходу «большой политической игры», начатой Панвицем. В отличие от старого и осторожного Гиринга, криминальрата снедает обычное для его возраста нетерпение. Он решил мчаться во весь опор. С его точки зрения, передатчики, попавшие в руки немцев, были хорошим средством в период подготовки Большой игры и завоевания доверия Москвы — эта цель достигнута. Но для политического диалога на самом высоком уровне радио предоставляет лишь ограниченные возможности. Надо найти способ дискутировать, аргументировать, перейти, наконец, к дипломатии, что никак невозможно сделать с помощью шифровок. Почему бы не вступить в прямые переговоры с Москвой? Почему не послать туда эмиссара, за которого поручился бы Большой шеф? Перед отъездом в Париж бойкий Панвиц представил свой план на суд Гиммлера. Тот не оценил его дерзости. Он сказал своим тихим нравоучительным голосом: «Нет. Большевистская идеология обладает такой силой воздействия, что не нужно никого посылать туда: риск заражения слишком велик». Вывод Панвица: рейхсфюрер всего лишь узколобый педант, панически боящийся инициатив.

Он не отказывается от своего плана, но изменяет его: вместо того чтобы посылать эмиссара в Россию, надо сделать так, чтобы прислали кого-нибудь из Москвы. Панвиц спрашивает Треппера, бывает ли так, что советские службы посылают ответственное лицо высокого ранга для решения на месте проблем исключительного значения. Большой шеф отвечает утвердительно. Кент же, которого в свою очередь спросили об этом, заявляет противоположное. Обеспокоенный Панвиц предлагает Трепперу объяснить противоречие. Заключенный, всплеснув руками, восклицает: «Ну откуда Кенту знать, как делаются дела на таком уровне!» Панвиц согласен с ним. Таким образом Центр получает длинное послание от Большого шефа. Он объясняет, что установил связь с сильной группой противников Гитлера, которые очень доброжелательно относятся к Советскому Союзу. Но он сам не имеет полномочий для обсуждения политических проблем: не сможет ли Директор прислать человека, который мог бы начать переговоры? Несколько дней подряд в

бывшей квартире Каца, на улице Эдмон-Роже, представитель немецкой группы будет ждать назначенной встречи.

Эмиссар из Москвы не придет.

12 сентября Берг объявляет Треппперу, что его повезут под охраной на юг. Функабвер только что обнаружил там передатчик коммунистического подполья; были захвачены дубликаты посланных и полученных радиограмм. Мастер дешифровки Клудов сейчас на пути во Францию и немедленно займется архивом, но зондеркоманда уже сейчас убеждена, что обнаруженный передатчик — тот самый, по которому было послано донесение, доверенное Жюльетте. Следовательно, в ближайшее время станет известно, в каких выражениях Центр подтвердил его получение, были ли заданы вопросы партии и какие. Естественно, Треппера тоже везут туда: он может понадобиться.

Это катастрофа. Если гестаповская радиограмма была отправлена через передатчик, вполне возможно, что вместе с ней было передано и донесение Большого шефа, которое найдут в архивах и которое Клудов очень быстро расшифрует. Рассуждение логичное, но исходная гипотеза неверна, потому что послание Гиринга ушло в Москву не через обнаруженный передатчик. Что же касается донесения Большого шефа, написанного на трех языках, то Жак Дюкло решил не доверять радиоволнам документ такой важности: он переслал его с курьером в Лондон, откуда оно было переправлено в Москву. Этого Треппер знать не мог. Но у него оставалось время для маневра: поездка назначена лишь на послезавтра.

На руках у него документы и деньги; Треппер может обмануть Берга, играя на его муках похмелья. Завтра же утром он предложит ему отправиться в аптеку Байи.

На то, что немец останется в машине, Большой шеф не рассчитывал. Он решил оглушить его на месте и убежать из аптеки со всех ног. Если бы Берг вынул пистолет, толкотня в аптеке, как это обычно бывает, помешала бы ему точно прицелиться. Возможно даже, что кое-кто из покупателей попытался бы ему помешать.

Все оказалось значительно проще: достаточно было войти в одну дверь и выйти в другую.

Двумя годами раньше, 13 сентября 1941 года, Большому шефу удалось избежать мышеловки, расставленной Фоотнеом на улице Атребат. С детства он считал 13-е своим счастливым числом.

Облава

Вилли Берг ни жив ни мертв звонит на улицу Соссе, его сообщение вызывает настоящую панику. Панвиц немедленно организует грандиозную полицейскую облаву. Район Сен-Лазар оцеплен, десятки зевак задержаны; здание аптеки прочесано сверху донизу. Треппера и след простыл. К вечеру Панвиц снимает ненужную теперь охрану. Именно тогда Большой шеф через улицу Амстердам добирается до вокзала Сен-Лазар и прыгает в поезд, отправляющийся в Сен-Жермен-ан-Лэ.

Он предусмотрел, что гестапо будет орудовать в этом квартале. Из аптеки он кинулся в метро, сел в первый подошедший поезд и тихо проехал до последней остановки. Оттуда, сделав несколько пересадок, возвратился в центр; и наконец вышел из автобуса у вокзала Сен-Лазар.

Поезд остановился в Везине, но Треппер не вышел. Он не знал, живет ли до сих пор Жоржи де Винтер в их особнячке на улице Ля Борд, 22. Может быть, у нее не хватило денег, чтобы продлить срок аренды. Ведь он заканчивался — если уже не истек. Треппер сошел с поезда в Сен-Жермен-ан-Лэ и позвонил в дверь семейного пансиона, принадлежавшего двум сестрам. Здесь некоторое время находился Патрик, сын Жоржи. Беглеца приютили. Он сразу же позвонил в Везине, но никто не ответил. Очевидно, особняк был пуст.

Кац! Он определенно знал о том, что его шеф собирается бежать! Наверное, ему известно, где тот прячется. Каца привозят на улицу Соссе и пытают. Он молчит. Полумертвого его отправляют назад в Нейи. Консьерж Продом в ужасе наклоняется над несчастным, лежащим на полу. Кац шепчет ему: «Когда-нибудь сбежавший господин вернется сюда. Скажите ему непременно, что, даже если они замучают меня до смерти, я умру с радостью в сердце. И попросите его позаботиться о моих детях».

Близится вечер. Подавленный Панвиц сидит на стуле и не отрываясь смотрит на телефон. Наконец решается, снимает трубку и просит соединить его с кабинетом гестапо-Мюллера в Берлине. Когда Мюллер подошел к телефону, Панвиц сказал ему: «Не падайте в обморок. Треппер бежал». На другом конце провода воцарилось молчание. Панвиц: «Алло... Что с вами? У вас обморок?» После этого на него посыпался град проклятий. Устав ругаться, Мюллер удрученно прошептал: «Но как, повашему, я сообщу об этом рейхсфюреру Гиммлеру — он ведь приказал мне бросить заключенного в глубокую яму и приковать его цепями!..» Панвиц: «Но есть же выход...» — «Что? Какой?» — «Вовсе ничего не сообщать ему!» Мюллер сначала был поражен, но потом согласился, что это единственный способ избежать гнева Гиммлера. Так хитрецы устроили заговор молчания.

Он будет соблюдаться. До самой своей смерти рейхсфюрер не узнает о побеге Большого шефа.

Панвиц кладет трубку. Самое худшее позади. Он по-прежнему возглавляет зондеркоманду. Но это всего лишь отсрочка, и он это знает. Если беглец не будет пойман в самое ближайшее время, Большая игра окончится, по-настоящему так и не начавшись.

В ту ночь в Везине Жоржи приснился сон: она встретила своего друга на перроне вокзала в Рюэй, где он назначил ей последнюю встречу и где она ждала его, но не дождалась.

Телефонный звонок поднял ее с постели — накануне Жоржи вернулась поздно. Она снимает трубку и узнает голос одной из сестер, живущих в Сен-Жермен.

— Мадам, немедленно приезжайте!

— Я? Но зачем? Что случилось?

— Я ничего не могу вам сказать, но вы должны приехать.

Она поспешно одевается, приезжает поездом в Сен-Жермен, звонит в дверь пансиона. Ей открывает Треппер. Они бросаются друг другу в объятия. Она всегда верила, что они свидятся вновь: «Такие люди, как ты и я, преодолевают все».

Он долго беседует с ней. Нет, он работает не на «Интеллидженс сервис», у него чин генерала Красной Армии, и он руководит большой сетью советской разведки. Она поражена, потому что и в самом деле считала, что он английский разведчик, но проблемы, связанные с его принадлежностью к той или иной секретной службе, не так важны для нее. Главное — последние слова Большого шефа: «Ты должна мне помочь».

Какое-то время, решают они, придется скрываться в Везине. Но прежде чем покинуть пансион, Треппер пишет письмо Панвицу. Он объясняет, что его исчезновение не бегство; он пошел на это под давлением непредвиденных обстоятельств. Когда он вошел в аптеку Байи с единственным намерением купить лекарство для Берга, к нему подошел человек из «контрразведки». Он произнес установленный пароль и объявил Трепперу, что его подстерегает опасность и ему необходимо немедленно исчезнуть. Треппер был вынужден пойти за ним, чтобы не вызвать худших подозрений и не поставить под удар Большую игру.

Так же, как и Панвиц, но, разумеется, по причине совсем иного рода, Большой шеф стремится любой ценой спасти Большую игру. Он убежден, что Москва извлечет из нее величайшую пользу. Своим январским донесением он, по собственному выражению, посадил Директора «на коня». И было б жаль, если бы конь преждевременно пал.

В последующие дни Жоржи де Винтер колесит по Парижу, пытаясь связаться с партией. 17-го ей это удается. Большой шеф покидает свое убежище и встречается с доверенным лицом от ФКП. Он узнает, что его донесение было действительно отослано в Москву и что передатчик, обнаруженный на юге Франции, для этого не использовался. Значит, зондеркоманда не найдет в захваченных ею архивах доказательства того, что ее провели. Большую игру можно продолжать. Треппер просит партию сообщить в Центр о его побеге, объяснить причины и предупредить, что, по всей видимости, побег ничего не изменит в планах зондеркоманды. Представитель партии вручает ему пилюлю цианистого калия: Треппер не хочет, чтобы его снова взяли живым, не хочет подвергать риску задуманное дело, если его будут пытать и заставлять говорить.

Это была их третья ночь в Везине. На рассвете любовников разбудил стук в дверь. Треппер соскочил с кровати и бросился к окну. Было еще почти совсем темно, но он различил группу мужчин, топтавшихся на тротуаре. Удары стали более настойчивы, дверь сотрясалась; кого-то звали по имени. Затем на время все смолкло. Стоящие внизу люди замерли. И вдруг послышался характерный скрежет ключа, вставляемого в замок. Дверь открылась. Треппер взял пилюлю и перешел в комнату, окно которой выходило на задворки. Жоржи последовала за ним. Он приказал ей оставить его одного и открыл окно. Прислушался и услышал, как хозяин особняка извинялся за раннее вторжение. Жоржи уже рассчиталась с ним за аренду, и он хотел показать дом будущим жильцам. Он уже приходил накануне, но никого не застал, поэтому решил прийти сегодня рано утром, чтобы застать съемщицу дома.

Треппер прячет пилюлю в карман. Еще секунда, и он принял бы ее.

Но нужно съезжать.

Семья Кейри живет в Сюрене, на аллее Пепиньер. Их домик находится в ста метрах от рва, где немцы проводят расстрелы. Мсье Кейри — садовник в Париже, мадам Кейри — домохозяйка. У них есть дочь Анна, которой в то время было десять лет.

Патрик живет здесь уже год — с октября 1942 года. Ему только что исполнилось четыре года.

Супруги Кейри знают от Жоржи о существовании Треппера, им известно, что он борется против Германии, но они с ним еще никогда не встречались. От Жоржи они узнали и о его аресте. Они уже решили, что он пропал, хотя и не смеют разрушать иллюзии, за которые цепляется бедняжка Жоржи.

Та появилась 18 сентября. «Я увидела, что Жоржи приехала в совершенно обезумевшем состоянии, — рассказывает мадам Кейри. — Она сказала мне: «Он здесь, в Сюрене, но мы не знаем, куда деваться! Вы одна можете его спасти!»

Мадам Кейри размышляет — не о самой проблеме, а о средствах ее решения. Ее домик заполнен до отказа. Но у ее старой матери в Сюрене есть крохотная квартирка. И мать сейчас в отъезде. Треппера придется поселить у нее: пусть он приходит немедленно, и она проводит его туда.

Из Москвы приходит ответ на сообщение о побеге. Суровый тон телеграммы льдом сковал сердце Треппера. «Мы очень рады за вас. Вы должны немедленно прервать все контакты и исчезнуть». И в самом деле, чтобы Большая игра продолжалась, надо было исчезнуть. Но откуда такая холодность в выражениях? Может быть, Директор все еще сомневается в нем?

Треппер вспоминает слова Гиринга: «Если вы убежите и сообщите об этом в Москву, вас все равно будут считать предателем. Они скажут, что в начале вы же не знали, удастся ли вам их предупредить о радиоигре, и обвинят вас в том, что вы сотрудничали с нами, лишь бы спасти свою жизнь». Кенту известно о пансионе в Сен-Жермен. Он сообщает Панвицу, что Сен-Жермен — одно из возможных убежищ сбежавшего узника.

Но Кент знает лишь о существовании пансиона — точный адрес ему неизвестен. Зондеркоманде понадобилась неделя, чтобы разыскать дом. Туда посылают Кента; хозяйки заявляют, что никак не могут понять, о чем он их спрашивает. Затем к ним посылают Каца, под наблюдением; они отвечают точно так же.

Ничего не добившись, Панвиц приказывает арестовать сестер. Треппер сразу же узнает об этом.

Перед Большим шефом встают две проблемы: успокоить Панвица и восстановить связь с партией. Вторая проблема будет решена с помощью супругов Спаак, но никто не может помочь ему решить первую.

Треппер пишет Панвицу второе письмо. Оно, разумеется, не решает самой трудной

задачи: как стереть впечатление, которое произведут на Панвица возможные признания сестер из Сен-Жермен. За неимением лучшего Треппер может лишь попробовать запутать карты. Он знает, что криминальрат страстно желает верить в возможность продолжения функшпиля. Своим вторым письмом Большой шеф пытается подсказать ему доводы, позволяющие надеяться, что его не обманывают.

О том, чтобы исчезнуть и отказаться от контактов, не может быть и речи. Москва отдала ему этот приказ в интересах Большой игры. Однако аресты в Сен-Жермен могут изменить ситуацию коренным образом; и теперь даже нет уверенности, что Большая игра будет продолжена. Треппер должен иметь возможность сообщать Центру, как будут развиваться события.

Его связи оборваны, но Сюзанна Спаак поможет восстановить нить.

В октябре 1943 года Сюзанна Спаак стала одним из «ключевых звеньев» в движении Сопротивления. Она осуществляет связь с самыми разными подпольными организациями: группами голлистского БСРА (Центральное бюро разведки и действия) и английскими службами, коммунистами и т. д.

С ее помощью Треппер и будет пытаться восстановить контакт с Москвой.

Но пока еще действия Сюзанны Спаак не дали результатов. Треппер и Жоржи, спасаясь от преследования, вынуждены искать новое пристанище.

Куда деваться? Жоржи предлагает обратиться к своей подруге Денизе. Она познакомилась с ней в танцклассе на площади Клиши. Дениза — бойкая двадцатидвухлетняя женщина, очень развязная, сыплющая жаргонными словечками, влюбленная в свое тело, охотно подшучивающая над своим мужем, который находится в плену в Германии: «У него такие рога, что ему не пройти под Триумфальной аркой». Жоржи не очень уважает Денизу, но эта «парижская девчонка» забавляет ее, они вместе часами слушали пластинки и танцевали.

Дениза соглашается предоставить им свою комнатушку на улице Шабане; они поселятся там 24 сентября. Начинает ощущаться напряжение, вызванное погоней: им страшно. Треппер сидит взаперти целыми днями.

Сестры из Сен-Жермен не заговорили. Догадывается ли Панвиц, что они могут навести его на след беглеца? Маловероятно.

Панвиц возлагает надежды на другое. Сразу после побега Треппера он начинает собирать сведения о Жоржи де Винтер — о ее существовании известно уже давно, но никто до сих пор не удосужился поинтересоваться ею. Уже через двенадцать часов криминальрат узнает о ее бельгийском происхождении. Мать Жоржи и многие ее подруги арестованы в Бельгии и некоторое время их держат в тюрьме.

В Париже зондеркоманда пытается выяснить, чем она занималась прежде, ищут ее знакомых, узнают, в каких местах она появлялась. Панвиц попросил гестапо-Мюллера прислать значительное подкрепление и получил его.

После трех дней затворничества Треппер хочет сменить убежище. Жоржи все чаще выходит из дому, курсируя между улицей Шабане, квартирой Спааков и различными местами встреч; ее могут засечь. Поскольку нет надежного укрытия, их спасение — в постоянных перемещениях.

Ночь с 28-го на 29 сентября благодаря рекомендации Сюзанны Спаак они проводят у одного пастора. Он предоставляет им две отдельные комнаты. Они отдыхают здесь до четырех утра, затем вынуждены уйти. Треппер по-прежнему старается выглядеть абсолютно хладнокровным, но его возлюбленная догадывается, что он в смертельной тревоге. Следующий вечер они проводят у Спааков.

Клод Спаак: «Мы долго беседовали, Треппер говорил, а мне казалось, что я читаю роман. Он рассказал мне свою необыкновенную историю: как его арестовали у зубного врача, как он предстал перед комиссией высших чинов гестапо. Он объяснил, как и почему решил сделать вид, что будет работать на немцев. Это было очень трудное решение, связанное с огромным риском, но он пришел к выводу, что нет иного средства спасти арестованных и остальных участников сети.

В результате ему удалось заключить сделку: он будет работать на гестапо, но они пощадят арестованных и не тронут агентов, которые еще на свободе. Такое условие выглядело естественным, ибо, как считали и сами немцы, надо было любой ценой не допустить, чтобы Москву предупредили о его аресте. Цель операции состояла в передаче туда ложных сведений.

Поэтому ему разрешили разъезжать по Парижу. В первое время было установлено строжайшее наблюдение, но охрана следовала за ним на расстоянии, чтобы не вызывать подозрений. Он потешался над немцами, утверждая, что у него есть агент в универмаге «Прентан»: поскольку они не могли уследить за ним внутри магазина, им приходилось охранять все выходы, а их там немало!

Естественно, он сразу же восстановил связь с одним из своих агентов—настоящим, разумеется. Эта женщина служила в аптеке Байи. Через нее ему удалось предупредить Москву об игре гестапо.

Мне запомнился один приведенный им конкретный пример. Москва просила информацию о численности немецких вооруженных сил на территории департаментов Вар и Буш-дю-Рон, с указанием родов войск. Получив эту радиограмму, руководство гестапо заявило, что ни в коем случае не передаст сведений такой важности (Москва совершенно очевидно желала знать, натолкнутся ли союзники на сильное сопротивление, если попытаются высадиться на юге). Тогда Треппер прочел гестаповцам лекцию о высших целях политики и объяснил, что им выгодно открыть Москве правду, то есть сообщить, что вермахт не слишком сильно укрепился на юге Франции: это один из способов подогреть недовольство русских тем, что союзники задерживают открытие второго фронта. Руководство гестапо признало справедливость его рассуждений и ответило на вопросы.

Меня особенно поразило качество его информации. Вы только представьте себе, уже тогда он рассказал мне о существовании

«Фау-1». Он знал, как они устроены и где расположены пусковые установки. Это было в октябре 1943-го!» [1]

Треппер рассказывает, потому что в какой-то мере вынужден говорить. Его невероятное бегство может вызвать подозрения (уже не раз гестапо организовывало «побеги», чтобы внедрить в движение Сопротивления «переметнувшегося» агента). Спаак обеспечит ему связь с руководством движения Сопротивления лишь при условии, что будет абсолютно уверен в его благонадежности. В действительности писатель не настолько подозрителен. «Я, разумеется, не требовал от него всех этих объяснений, и у него не было никакой необходимости мне их давать. Я чувствовал, что этот человек раскрывает передо мной все свои карты. И никогда нисколько не сомневался в его искренности».

Все карты? Кое-какие из них Большой шеф все же прячет в рукаве. Не потому, что остерегается собеседника; нет, он ему полностью доверяет. Но Спаака могут арестовать. Зачем же обременять его секретами, которые, быть может, ему придется хранить даже под пытками?

Но куда же идти теперь? Квартира Спааков на улице Божоле, конечно, убежище ненадежное; гестапо в любой момент может обнаружить этот «перевалочный пункт» пятьюшестью различными путями. Сюзанна Спаак узнает у одной своей подруги адрес семейного пансиона в Бур-ла-Рен, где укрылось несколько еврейских детей. Жоржи едет договариваться с хозяином: он соглашается принять их обоих. Но пансион уже набит скрывающимися подпольщиками и кажется Большому шефу не слишком надежным. На этой же улице по соседству—другой семейный пансион под названием «Белый дом», который содержат две тихие женщины.

По рекомендации соседа Треппер снимает здесь комнату. Что касается Жоржи, то Треппер решил спрятать ее от гестапо. На все ее протесты он отвечает одно: «Послушай меня, я должен остаться, чтобы наладить связь; ведь я в полной изоляции. После всего, что произошло, меня, может быть, отправят очень далеко, за границу, и мы долго не увидимся».

Верит ли он сам в глубине души, что они когда-нибудь свидятся? Он никогда не скрывал от нее, что связан с женой, Любой, нерасторжимыми узами. Отношения с Жоржи, порожденные войной, будут прерваны, как только она закончится.

Жоржи придется укрыться в маленькой деревушке в провинции Бос, под Шартром. Но тут возникает другая проблема: кто будет вместо нее осуществлять функции связного? Она предлагает мадам Мэ, пожилую женщину, с которой познакомилась через свою портниху. Мадам Мэ — вдова певца и композитора, довольно популярного в довоенное время.

Панвиц узнает, что Жоржи де Винтер обучалась танцам, находит танцкласс на улице Клиши, арестовывает Денизу. Ей известно об особнячке в Везине, о Кейри (это она рекомендовала их Жоржи год назад) и о мадам Мэ (Жоржи познакомила их).

В Везине зондеркоманда находит лишь некоторые свидетельства недавнего пребывания беглецов.

В Сюрене гестаповцы устроили настоящий штурм домика Кейри. Две машины гестапо проносятся по аллее Пепиньер, резко тормозят перед домом; зондеркоманда в полном составе перескакивает через ограду с пистолетами наготове и взламывает дверь. Панвиц уверен, что Треппер попался; но никого, кроме бабушки Кейри, в доме нет.

Новое разочарование постигло зондеркоманду в квартире мадам Мэ: она пуста. Панвиц устраивает засаду.

По бумагам мадам Мэ немцы узнают, что близится день рождения ее мужа. Это обстоятельство подсказывает им идею хитроумной ловушки. В означенный день зондеркоманда отправляется под видом делегации на кладбище: ее шеф несет великолепный венок, обвитый лентой с надписью: «От поклонников Песни». Пристально вглядываясь в посетителей, гестаповцы несколько часов топчутся на холодном ветру, гуляющем среди могил. Но мадам Мэ так и не приходит поклониться праху покойного мужа. Наступает ночь; сторожа напоминают о закрытии кладбища. Раздосадованная зондеркоманда оставляет венок на могиле мсье Мэ и мрачно возвращается на улицу Соссе.

Охота на человека длится уже целый месяц; Большой шеф все еще на свободе.

Спасайся, кто может

Жоржи де Винтер тоскует.

14 октября, не выдержав одиночества, она уезжает из деревни в провинции Бос и приезжает к Трепперу в Бур-ла-Рен. Он отчитывает ее за неосторожность, но за упреками не может скрыть глубокой радости. Их свидание продлится только одну ночь: после заслуженного выговора 15 октября утром Жоржи уезжает снова. На пороге мадам Мэ говорит ей: «Вы должны оставить мне ваш адрес, чтобы я могла по крайней мере предупредить вас, если что-нибудь случится». Жоржи называет его.

Мадам Мэ тоже покидает семейный пансион и отправляется в Бютт-Шомон. Еще до ареста Большого шефа Центр разработал с ним систему так называемых «проверочных» встреч. 1-го и 15-го числа каждого месяца около одной церкви в квартале Бютт-Шомон его будет ждать человек на случай, если ему понадобится встреча. Жоржи, которая была послана туда 1 октября, никого там не обнаружила. Треппер надеется, что мадам Мэ повезет больше. Супруги Спаак, разумеется, предупредили его, что на 22-е назначена встреча с представителем ФКП в Бур-ла-Рен, но Большой шеф не хочет упускать ни одной возможности восстановить связь. К тому же представитель Центра сможет выйти на Директора значительно быстрее, чем коммунистическая партия.

Мадам Мэ предупредила Треппера, что воспользуется случаем и забежит домой—ее квартира находится в Бютт-Шомон; она хочет взять кое-какие вещи. Он изо всех сил отго-

[1] Первая установка «Фау-1» обстреляет Лондон лишь в июле 1944 года, почти годом позже. *(Прим. автора.)*

варивал ее, но пожилая дама заупрямилась, и он вынужден был смириться.

Панвиц: «Как только мне позвонили, я вскочил в машину и помчался к дому мадам Мэ. Она была вне себя, потому что мои парни, как обычно, все разворотили. Когда я вошел, она набросилась на меня с криками, бранью и сильно ударила ногой по правой берцовой кости. Мне было очень больно. Я закричал от боли и инстинктивно нагнулся, чтобы потереть ногу. Тогда она стала бить меня зонтиком, и я упал на колени. Наконец ее удалось усмирить».

У мадам Мэ был сын. Когда ей пригрозили, что убьют его у нее на глазах, она назвала адреса Треппера и Жоржи.

Большой шеф сказал ей: «Если вас арестуют, прошу вас, продержитесь хотя бы два часа: я буду знать, что с вами что-то случилось, и приму меры».

Встреча в Бютт-Шомон должна была состояться в полдень. В два часа Треппер начинает волноваться. В три часа покидает пансион, предупредив хозяйку, мадам Парран: «Послушайте, мне кажется, что некоторые ваши жильцы... словом, с ними не все в порядке. Если это так, они должны немедленно скрыться.— И добавляет: — Возможно, ко мне придут или будут звать к телефону. Ответьте, пожалуйста, что я пошел прогуляться и вернусь в семь часов». Хотя он не знает, что Жоржи имела неосторожность доверить свой адрес мадам Мэ, адрес Спааков, к которым он посылал старушку неоднократно, ей, конечно же, хорошо известен. Нужно немедленно предупредить их об опасности. Треппер надеется, что, задержав зондеркоманду в Бур-ла-Рен, успеет побывать на улице Божоле. Кроме того, в семь часов будет уже темно.

Уловка удается. В тот самый момент, когда пансион в Бур-ла-Рен оцепляет полиция, он беспрепятственно добирается до квартиры Клода Спаака и сообщает ему ужасную новость: надо бежать немедленно. Но Сюзанна Спаак—в Орлеане, она вернется только к вечеру. И что делать с детьми — тринадцатилетней девочкой и двенадцатилетним мальчиком? Треппер умоляет писателя здраво оценить ситуацию: гестапо может позвонить в дверь с минуты на минуту! Нужно исчезнуть!

Согласившись наконец с Треппером, Клод Спаак провожает его до двери и спрашивает:

— А вы, вы куда пойдете?

— Не знаю.

Эту ночь Большой шеф проведет под открытым небом, на скамейке сквера, дрожа от холода и подвергаясь риску случайного ареста во время полицейской облавы.

Вечером 17 октября Жоржи, как обычно, вернулась с прогулки на ферму. На кухне уже накрыт стол, она садится ужинать вместе с крестьянской четой, хозяевами фермы.

Криминальрат Панвиц притаился за окном. Его вооруженные до зубов помощники — во дворе, ждут сигнала. Ферма окружена немецкими полицейскими. Предусмотрительный Панвиц привел с собой пятьдесят человек.

С бьющимся сердцем, пристально наблюдая за сидящими, он медлит, не решается подать сигнал к атаке. Чего он ждет? Надеется, что к троим сотрапезникам присоединится четвертый — Большой шеф. Когда Жоржи погружает ложку в суп, он понимает, что это напрасная надежда.

«В кухню вдруг ворвались немцы,— рассказывает Жоржи де Винтер.— Их было девять человек во главе с Панвицем и Бергом. Они втолкнули меня в «ситроен». Один сел справа, другой — слева, пока мы ехали, они держали меня за руки. Панвиц сразу же заговорил со мной: «Итак, Отто (Треппер) сбежал, бросил нас...» Эдди (Треппер) научил меня, как себя вести, если я буду арестована. Поэтому я ответила: «Ну нет, вовсе нет! Он ушел, чтобы наладить дело!» И в этом месте я вставила знаменитое высказывание Бисмарка. Эдди учил меня: «Ты им скажешь: «Он ушел, чтобы готовить переговоры о мире, потому что в оценке отношений между Россией и Германией разделяет точку зрения Бисмарка». Знаете, Бисмарк всегда считал, что необходимо ладить с Россией. Услышав это, Панвиц расцвел! Настолько повеселел, что мы с ним болтали всю оставшуюся дорогу. Вообще немцы обращались со мной хорошо, почти по-родственному. Называли меня «медхен» (барышня)».

Криминальрат ликует. Наконец-то он чувствует, что вновь овладел ситуацией. Треппер, конечно, все еще на свободе, но какое это имеет значение, если он действительно бежал, чтобы организовать переговоры между Москвой и Берлином? Совершенно очевидно, что Жоржи не связана с политикой. Она не могла бы приписать Большому шефу того, что он не говорил. Высказывание по поводу Бисмарка особенно примечательно.

Между прочим, поразмыслив хорошенько, Панвиц уже не видит ничего странного в том, что его бывший узник употребляет свою свободу на завершение дела, начатого в тюрьме. С точки зрения криминальрата Треппер даже после побега вынужден идти только в этом направлении: в досье гестапо собраны доказательства его многочисленных предательств (Максимович, Кац выданы им). Если он не хочет, чтобы Москве стало известно об этом, не хочет умереть от рук тех, кто сейчас прячет его, ему придется выполнять волю зондеркоманды. Наверное, он даже связывает все свои надежды на реабилитацию со счастливым завершением Большой игры, верит, что Москва не поставит прошлое в вину человеку, который обеспечит ей мир с Германией.

Но тогда почему же этот идиот ничего не сообщает Панвицу? Почему не информирует его о предпринятых шагах? Почему вынуждает заниматься этой бесконечной охотой, которая так всех изматывает и отнимает столько времени?

Арест Жоржи поможет поставить все на свои места.

Панвиц получает третье послание. В нем снова повторяются, но уже в более резком тоне, упреки, содержащиеся во втором письме: «Вы никого не отпустили, и, напротив, арестовываете все больше людей. Все это доказывает, что вы несерьезные люди и

работать честно с вами невозможно. Поймите же наконец, что ни в коем случае нельзя настораживать контрразведку. К тому же люди, которых вы схватили, не причастны к делу, и вы это хорошо знаете. Если вы их не отпустите, я сам поломаю вашу Большую игру».

Освободить заключенных? Панвиц охотно пошел бы на это, если бы Большой шеф, вместо того чтобы донимать его угрозами, представил отчет о том, какие шаги он предпринял в отношении Москвы. И Панвиц не выпустит никого до тех пор, пока не будет уверен в искренних намерениях беглеца: арестованные — его заложники, и Жоржи — в первую очередь. Панвиц пока еще лелеет надежду — правда, все более хрупкую — поймать Треппера. Охота продолжается.

В Париже арестован Шарль Спаак, известный сценарист, брат Клода. В Бельгии гестапо разыскивает остальных членов семьи. Немцы прибегают к обычному шантажу: если Сюзанну не выдадут, всех расстреляют. Кто-то не выдерживает, называет адрес. Сюзанна Спаак арестована 8 ноября.

Панвицу невдомек, что вместе с ней к нему в руки попал ключ, открывающий двери полдюжины разнообразных подпольных организаций. Он думает, что арестовал благовоспитанную даму, очень несведущую в житейских делах, которая позволила Большому шефу скомпрометировать себя точно так же, как сестры из Сен-Жермен, женщины из Бур-ла-Рен, старушка мадам Мэ, добрая мадам Кейри... Когда много лет спустя он узнает от автора этой книги, какую роль играла Сюзанна Спаак в Сопротивлении, он воскликнет хриплым голосом: «О! Хорошо же она провела меня своими утонченными манерами! Подумать только, она без устали рассказывала мне о своей благотворительной деятельности!..»

Наконец терпение Панвица вознаграждено: Треппер позвонил. Жоржи узнает об этом из уст самого Панвица во время допроса. Шеф зондеркоманды, как ей показалось, был огорчен и разочарован. Она спрашивает: «Что он сказал?» — «О, — шепчет Панвиц усталым голосом,— он говорил очень уклончиво...»

Он действительно был уклончив.

17 ноября все подразделения французской полиции получают следующую телеграмму: «Ищите Жана Жильбера. Проник в полицейское ведомство и работал на Сопротивление. Бежал, захватив документы. Задержать любыми средствами. Докладывать Лафону». Затем следовало описание примет и прилагалось фото Треппера, или Жана Жильбера. За его голову назначено денежное вознаграждение. Обещанную сумму будут трижды увеличивать в ближайшие месяцы.

Текст телеграммы был тщательно взвешен. В нем нет и намека на гестапо. Напротив, судя по всему, адресатам следовало думать, что речь идет о внутреннем деле французской полиции: в ее среду проник провокатор; он украл документы.

Параллельно крупные и мелкие подразделения гестапо, отделы и подотделы абвера, военные, административные и экономические оккупационные ведомства — все немецкие учреждения во Франции и Бельгии получают размноженный типографским способом портрет Большого шефа с подписью: «Особо опасный шпион. Бежал»..

Итак, через два месяца после побега Панвиц бросает на поиски беглеца французскую и немецкую полицию...

Дело в том, что он уже не надеется разобраться в подлинных намерениях Большого шефа. Предал ли тот зондеркоманду или продолжает предавать Москву? Неизвестно. И неуверенность будет сохраняться до тех пор, пока Треппер будет ограничиваться расплывчатыми посланиями и уклончивыми разговорами по телефону.

Поиски Треппера всеми полицейскими службами Франции и Германии не могут остаться без последствий. Тысячи объявлений, расклеенных по стенам учреждений, бюллетени о розыске, разосланные без счета, конечно же, насторожат противника, даже если так восхваляемая Треппером «контрразведка» — всего лишь миф: чтобы вызвать тревогу у службы безопасности коммунистической партии, упомянутых фактов более чем достаточно. Понимая это, Панвиц все же разворачивает операцию. Он создает осложнения, полностью отдавая себе в этом отчет. Значит, он действительно заинтересован в поимке Большого шефа? Без сомнения, вряд ли решился бы он на столь рискованный шаг, не имея какого-то плана. Его цель не в том, чтобы поймать Треппера — да и удастся ли это? — а в том, чтобы нейтрализовать его.

Передатчик Кента остался на Юге (он установлен на вилле модельерши Коко Шанель, где немецкие радисты наслаждаются запасами продуктов из погреба). Оставить передатчик там было необходимо, ведь зондеркоманда собиралась использовать его в функшпиле, а Москва могла осуществить техническую проверку и запеленговать источник радиоизлучения. Панвиц, естественно, убежден, что Директор не знает о перемещении Кента в Париж: для Центра Маленький шеф все еще находится на Юге, около передатчика. Хайнц Панвиц будет играть на этой ошибке.

Он посылает в Центр радиограмму, подписанную Кентом, в которой тот просит разрешения поехать в Париж: у него сложилось впечатление, что сеть функционирует плохо, и он хотел бы выяснить причины. Разрешение дано. Панвиц посылает тогда другую радиограмму, в которой Кент выражает недоумение: «Что происходит с Треппером? Я вижу повсюду объявления о его розыске! Он, видимо, бежал из немецкой тюрьмы». Ответ Центра: «Избегайте Треппера. Пусть партия не дает ему и куска хлеба. Для нас он предатель».

Панвиц добился своей цели: вырвал инициативу из рук Большого шефа. Тот уже не сможет угрожать ему разоблачением функшпиля: что бы он ни говорил и ни делал, Москва ему не поверит. Смелая операция криминальрата просто-напросто вывела его из игры. Он нейтрализован.

Операция интересная, но последствия ее огромны. *Радиограмма Кента объясняет Москве, что Треппер в течение нескольких месяцев был в руках гестапо и все радиограммы Большого шефа, присланные за последние месяцы,— не что иное, как немецкая операция по дезинформации!* Все здание функшпиля было разруше-

но одним ударом; необходимое доверие Центра, которого так терпеливо добивался Гиринг, уничтожено его преемником. Так на какой же основе Панвиц рассчитывает теперь строить свою работу? В самом ли деле он надеется, что после такого шока Москва по-прежнему будет с полным доверием относиться к донесениям из Франции? Разве он не понимает, что его смелое предприятие — не более чем вспышка безумия и что, стремясь любой ценой устранить Треппера, он сам себе оказал медвежью услугу, скомпрометировав Большую игру одновременно с противником?

Есть в этом какая-то удивительная тайна. Поскольку автор потратил три года, чтобы найти к ней ключ, читатель, наверное, согласится немного подождать разгадку, прочитав еще несколько страниц...

Часть III

Центр

Они бегут!

21 апреля у Маргарет Барча начались схватки. Панвиц поместил ее в частную клинику Нейи, даже не упомянув, что она заключенная. Она родила мальчика, и они с Кентом решили назвать его Мишелем. Любовник ежедневно посещал ее в сопровождении трех агентов зондеркоманды.

«Они устроили большой праздник по случаю моего возвращения, — рассказывает Маргарет, — говорили: «Мы отмечаем ваше бракосочетание с Кентом». Действительно, это было похоже на свадьбу. В конце банкета они преподнесли мне подарки: совершенно великолепные колыбельку и коляску для Мишеля. С этого дня все называли меня «Мами».

Панвиц поселил родителей и малыша в небольшой частной квартире из двух комнат. Двери этой квартиры были всегда на запоре, но после обеда в определенный час Маргарет разрешалось погулять с Мишелем в саду. Каждый четверг ее отпускали на свидание с сыном Рене. «Я, конечно, сто раз могла убежать, но знала, что тогда они убьют Кента...»

Снующие туда-сюда черные «ситроены», прогулки Маргарет, появление Кента на улицах, переброска заключенных, суета Панвица и его людей — за всем этим строго следят, все отмечают невидимые наблюдатели, выполняющие распоряжения Треппера.

Для того чтобы стряхнуть с себя оцепенение, в которое он погрузился из-за своего вынужденного уединения, и начать действовать, Трепперу нужен был только повод; как только он наметил себе цель — следить за зондеркомандой, «как тигр за своей жертвой», захватить ее,— жизненная энергия вновь забила в нем ключом. Он организовал службу наблюдения с помощью старого товарища Алекса Лезового, который теперь играет роль «начальника штаба», прежде принадлежавшую Гроссфогелю. Его люди фотографируют каждую машину, каждого пешехода, входящего или выходящего из дома на улице Курсель (сюда недавно переехала зондеркоманда).

Это наблюдение — подготовка к действию. Ведь не только Панвиц предчувствует, что высадка союзников неизбежна. Думая о ней, Большой шеф в свою очередь разработал невероятно дерзкий план...

Треппер убежден, что Большая игра близится к концу. Разгром немецких армий на Западе позволяет надеяться на очень скорое окончание войны. Следовательно, ничто не помешает осуществлению его плана: напасть на зондеркоманду, захватить ее личный состав. Ему было бы приятно, закончив игру, взять в плен тех, кто преследовал его несколько лет и кто отнял у него столько близких людей.

Он создал ударный отряд из тридцати хорошо вооруженных человек. План нападения подготовил Алекс Лезовой. Он гарантировал успех операции: «Единственным средством уйти от нас будет для них самоубийство». Большой шеф со смехом ответил: «Не бойтесь! В этом на них можно положиться: они не покончат с собой!»

Разумеется, надо было предупредить Москву. Радиограмма с просьбой разрешить операцию была отправлена. Ждали ответа.

Когда бронетанковые части Леклерка подошли к Парижу, Панвиц и его люди упаковали чемоданы. Их настроение, конечно же, было довольно кислым. Они много работали, перенесли разочарования и неудачи, трепали себе нервы, устраивая облавы, или, как некоторые из них, пытали людей; но если подвести итоги, эти три года были все же удачными. Никто из них не погиб в Париже: здесь умирали реже, чем в Сталинграде или в Тобруке.

Они жили на широкую ногу, поселившись в домах миллиардеров; ели продукты с черного рынка, напивались — и еще как, словно сущие Бахусы! Женщин — сколько хочешь. Деньги — в изобилии.

И приходилось оставлять все это...

Отъезд из восставшего Парижа состоялся 26 августа. Бронеавтомобили, между ними — машины, также ощетинившиеся дулами автоматов. Колонна обогнула забаррикадированные улицы, беспрепятственно проехала по пригородным районам, соединилась с обращенными в бегство армейскими частями и направилась на Восток, в Германию.

Поскольку ответа из Москвы не было, Треппер запер в ящик свой план нападения и передал в распоряжение отряда Сопротивления тридцать своих боевиков.

26 августа Большой шеф покидает свое убежище на улице Мен и вместе с Алексом Лезовым устремляется на улицу Курсель.

С большим трудом они добираются туда, но с момента бегства зондеркоманды прошло уже два часа. Консьерж и его жена встречают их, все еще дрожа от страха; когда Кент садился в машину, он крикнул им: «Держите язык за зубами и не думайте, что все кончено: мы вернемся!»

Возвращение героя

В октябре 1944 года, через два месяца после освобождения, советская военная мис-

сия прибыла в Париж и разместилась сначала в помещении бывшего посольства Литвы, затем в здании бывшего посольства Эстонии, на бульваре Ланн. Ее возглавлял подполковник Новиков.

Большой шеф вскоре связался с ним, и было решено, что он уедет при первой возможности, как только появится транспорт.

Ожидание могло затянуться. После бешеной гонки по Франции вермахт пришел в себя у берегов Рейна и остановил продвижение союзников. Мир, забрезживший к осени, был отодвинут на следующую весну. Эти обстоятельства не позволяли надеяться на скорое восстановление сообщения между Парижем и Москвой.

Треппер употребил время ожидания на розыски членов своей сети, остававшихся на свободе, выяснение участи тех, кто был арестован.

В конце ноября Новиков объявил ему, что личный самолет Сталина только что приземлился в Бурже. На нем во Францию вернулся Морис Торез, который провел в Москве последние четыре года. Треппер у было забронировано место на обратный рейс. Он упаковал чемоданы и стал ждать, когда его пригласят в Бурже. Ожидание продлилось больше месяца. В конце концов категорическая телеграмма из Кремля заставила завести моторы, 6 января в девять часов утра Большой шеф полетел в Москву.

Война вынуждала лететь самым длинным маршрутом. Садились в Марселе, Кастель-Бенито, Каире, Тегеране и Баку.

Наконец, 14 января в четыре часа дня самолет приземлился на небольшом подмосковном аэродроме.

Шесть лет прошло с тех пор, как Большой шеф в последний раз покинул Россию. Шесть лет, наполненных радостями и тревогами, болью и торжеством. Шесть лет борьбы. Он не собирался кичиться своими заслугами, но все же был преисполнен гордости за проделанную работу.

На аэродроме его ждала машина. Треппера привезли в Центр, на Знаменку. Сразу же провели в кабинет Директора. Их разговор был коротким.

— Какие у вас планы на будущее? — спросил Директор.

— Прежде чем говорить о будущем, может быть, мы могли бы обсудить и прошлое? Почему вы не поверили мне с самого начала? Как вы могли так плохо и непоследовательно работать? Разве я вас недостаточно полно информировал?

— Вы вернулись, чтобы требовать отчета?

— А почему бы и нет?

— В таком случае в моем кабинете мы этого не решим.

Большого шефа немедленно отправили в тюрьму, на Лубянку. Он проведет здесь десять лет жизни.

О том, как в дальнейшем сложились судьбы его героев, Жиль Перро рассказывает следующее:

Иоганн Венцель в январе 1943 года бежал из-под ареста. После войны попал на Лубянку и провел несколько лет в заключении. Дальнейшая его судьба автору неизвестна.

Клод Спаак избежал ареста и пережил войну. Его жена, Сюзанна Спаак, казнена вместе с Фернаном Порьолем в тюрьме Френ незадолго до освобождения Парижа.

Херш Сокол погиб под пытками в лагере Бреендонк.

Мира Сокол казнена.

Жоржи де Винтер была отправлена в Равенсбрюк. Репатриирована в мае 1945 года. Через полтора года она вышла замуж за Жюля Жаспара, вернувшегося из Маутхаузена. После его смерти вступила в брак с польским аристократом, живущим во Франции. Овдовела в 1966 году.

Ефремов, по слухам, в конце войны бежал в Южную Америку, воспользовавшись фальшивыми документами, которыми снабдила его зондеркоманда.

Коммерческий директор фирмы «Симекско» Назарен Драйи умер в Дахау от бубонной чумы. Его брат Шарль погиб в Маутхаузене, как и акционер «Симекско» Раух, агент «Интеллидженс сервис». Художник Билл Хоорикс был отправлен в Маутхаузен, но выжил. Карлос Аламо никого не выдал и был приговорен к смертной казни. Затем переправлен в Берлин, где его след теряется.

Альфред Корбен был приговорен к смертной казни. В апреле 1943 года вместе с другими служащими компании «Симекс» он был отправлен в Берлин и обезглавлен в тюрьме Плётцензее. Маргарет Барча находилась в лагере Фридрих-Рода. В сентябре 1945 года она вернулась во Францию и была арестована. Ее отправили в лагерь для подозреваемых в сотрудничестве с фашистами, откуда она вышла лишь в мае 1946 года. Леон Гроссфогель казнен в тюрьме Френ в 1944 году, по предположению автора, вместе с Анной и Василием Максимовичами.

Ромео Шпрингер был арестован в Лионе. После ареста был переправлен в Париж, где, перешагнув через перила на третьей галерее тюрьмы Френ, бросился вниз и умолк навеки.

Кэте Фёлькнер казнена в 1943 году. О судьбе Поццальдо автор не сообщает.

Маргарет Хоффман-Шольц была осуждена на шесть лет тюремного заключения.

Жермену Шнайдер приговорили к смертной казни. Затем вместе с другими членами «Красной капеллы» ее отправили в Берлин. О дальнейшей ее судьбе автор не сообщает.

Руководитель голландской сети Антон Винтеринк в марте 1944 года бежал из-под ареста. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Конец зондеркоманды

Это произошло в Блуденце, километрах в десяти от швейцарской границы. Здесь в уединенном доме укрылись Панвиц, Кент и несколько человек из зондеркоманды. Чтобы добраться до этого южного убежища, им пришлось преодолеть триста километров в потоке отступающих немецких частей, по дорогам, перекрытым полицейскими кордона-

ми и эсэсовцами, готовыми расстреливать тех, кто поворачивался спиной к линии огня.

Но у криминальрата был документ, подписанный Гиммлером и генералом Йодлем, предоставлявший ему право свободного передвижения и реквизиции у гражданского населения и военных.

Укрывшись в шале, они прислушивались к грохоту боя, который становился все ближе. Части Первой французской армии были на подходе. И вот они появились здесь, в Блуденце; до шале доносилось глухое рычание танков. Панвиц и его подчиненные сожгли свои удостоверения личности; издерганные, раздраженные, они ждали развязки. Ожиданию не видно было конца. Они предвидели любые варианты, за исключением того, что за ними не придут. Прошло несколько недель, а они по-прежнему торчали в своем шале, в окружении цветущих лугов и весеннего щебетания птиц. Каждый вечер Кент выходил на связь с Москвой. А внизу, в Блуденце, люди возвращались к своим мирным делам. Зондеркоманда была в растерянности.

Ими заинтересовались лишь после того, как их соотечественник, берлинский беженец, донес на них французам. Однажды утром они увидели, как солдаты окружают шале и выдвигают на огневую позицию орудие 37-го калибра. Им предоставляли возможность сразиться в честном бою. Но криминальрат Панвиц был не настолько глуп, чтобы умереть за погибшее дело. Он помахал белой тряпкой, и его люди подняли руки. Молодой французский лейтенант вошел в дом с пистолетом в руке и, не удостоив их взглядом, бросился к фотографии фюрера, висевшей на стене, сорвал ее и разорвал, а в это время эсэсовцы косо поглядывали на железный крест, прицепленный к его поясу сзади и болтавшийся на ягодице. Панвиц взглянул на Кента. Тот выступил вперед и сказал: «Я представитель советских разведывательных служб, майор Красной Армии. Эти господа — участники немецкого движения Сопротивления и работают со мной уже давно». Поскольку ошарашенный лейтенант никак не желал в это поверить, он показал ему последние телеграммы, полученные из Центра, и сказал: «Разумеется, эти люди останутся в моем распоряжении, они нужны мне. Что же касается материальной части,— он указал на передатчик и личное оружие эсэсовцев, — все это принадлежит Красной Армии, и я прошу вас ничего не брать!»

Телеграммы Центра убедили лейтенанта. Он отдал честь и удалился; железный крест по-прежнему болтался у него на заду. Но через неделю этот взвод перевели в другое место. Новый лейтенант пришел в шале, приподнял брови, слушая Кента, но, учуяв возможный дипломатический конфликт, из осторожности решил как можно скорее избавиться от этого майора Красной Армии и участников немецкого Сопротивления; он отправил их в штаб-квартиру в Линдау. Панвица и Кента принял здесь перегруженный делами полковник. Между двумя телефонными звонками он спросил, не слышали ли они о гестаповской группе со странным названием «Зондеркоманда «Красная капелла». Панвиц заерзал на стуле и попросил уточнить. Полковник протянул ему телеграмму из ближайшей американской штаб-квартиры. Французам сообщали о том, что в этом районе находится зондеркоманда «Красная капелла», начальником которой является некий Хайнц Панвиц, и просили приложить все усилия для их поимки: по некоторым сведениям, они получили задание убить генерала Паттона.

Кент поспешил направить разговор в другое русло. Он назвал свое имя, чин и дал полковнику объяснения, подтверждающие его принадлежность к русским службам. Панвиц, в свою очередь, показал фальшивые документы и разглагольствовал о своих антигитлеровских убеждениях. Видимо, начинавший поддаваться, но до конца не поверивший им полковник решил, что стаканчик вина ни к чему не обязывает, и они весело провозгласили тост за победу союзников. После этого француз поспешил составить донесение генералу де Латтру де Тассиньи. Эсэсовец и Кент провели ночь в одной из общих комнат штаб-квартиры вместе с абсолютно безразличными к ним французскими солдатами.

На следующее утро Панвицу и Кенту объявили, что их отправляют в Париж, поскольку генерал де Латтр решил переложить заботы по выяснению этого дела на военное министерство. Таким образом они вернулись в Париж в сопровождении офицера, назначенного де Латтром, через десять месяцев после того, как поспешно бежали от солдат генерала Леклерка. С ними были десять чемоданов с личными вещами, пистолет Панвица все еще был при нем: никто не попросил его открыть набитый документами портфель, с которым он не расставался.

Озадаченное министерство связалось с советским представительством, разместившимся в бывшем посольстве Эстонии. Подполковник Новиков заявил, что охотно примет этого майора Красной Армии: в Париже он именно для того, чтобы помогать репатриации советских граждан; что же касается господина из немецкого Сопротивления, то он подумает, что можно для него сделать.

6 июня 1945 года на машине представительства Панвиц и Кент были доставлены в Бурже, где их ждал самолет. Они вылетели в Москву с двумя чемоданами и портфелем с документами. Новиков оставил у себя только пистолет криминальрата.

Возможностей избежать плена было предостаточно. Не будем трогать швейцарскую границу: она, правда, находилась всего в двух часах ходьбы, но очень хорошо охранялась, перейти ее считалось почти невозможным. Однако совсем близко располагался Тироль, и сквозь его густые леса, бесчисленные лощины было очень легко уйти. Все спасавшиеся бегством нацисты проходили здесь, добирались до Италии и Генуи, откуда открывался путь в Южную Америку. В то время как Панвиц сидел в своем шале, десятки его коллег, задыхаясь, поднимались за проводниками по горным тропам.

Он не знал этого? Криминальрат, шеф зондеркоманды не знал этой важной детали? Допустим. Но весной 1945 года по территории Германии, подобно урагану, двигались бесчисленные орды людей. Насильно угнанные сюда—рабочие, отбывавшие трудовую повинность, заключенные всех национальностей — возвращались на родину; семьи, скрывавшиеся от бомбежек в сельской местности, снова

шли в город; сотни тысяч беженцев из восточных регионов спасались от Красной Армии; дороги были забиты судетскими немцами (около миллиона человек), уносившими ноги от чешского возмездия; вермахт преобразился в длинные колонны пленных...

С продвижением, хотя и не очень стремительным, союзников все вокруг смешалось— такого хаоса Европа, наверное, не знала со времен великих нашествий...

У Панвица были фальшивые документы, деньги, внешне он ничем не выделялся. Но он не трогается с места, не окунается в водоворот, в котором мог бы затеряться. Ждет в шале, пока за ним придут.

Для Кента все еще проще: он — русский. Союзник. Стоит ему спуститься в Блуденц — всего в каких-нибудь трехстах метрах от шале,— и он становится либо военнопленным, сбежавшим из лагеря, либо депортированным, обретшим свободу; французы примут его с распростертыми объятиями. Они, конечно, попытаются переправить его на родину, но особенно усердствовать не станут, как стали бы делать это для майора Красной Армии, офицера секретной службы. Простому русскому рабочему, угнанному на работу в Германию, или второразрядному военнослужащему, бежавшему из плена, пришлось бы несколько месяцев ждать возвращения на родину — за это время представилась бы тысяча разных возможностей распорядиться своей судьбой.

Во всяком случае, каким бы неопределенным ни выглядело будущее, в тот момент по логике вещей он должен был бы стремиться к одному: не допустить, чтобы его арестовали вместе с эсэсовцами. Кенту следовало бы как можно скорее покинуть шале, бросив на произвол судьбы его «прокаженных» обитателей, уйти от них как можно дальше. Но нет. Он не трогается с места. Так же, как Панвиц, он ждет, когда за ним придут.

Учтем это.

За ними приходят. К счастью, они попали в руки западных союзников. Обыкновеннейший солдат вермахта, виновный только в том, что шесть лет провоевал на фронте, на коленях пересек бы всю страну, лишь бы не попасть к русским и стать пленником европейцев. Только не Панвиц. Он, наоборот, изо всех сил гребет в сторону России. Ибо с того момента, как Кент сообщил французскому лейтенанту о том, что он русский офицер, ясно, конечно же, что пунктом их следования станет Москва. Криминальрат гестапо, гауптштурмфюрер СС держит курс на Восток—это уже странно. Руководитель Большой игры, в течение двух лет с необычайным рвением дезинформировавший Центр, рвется к тем, кого дурачил, это просто поразительно. По роду своей деятельности Панвицу лучше, чем кому бы то ни было, известно о напряженности, существующей между союзниками, немцы были даже склонны чрезмерно преувеличивать их разногласия. И он должен был понимать, что союзники не будут очень задеты, узнав, что он водил за нос русских, а может быть, их секретные службы даже проявят тайный интерес к этому делу. Но вместо того, чтобы обеспечить себе покой в их надежных объятьях, он сам бросается в лапы своего злейшего врага—Директора.

Что же касается Кента, то с ним и того хуже: он идет на эшафот. На пути из Блуденца в Линдау и из Линдау в Париж он десять раз мог бы бежать: ведь их везли не под конвоем, а просто сопровождали. Шаг в сторону—и он бы исчез. Но Кент продолжает идти прямо вперед, навстречу смерти.

Необъяснимо? Но не будем спешить...

Поезда порой опаздывают...

С 8 мая 1945 года расследование деятельности «Красной капеллы» пошло по второму кругу. Немецкая контрразведка нанесла организации ряд тяжелых, но беспорядочных ударов. Английские, американские, французские, бельгийские, голландские секретные службы приняли эстафету. Используя в своей работе более широкий арсенал средств, они проявляли терпение и последовательность; в отличие от немцев, времени у них было достаточно. Прежде всего—конечно, в целях безопасности,— они решили взять на учет оставшихся в живых членов «Красной капеллы» и узнать, не возобновили ли те свою разведывательную деятельность. Вот почему за бельгийцами из «Симекско», французами из «Симекс», Клодом Спааком, Жоржи де Винтер и всеми другими было установлено наблюдение.

С началом «холодной войны» слежка стала не только постоянной, но хуже того—усилилась до такой степени, что некоторые бывшие агенты сети стали задумываться, не ставят ли им в вину их прошлую деятельность, не стало ли теперь преступлением то, что они помогали советским войскам победить в Сталинграде. Поскольку большинство из них и так не слишком хорошо разобрались в грандиозных событиях, участниками которых оказались (это признак хорошо организованной сети: только руководители должны иметь цельное представление обо всем), такой неожиданный поворот окончательно убедил их в том, что мир безумен (они узнали также, что он неблагодарен, поскольку их не признали участниками движения Сопротивления).

Практический интерес западных служб к «Красной капелле» проявился сразу, но утратил остроту после того, как все расследования подтвердили непричастность бывших членов организации к разведывательной деятельности после войны. Теоретический же интерес к сети пока довольно незначителен, но со временем будет лишь возрастать (сегодня изучение деятельности сети включено во все программы «университетов» разведки). Ведь надо было знать, как действовала эта организация, превосходившая все до сих пор известные—как с точки зрения личного состава, так и по охвату географического пространства и достигнутым результатам—организации, создавшая совершенно необычные формы конспирации, мастерски использовавшая «коммерческую крышу», вербовавшая свои «источники» в верхнем эшелоне вражеского лагеря; сумевшая, наконец, соединить достоинства сети Сопротивления с профессиональным мастерством агентов, сплав, из которого родился шедевр разведки.

Не имея возможности допросить руководителей «Красной капеллы», западные службы попытались получить ответ из уст их противников. Охота за членами зондеркоманды началась задолго до окончания войны, и союзники старались захватить как можно больше агентов абвера и гестапо, работавших против сети. Французские службы заполучили «льви-

ную долю»: Райзера, Шваба, Балла, Рихтера и других. К бельгийцам попали Фортнер и брюссельское гестапо. Англичане увезли Коппкова в Эдинбург. Из тех, кто мог рассказать им историю «Красной капеллы», американцы захватили только Рёдера [1], но это не имело значения, потому что не за горами было время, когда у западноевропейских спецслужб уже не останется секретов от американского Старшего Брата.

Таким образом, в течение нескольких лет во всех тюрьмах Европы велись беседы о «Красной капелле». Но нигде не говорили о ней столько, сколько на Лубянке, где собрался цвет компании: Треппер, Панвиц, Кент, Венцель и другие.

О чем же мог спрашивать их Директор?

То, что Фортнер обнаружил конспиративную квартиру на улице Атребат, для Большого шефа было серьезным поражением, предвещавшим катастрофические последствия. Он замораживает свою брюссельскую команду на шесть месяцев. Директор не понимает, почему провал одного звена повлек за собой такие меры предосторожности в тот момент, когда Россия борется за существование. Советские генералы не дают отпусков потерпевшим поражение войскам: они снова бросают их в атаку. Треппер отвечает, что на месте ему легче судить, как надо поступить. Верно, Директор действительно находится не на месте событий, но так же верно и то, что ему незачем там находиться, как главнокомандующему незачем быть на передовой: полную картину боя оттуда не увидишь. Но эти споры о тактике не так важны. Дело в том, что между Директором и руководителем сети существует принципиальное разногласие: первый легко жертвует берлинской сетью, либо безгранично веря в нераскрываемость своих кодов, либо полагая, что подобная жертва оправданна; другой считает, что никакая мера безопасности не может быть лишней, если речь идет о спасении людей. В Центре осторожность называют трусостью, и возникает сомнение: а не теряет ли Большой шеф хладнокровие?

После сообщения об аресте «пианистов» и их предполагаемом предательстве утвердительный ответ, по-видимому, напрашивался сам собой. Функшпиль? Само слово и то, что оно означает, нам известно сегодня, но надо понимать, что в 1941 году это было нечто новое; функшпилю суждено было стать великим изобретением последней войны в сфере разведки. Функшпиль? Директор, может быть, и поверил бы в него, если бы так называемые «завербованные» радисты передавали ему большое количество ложных сведений. но это было не так. Так что же? Его хотят убедить, что гестапо прилагало столько усилий для разгрома сети только для того, чтобы затем продолжить ее деятельность? Треппер настаивает на своем; неустанно, как Кассандра, он повторяет, что все идет плохо, тогда как «пианисты» из Бельгии уверяют, что все идет хорошо. Затем он протестует и угрожает; оскорбляет Центр своим неповиновением — нет, настоящим предательством! — поскольку передает важнейшие донесения через канал ФКП, который связан с организацией Димитрова, а не с организацией Директора,— и какие донесения... Эти радиограммы бросают тень на Центр. Сеют панику! «Возможно, предатели проникли в наши секретные службы» — вот что Большой шеф заявляет голосом Димитрова могущественному Центральному Комитету! О, надо не так много, чтобы Директор поддался укоренившемуся пороку русских спецслужб: подозрительности. В Центре всех и всегда подозревают. В чем? Только выбирай: левый уклон, правый уклон, слишком большой интерес к женщинам, небезразличное отношение к мужчинам, слабость к деньгам, троцкизм, связь с «Интеллидженс сервис»... Руководитель сети, дела которой идут плохо, подозревается в саботаже; если же сеть работает хорошо — осторожность и осторожность; должно быть, это двойной агент, ведь противоестественно, что у него нет провалов. Ну, а Треппер? С самого начала войны он все жалуется, ругается, упрекает. Осторожен, как змея, а его хотят видеть храбрым, как лев. Все время стонет по поводу нехватки радиопередатчиков. Предатель? Пожалуй, нет оснований считать его предателем, но возложенная миссия ему явно не по плечу. Директор держит его под особым наблюдением.

Он теряет Треппера из виду в ноябре 1942 года. Но известно ли Директору, что он арестован? Уверенности в этом нет. Три месяца спустя в Центр поступает донесение, написанное на трех языках. Директор чрезвычайно удивлен. Неразрешимая загадка? Как это ему удалось? Донесение составлено на глазах у гестапо и передано у него под носом? Невероятно! Волшебная сказка! В Москве— впрочем, как и в Лондоне, и в Вашингтоне — сложилось определенное представление о противнике. Гестапо — это не Гиринг, лечащий свой рак коньяком, не старик Берг, мертвецки пьяный к полудню; гестапо — это совершеннейший полицейский механизм, предназначенный для того, чтобы хватать и перемалывать, — таков миф. И этот механизм допустит, чтобы его заключенные писали, когда им захочется? Позволит им дышать воздухом на улицах Парижа? Предоставит возможность передавать тайком свои донесения? Гипотеза: Треппер, вражеский агент, не сумел поколебать доверия, которое Директор питал к брюссельским «пианистам»; донесение на трех языках является, может быть, новой попыткой добиться этого, провокацией, цель которой все та же — скомпрометировать в глазах Москвы единственно здоровую часть сети — брюссельскую группу... С другой стороны, донесение передано Жаком Дюкло — это само по себе гарантия его правдивости. Дюкло не принял бы документа сомнительного происхождения. Дюкло проверил факты и действовал со знанием дела. И потом, эта Большая игра, о которой рассказывает Треппер... Загадочно!

По утверждению Райзера, сомнения Директора продлились три месяца: в мае 1943 года телеграммы, которые получала зондеркоманда, приобрели оттенок осторожности и недоверчивости: чувствовалось, что в Центре снова насторожились.

[1] Манфред Рёдер — прокурор, главный обвинитель на процессах по делу «Красной капеллы». *(Прим. перев.)*

Большой шеф полагает, что Центру понадобилось четыре месяца для проверки его донесения: в июне 1943 года там наконец убедились в его правдивости.

Но Директору понадобился год, чтобы поверить в измену радистов, о чем много раз сообщал Большой шеф. Глупо? И да и нет. Центр имел несчастье стать чем-то вроде подопытного кролика для самой необычной из известных до сих пор операций по дезинформации в период, когда такие приемы еще не использовались разведкой. Функшпиль в тысячу раз превосходил классические способы надувательства одной разведки другой, поскольку цель его была не технической, а политической, что вынуждало инициаторов, сделавших высокую ставку в этой игре, передавать сначала правдивые сведения; поэтому Директор и не мог сразу заметить, что попался на удочку зондеркоманды.

Треппер сбежал. Эта новость ошеломила Центр. Его бегство могло погубить Большую игру и лишить Москву тех преимуществ, которые она рассчитывала извлечь из нее, ведь зондеркоманда должна понимать, что беглец в первую очередь позаботится о разоблачении мистификации перед своими шефами. Одновременно возникли новые сомнения относительно преданности Большого шефа. Коммунист бежит только после того, как запросил и получил разрешение от своих шефов. К тому же Треппер — это не обыкновенный коммунист, а гестапо — не обыкновенная полиция: можно ли поверить, что они совершили такую оплошность — допустили побег подобного заключенного? Конечно, донесение на трех языках служило доказательством верности Большого шефа, но со времени его передачи прошло уже восемь месяцев. Что произошло в промежутке? Удалось ли зондеркоманде сломить своего пленника? Не завербовали ли они его в конце концов?..

А может быть, это настоящий побег, из-за которого слишком быстро будет поставлена точка в Большой игре? Или все-таки инспирированное гестаповцами бегство, имеющее какую-то таинственную цель? Вероятно, Центр не может сделать окончательный выбор между этими двумя предположениями. Через несколько недель странная телеграмма, с помощью которой Панвиц старается продолжить Большую игру («Что случилось с Треппером? Я повсюду вижу объявления о его розыске и т. д.»), окончательно ставит Директора в тупик. Неужели криминальрат такого низкого мнения о нем, что надеется обмануть с помощью такой грубой уловки? Ведь, сообщая о бегстве Большого шефа, он признал, что все радиограммы последних десяти месяцев были переданы под контролем немцев, что существовал функшпиль; это должно было вызвать в Центре такую настороженность, что любая мистификация стала бы уже невозможна... Теряя нить интриги, Директор тем не менее передает именно тот ответ, которого ждал Панвиц: «Для нас Треппер — предатель. Партия не должна давать ему и куска хлеба». После этого Директор выжидает. И скоро, по полученным новым радиограммам, начинает понимать, что непоследовательность не слишком заботила криминальрата: самым главным для него было сохранить связь с Москвой; он рассчитывал, что совершенно особый, чрезвычайно «искренний» характер, который он надеялся придать этой связи, сможет рассеять подозрения Центра. Директор, полагавший, что ему придется вести очень тонкую игру с противником, видит, как тот буквально бросается в его раскрытые объятия: все хорошо, что хорошо кончается.

Но это не касается Большого шефа. Потому что крутой поворот, совершенный Панвицем, даже если он объясняется скорым разгромом немцев и желанием криминальрата спасти свою шкуру, не решает многих прежних загадок. К тому же Треппер усложняет свое положение, предложив похитить зондеркоманду, когда она будет покидать Париж! С какой целью? Чтобы уничтожить досье, свидетелей? Этого нельзя допустить. На вопрос Кента, должен ли он дожидаться в Париже предстоящего вступления союзников, Директор только что ответил буквально следующее: «Отступайте вместе с вашими немецкими друзьями. Не покидайте людей, с которыми у нас такие хорошие отношения и которые предоставляют вам ценные сведения. Они смогут быть очень полезны нам в будущем». Не хватало еще, чтобы Треппер захватил эту хитрую команду и в конце концов оказался вынужден передать ее в руки французских властей! Директор не дает «зеленый свет». Панвиц и Кент должны иметь возможность продолжать работу до окончания войны. Кроме того, они слишком много знают, чтобы им позволили умереть от случайной или слишком точно направленной пули.

Держу пари, что Директор со сладострастным нетерпением ожидал в Москве прибытия Треппера, затем Кента, Панвица и Венцеля. Все они оказались в его руках. Наконец-то он доберется до сути дела...

Десять лет понадобилось для того, чтобы ФКП подтвердила, при каких обстоятельствах было передано Жюльетте донесение, написанное на трех языках? Десять лет, чтобы убедиться в том, что побег был настоящим? Десять лет, чтобы признать: Большой шеф был проницателен, когда все казалось запутанным, оставался несгибаемым, несмотря на упорное непонимание со стороны начальства, смелым перед лицом опасностей, изобретательным в стане врагов? Расследования Центра, однако, не отличались медлительностью, свойственной процедуре по причислению к лику святых... Большой шеф вылетел в Москву через шесть месяцев после освобождения Парижа. Этого времени недостаточно для того, чтобы решить все загадки «Красной капеллы», но его должно было хватить Директору для проверки во Франции основных утверждений Треппера. Когда Большой шеф появился на Знаменке, ему предстояло ответить еще на многие вопросы, но в его непоколебимой преданности уже нельзя было сомневаться. И не случайно Директор задал ему знаменательный вопрос: «Каковы ваши планы на будущее?» Значит, у Треппера еще было будущее в Центре. Но в вопросе прозвучало предупреждение: о прошлом говорить не следует — ни под каким видом! Ответ Большого шефа решил его

судьбу. Треппер вовсе не собирался прикрывать целомудренной вуалью молчания события последних четырех лет, он возвращался, пылая от возмущения, с бранью на устах, преисполненный решимости свести счеты. Этим он обрекал себя на Лубянку. *Потому что Директор не мог допустить, чтобы по Москве ходил озлобленный человек, который повсюду стал бы разглагольствовать о том, что трижды безрезультатно предупреждал Сталина о неизбежности нападения немцев, а затем в течение нескольких лет исправлял ошибки Центра.* Зорге также оказался бы на Лубянке, если бы японцы не повесили его, и он вернулся бы в Москву в таком же расположении духа, как Треппер.

Десять лет, чтобы утихомирить Большого шефа и преподать ему урок смирения? Неужели на подобные «уроки» требуется столько времени? Его отправили на Лубянку именно с этой целью, но оставили там надолго по другим причинам. На Треппера, как на человека, выброшенного за борт, стали обрушиваться все новые и новые удары волн.

Первая волна — его коллеги, руководители разведывательных сетей, и агенты, вернувшиеся в Москву после пяти лет работы за границей. Директор не узнал их. Ему их «подменили». В течение пяти лет войны им, предоставленным самим себе, пришлось изобретать новые приемы работы, которых требовала непредсказуемая ситуация; ими руководили события, а не Центр. Разбросанные по странам Европы с разведывательными целями, в борьбе с фашизмом они обрели нечто вроде статуса гражданства в этих странах; они вступали в ряды национального движения Сопротивления; люди противоположных убеждений стали их братьями по оружию, и они сражались плечом к плечу. В 1942 году Шандор Радо, руководитель швейцарской сети, получил документы, представляющие огромный интерес для англичан. Он предложил Директору передать их в «Интеллидженс сервис» через надежного курьера, имевшего доступ в английское посольство в Берне. Директор запретил это делать и приказал сжечь документы. В 1943 году, когда швейцарская полиция приступила к разгрому организации, Радо объяснил Центру, что остался единственный выход—укрыться в здании какого-нибудь посольства; под защитой дипломатической неприкосновенности он смог бы продолжать работу. Поскольку у СССР не было посольства в Берне, Радо предлагал обратиться к англичанам с просьбой о предоставлении убежища; будучи союзниками русских, они бы не отказали. Директор отреагировал чрезвычайно резко. Он не стал слушать Радо, предпочел лишиться швейцарской сети и чрезвычайно ценных сведений, поступавших от нее. Заподозренный в сотрудничестве с «Интеллидженс сервис», разведчик тем не менее приехал в Париж после его освобождения и явился в представительство Новикова. 6 января 1945 года вместе с Треппером он вылетел в Москву. Но при посадке в Каире нервы его не выдержали, и Радо исчез; самолет взлетел без него. Москва сообщила английским властям, что он дезертир. Радо арестовали и выдали русским. Ему пришлось заплатить десятилетним заключением за наивную веру в то, что борьба с нацизмом стоит на первом месте по сравнению с традиционной борьбой против «Интеллидженс сервис».

Коллеги, работавшие за границей, разделяли его чувства, даже если им не представилось случая показать это Центру. Они отпили из чаши священного союза и уже никогда об этом не забывали. В их отсутствие бразды правления в Центре перешли в руки нового поколения молодых функционеров. Бюрократы от конспирации со злобным презрением смотрели на возвращавшихся романтиков революции, старых коммунистов, которые чудом уцелели во время чисток: они подозрительны. Бывшие участники войны в Испании—подозрительны; товарищи по оружию, участвовавшие в движениях Сопротивления в одном ряду с правыми и левыми,—подозрительны; им приклеивали двойные ярлыки — **романтики, космополиты** — и выносили приговор, не подлежавший обжалованию: **неисправимы.**

Вторая волна унесла Директора. Она нахлынула из Канады в сентябре 1945 года, когда местная полиция обнаружила советскую сеть, которой руководил полковник из Центра; тогда в числе других был арестован Аллан Нанн Мэй, занимавшийся шпионажем в области атомных исследований. Это было крупным поражением. МГБ, вечный соперник Центра, воспользовалось случаем, чтобы свести кое-какие счеты. Директор и его заместители были смещены. Новая чистка опустошила секретные службы Красной Армии, все работники которых, старые и новые, оказались в опале. Именно после канадского скандала Абакумов, министр госбезопасности, верный соратник Берии, заявил Трепперу, павшей звезде осужденного Центра: «Представьте себе, если бы вы работали на нас, а не на этих мерзавцев из Генштаба, ваша грудь была бы сейчас увешана орденами!—И, показывая ему с улыбкой в сторону Красной площади, добавил: — Знаете, вот там вам бы присвоили звание Героя Советского Союза!»

Две первые волны почти совпали по времени. Третья нахлынула через три года, в 1948 году, и это была волна антисемитизма. О ней слишком много известно, чтобы снова рассказывать о ее силе и продолжительности. В очередной раз Треппера вывели из его камеры и повели по подземному коридору, соединяющему тюрьму с министерством госбезопасности, в кабинет Абакумова. Тот спросил: «Почему вы окружили себя предателями? Объясните, с какой целью вы решили доверить предателям ключевые посты в вашей организации?» — «Предателям? Каким предателям?» — «Кацу, Гроссфогелю, Шпрингеру, Райхману и т. д.: все они евреи, следовательно, предатели!..»

В Москве были арестованы руководители «Еврейского антифашистского комитета». Среди них были старые товарищи Треппера, еще с тех давних времен (1935 год), когда он работал в еврейской газете «Эмес». Почти все «сознались» и были казнены.

Космополит, «неисправимый», бывший сотрудник Центра, еврей: в сталинской России этого было предостаточно, чтобы сидеть в застенках Лубянки. Но даже в сталинской

России беззаконие рядилось в юридические одежды. Административная «тройка» осудила человека, который создал и повел в бой самую крупную сеть в Европе; в то время все западные секретные службы смотрели на нее со страхом и восхищением. Единственный пункт обвинения, который смогли предъявить, тщательно изучив его пятилетнюю деятельность во главе «Красной капеллы», состоял в том, что он начал Большую игру без предварительного разрешения Директора. И тогда Большой шеф вспомнил, о чем его предупреждал Гиринг:

«...Вас все равно будут считать предателем. Они скажут, что в начале вы же не знали, удастся ли вам их предупредить, и обвинят вас в том, что вы сотрудничали с нами, лишь бы спасти свою жизнь». Действительно, он не знал, сумеет ли предупредить Центр. Но разве лучше было ничего не делать, наблюдать сложа руки за тем, как все рушится? Он резко отвечает своим судьям: «Я фактически находился в горящем доме, а вы упрекаете меня в том, что я стал действовать как пожарник!» Но он прекрасно знает, что любой протест бессмыслен. Сталинская «тройка» подтверждает пророчество шефа зондеркоманды: пятнадцать лет тюрьмы.

Для Панвица и особенно для Кента присутствие Большого шефа в Москве явилось страшной неожиданностью. После его побега Директор не забывал регулярно справляться о нем у Кента: «Известно ли вам, где он находится? Почему он не выходит на связь?» Затем, когда оба приятеля уехали в Германию, им сообщили: «Треппер ушел на дно. Он отказался вернуться в Москву». Таким образом Кенту давали понять, что опровергнуть его оправдания некому и он может безбоязненно вернуться на родину: «обращение» криминальрата будет поставлено ему в заслугу, к тому же он очень просто сможет приписать свои предыдущие предательства Большому шефу. Кент легко попался в ловушку. С помощью услужливого Панвица ему удалось собрать соответствующее досье, в котором он выглядел чистым, как снег, а Треппер был представлен законченным изменником. Но Большой шеф оказался в Москве, и, разумеется, стало трудно доказать правдивость созданной карикатуры. Кенту это не удалось. Но ему были признательны за то, что он склонил Панвица на путь сотрудничества, и эта благодарность спасла ему жизнь.

Центр не скупился на время, допрашивая Панвица. Ему задавали вопросы в течение полутора лет, затем дали отдохнуть четыре месяца, после чего снова начали с нуля, как ни в чем не бывало, и эта вторая серия допросов опять длилась полтора года. Настоящий размах! По утверждению криминальрата, допросы проходили в непринужденной атмосфере. Довольно скоро он изучил русский настолько, что мог понимать поставленные вопросы, — это давало ему время подготовить ответ, пока шел перевод. С другой стороны, русские настолько плохо представляли себе жизнь на Западе, что разговаривать с такими собеседниками было утомительно. Как только возникала деталь, не согласующаяся с советскими понятиями, офицер Центра хмурил брови, и нужно было нечеловеческое терпение и красноречие, чтобы рассеять его подозрения. Панвицу казалось, что он, как исследователь, описывает обычаи дикого племени ошеломленной и несколько недоверчивой аудитории. Это было бы забавно, если бы лекция не затянулась на три года...

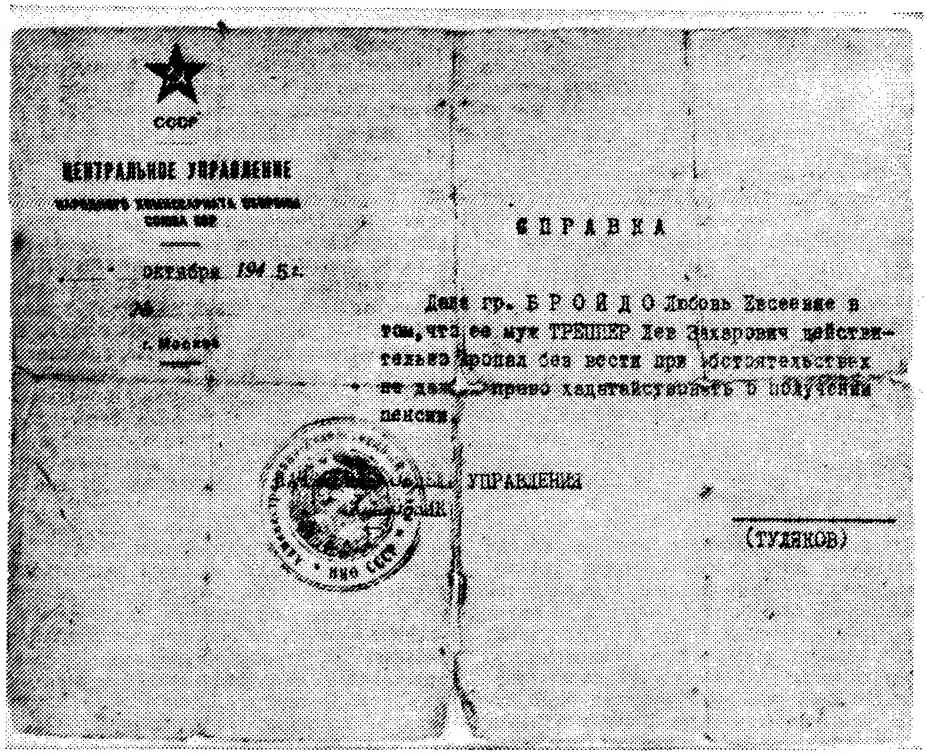
Он ни разу не увидел ни Треппера, ни Кента. Иногда ему зачитывали их заявления, но Центр не устраивал очных ставок. На Лубянке все перемещения были рассчитаны таким образом, чтобы заключенные, проходящие по одному делу, не могли вступить в контакт и даже увидеть друг друга. Он, однако, знал, что они здесь, и не раз размышлял над странным парадоксом: в одинаковых камерах одной и той же московской тюрьмы, на расстоянии нескольких метров друг от друга сидят за решеткой шеф зондеркоманды и руководитель разведывательной сети «Красная капелла».

Когда допросы прекратились, его сослали в сибирский лагерь в Воркуту. Панвиц рассказывает: «Это было тяжело, вообразите только, какой там холод, но приветливость охранников помогала переносить эти тяготы. Коммунистический режим таков, каков он есть, но русский человек — нет слов, чтобы описать, как он добр, отзывчив. Золотой характер! Разумеется, это не мешало соблюдать устав. Если бы охраннику отдали приказ убить заключенного, он без колебаний сделал бы это, но со слезами на глазах. То же самое происходило на Лубянке...»

Наконец в 1955 году лагерные громкоговорители сообщили о том, что в Москве подписано «соглашение с Аденауэром». Старый канцлер добился репатриации всех своих соотечественников. Десять лет прошло с тех пор, как криминальрат, пыжась от важности, прижимая к груди портфель, набитый дипломатическими тайнами, прибыл в Москву в полной уверенности, что перед ним открывается блестящее будущее. Его надежды не оправдались, но он спас свою жизнь; и это было главное. Радуясь тому, что может вернуться домой, он с легким сердцем отправился навстречу «детекторам лжи» своих соотечественников.

В первую же ночь на Лубянке Большой шеф поставил перед собой цель: пережить, пусть хоть на час, «этих людей». Это спасло его. Месяцы шли за месяцами, годы сменяли годы, и казалось, это никогда не кончится, но он по-прежнему был верен своей идее-фикс: пережить их. Эта цель была утесом, за который он цеплялся; никакая волна не смогла бы оторвать его. Треппер видел, как окружающие, друзья поддавались отчаянию и отказывались от пищи; он заставлял себя есть. На его глазах люди буквально погибали, подавленные несправедливостью, жертвами которой стали; злость утомляет, и чтобы сохранить силы и выжить, он не позволял себе злиться. Некоторые заключенные, не выдерживая тяжелых условий, искали утешения в прошлом и порой теряли ощущение времени и разум; он же был целиком устремлен в будущее. За сорок лет беспокойной жизни он затеял и выиграл немало битв, но нынешняя была самой отчаянной — битва со своими.

Среди его товарищей по заключению были авиаконструктор Туполев, известные деяте-



СССР

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

октября 194 5г.

г. Москва

СПРАВКА

Дана гр. В Р О Й Д О Любовь Евсеевне в том, что ее муж ТРЕППЕР Лев Захарович действительно пропал без вести при обстоятельствах не дающих право ходатайствовать о выплате пенсии.

УПРАВЛЕНИЯ

(ТУЛЯКОВ)

ли компартий, генералы, многие из которых входили в штаб маршала Жукова; казалось, на Лубянке собрали элиту России.

Абакумов время от времени приказывал привести его к себе, чтобы поиздеваться. Когда в Канаде была обнаружена советская шпионская сеть, он показал вырезки из западных газет, содержащие намеки на то, что шеф «Красной капеллы», без сомнения, причастен к этому делу. Абакумов со смехом воскликнул: «Вы можете подать на них в суд! Все полиции мира разыскивают вас, а вы здесь, у нас, под нашей защитой и в полной безопасности! Великолепно, не так ли?»

Единственным, кто разгадал его, был следователь. Он старался разговаривать с узником дружелюбно, охотно предлагал сигареты, от которых заключенный, покачав головой, отказывался. Однажды вечером после бесконечного допроса он спросил Треппера: «Вы решили пережить нас, не так ли? Не это ли дает вам силы держаться?» И поскольку Треппер промолчал, тот продолжил: «Я должен кое-что сказать вам: я не буду заниматься вашим досье. В нем ничего нет. Я убежден, что вас держат здесь по каким-то другим причинам, не имеющим отношения к делу. Не знаю, какие последствия это будет иметь для меня самого, но я откажусь от дальнейшего ведения дела. Не могу в этом участвовать». Треппер потянулся вперед, схватил пачку сигарет со стола и достал одну. Следователь улыбнулся и, давая ему прикурить, сказал: «Теперь я знаю, что вы победите. Курильщик, который может отказаться от сигареты,— это многое значит!»

Жена Треппера Люба не подозревала, что он находится в Москве. Директор сообщил, что ее муж «ушел на дно» и что она может не ждать его. Одна, без средств, Люба стала работать, чтобы прокормить себя и двух детей. Она избежала тюрьмы или сибирской ссылки, вероятно, лишь по одной причине: приезжающие из Франции гости, в частности Жак Дюкло, неизменно интересовались тем, как поживает Большой шеф. Им отвечали, что он в спецкомандировке за границей, но на крайний случай предпочитали держать под рукой его жену и детей, чтобы иметь возможность показать их. Вот так и протекала жизнь Любы — между лачугой, которая служила ей жилищем, и бесконечными хождениями из деревни в деревню, с огромным ящиком аппаратуры за спиной; а в это время ее спутник, вместо того чтобы шагать рядом с ней по степи, ходил взад-вперед по своей камере, как это делают все заключенные мира...

И это продолжалось десять лет.

Десять лет.

5 марта 1953 года Лубянку вдруг охватила паника. Надзиратели бегали по коридорам; режим содержания заключенных ужесточился, прогулки отменили. Узники решили, что началась третья мировая война, и очень встревожились. Но это была ложная тревога. Вскоре в тюрьме снова воцарился покой, обычная рутина, и заключенные никак не могли понять, чем был вызван этот переполох.

Через несколько месяцев Большой шеф в очередной раз в сопровождении охранника

углубился в туннель, связывающий тюрьму с министерством госбезопасности. Но его повели не в кабинет Абакумова, а в какую-то комнату, где его ждал очень старый усатый генерал, внешне заметно отличавшийся от молодых сотрудников Центра; казалось, он сошел с картины, запечатлевшей героев Октябрьской революции. Он посмотрел на заключенного и спросил: «Ну, как вы себя чувствуете?» Треппер был так поражен, что не смог ответить: почти десять лет никто не интересовался его самочувствием. Тогда, открыв ящик стола, генерал достал оттуда газету «Правда» и протянул ее заключенному. Это был уже старый номер. На первой полосе была помещена статья, посвященная «заговору белых халатов»; в ней рассказывалось о том, как группа врачей-евреев собиралась убить Сталина. «Что вы об этом думаете?» — спросил генерал. Дважды прочитав статью, Треппер ответил: «Глупости. Это не выдерживает никакой критики. Если бы понадобилось убивать Сталина, для этого нашли бы профессионалов. Не стали бы обращаться к врачам».— «Так вы думаете, что мы делаем глупости?» — «Это с вами случается». Генерал задумчиво покачал головой и достал второй номер «Правды»: «Вот, читайте...» Врачи были реабилитированы. Треппер проглотил статью, но воздержался от комментариев. Старый генерал протянул третий номер газеты, в которой огромными буквами было набрано сообщение о смерти Сталина 5 марта этого же года. Большой шеф не проронил ни слова. Он размышлял: «Сталин умер, но армия и силы безопасности в руках его банды. Они по-прежнему у руля». В ящике стола у генерала был еще один, четвертый, номер «Правды». Он был датирован декабрем 1953 года. Генерал показал его заключенному, и Треппер прочел заметку о казни Берии. И тогда Большой шеф улыбнулся. Он выиграл. Пережил их.

Улыбнулся и сказал: «Товарищ... — И тут же осекся:— Извините меня». Узники Лубянки не имели права называть своих тюремщиков «товарищами». Если они случайно употребляли это слово, охранники орали на них: «Тамбовский волк тебе товарищ!» Генерал сделал рукой нетерпеливый жест и сказал: «Знаете, я раньше работал с Дзержинским. Мы, сотрудники прежнего ЧК, наверное, совершали ошибки, но наши помыслы были чисты. Я уже двадцать лет не работаю в этой сфере. Но сегодня меня попросили вернуться и разобраться в некоторых важных делах. Я начинаю с вас, потому что считаю ваше дело одним из важнейших».

И Лубянка превратилась в «отель». Затем стали отпускать заключенных. Треппер вернулся к жене и детям после пятнадцати лет разлуки. Их поселили в прекрасной квартире, где они могли дожидаться возвращения в Польшу. Радо также вышел из тюрьмы. О Венцеле мне ничего не известно. Даже Кент обрел свободу. Но он просто попал под амнистию, тогда как приговор, вынесенный Большому шефу, высшие советские юридические инстанции отменили «за отсутствием состава преступления».

Попав на Лубянку, когда вторая мировая война еще не закончилась, Треппер вышел оттуда в конце «холодной войны». В последний раз он видел своих детей, когда одному было девять, а другому четыре года; встретился он уже с двадцатитрехлетним мужчиной и восемнадцатилетним юношей: детство и юность сыновей у него украли. Отняли десять лет жизни, которые не в силах вернуть никакое свидетельство о реабилитации. Его заставили пережить и другое — он узнал, в каком отчаянии умирали те, кто пожертвовал всем и взамен не получил ничего, кроме неблагодарности и несправедливости. Кто захотел бы поменяться с ним судьбой? Восторгаясь героями, мы могли бы подумать так: «Я хотел бы, я смог бы молчать под пытками, как Сокол, умереть, цитируя Сократа, как Сюзанна Спаак, сохранить невозмутимость перед эшафотом, как Шульце-Бойзен. Но выдержать то, что пережил Треппер...» — глядя, как он уходит с Лубянки, мы испытываем почтительный ужас.

Не думаю, чтобы он хотел расстаться с читателями вот так, стоя на пороге тюрьмы с узелком под мышкой, постаревший и усталый — типичная жертва сталинского беззакония. «Сталинизм,— говорит Треппер,— это болезнь. Надо было ждать, пока она пройдет». И еще: «Путешествие Париж—Варшава затянулось на одиннадцать лет, поезда ведь порой запаздывают». Он вышел из тюрьмы таким же, каким вошел: коммунистом. И нам, некоммунистам, нравится, что он им остался: ведь если человек, не выдержав ударов судьбы, как бы страшны они ни были, отрекается от своих убеждений — он терпит поражение, и вместе с ним терпит поражение весь род человеческий...

...Можно было бы написать, что война была выиграна в какой-то мере и благодаря Треппер, но он бы этого не одобрил, ибо убежден: «Ни одну битву никогда еще не выигрывала разведка. Победу завоевывают в бою. Сталинград спасли солдаты, принявшие смерть среди его руин. Солдаты — и никто иной».

Леопольд и Любовь Домб-Треппер в Копенгагене в 1974 г.

Возвращение героев

Вот мы и познакомились с первой крупной публикацией на русском языке о «Красной капелле». И пожалуй, справедливо, что ею стала, пусть в сокращенном варианте, именно книга Жиля Перро. Ибо он оказался первым автором, который разобрался в истории группы советских разведчиков, действовавших в Западной Европе накануне и во время второй мировой войны. Сочетая в своих поисках тщательность следователя — а Перро начинал свою карьеру юристом — с настойчивостью репортера, молодой француз сумел добраться до захваченных у гитлеровцев документов и понять, где они скрывали и в чем фальсифицировали истину.

Ради этой цели писатель объехал многих, тогда, в середине 60-х годов, еще живых участников событий как среди антифашистов — членов разведывательной сети и борцов Сопротивления, так и среди их врагов — бывших абверовцев и гестаповцев. И фактически с уже готовой книгой предстал перед тем, кто был ее главным героем,— Леопольдом Треппером.

Только начало

Вторая половина 60-х. Треппер возглавляет в Варшаве еврейское издательское общество и консультирует ЦК ПОРП по национальным проблемам. О его боевом прошлом в Польше не знает практически никто, даже руководство партии. Неизвестно его имя и в Советском Союзе. Это подтверждает и старший сын Лео, Анмартин, названный в честь Андре Марти.

С Анмартином я познакомился совсем недавно, в конце прошлого года, в Москве, куда он приехал впервые после двадцатилетнего перерыва из Копенгагена, где работает преподавателем русской и советской литературы. В далекие 50-е годы Анмартин, студент МГУ, много раз слушал от отца рассказы о судьбах его соратников, но ни одного имени так ни разу и не было названо.

С 60-х годов на Западе появились публикации о «Красной капелле». «Пусть враги пишут что хотят,— не раз говорил отец при Анмартине,— им я отвечать не буду». Лишь приезд Перро с рукописью заставил Большого шефа заколебаться. «Он написал о нас на основе того, что сумел узнать сам,— осторожно отозвался Треппер о книге француза.— Но знает он не все... Теперь, наверное, придется писать и мне».

Между тем вышедшая во Франции книга получила резонанс и в Польше. Отрывки из документального романа Жиля Перро напечатал популярный еженедельник «Политика». Его тогдашним редактором был известный журналист, впоследствии премьер-министр, а затем первый секретарь партии польских коммунистов Мечислав Раковский.

Понадобилось время, чтобы герой книги решился прокомментировать посвященное ему сочинение в специальном послесловии. Эта книга, писал Треппер, хорошее начало, но только начало. Единственный его упрек в адрес писателя сводился к тому, что у Перро не хватило знаний в области военной разведки. В самом деле, автор принял за истину все, что прочитал в захваченных французской армией у немцев материалах, и поверил тем, кто занимался их разбором. «Лично я не верю никаким письменным свидетельствам,— говаривал Большой шеф,— ибо все они пишутся людьми».

Эту фразу отца тоже привел Анмартин, и мне показалось, что я услышал в ней горький аромат той суровой эпохи и той исключительной профессии, которой отдал себя Леопольд.

Если иметь в виду отношение Треппера к документальному роману «Красная капелла», стоит отметить еще одну деталь. Верной спутнице Лео, Любови Бройде, матери трех его сыновей, вряд ли могли понравиться те страницы, где упоминается «боевая подруга» разведчика Жоржи де Винтер. Их взаимоотношениям, с улыбкой заметил тот же Анмартин, автор придал слишком много значения. Кстати, в 1979 году Люба и Жоржи встретились в Брюсселе и подружились.

Но не будем забегать вперед. Тем более что конец 60-х и начало 70-х годов внесли серьезные перемены в судьбу нашего героя. Увы, с благословения властей, в социалистической Польше развернулась антисемитская кампания. И немногие уцелевшие в войну евреи стали уезжать из страны. В знак протеста подал в отставку со своих постов Леопольд Треппер. Выехал в Данию Анмартин, пригласивший затем отца к себе. Но тому не дали разрешения на отъезд. Разразился международный скандал. Сын объявил голодовку, к которой в Париже присоединился искренне привязавшийся к Большому шефу Жиль Перро.

Особый привкус всей истории придало выступление в печати руководителя французской контрразведки Жана Роше. Последний высказал удивление по поводу стараний западной общественности помочь «известному агенту гестапо». В подтверждение своих инсинуаций француз привел документы из гитлеровских архивов.

С помощью парижских адвокатов Л. Треппер подал в суд на Роше, обвинив его в диффамации. И выиграл процесс. Но еще до его окончания правительство сняло Роше с должности и перевело на работу в провинцию. А польские власти в конечном счете были вынуждены выпустить бывшего разведчика за границу.

В 1975 году в Париже Л. Треппер продиктовал свои мемуары, увидевшие свет под заголовком «Большая игра» (русский перевод этой книги выходит в нынешнем году в «Политиздате»).

В своих воспоминаниях Большой шеф рассказывает о борьбе с гитлеровцами и о судьбах членов «Красной капеллы» — о том, что не успел или не смог узнать Жиль Перро. Ибо, оказавшись за рубежом в весьма солидном возрасте и после стольких переживаний, Треппер продолжил свое дело. Нет, я не имею в виду разведывательную деятельность. Последние годы Большой шеф посвятил тому, чтобы выяснить все о своих соратниках, с которыми

разлучила его война, сталинская тюрьма и «тихая» жизнь в Польше.

Кто виноват в провалах!

Он ищет родственников и близких своих друзей, старается помочь тем, кто нуждается в содействии. И в этом смысле до конца остается заботливым руководителем группы антифашистов. Не только они — все мы должны сказать ему за это слова благодарности. Ибо вплоть до 1989 года в Советском Союзе об этих людях все еще ничего не было известно. Каждую попытку рассказать о «Красной капелле» встречали в штыки хранители наших секретов — в том числе те, кто в первую очередь обязан был гордиться своими коллегами по службе и защитить их имена от забвения, второй смерти. Я имею в виду руководителей советской военной разведки.

К сожалению, еще до сих пор кое-кто в «компетентных органах» продолжает повторять уже опровергнутую французским судом ложь о «предательстве Треппера после ареста». А военные молчат. Когда весной прошлого года я готовил первую публикацию на эту тему для «Литературной газеты», те же люди потребовали заменить в моем материале слово «подвиги» на «деятельность». Могу предположить легкую снисходительную улыбку, которая тронула бы губы Леопольда, узнай он о «мудрой предосторожности» своих нынешних коллег.

В самом деле, создавать разведывательную сеть в предвоенной Европе, а потом два с половиной года информировать Москву из оккупированных гитлеровцами стран, стараясь спасти из-под удара — от мученической смерти!— своих людей, суметь после ареста, находясь в тюремной камере, под неусыпным наблюдением тюремщиков, составить подробнейший отчет о провале и, обманув гестапо, передать его на волю, тем самым предупредив Центр о затеянной Берлином радиоигре, наконец, бежать от гитлеровцев... Все это никак нельзя назвать подвигом — обычная деятельность рядового служаки!

Любая разведывательная служба всегда — в силу специфики работы — окутана неким ореолом тайны. Кое-кто у нас и сейчас, полвека спустя, готов прикрыть этой завесой былые ошибки своего ведомства. Даже «неопытный разведчик» Жиль Перро не единожды задает в своей книге вопрос о том, как мог Центр так загружать работой своих радистов-разведчиков, что постоянно ставил их под угрозу разоблачения. С недоумением говорили об этом между собой и гитлеровцы. В результате новые, замечательные для того времени немецкие локаторы нащупывали один передатчик за другим.

Как пошли в штаб-квартире советской военной разведки на включение в радиограмму адресов самых ценных берлинских борцов-антифашистов? Со временем расшифрованные, эти тексты позволили гестаповцам выследить и арестовать сто тридцать патриотов, а затем казнить лучших из них.

Сколько ошибок наделал Директор, глава разведуправления[1], в подборе и направлении на Запад людей, оказавшихся неготовыми к настоящей борьбе и при первой же угрозе ставших сообщниками фашистов! Вроде Кента (он же Сукулов и он же Гуревич), уже в 1947 году приговоренного в Москве к 25-летнему тюремному заключению за измену.

Нет, я далек от мысли представить работу «Красной капеллы» в исключительно розовом цвете или свести деятельность Центра к одним ошибкам. Но коль скоро мы впервые открыто и подробно говорим о неизвестной нам ранее группе военных разведчиков, следует назвать вещи своими именами.

Бесспорно одно: главной причиной серьезных промашек Центра был разгром военной разведки Берзина накануне войны сталинскими палачами. На смену опытным профессионалам и преданным коммунистам пришли после этого случайные, неподготовленные люди. В Центре не проявляли достаточной заботы о своих посланцах за линией фронта — таково, впрочем, было тогда общее отношение к людям-«винтикам». Но и после войны признать свою вину оказалось нелегко.

Тем более что судьба ряда разведчиков после победы сложилась трагически. Вернувшийся в Москву руководитель «Красной капеллы» арестован. Особое совещание выносит ему стандартный для той поры приговор — 15 лет тюремного заключения. И в октябре 1945 года Любовь Евсеевна Бройде, проведшая в Советском Союзе вместе с детьми все тяжелейшие военные годы, получает «справку». «Лев Захарович Треппер,— говорится в ней,— пропал без вести при обстоятельствах, не дающих право ходатайствовать о получении пенсии».

Разъездным фотографом зарабатывает она на пропитание себе и детям, не подозревая о том, что на Лубянке, а потом в Лефортове, всего в нескольких километрах от халупы, приютившей семью разведчика, бессчетными шагами меряет ее муж очередную камеру.

Только смерть диктатора освободила Большого шефа. Дело Треппера прекращено «за отсутствием состава преступления». Он вновь обретает семью и несколько лет спустя переезжает с ней в Варшаву. Реабилитация была, увы, единственным признанием его заслуг.

---

[1] Из книги Ж. Перро может создаться впечатление, что Директор — это один человек, но это не так. После ареста Я. Берзина, руководителя разведуправления РККА, в июле 1937 года, на этом посту работали: С. П. Урицкий, С. И. Гендин, И. И. Проскуров, Ф. И. Голиков (1940 — февраль 1942 г.), И. А. Панфилов (февраль — август 1942 г.), И. И. Ильичев (август 1942 — июнь 1945 г.). Далеко не все они были профессионалами в разведке, да и сама чехарда назначений на такой ответственный пост в столь тяжелое время вряд ли могла способствовать высокому уровню руководства этой важнейшей службой.

Несколько слов о вышедших книгах

Ну а как же все-таки оцениваем мы сегодня роль «Красной капеллы»? Жиль Перро считает ее самой крупной и самой эффективной разведывательной сетью, действовавшей во время второй мировой войны во всей оккупированной нацистами Европе. Но не слишком ли пристрастен французский писатель к своим героям?

Отвечая на мой вопрос, Перро скажет:

— Вспомните слова адмирала Канариса, главы военной разведки «третьего рейха»: «Красная капелла» стоила Германии 200 тысяч солдатских жизней». Для ее ликвидации Берлин создал специальную зондеркоманду из лучших сыщиков страны, регулярно докладывавших самому фюреру. Руководитель сети, Треппер, был одним из тех, кто предупредил Сталина о готовящейся агрессии накануне 22 июня 1941 года. Наконец, даже гитлеровцы с невольным уважением окрестили его Большим шефом и «присвоили» звание генерала...

Но это оценка писателя. А каково мнение профессионалов? Отношения советских военных мы до сих пор не знаем, зато известно, что спецслужбы ряда стран, в частности Англии и Франции, глубоко проанализировали работу группы Треппера. Во всех их материалах «Красной капелле» дается высокая оценка. Французские специалисты характеризуют результаты ее работы как «значительные». Английские резюмируют, что «разведывательным группам удавалось получить те сведения, которых они искали». Леопольда Треппера именуют «агентом международного класса», «чрезвычайно изобретательным и способным разведчиком». В отношении его поведения в гестапо и французы и англичане пришли к выводу, что он не сотрудничал с немцами, а вел двойную игру, чтобы выиграть время и бежать.

Что касается радиоигры гестапо с Центром, то, по мнению британских и французских спецслужб, она успеха не имела. «Немцам не удалась эта игра,— говорится в одном из докладов,— так как, если бы даже русские и не получили предупреждения об обмане, у них все равно должны были возникнуть подозрения: слишком уж внезапно была восстановлена связь после всех трудностей, перенесенных обеими группами».

Увы, обо всем этом я даже не стал говорить с Перро: в том 1984 году, когда мы встретились в его родной нормандской деревушке, никакого продолжения беседы не могло и быть. Ни агентство печати «Новости», собственным корреспондентом которого я тогда работал в Париже, ни какая-нибудь иная газета, журнал, издательство Советского Союза — никто не интересовался историей уникальной разведгруппы.

Обидная в общем-то получилась история. Мы опять переводим книги с иных языков, хотя Треппер и кое-кто из его сотрудников жили не где-нибудь за тридевять земель, а среди нас или рядом с нами. Причем даже в застойные времена нашлись люди, которые хотели поведать миру о «запрещенных» героях.

«В годы большой войны» — так назвал Юрий Корольков двухтомную эпопею о борьбе разведчиков. В кастрированном однотомном сочинении, увидевшем все же свет в 1981 году, имя Леопольда Треппера даже не упоминается. Неоднократно встречался писатель с Большим шефом и вел подробнейшие записи многочасовых бесед с ним. Но все это так и осталось в его архиве. Я пишу «осталось», потому что Королькова больше нет с нами. Как нет и самого Треппера, умершего в 1982 году и похороненного в Израиле.

Но вот передо мной другая книга — «Забудь свое имя» Авторы — Ал. Азаров и Вл. Кудрявцев, «Политиздат», 1972 год. Это рассказ о них — о Треппере, о его бельгийской и французской сетях, о швейцарской группе, которой командовал другой советский разведчик, венгр Шандор Радо. К счастью, контакты последнего с членами разгромленной «Красной капеллы» все же не позволили немцам помешать информационному потоку, шедшему в Москву из нейтральной Швейцарии.

В книге Азарова и Кудрявцева мы тоже не встретим знакомых имен — все закодированы (Большой шеф именуется Сент-Альбером), кроме... гитлеровцев Хотя пересказ реальных событий более или менее достоверен.

Однако попавший мне в руки экземпляр книги необычен. Страницы исчерканы красными и синими чернилами. Чья-то энергичная рука четким почерком вписала в текст слова-комментарии: «ложь», «придумано», «ерунда», «верно». Исправила имена и клички героев, названия городов и улиц, проставила галочки и крестики, добавила примечания.

Эта тоненькая книжица побывала в руках Большого шефа. И вроде бы складно написанная, выглядит теперь инвалидом — столько замечаний и исправлений внес в текст ее главный герой. А сохранил ценнейшую теперь книгу и передал ее редакторам журнала декан факультета журналистики МГУ Я. Засурский.

Есть, правда, на русском языке еще одно произведение, которому повезло чуть больше,— воспоминания Шандора Радо. Переведенные с венгерского и изданные «Воениздатом» в Москве в 1976 году, они названы «Под псевдонимом Дора». Эта книга куда точнее передает факты, но и она подверглась специальной цензуре. Вот, собственно, и весь список посвященной «Красной капелле» литературы.

Впрочем, чему здесь удивляться, если даже в официальном отзыве на мемуары Л. Треппера наши профессионалы воспользовались почти исключительно... характеристиками западных спецслужб. В печать до сих пор практически не попал еще ни один советский документ той поры, касающийся «Красной капеллы». Хотя никакого секрета эти события давно не представляют — это признано официально. Сколько же впереди у нас открытий!

* * *

Прежде чем закончить это послесловие, хочу выразить благодарность одному человеку и высказать одно пожелание. Поблагодарить хочу московского литератора Валентина Томина, сделавшего за последние годы очень многое для раскрытия тайны Треппера и его группы. Именно этот скромный человек дважды подтолкнул на десятилетия застывшее дело своими взволнованными обращениями в Центральный Комитет КПСС. Разумеется, порукой его успеху была перестройка.

А пожелание напрашивается само собой. Его уже высказывали на страницах газеты «Совершенно секретно»: герои заслуживают награды. Советскими орденами и медалями награждены лишь бойцы немецкой группы и швейцарской сети. Да и те, на мой взгляд, оценены недостаточно высоко. Нужно исправить длившуюся столь долго несправедливость и в отношении остальных.

По данным Большого шефа, сорок восемь членов его разведгруппы, арестованных в Бельгии и во Франции, погибли. Расстреляны или обезглавлены нацистами, покончили с собой, умерли в лагерях, пропали без вести. Двадцать девять человек выжило. Около тридцати сумели избежать ареста.

Сегодня в живых остались единицы. Пора, давно пора почтить борьбу и смерть, геройство и муку как павших, так и уцелевших — мы перед ними в долгу.

АЛЕКСАНДР ИГНАТОВ

■

Из зарубежной печати

УОЛТЕР ЛАКЁР

МОНОЛОГ В МОСКВЕ

Из книги «Долгий путь к свободе»

Русь, куда ж несешься ты: «Камо грядеши», как сказано в Святом Писании. Прежде ответ был ясен и прост, прежде Россия была одной из самых предсказуемых стран. Но ныне это не так.

Сегодня в Москве есть что смотреть, есть о чем говорить и, главное, есть что читать. Россия снова тронулась с места. А может, опять — одни стародавние разговоры: мол, пора бы ей тронуться с места? Вскоре после смерти Сталина был опубликован — и тут же запрещен и изъят — один рассказ. Теперь его вытащили на свет божий и часто цитируют: «Скажи прямо, если что неладно,— народ горы своротит за одно прямое слово» (А. Яшин. «Рычаги»). Своротит ли?

Куда ж несешься ты, Советский Союз? Вопрос стар, но задают его все чаще. Во многих странах судьбу народную привычно сравнивают с кораблем:

Плыви, корабль, счастливый путь!
Плыви, Союз, великим будь!

(Г. Лонгфелло. «Постройка корабля», перев. Е. Полонской)

Но бескрайнюю Россию привычно сравнивать с тройкой:

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба?.. что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?..

Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа... Летит мимо все, что ни есть на земли и, косясь, посторанивается и дают ей дорогу другие народы и государства».

Сравнение удивительное, но как же далеко оно от реальности. И дорога уже не дымится, и мосты не гремят, и созерцателей пораженных раз-два и обчелся, коней распрягли, да и ямшика что-то не видно. Напился, верно, опять в придорожном трактире. Созерцатели и впрямь попривыкли к внезапным вспышкам суетливой и бурной деятельности. И несется тройка вскачь под фанфары, но вдруг — поворачивает оглобли, или встает как вкопанная, или бежит и бежит. по кругу.

В книге «Перестройка» Горбачев пишет, что вместо отсталой, полуколониальной, полуфеодальной империи возникла одна из величайших держав мира. Кто спорит? В самом деле, выстроены огромные промышленные комплексы, некоторые уже и устареть успели. Все в стране повально грамотны, а армия сильна и несокрушима. Впрочем, военной мощи России не занимать: еще в 1760 году русские захватили Берлин, а в 1814 году они как-никак и в Париже побывали Совокупный общественный продукт России составляет половину американского: так было перед первой мировой войной, так осталось и по сей день. Рикши Юго-Восточной Азии бегут куда быстрее русской тройки. И лица — в метро, автобусах и ресторанах России — счастьем не светятся. Отчего же люди угрюмы? Чем недовольны?

Недавно я прочел путевые заметки одного английского путешественника:

«Климат в России отвратительный: лето засушливо, урожаи скудны и непредсказуемы, народ часто голодает; зима невыносимо длинна, весной промозгло — того и гляди заболеешь; осенью погода еще пуще располагает к простудам; в стране вовсе нет сносных проезжих дорог; провинциальные города — по сути не города, а разросшиеся сверх меры деревни, нищие, вросшие в землю, унылые, лишившиеся прелести естест-

© Walter Laqueur. 1989.

венной и не спасенные красотою искусства; жизнь здесь дорога́, причем дорога несоразмерно, поскольку добротных товаров в продаже нет; само производство тоже недешево, но работают тут медленно и плохо; быт огромной части населения являет собою картину весьма печальную; в стране лютуют все тягчайшие хвори — вплоть до чумы, а медицинская помощь крайне несовершенна и лишена простейших технических приспособлений; беднота здесь невежественна и отстала, средний класс вял и неопрятен, прогрессу чинятся всяческие препятствия; в стране царит произвол, поскольку все начальники — и большие и малые — деспотичны, нерешительны и нерасторопны. Любое предпринимательство здесь громоздко, без волокиты не обойдешься; взятки — незаменимое оружие деловых людей и государственных мужей; страна с огромным — не считанным даже — населением, по большей части ленивым, корыстолюбивым и ни на что не годным; у граждан нет ни политической свободы, ни элементарных человеческих прав; здесь подцензурно все, даже концертные программы; свобода совести — пустой звук; все поступают лишь сообразно своим интересам, не думая о ближнем; стране этой золотая середина неведома — страна нравственно распущенная и безмерно потакающая собственным прихотям; яркая личность не в чести — ко всему особенному, непохожему тут относятся крайне подозрительно, стоит выделиться, чуть подняться над толпой — тебя ревниво одернут; народ с рабской душой, серый до убожества, все на одно лицо — точно винтики одной бюрократической машины; нация бунтарей-неудачников...» [1].

Слова жестокие, родному сыну еще простятся, иноплеменнику — никогда. Этот суровый приговор был вынесен еще до революции; автор, однако, закончил на радужной ноте — правда, понизив голос: «Doux pays[2], ее пороки очевидны, но вопреки всему Россия неодолимо, неописуемо влечет меня. Вопреки всему я люблю эту страну, восхищаюсь ее народом, преклоняюсь перед ним...»

Это уже слова зашитника, а не обвинителя, и подобная защита зиждется лишь на вере. на тютчевском: «В Россию можно только верить». Когда Александр Герцен увлекся славянофильством, его друг Иван Тургенев сравнил его в письме с медиком, «который, разобрав все признаки хронической болезни, объявляет, что вся беда происходит оттого, что пациент француз...» Тургенев пишет: «Ты мистически преклоняешься перед русским тулупом, и в нем ты видишь великую благодать, и новизну, и оригинальность будущих общественных форм...»

Кто же прав? Герцен или Тургенев? И есть ли страны, которые можно «понять умом»? Заезжим иностранцам Россия всегда представлялась однобоко — одни видели лучшее, другие худшее; и те и другие часто ошибались. За Россией порой не признавали никаких талантов, оригинальности мышления, ей отказывали в глубине мыслей и чувств. Виктор Хен[3] прожил в России сорок лет, говорил по-русски как истый россиянин, но считал, что все русские — прирожденные лжецы, а Пушкин — Байрон для бедных. Его раздражала их мертвенная бледность, их грубые лица. Русским неведомо, писал он, сколько будет дважды два, им не дано водить поезда... Вот удивился бы Хен, встретив живого космонавта!

Хен признавал лишь немецкую культуру: куда уж русским тягаться с Кантом, Гегелем и Шеллингом. Но с другой стороны, русская культура не породила и Адольфа Гитлера. История России печальна, на ее долю выпало много несчастий. И сами русские безжалостней других писали об экономической и духовной скудости России, о последствиях деспотизма, о застойности общества, о реформах, навязанных сверху. В этой горькой и жестокой откровенности с ними не сравнится никто. Первые социальные критики России — Чаадаев и Гоголь, а отнюдь не европейцы. Власти упекли Чаадаева в сумасшедший дом, когда он написал, что Россия «ничего не дала миру, ничем не содействовала прогрессу человеческого разума». А есть ли более суровый критик государства Российского, чем Герцен? Именно он предсказал, что русский человек утратит свои лучшие качества, если деспотизм в России продержится еще сотню лет. А Чехов, написавший, что в его родном Таганроге нет ни одного честного человека? Разумеется, он сгустил краски. Даже Кюстин писал: «Они судят свою страну куда резче, чем я». Они знают о себе все, иностранцы им для этого не надобны. Они знают, что «главным наследием «проклятого» прошлого у нас был вовсе не капитализм (не успел в России развиться), а крепостничество. Глубоко сидело и сидит оно в сердцах, душах и порах людей. Без понимания этого не понять многого в нашем национальном характере» [4]. Поэтому не стоит преуменьшать смысл и роль нынешней эпохи гласности, лишь благодаря ей люди смогли оглянуть — пусть с горечью — в свое прошлое.

Гласность доказала, что дух свободолюбия в России жив. Среди сегодняшних поборников гласности — люди цельные, духовно богатые, мыслящие. Откуда же они взялись? Откуда эрудиция, острота ума, логика, откуда способность убеждать? Речи и статьи последних лет поражают ухо и глаз, привычные к духовному бесплодию и глубочайшему невежеству, которые царили при Сталине и Брежневе. Стало ясно, что земля не вовсе оскудела, что глубоко внутри бродили соки, что не сгинула в России культурная традиция и ее глашатаям нечему учиться у Запада. Герцен однажды написал, что мыслящий россиянин — самое независимое существо на свете. К этому можно лишь добавить, что русский интеллигент во многом превосходит интеллигента западного, он познал страдание и оттого не тратится на причуды и пустую болтов-

---

[1] М. Беринг. Движущие силы России. Лондон, 1914. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Приятная страна *(франц.)*.

[3] В Хен (1813—1890) — немецкий историк культуры, архивист.

[4] См. статью Г. Куницына в «Литературной России» от 26 февраля 1988 г.

ню, оттого его волнуют самые жгучие проблемы современности.

Иностранцы написали о России много скверного, и, конечно, это злило русских. Но Россия и в самом деле была отсталой страной; Флетчер, Герберштейн и Олеарий ничего не преувеличили, когда описывали манеры и обычаи людей в XVI—XVII веках, их церковные обряды, их скрытность и приверженность абсолютной власти. Все эти наблюдения точны и правдивы.

Но отнюдь не все иностранцы были настроены враждебно. Немец Я. К. Коль — составитель путеводителей, а не философских трактатов — первым написал по-доброму о *черном народе*, о черни. В 1842 году он пишет, что мужчины и женщины — с виду отвратительные, грязные, шумные — на деле не так уж холопски покорны, а друг с другом весьма обходительны. У русских даже воры — романтики, они мошенничают и мухлюют лихо, элегантно. Трудно сердиться на них всерьез. Коль отмечает, что русские потребляют неимоверно много водки, но вакханалий в стиле Хогарта он там не видел. И пришел к выводу, что последствия деспотизма и алкоголизма в России куда менее разрушительны, чем в любой другой стране. Он вспоминает Вольтера, который в восьмидесятилетнем возрасте заявил, что кофе, возможно, и яд, однако действует этот яд крайне медленно.

Русские — народ стойкий. Их душили татары, царь, Сталин. Они же вынесли эти и множество иных превратностей судьбы. Другой народ давно бы задохнулся, но — как писал Герцен — легкие у нас крепкие. О слабостях своих они говорят открыто, это ли не признак честности и силы? Не стоит забывать об их тернистом историческом пути, когда начинаются привычные разговоры об алкоголизме, наркомании и распаде семьи. Еще век назад Хен предсказал, что алкоголизм выкосит русских за два-три поколения. Тем не менее они пока живы, а Америке алкоголизм обходится тоже, между прочим, недешево — больше ста миллионов долларов.

Так что смягчающих обстоятельств — пруд пруди, хотя этим не утешить советских вождей, ведь они так верили в превосходство своей системы! Десятки лет они провозглашали упадок Запада и, по-видимому, искренне верили в его обреченность. Но социальные пороки Запада не оправдывают неудач советского строя. После революции прошло 70 лет, где же новая человеческая порода, где Homo Sovieticus, где он, во всем превосходящий своих загнивающих собратьев на Западе? В 1950 году Советы заявили было, что новый человек уже возник, мелькал он и в семидесятые годы, но ныне вновь исчез из поля зрения. В одном журнале я наткнулся на глубокую и горькую мысль. М. Антонов, не самый ярый поборник гласности, пишет так:

«Допустим, процветающий западный бизнесмен, приехав в качестве туриста в СССР, увидел страну с населением почти в 300 миллионов человек, где каждый полностью смог раскрыть свои дарования и стал как Пушкин или Глинка, Ломоносов или Суриков, а их взаимные отношения строятся на внимании, уважении, доброте, готовности помочь, когда люди соревнуются не в погоне за благами, а в человеческом благородстве. Исход соревнования двух систем был бы решен без единого выстрела и без крайнего напряжения сил в стремлении увеличить производство товаров. Но мы долго этого не понимали да и до сих пор, признаться, мало над этим задумываемся. В нашем отношении к культуре господствовал «остаточный принцип»: есть она — хорошо, нет — пока без нее обойдемся».

Многие чаянья первых послереволюционных лет изрядно поблекли. В современном романе, где описывается жизнь страны в тридцатые годы и мысли и чувства молодых подвижников — строителей московского метро, происходит такой разговор:

Тата:

— Как ты думаешь, когда коммунизм будет? Через десять лет будет? А?

Митя (17 лет, но уже комсорг ударной бригады):

— Раньше... Я думаю, сперва коммунизм настанет в Москве, а потом на периферии.

(С. Антонов. «Васька»)

То были высокие порывы; впрочем, природу человеческую за пару десятилетий не изменить, возможно — ее не изменить никогда. Настоящей революции в культуре не произошло, нет ее и поныне. Между желаемым и действительным всегда существовал чудовищный разрыв: русские радикалы мечтали о мировой революции, русские консерваторы возродили идею Третьего Рима и цитировали Достоевского о судьбоносной роли России в мире. Дорогой ценой заплачено за все эти мечтания. А чего достигли?

Да уж, надеялись и уповали много. Тютчев сказал как-то о своей родине, что много в ней грязи, но много и сил потаенных. С ним соглашались не только те, кто пестовал идею об особом предначертании России. Герцен тоже веровал в «широкую» натуру русских. И всегда подчеркивал, что русский характер объединяет в себе лучшие качества французов и немцев. Он полагал, что в России заложен величайший демократический потенциал, что ей уготовано куда более блестящее будущее, чем прочим народам.

Так куда ж несешься ты, Русь? Похоже, возрождаются былые споры между западниками и славянофилами. Некоторые русские историки, включая Плеханова — первого русского марксиста,— всю историю страны рассматривали лишь в свете этих споров. Однако братьев славян — поляков, словаков, чехов, югославов и прочих неблагодарных — сегодня в России не очень-то жалуют. Сейчас снова ищут корни — но лишь в своей, русской истории, в исконно русских традициях. Что до западников, их и в самом деле волнует все западное, но влечет больше культура и социальная сфера, нежели политика. Никто, будучи в здравом уме и твердой памяти, не предлагает перенести западный политический курс и государственное устройство в Советский Союз. Никто не верит, что в обозримом

будущем в России может успешно развиваться парламентская демократия.

Так что ж? Не вернуться ли к автократии — по примеру киевских князей, пригласивших правителя из-за границы («Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет — приходите княжить и владеть нами!»)? Не воскреснут ли консерваторы, уповавшие лишь на Царя-батюшку, который не просто правитель, а божий наместник на Земле; они объявят, что даже преступления властей предержащих надо сносить как кару Господню. Попытки оправдать сталинский террор — вполне в этой традиции: грехи его тяжки, непростительны, но — увы! — иного выхода не было... Россия — это вам не Европа, нет здесь благодатной почвы для свободы и просвещенных, любимых народом правителей.

Среди прочих прекрасных книг эпоха гласности подарила советским читателям сочинения Карамзина — первого великого русского историка. Он современен и по сей день. Вот, к примеру, эпизод, когда Иван Грозный шутки ради отрезает ухо одному из своих воевод. Воевода, однако, «не изъявив ни малейшей чувствительности к боли... благодарил Иоанна за милостивое наказание... Таков был царь; таковы были подданные! Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении...»

Карамзин описывает, какому террору автократов подвергалась Россия и какую великую любовь к автократии вынесла она из этого горнила, свято веруя, что чума, землетрясения и тирания — в руке Божьей; он описывает мученическую смерть на плахе, освященную всепрощением и любовью к отечеству, верой и верностью, без единой мятежной мысли в душе.

Веру из народа вытравили, народ теперь твердо знает, что чуму и землетрясения насылает не Бог, а вот с тиранами дело оказалось посложнее. Не так-то просто изменить натуру человеческую: испокон веков русские любили автократию нежнее и уважали больше, чем демократию. Посол Сугорский пояснил иностранцам, ошеломленным порядками при дворе Ивана Грозного: «Мы, русские, преданы царям и милосердным и жестоким». Жестоким-то, пожалуй, даже больше, чем милосердным. На щите Горбачева новый лозунг: «Демократизация», но демократия — пустой звук, покуда слишком мало демократов, немцы это выяснили — себе на беду — еще в 1918 году. В русском характере много замечательного, но самодисциплина и способность к независимым, неподотчетным поступкам подкачала. И отнюдь не на русской почве созрело определение истории как постепенного движения к свободе. Демократия основана на компромиссе, на здравом смысле и терпимости — именно этого России и недоставало всю жизнь. Один из теоретиков гласности, экономист и прозаик, недавно написал:

«Нет, никогда здравый смысл, трезвость, расчет, умеренность не были популярны на Руси, все так или иначе святую идею искали и только ее и призывали: всё — или ничего! Не надо нам прогресса, не надо нам процветания, не надо нам милосердия и человеческих условий жизни, если это от головы, а не от души. Мы скорее вместе с каким-нибудь новым Аввакумом и себя сожжем, и других спалим — за любую сказку, за любую надежду, если только она от святости, от юродства, если только она от мира того, а не от сего...» (Н. Шмелев. «Пашков дом»).

Нет, сила и гений русских отнюдь не в демократии; возможно, придет и она, но весьма нескоро. Многим русским даже не по себе от избытка свободы. Так нужна ли им эта свобода?

Не вступает ли Советский Союз в новый долгий период авторитарно-бюрократического правления, замешанного на некой разновидности националистическо-социалистической идеологии, когда лишь горстка отчаянных интеллектуалов станет доблестно (но бесплодно) потрясать знаменем свободы. Славянофилы прежних времен были чудаками, их представления о прошлом России иллюзорны, а надежды на будущее — сплошь витанье в облаках. Но Запад они отрицали не понаслышке, Шиллера и немецких философов знали досконально, по-французски изъяснялись не хуже, чем по-русски. А кто из их потомков осмелится — вслед Чаадаеву — сказать, что «не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами»? Сегодняшние русофилы Запада не знают да и знать не хотят. Запад для них воплощен в рок-музыке (они ее терпеть не могут) и в зловещем гигантском заговоре против России и всего русского. От их речей несет квасным патриотизмом, Охотным Рядом и идеями черной сотни.

В прошлом веке Александр Герцен отметил, что «удушливая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякие юродства». Крайне правые силы есть во всех странах — и в Америке, и в Европе. Странно было бы обойтись без них в России И вдвойне странно было бы обойтись без них сейчас, когда разваливается старая идеология. С победой марксизма в 1917 году западники, казалось, одержали безусловную, всеохватную победу. Но прошли годы, и маятник вновь откачнулся назад. Об интернационализме еще вспоминают, но он не в моде. Слишком уж близок «космополитизму» — а это тягчайший, смертный грех.

Большинство славянофилов XIX века консерваторами не были, они знали, что российская жизнь невыносима, а возврат к прошлому невозможен. Русофилы наших дней тоже знают, что русской деревне и всему, что с ней связано, пришел конец, что возрождение немыслимо. Многие русофилы безжалостно описывают нынешнюю жизнь и нравы в стране. Инородцев они крепко не жалуют, но и своих не щадят.

Квасного патриотизма много, но присутствует и самокритика. Не вмешайся русские экологи — из крайне правых,— урон природе был бы нанесен куда больший. Они среди первых поддержали антиалкогольную

кампанию; их взгляды на распад семьи и последствия разводов вполне разумны. Многие западные критики разделяют их недовольство рок-музыкой и поп-культурой. Они довольно точно представляют, что не устраивает их в сегодняшней России: модернизм, либерализм, крупные города-чудовища, бюрократия, евреи, вседозволенность, вездесущие «фармазоны». Бродят в их среде смутные идеи о моральном и культурном возрождении, но они не знают, с какого боку приняться за дело. Они нетерпимы и склонны к истерии, а истерия в политике весьма опасна. Они же главную опасность видят в злых — русофобских — силах внутри России и за границей. В декабре 1987 года Горбачева радушно поили-кормили в Вашингтоне как самого дорогого гостя, в Белом доме пели «Подмосковные вечера», американцы расхаживали в футболках «Я люблю Горби», в столице открылось кафе «Гласность». А русофилы продолжали неистово прорицать и твердить о глубочайшей, жгучей, всепоглощающей русофобии «заклятого врага». Воистину, неистребима нелепость русская.

Неуравновешенных людей встретишь в любом обществе; не стоит, вероятно, принимать политические obiter dicta [5] писателей чересчур серьезно. Некоторым влиянием они пользуются, но не они определяют советскую политику. Кстати, СССР — империя многонациональная, и все русские националисты (за очень малым исключением) вовсе не жаждут ее распада. Да и прогрессивным ли шагом будет, допустим, отделение Туркменистана или Таджикистана? К тому же бюрократия все равно этого не допустит. Слишком дорого заплачено за членство в клубе избранных сверхдержав, не захотят они выходить из клуба ради чистоты расы.

Неизбывна потребность этого народа в официальной доктрине — нужен набор основополагающих идей, дабы узаконить новый режим в их глазах. Что же они выберут? Марксизм-ленинизм старомоден, он превратился в унылую привычку, даже в посмешище. В романе Ч. Айтматова «Плаха» появляется некий партийный деятель — точь-в-точь ходячая передовица из «Правды». Только и говорит что о социализме и партии. Но его никто не слушает, а за глаза над ним просто смеются; короче — это местный придурок. Однако многие догматы марксизма-ленинизма уже впитаны в плоть и кровь, хотя и они постепенно иссякают и все больше смахивают на идеи народников. Зато либералы последние двадцать лет то и дело взывают к Ленину: у него найдется оправдание любой еретической мысли. То Ленин становится врагом бюрократии и мещанства, то — великим прагматиком, то поборником свободы слова и свободы искусства.

Так ныне ведется идеологическая война — противника поражают рикошетом. Допустим, нападают консерваторы на Троцкого, а имеют в виду Ленина и все его окружение, а главное — их радикальные идеи о двух русских культурах: пролетарской и буржуазной, подлежащей уничтожению. По их мнению, Ленин зря связался с Троцким — антирусским космополитом. А некоторые даже порываются сделать Троцкого злым гением Сталина: Троцкий-де презирал русские традиции и надоумил Сталина провести коллективизацию в деревне и милитаризировать общество. Кроме того, правые экстремисты непрерывно твердят об опасностях сионизма. Но сионизм для них не Герцль и Вейцман, не Базельская программа [6] и не государство Израиль. Изредка они признаются откровенно, как, к примеру, в записке из аудитории на конференции в Ленинграде: «Ничего нельзя изменить в нашей стране без отказа от марксизма как глубоко сионистского учения» [7]. Ораторы поизощреннее облекают эту же мысль в более туманную форму, но суть остается прежней. Вообще в России полно мастеров эзопова языка, самому Ленину приходилось когда-то писать о Японии, имея в виду Россию,— его проверяли царские цензоры. Теперь с ленинскими работами поступают так же лихо.

Но русский национализм — в чистом виде, без прикрас — не может стать официальной доктриной многонациональной империи; придется, видно, партийным вождям идти рука об руку с ленинизмом — другого выбора пока нет.

Это означает, что растет поколение (оно уже вошло в жизнь), которое знает все необходимые лозунги и ни в один не верит. Они проходят через Sinnkrise (кризис смысла), как и западная молодежь. Но жизнь между тем идет своим чередом: в Советском Союзе 18 с лишним миллионов начальников и начальничков, они не желают расставаться с теплыми местечками, они кровно заинтересованы в сохранении существующей системы. И сохранят ее во что бы то ни стало. Их радением система обретет второе дыхание.

А пар как-нибудь выпустят — предохранительный клапан всегда найдется. Все ненавидят бюрократию? Пожалуйста — бей бюрократов, отстрел разрешен — конечно, тех, что помельче; армейских не тронь, партийных не тронь, МВД и КГБ не тронь. Прием известный еще с царских времен, им не брезговали и крайне правые силы. Бюрократы и тогда были главными злодеями: мешали единению царя с народом... Не рискованно ли, однако, подрывать веру в слуг государства? Еще русский «философ» Козьма Прутков говорил: «Только в государственной службе познаешь истину». Впрочем, бюрократию на откуп не отдадут. Зайди критики чересчур далеко — их тут же одернут. И всех непременно объединит старая знакомая — психология «осажденных»: и бюрократы, и ультраправые уверены, что Отечество в опасности. Бюрократы, может, и не вполне уверены, но с таким лозунгом управлять государством куда легче.

Звучит все это крайне цинично. Где вы, старые русские интеллигенты-идеалисты,

---

[5] Сказанное вскользь, мимоходом *(лат.)*.

[6] Программа территориального восстановления еврейского государства, принятая в Швейцарии на I сионистском конгрессе (август 1887 г.), когда была создана Всемирная сионистская организация.

[7] См.: «Советская культура» от 24.XI.1987 г.

что вдохновили весь мир на борьбу за свободу? Увы, эту русскую интеллигенцию давным-давно стерли с лица земли. Лишь надежда еще жива, еще теплится в душах огонь, но он трепещет на шквальном ветру — того и гляди погаснет. Нынешний взлет может смениться спадом; появись в России новый Гоголь, не вернется он к образу чудной тройки, что несется мимо пораженных чудом созерцателей. Скорее он сравнит Россию с шествием, которое на каждые четыре шага вперед делает три шага назад. Это не скорейший путь к прогрессу, на нашем веку прогресс, вероятно, не предвидится. Да благословен будет путь пилигримов!

Постепенное освобождение от бремени прошлого можно сравнить и с исходом из Египта сынов Израилевых. Многим советским мыслителям приходит сегодня в голову это сравнение. От Египта до Палестины не так уж далеко, но недаром Моисей вел людей сорок лет — таково было веление Божье, иначе блуждающие могли преступить десять заповедей в день искушения в пустыне.

Сегодня, как и век назад, многие русские свободолюбцы твердят словно молитву:

И от ярма порабощенья
Твоих избранников спаси,
Которым знамя просвещенья
Господь! ты вверишь на Руси!..

(Н. Некрасов. «Гимн»)

Свободу, однако, не дарует ни Господь, ни даже Генеральный секретарь — она воцарится лишь тогда, когда большинство возжаждет ее и станет за нее бороться. Один ведущий славянофил в открытом письме к царю писал, что русских форма правления не волнует, нет у них стремления к самоуправлению и политическим свободам, нет ни малейшей жажды власти. Многие до сих пор думают так же.

Заманчиво считать последние 150 лет в России историей свободы, но это неверно. На сегодняшний день рабство уже позади, но люди еще в пустыне, лишь мечты их благородны и устремлены к свободе. Они повидали немало ложных рассветов, но надежда жива в их сердцах.

Перевод с английского ОЛЬГИ ВАРШАВЕР

МИЦУЁСИ НУМАНО

Из книги «За одну остановку до вечности»

Солженицын или Синявский?

Одни писатели громогласно заявляют о своих политических убеждениях и претендуют на роль духовных наставников общества. Другие предпочитают воздерживаться от любых сентенций, не связанных с проблемами чисто литературными. Безусловно, нельзя утверждать, что одна из этих позиций верна, а другая — нет. Бывает, что по политическим высказываниям писателя оценивают и его литературное творчество, но это уже называется: за деревьями не видеть леса. Вот и в случае с Солженицыным западные журналисты, охотно используя политические заявления писателя, почему-то очень мало интересуются самими его произведениями. С точки зрения литературы важнее всего было бы выяснить, какие изменения произошли в творчестве Солженицына после высылки из Советского Союза, однако такого рода проблемы, к сожалению, мало кого занимают. Не стану сейчас развивать эту тему, приведу только один весьма красноречивый пример, связанный с романом «В круге первом». Сушествует два варианта книги: один подготовлен к печати с учетом рогаток советской цензуры, второй, «бесцензурный», вышел в свет уже после того, как автор оказался на Западе (хоть хронологически он и является более ранним). Второй вариант изобилует высказываниями откровенно политического характера, отчего в художественном отношении явно проигрывает. Парадоксальное это явление вовсе не ново для России, где писатели, работая в условиях жесточайшей цензуры, путем долгих экзерциций в совершенстве овладели искусством пресловутого эзопова языка — это давняя, еще с прошлого века идущая традиция.

Позиции Солженицына здесь я хотел бы противопоставить позицию Андрея Синявского. В 1965 году этот писатель, обвиненный в том, что под «еврейским» псевдонимом «Абрам Терц» издавал на Западе «антисоветские» произведения, был осужден на несколько лет лагерей. Отбыв срок, он эмигрировал и в настоящее время живет в Париже, занимаясь литературным трудом. Он, безусловно, тоже принадлежит к числу так называемых диссидентов и относится к советской системе критически, но деятельность его находится всецело в сфере литературной и никак не связана с политикой.

Во время неприличного фарса, в который вылился «суд», Синявский, в ответ на требования прокурора прекратить читать суду литературные лекции, сказал: «Я не политический писатель. Ни у одного писателя его вещи не передают политических взглядов... Мои произведения — это мое мироощущение, а не политика». Прекрасный ответ. И я полагаю, что этого писателя, тихого человека, сложения отнюдь не богатырского, можно назвать вполне достойным оппонентом «гиганту» Солженицыну.

В последние годы Синявского очень тревожит то, что в движении, противостоящем советской системе, все сильнее звучит нота религиозности, замешанной на нацио-

© Mitsuyoshi Numano, 1989.

нальном самохвальстве и идее избранничества. Эссе «Сны на православную пасху» (1980), в котором были открыто высказаны опасения такого рода, может в известном смысле восприниматься и как критика в адрес Солженицына. Синявский — человек глубоко религиозный, однако он воспринимает веру как дело сугубо личное и считает себя не вправе рассуждать о Боге. В религиозных вопросах он всегда крайне сдержан. Синявский предупреждает: «религиозный Ренессанс», наблюдаемый в среде оппонентов советской системы, может стать основой для нового господства церкви, и тогда на смену былому социалистическому фашизму придет фашизм религиозный.

Умеренность, либеральность взглядов Синявского проявляются не только в отношении к религии. Возьмем, например, повесть «Крошка Цорес». Если сравнивать ее с более ранними повестями «Любимов» и «Суд идет», то видно, что социально-критический мотив звучит здесь еще приглушеннее; важнее всего автору образ самого героя, «маленького человека», гонимого и преследуемого судьбой, но все же чудесным образом избегающего гибели. И в этом, особенно проявившемся в эмиграции, интересе к индивидууму, внутреннему миру человека Синявский противоположен Солженицыну — тот в изгнании всецело погрузился в создание монументальной эпопеи «Красное колесо», посвященной истории революции, и ему теперь, судя по всему, не до «маленького человека» с его маленьким «я». Цорес, рассказчик и главный герой повести Синявского, желает людям только добра, но тем не менее становится причиной гибели пятерых своих старших братьев, один из которых тонет, другой погибает в лагере, третьего убивают на войне, четвертый умирает от инфаркта, а пятый попадает под колеса самосвала. В общем, широчайший ассортимент смертельных исходов, что уже само по себе, очевидно, является своего рода аллегорией советской истории. Кстати, имя главного героя на идише означает «горе», «несчастье». В то же время образ Цореса (он внушает ужас даже собственной матери, которая от него отказывается) пересекается с образом неприкаянного безобразного «пришельца» из более раннего фантастического рассказа «Пхенц». И в том и в другом персонаже проступают черты писательского автопортрета, пропущенного сквозь фильтр горькой самоиронии. Цорес, единственный из шести братьев, даже носит фамилию Синявский (!), которая связывает его с загадочной фигурой никогда им не виденного отца — как можно догадаться, писателя.

Повесть заканчивается в несколько сюрреалистическом ключе, когда духи погибших братьев, перебивая друг друга, говорят о погибшем отце Цореса. Читатель так и остается где-то посередине между реальным пространством и пространством фантастическим. Повесть посвящена Э.-Т.-А. Гофману, что уже намекает на принадлежность к фантастическому жанру (в названии прозрачно обыгрывается гофмановский «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»). Погибшие из-за Цореса братья появляются уже в качестве духов и ведут странные речи о том, что будто бы это Цорес умер, а не они. А женщина-врач Дора, преподнесшая мальчику Цоресу волшебный дар слова и в обмен забравшая дар любви, оказывается феей и вновь предстает перед немолодым уже героем в обличье юной девушки, олицетворяя образ «Вечной Женщины».

Эта фантастическая, мистическая традиция присуща русской литературе и идет от Гоголя, а возможно, восходит и к древнему, своеобразному жанру, именуемому «сказом». Ироническая манера письма Синявского расцвечена всевозможными отступлениями. То писатель вдруг с большой любовью углубляется в рассуждения о собаках, то подробнейшим образом начинает описывать книжный шкаф, который постепенно преображается в некоего неведомого зверька... Временами в отступление вкрапляются блестящие, оригинальные мысли по поводу литературы: «А между тем я не знаю другого определения прозы, кроме как дрожание какого-то колокольчика в небе, не говоря уже о стихах. Знаете, как бывает, все кончено, но дрожит колокольчик, и это необъяснимо, но доносится издалека, с того конца света...»

На одном симпозиуме Синявский говорил о значении разновидности современного русского фольклора, именуемой «анекдотом». Его интерес к столь, казалось бы, незначительному и несерьезному предмету имеет некую глубинную связь со взглядами писателя на литературу в целом. В определенном смысле история гибели всех пяти братьев Цореса тоже изложена в жанре анекдота. А раз так, то не будет преувеличением сказать, что «Крошка Цорес» — произведение в высшей степени честолюбивое, поскольку в нем предпринята попытка соединить приемы литературной фантастики с игрой воображения современной народной массы.

В самом деле, «Крошка Цорес», если сравнивать его с монументальной солженицынской прозой, «мелковат» и по объему, и по теме. Но Синявский лучше кого бы то ни было знает, насколько чарующе, магически прекрасной может быть эта «мелкая литература». «Большое — это малое, малое — это большое...» Так и кажется, что волшебное это заклинание доносится откуда-то «издалека, с того конца света...»

Встреча в Вене

Прошлым летом я ездил по делам в Вену и как-то раз, когда некуда было себя деть, сидел в холле гостиницы. Гостиницу я выбрал подешевле — в аэропорту присоветовали,— поэтому холл выглядел довольно невзрачно. В соседнем кресле сидел еще один постоялец, кажется, тоже не обремененный срочными делами, а больше никого и не было. Ничего особенно примечательного в моем пожилом соседе не оказалось, и я рассеянно перевел взгляд на толстую книгу

в его руках. На обложке было написано: «Немецко-русский словарь». Мне стало любопытно, кто это такой — трудно было предположить, что советский гражданин станет селиться в таком отеле, да еще в одиночку. Решил заговорить.

Услышав от незнакомого азиата русскую речь, постоялец поначалу насторожился, но затем, решив, что ничего подозрительного во мне нет, охотно поддержал разговор. Он оказался советским евреем, эмигрировавшим в Израиль и ныне преподающим физику в одном из тамошних университетов. В общем, вполне заурядная судьба для еврея советского происхождения, но мне запомнилась одна история, которую рассказал мне собеседник.

Несколько лет назад, когда он еще жил в СССР и только бегал по инстанциям, дожидаясь разрешения на выезд, ему случилось ехать куда-то в поезде дальнего следования. В купе он разговорился с попутчицей, пожилой женщиной, и, слово за слово, сказал, что собирается эмигрировать. «Когда я проговорился, что уезжаю из России в Израиль, она просто остолбенела. Я видел, она изо всех сил думает, какую бы гадость мне сказать. Ничего особенно хлесткого не придумала — видно, образования не хватило — и в конце концов говорит: «Это же надо — Родину бросить. Нет, правду люди говорят: нету у вас, евреев, ничего святого». А я ей в ответ: «Было, говорю, было у нас святое, да больно долго топтали. А останешься — и вовсе растопчут. Чтоб это святое-то сохранить, и уезжаю».

Я был достаточно наслышан о преследовании евреев в Советском Союзе, и меня поразило совсем другое — до чего же живо, осязаемо звучали в устах моего собеседника совершенно абстрактные слова: «Родина», «святое», «растопчут святое». Каждый раз, когда пожилой еврей произносил что-нибудь подобное, я чувствовал: нет, для него это не абстракция.

В октябре я присутствовал в токийском университете Васэда на лекции советского литературного критика Вадима Кожинова, и когда тот заговорил о проблеме советского еврейства, забытый было венский разговор вдруг всплыл у меня в памяти. Я знал о националистических воззрениях Кожинова и, в общем, заранее представлял себе, что он может на эту тему сказать, но откровенность, с которой лектор изложил свою позицию, признаться, меня поразила.

Из аудитории задали вопрос об отношении выступающего к советским писателям еврейского происхождения. Кожинов ответил: «Я вовсе не считаю, что раз еврей, так сразу уж и плохой. Моя жена, например, тоже еврейка, но душой и телом принадлежит России. Хочешь в Израиль уезжать — пожалуйста. Плохи те евреи, которые живут-то в России, а русских патриотов поливают грязью». Цитирую по памяти и за дословное воспроизведение ручаться не могу, но смысл высказывания был именно таков, а лишенные всякого смысла слова «плохой», «плохи» до сих пор так и звучат в ушах.

Национальный вопрос — проблема для советского общества одновременно и новая и старая. В последнее время, по мере вызванного перестройкой расширения свободы слова, эта проблема заявляет о себе все чаще. Многие считают, что малейшая ошибка в национальной политике чревата для горбачевского режима необратимыми последствиями. И национальная проблема далеко не исчерпывается одним лишь политическим аспектом. Самым непосредственным образом врывается она и в литературный мир, где вокруг этой тематики идет ожесточеннейшая борьба. Немалый вес на литературной арене сейчас приобрели русские националистические круги, представленные такими литераторами, как Кожинов. Образовалось два противостоящих лагеря, именуемые один «националистическим», другой — «прогрессивным» (в последнем, разумеется, велика доля писателей нерусского происхождения); оба лагеря добиваются эмоциональной поддержки широких народных масс. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что большинство так называемых «деревенщиков» и писатели-эмигранты круга Солженицына в идейном отношении близки к «националистам». Одним из представителей этой группировки является, в частности, Астафьев, с именем которого даже связан произошедший пару лет назад скандал: писателя обвиняли в «оскорблении грузинской нации».

Националистическое мировоззрение изначально считалось несовместимым с коммунистическим и в принципе должно было бы расцениваться властями как «антисоветское», поэтому особенно любопытно то, что сегодня оно практически имеет официальное признание — это сила, с которой нельзя не считаться.

Некоторые объясняют это явление тем, что авторитет марксистско-ленинского учения пал необычайно низко, и быстро набирающая силу националистическая идеология стремится заполнить образовавшийся вакуум. Следует при этом иметь в виду, что идея национализма по природе своей консервативна и коренным образом противоречит горбачевскому курсу на модернизацию советского общества, а значит, может в скором будущем превратиться в мощную оппозицию перестройке. Исследователь русской средневековой литературы Лихачев, которого называют «совестью русского общества», сказал: «Культура должна быть открытой» («О русском»), и лучше всего сегодняшнюю культурную ситуацию в СССР характеризует тот факт, что эта простая истина звучит нешуточным предостережением.

И все же, по-моему, не стоит впадать в пессимизм. Национальные страсти действительно накалены, но ведь эти антагонизмы существовали издавна, просто прежде проблему замалчивали, а сейчас она вышла на свет божий. Наоборот, открытое ее обсуждение уже является, на мой взгляд, определенным шагом вперед. Кажется, что-то в этом роде я сказал и своему венскому знакомому. Однако он, увы, со мной не согласился. «Знаете,— сказал он,— советское общество можно сравнить с пирамидой: до тех пор пока не изменилось основание, не будет существенных изменений и во всей

конструкции. Неужели вы думаете, что толпу — скажем, ту тетку из поезда — можно быстро переделать? Как бы ни стремилась верхушка к реформам и переменам, все благие начинания увязнут в средней части пирамиды. Слава Богу еще, если не кончится новой диктатурой». «Ну хорошо,— не стал спорить я,— оставим в стороне реальные результаты, но разве вы не считаете политику, которую проводит Горбачев, правильной в главном?» Собеседник, устало вздохнув, произнес в ответ: «Как вы еще молоды...» Может быть, ему была тягостна мысль, что брошенная им страна может вдруг взять и воспрянуть? Прощаясь, я сказал: «Очень приятно было побеседовать», а в голове вертелась строчка: «Горек хлеб изгнанья».

Перевод с японского Г. ЧХАРТИШВИЛИ

От редакции

Заметим сразу: кое-что в прочитанном смущает, а кое-что даже вызывает чувство внутреннего протеста.

Кажется, например, что ученый такого класса, как У. Лакёр, мог бы, рассуждая о шансах перестройки, опираться не на одно лишь таинство национального характера. К тому же история напоминает о разном. Да, было покорство, но был и могучий порыв к свободе, были воля и энергия сопротивления. Автор, впрочем, об этом говорит, но как-то вскользь, ограничиваясь общей фразой. Правда, приходится слышать иногда, что и декабристы, и революционные демократы вдохновлялись заимствованными, чуждыми русскому духу идеями, но, бесспорно, У. Лакёр мыслит достаточно здраво, чтобы заподозрить его в сочувствии подобным взглядам. Словом, современникам, взявшимся за коренную реформу изжившей себя системы, есть на что опереться и это, не в последнюю очередь, мешает согласиться с безрадостными прогнозами.

М. Нумано, как нетрудно заметить, смотрит на наше будущее более оптимистически, возлагая надежды на литературу, которая способна пережить любые потрясения, сохраниться и сохранить человечность. К этой позиции хочется от души присоединиться, жаль только, что уважаемый исследователь, резонно сетуя на исчезновение в нынешних спорах о художественном творчестве понятия «художественность», сам уклоняется от нее в сторону публицистики. В результате могучая личность Александра Солженицына — писателя и проповедника — лишается свойственной ей многогранности и полноты.

Однако же, не за тем, разумеется, редакция, вопреки обыкновению, решила воспользоваться своим правом на комментарий, чтобы в лучших традициях идеологической борьбы поправить, а то и одернуть неразумных чужеземцев.

Надо, кстати, представить их читателю. У. Лакёр возглавляет лондонский Институт современной истории и одновременно Международный исследовательский совет при вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Ему принадлежит целый ряд трудов, посвященных русской и советской истории; публикуемый фрагмент взят из его последней книги «Долгий путь к свободе».

В этом фундаментальном исследовании автор пытается дать всеобъемлющую картину политических, социальных, экономических, культурных перемен и тенденций, характерных для эпохи гласности.

В названии второй из представленных книг тоже присутствует мотив пути, долгой и трудной дороги, выпавшей на долю нашей страны и ее культуры,— «За одну остановку до вечности». Мицуёси Нумано, доцент Токийского университета, исследователь творчества Ю. Олеши, А. Синявского, Д. Хармса, Саши Соколова, А. Битова, не ставит себе задачу, подобно Уолтеру Лакёру, охватить все грани гласности. Предметом его исследования является современное состояние советской литературы.

Словом, оба наши автора — люди в своем деле не случайные и не рядовые. И в то же время их взгляды можно счесть до известной степени типичными, во всяком случае широко распространенными. Именно поэтому они представляют существенный интерес. И именно поэтому побуждают не столько к полемике по частным поводам, сколько к раздумьям о той идейной борьбе, ход которой самым непосредственным образом влияет на судьбы перестройки. А стало быть, и на судьбы мира.

Много говорят о строительстве общеевропейского дома. Немало и делают для того, чтобы метафора стала реальностью. Заметно в то же время, что основной упор и в разговорах, и в делах приходится на политику, экономику, экологию. Культура, во всем объеме этого понятия, отодвигается в тень. Между тем следует отдавать себе ясный отчет в том, что любой, самый замечательный проект будущего здания Соединенных Штатов Европы останется всего лишь воздушным замком, если усилия чисто практического свойства не будут поддержаны усилиями духа, глубоким обновлением сознания людей и народов. Именно сознания, а не просто политического мышления, что, разумеется, тоже существенно. Это процесс долгий и мучительный, у него свои сроки и законы, вряд ли регулируемые постановлениями и декретами, как бы хороши они ни были.

Но одно дело — трезвое осознание трудностей и воля к их преодолению, другое — сознательное стремление к автаркии. К сожалению, оно приобретает ныне манифестальный характер.

Мы избавились или по крайней мере избавляемся от бесплодного и опасного нарциссизма в социально-политической сфере.

Стало очевидным, что тяжелые недуги экономики можно победить, лишь отказавшись от догматов тотальной государ-

ственности, то есть на пути тесного сотрудничества с иными системами.

Но в духовной области, в области культуры наблюдается, парадоксальным образом, попятное движение. Язык, изначально предназначенный для общения, становится средством разделения. Общечеловеческая идея встречает дерзкий вызов со стороны идеи национально-замкнутой, самодостаточной, всячески оберегающей себя от внешних контактов. Одну мессианскую проповедь — социальной исключительности — хотят заменить другой: проповедью превосходства духа и культуры. Оживают мрачные призраки былого, нас едва ли не открыто зовут к новому крестовому походу против «безродных космополитов», только эвфемизмами больше не пользуются, называя вещи своими именами: не класс, но раса.

Разъединительные тенденции дают о себе знать сильно и повсеместно. Увидим, насколько эффективными они окажутся в хозяйственной жизни (республиканский хозрасчет и т. д.). Но применительно к культуре понятия свободы, независимости, самостоятельности, как ни привлекательно все это звучит,— фикция. Именно к культуре, а не к культурной политике, которая, разумеется, может способствовать расцвету, а может подавлять, причем самым бессовестным образом, творческую волю людей и целых народов. Что, к несчастью, имело место. Плоды пожинаем сейчас. Уместно привести тут глубокое рассуждение академика Д. С. Лихачева: «Не только каждая литература, но и каждая культура «несамостоятельна». Настоящие ценности культуры развиваются только в соприкосновении с другими культурами, вырастают на богатой культурной почве и учитывают опыт соседей. Может ли развиться зерно в стакане дистиллированной воды? Может, но пока не иссякнут собственные силы зерна, потом растение погибает, и очень быстро. Отсюда ясно: чем «несамостоятельнее» любая культура, тем она самостоятельнее».

Непостижимы попытки навязать национально-эгоистическое мировоззрение народу, обладающему великим культурным преданием. Иные претенденты на роль духовных вождей русского народа разжигают шовинистические страсти, истерически нагнетают режим осадного положения («новый Сталинград» и т. д.), с необычайной энергией, хотя и без особенной изобретательности создают образ врага — опять-таки уже не классового, а расового.

В обиход прочно вошло понятие «русофобия». Что это такое, применительно к культуре, объяснить никто не может, да и не пытается. Тут расчет на инстинкт. А инстинкт толпы — дело страшное, нынешний наш день кроваво об этом напоминает. Неужели страстные ревнители «русской идеи» и «русской стихии» не видят того, что видно всем — и изнутри и снаружи?

Какая уж тут общечеловечность, какой европейский дом, если и свой дом столь безрассудно подрывается неумеренными амбициями и эмоциями?

По теперешним временам приходится оговаривать даже самоочевидные вещи. Обидно, конечно, но что поделаешь. Гёте не надо было извиняться перед соотечественниками за призыв всячески способствовать наступлению эпохи всемирной литературы. Элиот говорил, что Данте прежде всего европеец, уж потом итальянец и патриот. И никто его, насколько известно, не обзывал безродным космополитом. У нас же в некоторых кругах такого рода утверждения способны вызвать нервическую, а то и агрессивную реакцию. Потому, во избежание недоразумений, надо заметить следующее. Среднеевропейская культура — дурная абстракция. Общеевропейский дом культуры — не общежитие анонимов. Каждый сохраняет в нем свое лицо и свои традиции. Но каждый же, не желая выделиться и не претендуя на особо комфортабельную квартиру, заключает контракт доброй воли и творческого общения с соседями.

...Такие вот не вполне веселые мысли навевает самая, казалось бы, обычная журнальная публикация.

И все же завершить комментарий хотелось бы на осторожно-оптимистической ноте. Моральный авторитет общечеловеческих идей слишком велик и прочен, он способен выдержать любые покушения. Иное дело, что они, эти идеи, требуют не просто клятв в верности, но прежде всего практической повседневной работы.

Именно поэтому главную свою задачу мы, в соответствии со спецификой нашего журнала, видим в развитии диалога культур, укреплении духа терпимости и взаимопонимания.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ХРИСТОМ И ПЕРЕД СОВЕСТЬЮ...»

Дискуссия на тему «Христианство и марксизм», состоявшаяся в Западном Берлине (июнь, 1989 г.) в рамках Дня евангелической церкви

Ф. ХИТЦЕР[1]: Упуская возможность своевременно провести диалог, мы подчас лишаемся ценных познаний и опыта, и последствия этого промедления по большей части весьма болезненны. Только задним числом мы понимаем, какими потерями обернулись такие упущения.

Позвольте сейчас представить гостей из Советского Союза: Чингиз Айтматов, рядом с ним — протоиерей Александр Мень. Нашу страну протоиерей посетил впервые, и я очень рад видеть его среди нас. Николай Анастасьев, литературовед, заместитель Айтматова в журнале «Иностранная литература». Его приезд к нам не случаен. Дело в том, что не так давно этот журнал уже принимал участие в дискуссии, ради которой сегодня собрались мы с вами.

Несколько слов о немецких участниках дискуссии. Доротея Зёлле, автор известных теологических трудов, публицистических книг и поэтических сборников. Возле нее — Куно Фюссель, католический теолог из Мюнстерского университета.

Итак, каково значение диалога между христианами и марксистами сегодня, для всех и каждого, и прежде всего для тех, кто сидит за этим столом. Позволю себе спросить вас, отец Александр: какое место занимает этот диалог в вашей жизни?

А. МЕНЬ: Дорогие друзья! Я думаю, что, когда мы поднимаем вопрос об этом диалоге, мы стоим на пороге огромного изменения во всем христианском мире, на пороге преодоления огромной исторической трагедии. Эта трагедия заключается в том, что два пути, которые одновременно завещаны нам Христом, две главные заповеди, которые Он поставил в центре Своего Евангелия, оказались разделенными. Напомню вам, что это заповеди о любви к Богу и о любви к человеку. На протяжении многих столетий в христианском мире заботе о земном устроении человека уделялось недостаточно внимания. Мы знаем, что социальные недуги древнего мира и средних веков, а также и нового времени воспринимались христианами как нечто естественное и неизбежное. И когда появились движения, которые пытались улучшить материальную жизнь человека, они оказались в конфронтации с духовным христианским идеалом. Между тем эта конфронтация была равнозначна рассечению человека, разделению в нем души и тела. Она приводила к ожесточенным нападкам с двух сторон. Каждая сторона справедливо упрекала другую. И только сегодня мы остановились на мгновение, чтобы задуматься над тем, что живем мы на одной земле и что наши конкретные цели могут не находиться в противоречии. Евангелие отнюдь не запрещает трудиться ради земных нужд человека. Борьба за социальную справедливость совсем не обязательно должна быть связана с отрицанием духовных ценностей веры. Сегодня, когда мы стоим друг перед другом, мы не ищем гибрида между христианством и марксизмом. Этот гибрид был бы монстром. Нужно только, чтобы христиане стали более христианами, чем они были, и чтобы те, кто борется за социальную справедливость, не игнорировали духовные ценности, как то случалось часто в былые времена. Конфронтация, если она будет продолжаться, приведет к глубокому и затяжному кризису человечества. Христиане и марксисты являются сегодня представителями наиболее распространенных на всем земном шаре учений. И на них ложится ответственность перед Христом и перед совестью за свое дело на земле. Я напомню вам слова великого русского философа Николая Бердяева: «Когда ты голоден, это биологическая проблема. Когда голоден рядом человек, твой брат, это уже нравственная проблема». Спасибо.

Ф. ХИТЦЕР: А теперь я попрошу высказаться Куно Фюсселя, католического собрата Александра Меня.

[1] Фридрих Хитцер (ФРГ) — драматург, прозаик, публицист, переводчик. См. «ИЛ», 1989, № 6, с. 242. *(Прим. ред.)*

К. ФЮССЕЛЬ: С тех пор как я стал теологом, я работаю с Карлом Вернером. В то же время именно как теолог я многому научился у марксистов. В связи с этим я хотел бы остановиться на некоторых исторических и систематических аспектах диалога между христианами и марксистами. Прежде всего следует различать два этапа этого диалога. Первый этап относится к шестидесятым годам, он уже стал историей. Тогда, по завершении II Ватиканского собора, началось новое сближение христиан с мировыми религиями, а также с атеистами. Со стороны католичества особый вклад в развитие диалога внес Карл Вернер, советник Павла VI. Наряду с ним в движении приняли участие ученые из Польши, Советского Союза, Чехословакии, Венгрии, Франции, Италии, Испании. К сожалению, среди них было немало и тех, кто, подобно Адаму Шаффу и Лешику Колаковскому, Михаилу Маховцу и Роже Гароди, сделал из диалога весьма противоречивые выводы. Подводя итог, можно сказать, что в результате первого его этапа такие социально-этические вопросы, как вопрос о смысле отдельной человеческой жизни,— а значит, и о личности индивидуума, о счастье, страдании и смерти,— заняли новое место во внутренней марксистской дискуссии. Вскоре, однако, верхние эшелоны обеих систем — я имею в виду прежде всего глав католической церкви и руководителей коммунистических партий— потеряли интерес к диалогу, и он угас, что свидетельствует о том, насколько он уязвим при отсутствии прочного фундамента.

Что же касается второго этапа, то его можно было бы охарактеризовать словами: «от диалога к кооперации». В 1971 году, во время визита в Чили, Фидель Кастро произнес знаменательные слова, воистину открывшие целый материк для сотрудничества: только вместе с христианами, сказал он, марксисты смогут осуществить революцию. Начиная с этого времени, последовательно проводилась совместная работа, в которой участвовали соответствующие организации коммунистических и социалистических партий, профсоюзов, а также организации, подобные той, что в Европе носит название «Христиане за социализм»,— к ней принадлежим и мы с Доротеей Зёлле. Из Латинской Америки искра перелетела в Южную Европу, и в 1975 году Исполнительный комитет Испанской коммунистической партии заявил, что партия не только признает коммунистов-христиан, но, более того, особо заинтересована в сотрудничестве с ними. То же произошло в Италии и Франции. У нас, в Федеративной Республике Германии, марксисты и христиане уже много лет работают над осуществлением одних и тех же программ, решают сходные политические проблемы, бок о бок борются за мир, справедливость и сохранение всего сущего.

Я думаю, необходимо также указать на некоторые особенности этого диалога на Западе. У нас объединение христиан и марксистов было вызвано тем, что многие правительства, называющие себя христианскими, в равной мере преследовали и подавляли как марксистов, так и критически настроенных христиан, выступавших за справедливое переустройство общества. Нас сблизила борьба, и острота ситуации заключается в том, что нам приходится бороться против власти, формально опирающейся на христианское вероучение. В этом, как мне кажется, отличительная особенность нашего диалога от диалога в СССР и других социалистических странах. В процессе этого сближения прояснились некоторые теоретические проблемы. Мы, христиане, научились рассматривать с марксистских позиций не только общество, но и самих себя. Мы поняли, выражаясь словами нашего ныне покойного друга, Георга Казалеса, что время созерцательной теологии кончилось. Сегодня теология неизбежно должна участвовать в классовых сражениях, иначе ей нечего будет сказать обездоленным и угнетенным,— во всяком случае, в евангелическом смысле. Мы научились марксистскому анализу реальности, однако мы отнюдь не потеряли веры, как пытаются утверждать многие наши противники. Мы переосмыслили и по-новому обрели эту веру, опираясь на давнюю и великую традицию пророческой социальной критики, мессианства Христова, а также повстанческих движений, которые на протяжении многих столетий объединяли угнетенных христиан в их попытках противостоять власть имущим. Мы научились также по-новому подходить к проблеме атеизма. Мы убедились, что ходячее утверждение, будто марксизм тождествен атеизму, не соответствует истине. Такое совпадение возможно, однако вовсе не обязательно. Мы пришли к выводу, что подлинную опасность для нас представляет не честный атеизм марксистов, а ложные идолы капитализма. И этих идолов мы научились распознавать тем яснее, чем глубже мы стали понимать марксистскую критику религии. И я думаю, что мы, теологи, сознательно и с гордостью причисляющие себя к «левым», должны наконец официально выразить свою благодарность нашим собратьям-марксистам. Я надеюсь, что диалог между христианами и марксистами, который, как я уже говорил, переживает сейчас этап кооперирования усилий, и в дальнейшем будет шириться и набирать силы, основываясь на понимании классовых интересов как интересов человечества и выступая в защиту этих интересов от власти марионеток капитализма.

Ф. ХИТЦЕР: Хочу лишь заметить, что государственный атеизм в СССР осуществлял — на свой лад — по отношению к христианам, а также представителям других вероисповеданий, проявлявшим социальную и духовную активность, точно такую же политику, какую, по словам Куно Фюсселя , проводили по отношению к марксистам определенные круги на Западе. Политика эта заключалась не только в том, что диалога избегали: христиан, так же как и других верующих, попросту лишили права голоса. Ну, а каково положение с диалогом в СССР сегодня, в условиях гласности и перестройки? Хотелось бы услышать мнение Николая Анастасьева.

Н. АНАСТАСЬЕВ: Если такие понятия, как «общеевропейский дом», «новое мыш-

ление» и т. д., не просто риторика и набор новых пропагандистских клише, то диалог между христианами и марксистами представляется совершенно необходимым условием и строительства такого дома, и формирования такого мышления. Будучи атеистом, не хочу употреблять всуе имя Божье и потому скажу так: хорошо, что в моей стране, после десятилетий гонения на церковь, принимавшего нередко истребительные формы, человек в партикулярном платье с партийным билетом в кармане сел за один стол с человеком в рясе, видя в нем не злейшего врага и торговца «опиумом для народа», но носителя идеи, оказавшей и продолжающей оказывать глубочайшее воздействие на нравственное сознание человечества. Я понимаю, что та прошлогодняя дискуссия в Институте мировой литературы, на которую сослался наш ведущий Фридрих Хитцер,— лишь малый вклад в развитие диалога, но как работник журнала, обнародовавшего материалы этой дискуссии[1], я, разумеется, за это напоминание признателен.

Каковы предпосылки такого диалога, или, скажем, что позволяет надеяться на его развитие? По-видимому, эта улица с двусторонним движением, но я сейчас гляжу только со своего конца. Осознается наконец та достаточно простая, в общем-то, истина, что марксизм — это не просто экономическая доктрина, что такие понятия, как «нравственность», «милосердие», «добро»,— понятия, изначально воплощенные в христианском вероучении,— ему вовсе не чужды. Еще недавно мысль о «социализме с человеческим лицом» воспринималась у нас как опасная ересь. Не скажу, что теперь она превратилась в банальность, но умами во всяком случае овладевает.

На эту тему много еще можно было бы рассуждать, приводя крупные и малые примеры нашего согласия. Но, как мне кажется, эти примеры, сколь бы вдохновительны ни были, не должны заставлять нас впадать в иллюзии, а тем более — в эйфорию. Хороши, необходимы встречи, подобные сегодняшней, но, если мы хотим, чтобы они стали подлинно результативны, не стоит превращать их просто в демонстрацию доброй воли. Надо осознать трудности, стоящие перед нами. Мне кажется, они более глубоки и значительны, нежели в других сферах мыслительной и практической деятельности.

Наверное, политики и военные договорятся в конце концов о сокращении вооружений и вооруженных сил. Для этого нужно всего лишь уничтожить определенное количество ядерных запасов и демобилизовать определенное количество дивизий.

Наверное, будет в конце концов достигнуто согласие о новом экономическом порядке. Для этого нужно всего лишь разумное перераспределение мировых богатств.

Наверное, и экологические проблемы будут решены. Для этого нужно всего лишь сократить вредные производства и заставить науку и технологию считаться с интересами общего нашего дома — природы.

Понятно, что, даже и будучи профаном во всех этих делах, я отдаю себе отчет в том, чего стоят эти «всего лишь». И все же в данном случае все можно сосчитать, измерить, взвесить.

А общение христиан и марксистов наталкивается на трудности фундаментального мировоззренческого характера. Встречаются учение, для которого первостепенную роль играет вера, и учение, для которого главное — разум, рациональное начало. И этих различий не устранит никакая политическая конъюнктура и никакая добрая воля. Нужны постоянно действующие факторы. Метафизические трудности требуют для своего решения и соответствующих инструментов. Или, скажу осторожнее, не решения, но хотя бы понимания.

В принципе такой инструмент человечество изобрело давно. Я говорю, разумеется, о художественной культуре. Это, как известно, такой род человеческой деятельности, которая осуществляется на неуловимой грани веры и разума, интеллекта и интуиции. Не о всякой культуре — литературе, живописи и т. д.— идет, разумеется, речь, но лишь о той, что, не презирая злобы дня, обращается к бытийным вопросам истории. Эта культура не иссякла и в наш век точного знания, и уже одним фактом своего присутствия она обещает продолжительность того диалога, о котором мы говорим.

За тем самым «круглым столом», на который сослался Фридрих Хитцер, встретились в числе других материалист, коммунист Чингиз Айтматов и католик Грэм Грин, и разговор, по моим наблюдениям, у них получился. Но это еще ни о чем не говорит — может, эти двое просто симпатичны друг другу. А подлинно важно то, что друг друга понимают, оставаясь при своих убеждениях, автор «Монсеньора Кихота» и автор «Плахи». И если говорить не просто о сегодняшнем дне, но о дальней перспективе выживания, то это понимание кажется мне более обнадеживающим, нежели понимание между политиками и генералами.

Ф. ХИТЦЕР: После выступления Николая Анастасьева имеет смысл напомнить об утверждениях знаменитых физиков двадцатого века — прежде всего я имею в виду Альберта Эйнштейна,— которые, критикуя позитивизм, указывали на ограниченность рационального начала: знание как таковое не приводит к тому, что человек знает, что ему надо делать и как ему применять рационально полученные сведения, ибо без убеждений или акта веры рациональное начало остается неподвижным.

А теперь я попрошу на тот же вопрос ответить Доротею Зёлле.

Д. ЗЁЛЛЕ: Я попытаюсь обрисовать нашим русским друзьям ту духовную ситуацию, которая делает необходимым диалог между христианами и марксистами в моей стране. Я просто расскажу несколько фактов из собственной религиозной и политической биографии (мне сложно отделить одно от другого). Я принадлежу, по сути, к тому же поколению, что и Чингиз Айтматов. Мне было пятнадцать лет, когда закончилась война, и эта величайшая историческая травма, конечно, в значитель-

[1] См. «ИЛ», 1989, № 5. *(Прим. ред.)*

ной мере повлияла на мое развитие. Одним словом, я росла после Освенцима. Я прочла, что на языке, который я так люблю,— языке Гёте и Гёльдерлина,— отдавались приказы об уничтожении людей, об их отправке в газовые камеры. Узнав об этом, я больше не смогла оставаться в родительском доме, несмотря на весь его либерализм. Потому что этот либерализм в общем-то ничего не сделал, чтобы предотвратить немецкую трагедию. Катастрофам, обрушившимся на нас в этом столетии, он не смог противопоставить ничего, кроме относительной просвещенности, относительного гуманизма и относительной гражданственности. Поэтому я обратилась к христианству. Я искала более глубокого ответа на мучившие меня вопросы, прочного фундамента для надежды, что в судьбе моего народа еще наступит перелом и ему простятся грехи его.

Несколько слов скажу еще об одном событии, имевшем для меня решающее значение. О нем сегодня редко вспоминают: для большинства оно давно уже стало историей. Событие, о котором я говорю,— это война во Вьетнаме. После нее у моего поколения не осталось никаких иллюзий относительно капитализма. Мы вдруг заметили, что Освенцим отнюдь не ушел в прошлое вместе с нацистами. «Опыт» был продолжен на маленьком народе сборщиков риса.

Война во Вьетнаме заставила меня в полной мере осознать, что капитализм и нравственность — понятия несовместимые. И это убеждение с годами только крепло. Иными словами, диалог с марксистами нужен мне, потому что я считаю невыносимой обстановку, в которой мы здесь живем,— в духовном, нравственном и религиозном отношении, и пусть я обращаюсь к меньшинству христиан, но этому меньшинству я хочу сказать со всей определенностью: быть христианином, не подвергая капитализм анализу, значит, не быть думающим христианином, лучше тогда оставить это занятие. Мы вынуждены искать что-то другое, нам необходимо понять, каким должно быть общество, в котором возможно было бы исполнять волю Господа, в котором возможно было бы любить Его, ибо как я могу любить Бога, если в то же самое время я обрекаю две трети человечества на голодную смерть? Отсюда и наши вопросы к марксизму: не сумеет ли он нам помочь? Не хочу скрывать, что я критически и с некоторым опасением отношусь к чистому марксизму, так как я все больше убеждаюсь, что обожествление науки, которую я готова воспринимать только в качестве технологической, технократической науки (другой, по-моему, не существует), не принесет нам пользы. Поэтому свои вопросы я задаю марксизму, свободному от идеализирования науки.

Ф. ХИТЦЕР: Доротея Зёлле, как мне кажется, предложила тему для дальнейшего обсуждения. В ее словах, насколько я понимаю, заключен и прямой вопрос гостям из Советского Союза. Хотел бы только добавить, что когда мы говорим о меньшинстве христиан, то, вероятно, с тем же основанием можно говорить и о меньшинстве марксистов, которое борется против того, чтобы именем марксизма преследовались цели совершенно определенного свойства. Иногда я и сам не знаю, к кому я принадлежу в большей степени. Но в одном я абсолютно уверен: то, что в эти дни совершилось и, возможно, еще совершится именем марксизма в Пекине, не имеет к марксизму никакого отношения, скорее это родственно тому, что было сделано в прошлом в Германии — под совсем другими знаменами. Это откровенное, вполне сознательное преступление против человека. И слова мои относятся не только к далекому Пекину и страдающим там людям, но, даже еще в большей степени, к тем, кто поддерживает происходящее там, прикрываясь фразами о марксизме и народовластии. С такой позицией я не могу согласиться, так же как и с дипломатическими отговорками, что, мол, это внутреннее дело КНР. Нет сегодня в мире ничего, что являлось бы только чьим-то внутренним делом. Особенно в области прав человека.

И еще: ни либерализм, ни христианство, ни марксизм, ни ленинизм не предотвратили катастроф и трагедий. К утраченным иллюзиям по поводу капитализма прибавились и утраченные социалистические иллюзии. То есть они, как мы видим, не помешали людям нарушить нравственные принципы, а в центре все-таки остается уникальная человеческая личность, высоты и глубины конкретного человека, выбор между добром и злом, не важно, в какой системе.

А теперь я хочу обратиться к Чингизу Айтматову. Как же случилось, что писатель, происходящий из совсем иной религиозной и культурной традиции, выбрал лейтмотивом своего романа «Плаха» евангелическую, библейскую тему? Откуда взялся Авдий Калистратов, этот бродяга, не укладывающийся ни в какую привычную схему? В чем тут дело? Итак, два вопроса в одном: почему писатель обратился к религиозной теме и почему именно Библия и христианское наследие?

Ч. АЙТМАТОВ: Можно, видимо, говорить, что существует некая историческая сила, которая всех нас сюда собрала. В воздухе носится нечто, властно диктующее людям разных мировоззрений встретиться так, как мы это сделали в данном случае. Постепенно подобные встречи входят в привычку, однако каждая из них остается пока для нас, представителей советской общественности, событием исключительным. Еще год тому назад мы не могли б себе и представить, что будем сидеть в одной аудитории, за одним столом, вперемежку со священниками и теологами. Мы полагали, что наша идеология и наше марксистское мировоззрение являют собой вершинные достижения духа и что все человечество будет исповедовать именно их. Мы были настолько убеждены в этом и настолько фанатично преданы своим идеям, что все не подходившее под марксистские категории отвергалось как ненужное, вредное, отжившее. Это и являлось одной из при-

чин долголетней жестокой конфронтации с религиями вообще и с христианством в частности.

Тема нашей сегодняшней беседы: «Христианство и марксизм». Думается, было бы правильно — и предшествовавшие выступления утверждают меня в этом мнении — добавить сюда еще и «капитализм». Как говорится, кашу маслом не испортишь. Крутая это каша. До нас ее заварили, но расхлебывать нам. А если всерьез, то в этой триаде заключены судьбы человечества, во всяком случае судьба XX века. Ведь для того, чтобы преодолеть совершенно ненужную и наносящую ущерб всему человечеству враждебность и конфронтацию, мы должны были пережить страшнейшую мировую войну, когда многие, многие из нас в тупике жестокости, ярости, страданий обращали свой внутренний голос к тому, что именуется Богом, в надежде услышать ответ на вопрос: почему человечество обречено на такие страдания? Есть ли выход из этого тупика? И не скоро показался нам этот выход.

Я не буду касаться истории западной части мира, ибо то, о чем я говорю, выразилось наиболее полно, емко и ярко на нашей, на восточной, стороне, в частности в истории советского общества. Здесь произошло смыкание и столкновение двух этих начал — коммунизма и христианства. Если некогда христианство объявило, что счастье человека в любви к Богу и сострадании к ближнему и обещало потусторонний рай, то идеология коммунизма поставила задачу создать самое справедливое общество и тоже обещало светлое будущее, если мы будем строго следовать этому пути. И то и другое легко претворить в умозрительные представления, но жизнь настолько сложна, и каждое явление настолько диалектично, что обе идеологии столкнулись с огромными трудностями, и перед лицом этих трудностей они все больше проникались враждой друг к другу. И вот теперь, когда мы вроде бы прозрели и уже какой-то просвет в конце туннеля вроде бы забрезжил, полыхает ненавистью еще немало сил, ощетинившихся, до сих пор считающих, что религия — это опиум, и не более того. А некоторые религиозные деятели, видимо, по-прежнему думают, будто идеология коммунизма — порождение сатаны.

Ни то, ни другое учение, по-моему, не может претендовать на исчерпывающую полноту. Я согласен, что гибрида между ними быть не может. Оба движения сочетают в себе как положительные, так и отрицательные стороны. И когда к власти приходит любое из этих движений — христианство или марксизм,— оно выстраивает свою иерархию, неизбежно возникает своя бюрократия, свои привилегии, своя политика, ортодоксальные, так сказать, воззрения, свой догматизм, и все это в результате отягощает жизнь человечества. Поэтому мне кажется, что наша история, пройдя через столь сложные испытания и страдания, приблизила нас к некоему новому пониманию как древнейших религий, их благородных целей и назначений, так и многострадальных социальных движений, которые пытались осчастливить человека в пределах своей узкой идеологии.

Ныне же, как мне представляется, наступило время Собора. Со мной можно соглашаться, не соглашаться. Но мне думается, что никуда мы не денемся и нам непременно предстоит, для того чтоб мы вели достойное человечества существование, воспользоваться накопленным духовным опытом всех лучших движений, в том числе и вероучений, и прежде всего христианства.

Здесь мне был задан персональный вопрос: почему я, будучи выходцем из другой духовной среды, другого религиозно-культурного региона, ищу с вами общий язык. Да, тот регион, к которому я принадлежу, имеет свои духовные традиции, и мне кажется, идет черед за постановкой такого вопроса, как «Ислам и марксизм». Но дело в том, что Советская страна, все наше общество в общем-то ориентировано двадцатым веком на историю с центром в Европе, с центром в Европейской части СССР. То есть мы оказались вовлечены сюда огромной социально-административной волной. И мы нисколько не сожалеем об этом. Все, что выпало на нашу общую долю, в такой же степени касается и нас. Скажу прямо, я — дилетант в этих вопросах. Но много накопилось в душе моей, в моих наблюдениях, в моем опыте того, чем я хотел бы поделиться с читателем. Такую попытку я и сделал в романе «Плаха». И поскольку становится общемировой тенденция объединения разных движений и нового прозрения, то, как правильно здесь заметил Николай Анастасьев, литература и искусство должны служить этому процессу. Это мое убеждение, и по мере сил своих я пытаюсь участвовать в нем.

Д. ЗЁЛЛЕ: Мне кажется, что над романом «Плаха» поработал очень хороший теолог. И вот поэтому я хочу спросить Чингиза Айтматова: что вкладывает он в свои слова, когда призывает воспользоваться духовным опытом, накопленным в религиозных, мифологических традициях, в мудрости народов, в литературе? Смысл призыва мне, конечно, ясен, но я хочу уточнить — нужен ли нам Бог? И вам, Чингиз Айтматов, нужен ли вам Бог?

Ч. АЙТМАТОВ: Госпожа Зёлле, по-моему, все вероучения сходятся в одном — возьмем ли мы христианство, ислам или буддизм — это призыв к милосердию и добру. Такова вечная и высшая нравственная норма. К сожалению, в истории случаются такие события, когда людей, человечество, делят на своих и на чужих, когда считается возможным применять эти высшие нравственные нормы по отношению к своим и игнорировать по отношению к чужим. Этим злоупотреблять нельзя ни в каких целях, даже в классовых, даже в политических. Война показала, во что это обходится народам. Может быть, я питаю наивные надежды и жизнь меня поправит, но я продолжаю верить в то, что наступит уникальный поворот истории в нашем обществе, в нашей стране. Перестройка и гласность преобразовали

мышление всего народа. Мы ищем новых сил и нового вдохновения. У нас пока трудно с экономикой, но мы будем стараться как-то выйти из положения.

Ф. ХИТЦЕР: Куно Фюссель просит слова. Пожалуйста.

К. ФЮССЕЛЬ: Иисус Айтматова предлагает нам не дожидаться Его Пришествия, напротив, это мы должны совершенствовать себя для того, чтобы прийти к Нему. Ибо сказано: кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. (Первое послание ап. Иоанна Богослова.) Но быть Его ученым — значит практиковать совершенно определенную деятельность. А именно эта деятельность, пример которой явил нам Христос, и привела Его на Голгофу, потому что Он в своей конфронтации с властителями пытался изменить не только культуру, но и экономические и политические отношения. И если мы хотим прийти к Нему сегодня, то, как мне кажется, мы должны не просто ждать Его Пришествия, но продолжать Его борьбу. И вот тут я хочу затронуть второй момент, о котором Чингиз Айтматов, возможно, не осведомлен. Для нас одухотворение Иисуса, Его слова о необходимости сосредоточиться на развитии высокой духовности в настоящее время очень опасны. Они падут на плодородную почву, так как несомненно существует стремление уйти во внутренний мир, отказаться от участия в политических конфликтах, попытка одухотворить политические процессы в духе «нью-эйдж», постмодернизма и других течений. Но капитализм, в котором мы живем, не перестал убивать. Мы не можем выступать против него, вооружившись лишь столь дорогими нам высокими нравственными идеями и понятиями. Мы должны вести борьбу, подчас жестокую борьбу,— и на нижних уровнях. Потому что капитализм убивает наших братьев и сестер в развивающихся странах. И поэтому у меня есть серьезные опасения, что культурная широта и видение Чингиза Айтматова у нас будут низведены в спиритуалистическую плоскость внутренней успокоенности. Я считал необходимым поделиться с вами моими опасениями. И еще, пожалуй, добавлю, что многим из тех, кто прочтет вашу книгу, нет никакого дела до диалога между марксистами и христианами, единственное, чего они жаждут,— это внутреннего покоя, и ради него они готовы позабыть о том, что нет мира под небесами. Таковы, по моему убеждению, реальные тенденции в нашем обществе. Мне остается лишь надеяться, что они не характерны для Советского Союза и азиатской культуры, из которой происходит Чингиз Айтматов и в которой мы так охотно ищем прибежища, когда не справляемся с собственными проблемами.

Ф. ХИТЦЕР: Господин Фюссель, можно, я сделаю одно уточнение? Когда вы говорите о тех опасениях, которые вызывает у вас обращение к теме высокой духовности, к теме Христа, в романе со сложным переплетением целого ряда линий и образов,— вы тревожитесь за себя или за других? Полагаете ли вы, стало быть, что такой роман может усилить (или ослабить) имеющееся стремление уйти от реальности, замкнувшись на внутренней жизни? После вашего ответа я переадресую тот же вопрос Александру Меню. Итак, к кому относится ваша тревога?

К. ФЮССЕЛЬ: Конечно же это мой собственный страх, но не поймите меня так, будто я боюсь, что завтра у меня возникнет желание уйти из партии и вернуться к одной из форм религиозного благочестия. Нет, я боюсь другого. С той минуты, когда писатель выпускает свое творение из рук, оно начинает жить своей жизнью, и тогда выясняется, что текст может оказывать совсем не то воздействие на читателей, какого ожидал автор. И мне бы не хотелось, чтобы роман Айтматова, задуманный как своего рода мост к диалогу между мировыми религиями, между христианами и марксистами, между различными культурами, был использован у нас в качестве «опиума для народа».

Ф. ХИТЦЕР: Александр Владимирович, роман «Плаха» издан в СССР миллионными тиражами, которые мгновенно раскупались, он по-прежнему вызывает оживленную дискуссию. Воспринимают ли советские читатели этот роман как призыв к уходу от действительности, как некую новую форму примирения, пассивного отношения ко злу, самоизоляцию в универсалиях великого вероучения?

А. МЕНЬ: Разумеется, нет. Люди у нас разные, и каждый воспринимает роман по-своему. Но многие известные мне читатели пришли к выводу, что герой романа Авдий не столько олицетворяет христианский идеал, сколько является своего рода пародией на истинного христианина. Такое впечатление не случайно. Как сейчас верно было сказано, и Чингиз Айтматов это подтвердил,— христианство является силой. И силой, которая живет не только прошлым. Для нас, христиан, Христос не просто был. Он есть всегда. Он и сегодня источник нашей силы. С моей точки зрения, трагедия и неудача Авдия в том, что он не был по-настоящему проникнут этой силой. В его поступках чувствуется почти отчаяние. Он, искренне искавший «Бога-современника», не нашел средств, не нашел языка, с помощью которых смог бы говорить о Евангелии со своими современниками, далекими от веры. Эту задачу, стоящую перед христианами нашего столетия, сформировал у вас Дитрих Бонхёффер, который и страдал и погиб, однако всегда, даже перед лицом смерти, оставался носителем силы Христовой. Впрочем, задачу свою Бонхёффер осуществить не успел. И неизвестно — смог ли бы в то время. Решение ее — впереди. Но без этого решения мы не услышим друг друга. Диалог не состоится. А, как мне кажется, вы убедились: он актуален и необходим.

Ф. ХИТЦЕР: В заключение разрешите мне поблагодарить участников и устроителей нашего диалога и сделать еще одно, последнее, замечание. Куно Фюссель, хорошо знакомый с ужасающей нищетой Латинской Америки, которую развитые страны Северного полушария до сих пор грабят, говорил о ложных идолах капитализма. Он говорил и о том, что в свете данной ситуации классовые интересы становятся общечеловеческими. Можно ли утверждать это безоговорочно? В моей статье «О смене власти ключей»[1] речь идет об основной категории догматизма. Ее открыл Сократ, рассуждая об ужасной способности человека стремиться к захвату ключей от абсолютной истины. Лев Шестов увидел в борьбе, бушевавшей в начале века в его стране, переход власти ключей из рук верующих во владение атеистов. Я бы сказал, что догматизм закосневших в неверии иерархов церкви сменяется догматизмом верующих атеистов, участников революционного движения — радикальной русской интеллигенции и большевиков. Диалог между ними не состоялся. Они выбрали конфронтацию, хотя приглашение к диалогу и было сделано. Я думаю о русских философах, авторах «Вех» — сборника, вышедшего в 1908 году. Их крестный путь был крестным путем самой России. Ведь именно те, с кем они могли бы и спорить и сотрудничать, марксисты, видели в них опасных метафизиков, врагов просвещения и растлителей народа; их высылали или преследовали, но их вопросы оставались в стране. Темы, тогда поставленные этими философами, сегодня заново обсуждаются в Советском Союзе. И нужно все время думать, где же начало тупиков марксизма. В своей работе «Задачи союзов молодежи» Ленин писал: «Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов. Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата». Ленин высказал эти мысли в 1920 году, когда бушевала гражданская война. Он и не подозревал, что позже с помощью этой формулы при построении социализма будут оправдывать величайшие преступления и топить в крови идеалы социализма.

Может, стоит и здесь взяться за совместные поиски? Для того, чтобы марксисты могли вырваться из тупика абсолютизированного классового подхода, при котором любая область жизни рискует попасть сначала в мысленные, а потом и в железные оковы, они нуждаются как в собеседниках и соратниках в христианах и других верующих, которые выступают против слепоты собственной церковной иерархии и обращаются к социальным, научным и экономическим интересам людей.

[1] Ф. Хитцер обыгрывает название статьи Л. Шестова «Власть ключей».

◆

Госкомпечать СССР
В/О «Международная книга»
Генеральная дирекция
международных книжных выставок
и ярмарок

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КНИГА» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ПРИГЛАШАЕТ

посетить постоянно действующую выставку-продажу американской и британской литературы на свободно конвертируемую валюту.

На выставке представлено более 5 тысяч новейших изданий по всем тематическим направлениям. Заказ можно сделать не только по образцам книг, представленных в экспозиции, но и с помощью компьютерной базы данных, содержащей информацию более чем о 3-х миллионах наименований книг, имеющихся в продаже в США и Великобритании. Фонд выставки периодически пополняется новинками американской и британской литературы, а база данных компьютера постоянно обновляется.

В Выставочном центре «Книга» впервые развернута экспозиция крупнейших американских научно-популярных журналов, на которые принимается подписка также в свободно конвертируемой валюте.

Выставка работает с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

АДРЕС выставочного центра «Книга»:
Краснопресненская набережная,
Выставочный комплекс на Красной Пресне

ПРОЕЗД: станция метро «Улица 1905 года»,
далее автобусом № 12 до остановки «Выставочный комплекс»

Телефон для справок: 256-71-90

Я бы хотел коротко прокомментировать ответ Андрея Нуйкина на мою лекцию, опубликованную в № 10 вашего журнала. Даже не знаю, что сказать, поскольку он совершенно неправильно меня понял. Очевидно, ирония переводится плохо, хотя в целом перевод выполнен отлично. Г-н Нуйкин воспринял буквально сказанное иронически, метафорически или с юмором. В результате он, кажется, решил, будто я считаю русских «фанатиками» и тому подобное. Если он прочтет эту часть моей лекции вновь, вообразит себе аудиторию, к которой я обращался, учтет время, прошедшее с момента выступления, он поймет, что я высмеивал тех — особенно американцев,— кто представляет себе его страну в столь упрощенном виде. То же можно сказать и о других местах, вызвавших возмущение вашего автора. Ему бы следовало перечесть лекцию еще раз именно в таком свете и расслабиться.

Все мы за перестройку, за сохранение окружающей среды и т. п. Целью моей лекции было заглянуть за пределы сиюминутной политики. Во-первых, я хотел показать тем, кто считал коммунизм корнем всех мировых зол, как нелегко им теперь придется, когда фундаментальные проблемы западной демократии останутся все теми же. А во-вторых, я высказал мнение, что Советскому Союзу вряд ли следует импортировать худшие стороны западной культуры. Так с каким же из двух этих тезисов не согласен г-н Нуйкин?

Джордж Уолден,
член Британского парламента

Профессору
Саймону Карлински.
Университет в Беркли,
Калифорния, США

Многоуважаемый профессор,

судя по Вашему ответу на вопросы редакции «Иностранной литературы» (1989, № 7), Вы внимательно следите за процессами, происходящими в СССР, в нашей научной и литературной, вообще в духовной жизни, улавливаете ее атмосферу. И стало быть, без труда представите себе, сколь непросто — в психологическом отношении — мне решиться на публикацию этого письма. Ведь оно содержит несогласие, полемику, а это нынче выглядит старомодно, признаком хорошего тона считается лишь взаимное расшаркивание и поощрительные похлопывания по плечу. Я не против последних, во всяком случае, это куда лучше, нежели обмен идеологическими зуботычинами, которые были у нас в ходу до недавнего времени. Но все же сами по себе дружелюбные слова и жесты никак не заменят подлинно уважительных, а значит, деловых и откровенных отношений между нами, которые, ей же Богу, ценнее всего. Подменяя плюрализм мнений отсутствием мнения собственного, а толерантность — уклончивостью и, в сущности, равнодушием к истине, мы рискуем нанести науке серьезный ущерб.

Этого моего письма могло не быть, если бы не одно место в Вашем ответе на журнальную анкету. «Не заметить», промолчать или, по примеру некоторых своих уважаемых коллег, ограничиться милой светской шуткой я не могу и не хочу. Да и Вам к чему такое?..

Итак, я имею в виду Ваш упрек (надо признать, не совсем лишенный оснований) нашим издательствам в излишнем пуританизме и — как вывод — настоятельный совет нам всерьез заняться изучением сексуально-патологической стороны жизни ряда русских писателей и деятелей искусства. Приведу Ваши слова: «На мой взгляд, нельзя полностью оценить и понять наследие Н. Гоголя, П. Чайковского, Н. Пржевальского, Н. Клюева и М. Кузмина, если не принимать в расчет и продолжать замалчивать гомосексуализм, сыгравший ключевую роль в их биографиях и отразившийся в их деятельности. То же самое можно сказать и о бисексуализме С. Есенина, М. Цветаевой, и о бисексульных элементах в дневниках молодого Л. Толстого».

Мне стало очень горько и обидно за моих выдающихся соотечественников, чьи глубоко интимные, быть может, в каких-то случаях и болезненные стороны жизни Вы предлагаете сделать предметом публичного разглядывания и обсуждения. Позволю себе заметить, что никто из них нас с Вами на это не уполномочивал...

Я должен сказать здесь о Гоголе, к памяти о котором отношусь особенно ревниво; надеюсь, впрочем, что тем самым замолвлю слово и за всех, Вами упомянутых и лишенных уже возможности защититься (а там, глядишь, еще кто-нибудь не пожелает отмолчаться).

Этому человеку суждена была трудная доля: при жизни он оказался между моло-

том и наковальней (Белинский — Булгарин, западники — славянофилы, великодержавные ура-патриоты и максималисты-украинофилы), после же смерти та «страшная анатомия», от которой Гоголя, по его признанию, бросало «в холодный пот», получила новый импульс прежде всего благодаря усилиям психиатров, причем чаще всего как раз с сексологическим уклоном. «Неврастеник с ипохондрическими идеями», «помещанный гений» — это, пожалуй, самые благоприятные для писателя диагнозы. Были формулировки и похлеще: бредовый психоз, шизофрения, прогрессирующее слабоумие...

Кстати, профессор, по ходу этого «страшного анатомирования» выдвигались концепции, которые кое в чем предвосхищали Ваши идеи и должны, мне кажется, Вам импонировать. Еще в начале века русский психиатр В. Чиж в работе «Болезнь Н. В. Гоголя» утверждал, что характерное для Гоголя сатирическое отношение к действительности связано с недоразвитостью у писателя половых желез, сравнивая его в этом смысле с «увядающей девушкой», «старой девой»[1]. В конце 20-х годов в нашей стране выходили сборники под названием «Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии)»; возможно, они Вам известны. Так вот, в одном из выпусков опубликована статья, где главная особенность личности Гоголя усматривается в том, что он, в отличие, скажем, от Пушкина, «страдал крайним гипогонадизмом, или по-русски — сильной недостаточностью эндокринной функции половых желез»[2].

И вот теперь новый диагноз, но из того же ряда — гомосексуализм...

Более всего, пожалуй, меня удивило то, что Вы говорите об этом мимоходом, как о чем-то будто бы давно известном, не подлежащем сомнению, не требующем обоснования. Это, знаете ли, уже не очень похоже на совет, скорее на директиву... А между тем я возьму на себя смелость утверждать, что ни в биографии Гоголя, ни в его переписке, ни, наконец, в его творчестве нет решительно ничего, что давало бы основания или хотя бы повод для брошенного Вами обвинения. Доказательства? Но я исхожу из принципа презумпции невиновности, предполагающего, что доказательства прежде всего должна предъявить обвиняющая сторона. В Вашей заметке их нет, стало быть, и опровергать нечего.

Предвижу возражение: такие доказательства суммированы, мол, в Вашей книге «Сексуальный лабиринт Николая Гоголя». Но дело в том, что книга у нас не издана, ее знают единицы, в лучшем случае десятки специалистов, а журнал «Иностранная литература» читают сотни тысяч любителей литературы. Хорошо ли это, плохо ли — другой вопрос; думаю, что книга Ваша, будучи переведена на русский язык, не потрясла бы устои, нас сегодня вообще уже нелегко чем-нибудь потрясти, однако признаюсь откровенно, лично я не взял бы на себя роль ее пропагандиста... Это — во-первых.

Во-вторых, и это главное, мне кажется, мы будем ближе к реальности, если назовем выдвигаемые Вами в книге аргументы не доказательствами, а попыткой доказательств. Причем попыткой, на мой взгляд, далеко не удавшейся. Я не рецензирую книгу, поэтому ограничусь лишь несколькими примерами. В отрывке «1834» Вы обнаруживаете гомосексуальный подтекст на основании того, что автор обращается не к Музе, а к Гению, существу мужского пола... Дружбу между миргородскими обывателями Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем расцениваете как «бесполый гомосексуальный брак», а в ружье, ставшем злосчастным поводом для ссоры, усматриваете «сексуальный символ»... Гоголевская «Коляска», которую Вы называете шедевром стилистического искусства, предстает в Вашей интерпретации как история конфликта между находящимся в счастливом браке гетеросексуалистом и «взаимно преданными друг другу» холостяками-офицерами... Вы уж извините, профессор, но подобного рода аргументы (а Ваша концепция построена на них) я, мягко говоря, не могу признать убедительными, для меня они звучат скорее как не совсем удачные шутки...

Правда, в предисловии к книге Вы оговариваетесь, что имеете в виду не физическую сексуальность, а сугубо эмоциональное влечение писателя к лицам мужского пола. В последней же заметке, о которой идет речь, Вы прямо и безоговорочно объявляете именно гомосексуализм ключевым фактором биографии и творчества Гоголя.

Что тут сказать? Нам известны и более жуткие гипотезы. В свое время В. Розанов, чье неприятие Гоголя оборачивалось болезненным отвращением и злобой, также весьма интересовался «половой загадкой Гоголя» и предлагал свою разгадку. «Он, бесспорно, не знал женщин»,— читаем в коробе втором «Опавших листьев».— Что же было?» Розанову кажутся пресными высказывавшиеся ранее (в частности, Ч. Ломброзо) предположения об аутоэротизме (до го-

[1] «Вопросы философии и психологии», 1903, кн. 69, с. 662—663.

[2] Галант И. Б. Эвроэндокринология великих русских писателей и поэтов.— Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии), т. III, вып. 1, 1927. с. 59.

мосексуализма в ту пору дело еще не дошло). Он обращает внимание на то, что у Гоголя «поразительная яркость кисти везде, где он говорит о покойниках», собственно, даже не о покойниках, а о покойницах, да все о «молоденьких и хорошеньких»: панночка в «Майской ночи», дочь сотника в «Вие»[1]. Короче говоря, Гоголю инкриминируется не больше не меньше как некрофилия, во всяком случае, предрасположенность к этому извращению...

«Половая загадка Гоголя», столь заботившая Розанова, да, как я вижу, и Вас, очевидно, так и останется для нас за семью печатями. Ну что ж, и Бог с ней. Меня, не скрою, это мало печалит. Всяческие «половые загадки», эротические аномалии, сексуальные отклонения и тому подобные завлекательные сюжетцы из жизни писателей и писательниц — не для меня, я отказываюсь признать их одним из законных направлений в литературоведении, на что они — это слишком заметно — весьма настойчиво претендуют. Все-таки история литературы не есть клинический архив, собрание историй болезней, это вещи разные.

Иное дело — некоторые специфические особенности психофизического облика Гоголя, в частности, вопрос о месте женщины в его жизни и творчестве. Многое здесь пока действительно так и не понято нами. Знаете, профессор, я был бы готов принять Ваш совет (пусть даже высказанный несколько менторским тоном, тут уж Бог Вам судья), если бы речь шла именно об этом. С той же определенностью, с какой я отвожу от писателя Ваши подозрения в гомосексуализме, я признаю, что в его биографии, достаточно досконально изученной, нет каких-либо следов романических отношений с женщинами, любовных увлечений.

Удавалось ли Гоголю на протяжении всей жизни необычайно тщательно и умело скрывать свои любовные связи или же таковых вообще не было — не берусь судить; констатирую лишь факт: прямых свидетельств таких связей биографы не обнаруживают.

Загадка? Может быть. Но, согласитесь, это не совсем то, о чем пишете Вы, вернее, совсем не то.

Вы вправе спросить: если «не то», так что же? Выскажу кратко свое мнение.

По-моему, здесь возникает прежде всего тема одиночества, неотступного мрачного спутника Гоголя на протяжении почти всей его недолгой жизни, особенно в последнее десятилетие. Казалось, не было недостатка в друзьях, однокашниках, поклонниках таланта, но вот письмо к А. Смирновой от 4 июня 1845 года: жалобы на страдания тела, страшную хандру — и прорывающаяся затаенная боль: «И ни души не было около меня в продолжение самых трудных минут, тогда как всякая душа человеческая была бы подарком...» Известную изолированность Гоголя от общественно-литературных движений его времени упоминаемый Вами в книге Д. Чижевский объясняет тем, что писатель принадлежал другой «культурной эпохе», другому «культурному пространству»; впрочем, не это ли именно «отставание», как ни покажется странным, помогло ему во многом опередить свое время, прозреть в будущем то, что стало затем стержнем религиозно-нравственных исканий Достоевского, Толстого, Н. Федорова, В. Соловьева, С. Булгакова?.. Но это уже тема иная.

Я хочу сказать, что отчужденность Гоголя от женщин (хотя не забудем о тесных духовных связях с А. Смирновой, Н. Шереметевой, матерью и дочерьми Вьельгорскими) — лишь часть более глубокой и сложной проблемы, проблемы одиночества писателя, его, если угодно, обреченности на одиночество...

Возможно, думаю, и еще одно объяснение гоголевского феномена. Я вижу его корни в характерных чертах особого типа гениальной творческой личности, чья жизненная, в том числе сексуальная энергия целиком, без остатка сублимируется в научной или художественной деятельности. То ли тут своеобразно преломилась давняя традиция запорожского казачества, считавшего общение с женщиной вопиющим нарушением рыцарского кодекса; то ли это отголосок нравственного максимализма с аскетическим оттенком, присущего староукраинской духовной литературе (Лазарь Баранович, Дмитрий Ростовский, Стефан Яворский), влияние которой на Гоголя и вообще на дальнейшее литературное развитие, я полагаю, значительнее, чем мы привыкли думать. А может быть, было и то и другое.

Такой тип творческой личности находится на противоположном психофизическом полюсе по сравнению с универсальными гениями — как, скажем, Пушкин или Гёте, для которых перманентные, к тому же бурные сексуальные переживания были не только не помехой, а, напротив, одним из важнейших импульсов творческой активности. Мы совершили бы ошибку, если бы, сопоставляя оба типа, отдали предпочтение какому-либо из них перед другим; достаточно вспомнить, что первый, «сублимирующийся», тип могли бы представить та-

[1] См.: Розанов Василий. Избранное. Мюнхен, 1979, с. 292—293.

кие, например, личности, как Леонардо да Винчи, а из земляков Гоголя — философ и поэт Григорий Сковорода или — с оговорками — Тарас Шевченко, у которого, за исключением отдельных стихотворений, нет любовной лирики в собственном значении этого понятия. Тому в каждом случае были свои причины, разбирать которые нет сейчас возможности да и надобности. О Гоголе же не приходится и говорить — он в этом отношении являет собой один из самых характерных примеров. Если принять определение В. Брюсовым Гоголя — «испепеленный», то следует, видимо, добавить, что испепелила его именно страсть творчества.

Извините, профессор, за несколько затянувшееся письмо; я стремился подробнее обосновать причины, по которым не могу принять Ваш совет относительно изучения «гомосексуализма Гоголя».

Чем же закончить?

В № 7 за 1989 год журнала «Вопросы литературы» опубликована статья Вашего коллеги Джека Ф. Мэтлока «Литература и политика: Федор Достоевский». Вероятно, она Вам знакома. Если так, то Ваше внимание наверняка привлекла реплика автора в связи с Вашей работой о Достоевском: «...взгляды на Достоевского часто говорят нам больше о том, кто их высказал, чем о самом Достоевском». Надо же такому случиться, что статью Дж. Ф. Мэтлока я прочел сразу же вслед за Вашим выступлением в «Иностранной литературе»...

Слов нет, каждый автор обладает священным правом выбирать свой аспект исследования, излагать свой взгляд на предмет, но Вы, без сомнения, согласитесь, что у читателя есть столь же неотъемлемое право — иметь об этом выборе свое мнение и высказать его. Не так ли?

С добрыми пожеланиями
Ю. Барабаш,
профессор,
доктор филологических наук.

Москва

◆

Из книги анекдотов КЛИФТОНА ФЕЙДИМЕНА

Друг, поздравлявший Бисмарка с восьмидесятилетием, пожелал ему много счастливых лет жизни. Бисмарк поблагодарил его, добавив: «Но, пожалуй, первые восемьдесят лет жизни человека все-таки самые счастливые».

Английский писатель Сэмюэл Батлер переводил Гомера и пришел к выводу, что «Одиссею» написала женщина. В 1897 году он опубликовал трактат «Авторша «Одиссеи». Вскоре после этого Анна Теккерей Ритчи, дочь Уильяма Теккерея, известная своим остроумием, беседуя с Батлером, узнала, что он работает над книгой о сонетах Шекспира, и решила над ним подшутить. «А знаете ли вы, мистер Батлер, мою теорию? Сонеты написала Анна Хэтуэй, жена Шекспира». Батлер не уловил насмешки и стал везде рассказывать эту историю с комментарием: «Бедняжка! Ну, можно ли говорить такие глупости?»

Высокий и худой Бернард Шоу был полной противоположностью дородному Честертону. И вообще, они были антиподы. Говорят, как-то Шоу сказал Честертону: «Если бы я был такой толстый, как вы, я бы повесился». На что Честертон любезно ответил: «А если бы у меня возникло желание повеситься, я бы использовал вас как веревку».

Второй муж Агаты Кристи, Макс Мэллоуен, был выдающимся археологом, известным своими раскопками в Месопотамии. Агату Кристи спросили: каково быть замужем за человеком, сосредоточенным на древности. «Археолог,— ответила она,— лучший муж для любой женщины: чем старше она становится, тем больше он ею интересуется».

У. Черчилль не питал особых иллюзий по поводу своего ораторского дара. На вопрос одного из своих друзей: «Наверное, испытываешь потрясение, когда тысячи людей собираются, чтобы послушать, что ты им скажешь?» — он ответил: «Нет, ибо в десять раз больше собралось бы, если бы меня вешали».

На вопрос, чего он ждет от своего читателя, Джойс ответил: «От своего читателя я жду того, чтобы он всю свою жизнь посвятил моим произведениям».

В Цюрихе молодой человек обратился к Джойсу: «Позвольте мне поцеловать руку, написавшую «Улисса» Джойс, подобно королю Лиру, ответил: «Не позволю — эта рука написала еще и многое другое».

Известного английского актера Гаррика убеждали выставить свою кандидатуру на выборах в парламент. Гаррик отказался: «Я лучше сыграю роль великого человека на сцене, чем роль дурака в парламенте».

Во время жарких дебатов на встрече в верхах Кеннеди сказал Хрущеву: «Вы хоть когда-нибудь можете признать, что ошибаетесь?» «Конечно, — ответил Хрущев.— В докладе на XX съезде партии я признал все ошибки Сталина».

Перевод с английского Т. КРАСАВЧЕНКО

К нашим иллюстрациям

Роса и радуга

«Неподалеку от ботанических лабораторий государственного колледжа на Мэлл-Роуд стоял музей. Приметами его были высокий купол и установленная перед входом Замзамма — помнится, на эту пушку взобрался киплинговский бродяга Ким, повстречав тибетского ламу. Когда я прошел через турникет, меня встретили греко-буддистские изваяния гандхарвов — полубогов, найденные в Таксиле, других районах Пенджаба и в Афганистане. Кроме того, в музее были собраны старинные ткани, оружие, музыкальные инструменты и внушительных размеров портреты сикхских владык. Обозрев эти печальные символы бренности и суетности человеческой жизни, я обнаружил выставленные в застекленных витринах рисунки, выполненные гуашью на старой, сработанной вручную бумаге. Что за чарующие тона — чистый синий, зеленый, желтый и всевозможные оттенки красного! Даже сейчас, спустя полтора столетия, краски сверкали, будто драгоценные камни. Кришна, играющий у реки на свирели, коему внимает Радха, его возлюбленная; женщины, набирающие воду из колодца; путники, отдыхающие под тенистым баньяном; крестьяне, греющиеся у костра в холодную зимнюю ночь,— все эти сюжеты навеяли мне воспоминания о родной деревне, расположенной у подножия Дауладара, снежного хребта, замыкающего долину Кангра. Я влюбился в эти рисунки. Всякий раз, когда у меня выдавалось время, я покидал ботанические лаборатории и приходил полюбоваться ими».

Так писал о своем знакомстве с миниатюрами Кангры — в 1927 году, в бытность студентом — ученый-энтузиаст М. С. Рандхава, чьими стараниями многие миниатюры этой школы не только были извлечены из фамильных коллекций и явлены миру, но и атрибутированы, ведь имена иных художников, в отличие от раджей, что им покровительствовали, на какое-то время ушли в забвение.

Долина Кангра, родина этих миниатюр, находится на севере Индии, чуть ниже — если смотреть на карту — и правее штата Кашмир. Вдохновляясь ее живописными видами, художники с любовью воспроизводили манговые рощи, низкие, округлые холмы, увенчанные то баньяном, то зонтикообразным пипалом, лежащие террасами возделанные поля, прозрачные ручьи, бегущие с гор. Вместе с тем природа живет на миниатюре не сама по себе, она всегда — чуткий фон, всегда перекликается с настроениями и переживаниями населяющих ее богов, героев и смертных.

Излюбленный персонаж миниатюры Кангры — Кришна. Божество и человек, пастух и воитель, политик и музыкант и пылкий влюбленный, Кришна многолик, он воплощает в себе все многообразие мира. Именно это и привлекало художников; надо сказать, ни один из богов не значил так много для индийской живописи, да и всего искусства в целом.

Кришна — в первую очередь защитник и освободитель. Недаром даже цветом кожи (чаще всего это темно-синий или темно-лиловый) он подобен дождевой туче, несущей избавление от смертельного зноя. Именно таким он и предстает на миниатюре «Пир в лесу».

Перед напевами его свирели не устоять ни одной пастушке. Заслышав ее, они забывают обо всем на свете, и сбегаются к

нему, и танцуют с ним на берегу реки Ямуны. Своей возлюбленной он избирает Радху; простая пастушка, она в то же время олицетворяет собой человеческую душу, что стремится к слиянию с богом:

...я бы крылья могучие попросила,
Чтоб взлететь, божество мое повидать —
хоть на миг, тайком, затаив
дыханье...
Ах, все мысли мои эта мысль сожгла,
все желанья затмило это желанье![1]

Много песен о Кришне и Радхе сложил в XV столетии поэт Видьяпати. Миниатюра «Кришна, заплетающий косы Радхе» — словно бы запечатленная кистью художника песнь о счастливой их встрече.

Пишут ли художники божественные пары — Кришну и Радху, Шиву и Парвати — или времена года, вечной темой у них проходит любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине. Они не устают утверждать красоту человеческого и прежде всего женского тела, по сравнению с которой все остальное вторично. Но, воспевая телесное очарование и чувственное наслаждение, они ни в коей мере не поступаются Духовным, и потому их творения исполнены такой чистоты и лиризма.

Миниатюры Кангры с удивительной правдивостью воссоздают мир реальных чувств. Вот — «Побег»: под покровом ночи озабоченная служанка-наперсница передает принцессу с рук на руки ее возлюбленному, погонщику слонов; двое светятся радостью, но если он уверен в себе, то она — в сомнениях; даже слон, на котором они совершают побег, и тот охарактеризован — с неодобрением взирает он на происходящее.

Особую прелесть рисункам придает то, что художническая свобода уживается со строжайшим самоограничением — миниатюра Кангры более чем условна. Она не знает перспективы, лица красавиц обыкновенно обращены к нам в профиль, да и сами каноны красоты заданы раз и навсегда. Зато «несовершенства» эти искупают необыкновенные, сияющие краски — «роса и радуга на палитре художника»,— тонкая, текучая, певучая линия с ее замедленным ритмом, изысканными ассонансами и дивной гармонией, тщательно прописанные детали.

Школа Кангры, одна из многих школ миниатюр, которыми славится Индия, ныне не существует. Мощное древо индийской культуры, уходящее корнями в глубокую древность, выбросило в середине восемнадцатого века побег над долиной Кангра; через сто лет эта ветвь по неведомой причине отсохла, но — успела принести яркие, благоуханные, напоенные живым чувством плоды.

Г. КИЯМОВА

[1] Перевод С. Северцева.

Авторы этого номера

БИНЬЯМИН ТАМУЗ (1919—1989) — один из крупнейших израильских писателей. Родился на Украине; в 1924 году, в пятилетнем возрасте, прибыл в Палестину. Закончил Сорбонну по специальности «искусствоведение». Первые его рассказы публиковались в ивритской прессе Палестины еще до создания государства Израиль. Автор романов «Жизнь Элиякима» (1965), «На дальнем западе» (1967), «Элияким: книга галлюцинаций» (1968), «Яаков» (1969), «Реквием по Нааману» (1978), «Гостиница Ирмияху» (1984), сборников новелл «Золотые пески» (1950), «Запретный сад» (1958), «Цитрусовая плантация» (1973), «Бутылочные басни» (1975). В 1963 году вышла монография Тамуза «Изобразительное искусство Израиля». Рассказ «Зумейра» взят из сборника «Горький запах герани» (Tel-Aviv, Zmora Bitan, 1980).

БАРБАРА ГУР — молодая израильская писательница. С начала 80-х годов в периодических изданиях кибуцного движения опубликовано около двадцати ее рассказов. В ежегоднике «Адмаут Ташмат» напечатана повесть Б. Гур «Пожизненное заключение» (1989). Рассказ «Подсмотреть» взят из литературного приложения к газете «Аль-Гамишмар» (Al-Hamishmar, 1987).

ИЦХАК БЕН-НЕР (род. в 1936 г.) — израильский писатель. Автор романов «Человек с той стороны» (1967), «Машина для производства миражей» (1989), романа в повестях «Далекая страна» (1980), а также книг для детей.
Рассказ «Кино» взят из сборника «Деревенский закат» (Tel-Aviv, Am Oved Publishers, 1978).

ЭЛИОТ (ELIOT) ТОМАС СТЕРНЗ (1888—1965) — англо-американский поэт, драматург, критик. Родился в Сент-Луисе, штат Миссури. Окончив Гарвардский университет, продолжал занятия философией в Сорбонне и Оксфорде. В 1914 году переехал в Англию и в 1927-м принял английское подданство. Основные книги стихов: «Пруфрок и другие наблюдения» («Prufrock and Other Observations», 1917), «Стихотворения» («Poems», 920), поэмы «Бесплодная земля» («The Waste Land», 1922), «Полые люди» («The Hollow Men», 1925), «Пепельная среда» («Ash Wednesday», 1930), «Четыре квартета» («Four Quartets», 1943). В 1948 году удостоен Нобелевской премии «за открытие новых путей в современной поэзии». На русском языке издана книга избранных стихотворений Т. С. Элиота «Бесплодная земля» (М., 1971). В издательстве «Художественная литература» готовится полное собрание стихотворений Т. С. Элиота.
Предлагаемые стихи взяты из сборника «Старый Опоссум. Практическое котоведение» («Old Possum's Book of Practical Cats». London, Faber and Faber, 1939).

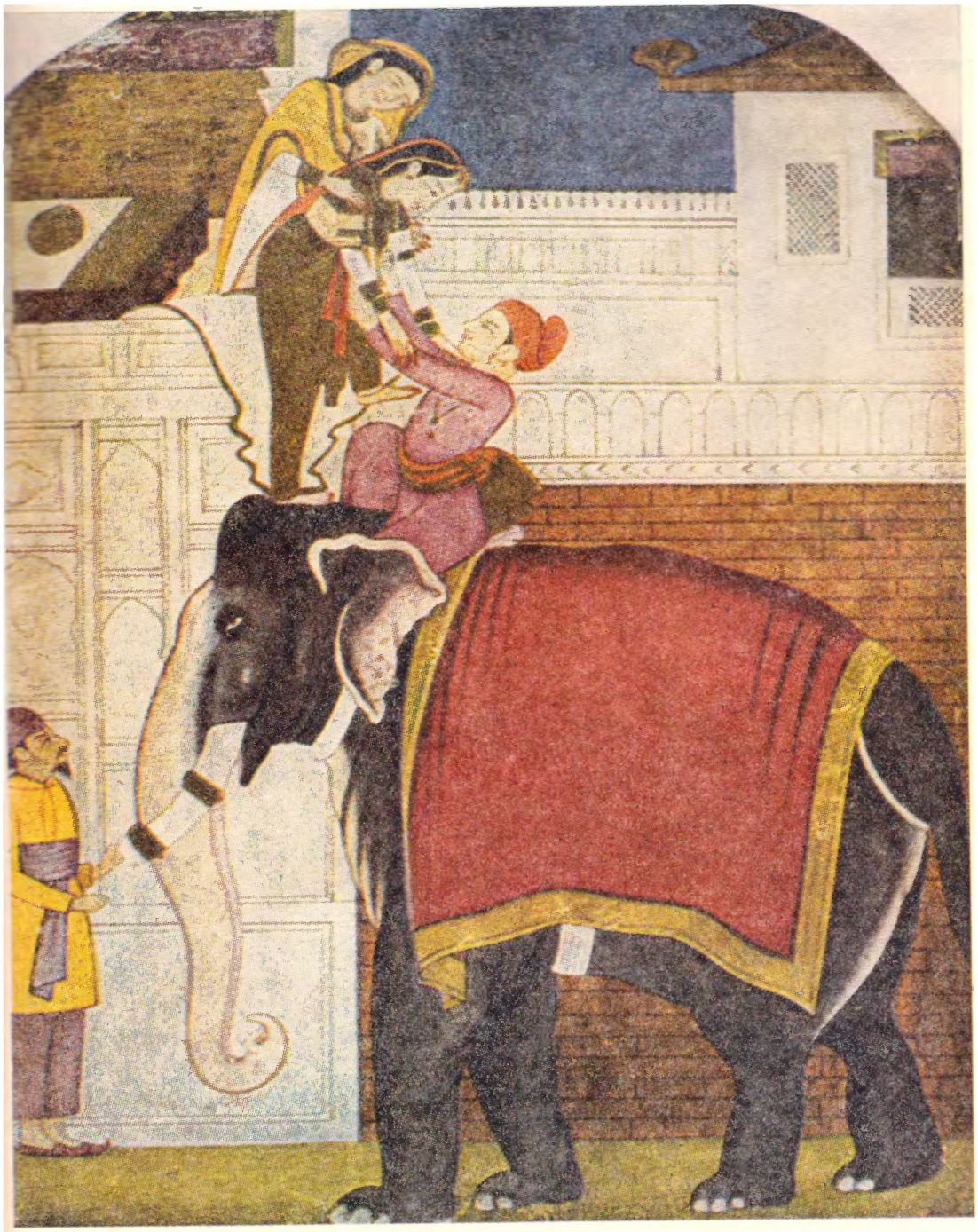
ХРИСТО ЯСЕНОВ (псевдоним, настоящее имя Христо П. Туджаров; 1889—1925) — болгарский поэт. Автор сборника стихов «Рыцарский замок» (1921), а также стихов, при жизни публиковавшихся в периодике. Участник антифашистской борьбы. Убит фашистами в 1925 году. Посмертно выходило несколько изданий его произведений. На русский язык переводились отдельные стихотворения. Публикуемые переводы сделаны по изданию «Сочинения» («Съчинения», София, 1979).

ГАЧЕВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. в 1929 г.) — советский литературовед, доктор филологических наук, лауреат премии Паисия Филендарского (Болгарская АН). Автор многих книг, в том числе «Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа», ч. 1 (М., 1972), «Образ в русской художественной культуре», ч. 2 (М., 1981), «Творчество, жизнь, искусство» (М., 1980), «Чингиз Айтматов и мировая литература» (Фрунзе, 1982), «Национальные образы мира» (М., 1988).

Переводчики:

СЕРГЕЕВА НАТАЛИЯ ДОНАТОВНА — советский переводчик с иврита. В ее переводе опубликованы рассказы израильских писателей Амнона Данкнера, Амикама, Мордехая Ави-Шауля, Ури Авнери, Моше Пинто.

СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.) — советский переводчик с английского. В его переводах издавались книги избранных стихотворений Р. Фроста, Т. С. Элиота, Э. А. Робинсона. Переводил классику Э. Спенсера, Дж. Донна, У. Вордсворта, У. Уитмена и др. В «ИЛ» в его переводе печатались стихи К. Сэндберга, А. Гинсберга, романы В. Рида «Леопард», Г. Окары «Голос», Р. Харвуда «Одинаковые тени», Айи Квеи Армы «Целители», В. Шойинки «Интерпретаторы» и повесть «Аке, годы детства».



Побег.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1990, № 2, 1—256